

77
М. ЗЕМСКАЯ



ВРЕМЯ
В ПЕСКАХ



М. ЗЕМСКАЯ

ВРЕМЯ В ПЕСКАХ



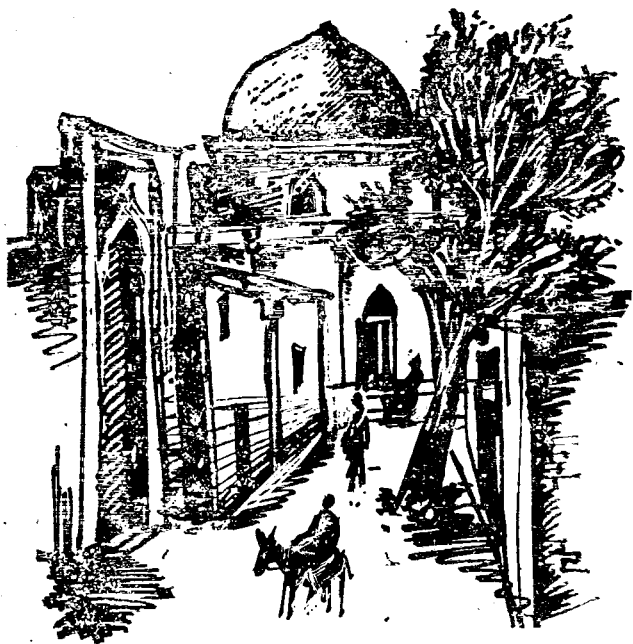
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Ленинградское
отделение

1983

«Искусство рождается из жизни и возвращается в жизнь, а как же все-таки это происходит?» — такой вопрос ставит в книгах «Мастер Гранатовой Чайханы», «Время в песках», «Точка на меридиане» Милица Земская, много лет проработавшая в республиках Средней Азии. Ее герои — люди творческого поиска, подвижного палаточного быта экспедиций. Документальный очерк перерастает в книгах М. Земской в художественную повесть.

Художник Елена Чехановец



ТОЧКА НА МЕРИДИАНЕ

Записки художницы



ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Мне пришлось проводить инвентаризацию в одном музее небольшого южного среднеазиатского города. Когда дело уже приближалось к концу, директор музея приволок мне какой-то большой бесформенный мешок.

— А это как записано, то, что тут?

— Это никак не зафиксировано. Можно сжечь. Нам все равно переезжать, не тащить же с собой.

— А что тут у вас?

— Можете посмотреть, если что-нибудь разберете, — почерк должен быть ужасным, я знаю по письмам и заявлениям об уходе и приходе. Этот сотрудник у нас сейчас не работает и производил эти записи в нерабочие часы — по крайней мере я так надеюсь. Они для нас цены не представляют, поскольку они не научные...

В мешке действительно оказалось многое множество листов и листочков и обрывков бумаги, исписанной головокруительно быстрым и неразборчивым почерком, временами снивелированным буквально до каких-то замирающих кардиограмм. Возможно, там-то как раз и заключалось самое важное и интересное. Я пробовала читать и мало что поняла, но так как мне по вечерам все равно некуда было идти и нечего делать, то я и пыталась разобраться в бумажном хаосе. Это оказалась то ли рукопись, пострадавшая от

огня и воды, то ли личные записки, то ли черновики... не определенного жанра.

— Ну, если вам все равно, что жечь их, что отдать мне, так лучше отдайте, — так я сказала директору через несколько дней. — А может, еще какие-нибудь бумажки найдутся? Чувствуется, что там многого не хватает.

— Не знаю, вряд ли... Мало ли на что могли понадобиться бумажки — печь растапливать, кисти вытирать, когда тряпки нет под рукой.

— А может, все-таки найдутся?

— Может быть, найдутся. Ну, мы их специально искать не будем. Она могла бросить их где угодно.

Директор долго молчал и вроде задремывал, но вдруг добавил:

— Имейте в виду, что все, что там написано, неправда.

— А! Значит, вы все-таки читали?

— И не думал.

— Ну, она рассказывала?..

— Я бы не стал терять на это время. В общем, поступайте, как хотите, нам до этого дела нет.

— А если я захочу опубликовать?

Директор опять надолго замолчал. Пожал плечами и вдруг расхохотался, потирая слипающиеся голубые веки по-младенчески, кулачками.

— Ну что ж, это даже имеет смысл: может, она тогда явится, чтобы учинить погром, скандал, а мы получим для музея ее картину. Вещь, знаете, такая странная — плывущая синева моря. Конечно, там много красного подложено под синий, и я думаю, что все эти эффекты освещенности, сияния достигаются простейшими средствами — белилами, ей-богу. Ну, может, сплавами белил с чем-то, но даже и просто белилами, — сплав дал бы грязь, а?

— Я ничего не понимаю из того, что вы говорите.

— А что тут понимать! Вещь бытовая, но фантастическая. Сильная своим колоритом, очень простая... Люди на берегу заняты разными делами. Вы Гойю любите?

— Гойю?

— Да, там что-то от Гойи и... Андрея Рублева. Нет, ну, трудно рассказать. Между прочим, называла она ее «Слушают музыку». Не надо было нам спорить... она бы отдала. А мы возмутились: при чем тут музыка? Что за претенциоз? Сделаем этикетку «Рабочие будни», или лучше «Героические будни рыбаков Арала». Вот, слово за слово, — обе стороны разгорячились... Знаете, как это бывает. Она хотела бесплатно эту вещь отдать, подарить... В общем, делайте, что хотите.

*...Вот я и попыталась привести эти записи в относитель-
но удобочитаемый порядок. Не переставая надеяться, что,
может, еще где-нибудь обнаружатся куски этой рукописи.
Директор обещал их обязательно дослать.*

МАЛЬВИНА

Сначала я была против Мальвины. Это Юрий ее где-то откопал. Чего он только ей не обещал, когда она явилась к нам наниматься, — с заявлением уже, написанным твердым прямым почерком из отдельных буковок, какой бывает у людей редко пишущих. И мне не понравились ни этот ее почерк, ни это ее легкое пальтишко цвета морской волны, ни эта поролоновая шапочка цвета спелого ананаса, бывшие модные, ни пластмассовая сумка под естественное плетение — все в обдуманной гамме! А чулки — паутинка. Первоклассные колени, я согласна. Но я никогда не выставяла бы их, особенно если на дворе каша из талого снега. Хотя... если покопаться в памяти, может, и выставяла; наверное даже выставяла, просто это было очень-очень давно и я успела забыть. Ведь и колени портятся вместе с характером от возраста.

— Ну как? — прибежал Юрий ко мне в комнатуху посоветоваться. — В ней чувствуется артистизм, не правда ли?

Я пожала только одним плечом, ситуация не заслуживала, чтобы двумя.

— А почему Мальвина? Тоже из артистизма? Наверняка ведь какая-нибудь Маланья. Я почему-то не называю себя Жаннетой, Женеьевой или даже Жанной? И потом, извините меня, но с такими ногтями цвета спелого арбуза — в реставрационную...

— Да, мы, пожалуй, вас возьмем, — любезно объявил Юрий посетительнице. — Но, видите ли, так как наша кошка не настаивает на том, чтобы мы называли ее непременно Кэтрин, а обходится кличкой Катя, то мы и вас тоже будем называть Маланьей. Вы не возражаете?

Посетительница молча кивнула. Бог знает, что она подумала. По-видимому, выбора у нее не было. И у нас — тоже. Со скрипом мы наскребли полставки. А кто еще и согласится за пятьдесят рублей проворачивать все это хозяйство: реставрировать, копировать, фиксировать. Работа однообразная и скучноватая, если не питать к ней патологического пристрастия. Юрий-то не допускал, что кто-то может возиться с нашим старьем без восторга, хоть бы и называлось оно народное прикладное искусство и было собрано впервые с такой нежностью и вдохновением. А все радужные перспек-

тивы творческого роста, которые он живописал перед новой сотрудницей, существовали пока в его воображении. Творческий рост подразумевался сверх рабочих часов, без денег, без материалов, без красок и без особых надежд, — зато, правда, в казенном тепле и с казенным светом.

— Имейте в виду, свое место у печки я не уступлю, даже если ее точеные коленки скрутит ревматизм. И пусть она их сушит, где хочет.

Планшет Мальвины поставили у окна. Из щелей дуло — прямо на руки. Юрий не позволял нам заклеивать окно из воспитательных соображений. Ждал, когда его заклет младший лаборант Абдымурат, который ничего не умел, да и не хотел делать, кроме как с особой значительностью отпирать и запереть свой скрипучий портфель да еще вытаскивать из кармана большой белый носовой платок, длительно, с достоинством разворачивать его, еще дольше складывать и засовывать в карман. Но лаборанта нельзя было уволить, во-первых, потому, что его уже слишком долго не увольняли, во-вторых, потому, что у него родился еще один ребенок и все жалели кроткую умницу Фирюзу. Она тут же в мастерской сидела за реставрационным станком и шила. А Абдымурат презирал ее за кишлячные пережитки. Натягивая новый ак-баскур, она потихоньку клала на колени лепешку или кусок хлеба, чтобы работа удалась. И Мальвина, берясь за новый чертеж, из солидарности стала класть лопать хлеба под планшет, так как работала всегда стоя. Мальвина, со «стогом сена Мане» на голове, как определил Игорь ее прическу, в сатиновых брючках, в козьей безрукавке, изредка отогревающая пальцы у себя под мышками, могла простоять за планшетом по шестнадцать часов! На эту тему и произошел наш первый разговор.

— Вы не устаете, все время стоя?

— Е-моё! Крестец ломит. У нас в экспедиции чертежница одна, немолодая уже, ваших лет, — вот чертила! Мы трое, она одна. И все сидят! А потом мы один раз вместе в баню пошли, знаете... у нее какие мозоли! Я ей спину терла. Я уж лучше постою.

Присаживалась она на табуретку только в перерыв, когда жевала какой-нибудь бутерброд, и, как истая азиатка, подтягивала колени к подбородку. Иногда она просматривала журналы и книги, подпирая голову руками и отводя гибкие кисти в стороны — и тогда становилась похожа на молодого оленя. И невольно выдавала красоту линий спины. Мне хотелось провести карандашом по бумаге, чтобы сохранить эту спину, потому что Мальвина тщательно ее прятала, стараясь держаться стоеросовой дубиной, двигаться резко,

отрывисто, ходить маршевым шагом, размахивая руками, смотреть только угрюмо насупившись. Чем старательнее скрывала она свою женственность, тем ярче прорывалась она — нежданно-негаданно. Особенно когда Мальвина смеялась, краснела, и синие глаза ее увлажнялись до того, что еще миг — и слезы закапают. И она щурилась и хмурилась, чтобы глаза не становились такими сияющими и громадными, напрягала до побеления губы и подбородок, чтобы крупный рот не разъезжался в улыбку, и, наконец, обессилев, опускала голову на планшет, чтобы спрятать себя настоящую от окружающих и от самой себя.

Лицом она была похожа на Блока. Ее не обрадовало мое сравнение.

— У него верхняя губа длиннее, а кончик носа у меня не так опущен. — И мигом на краю планшета вычертила портрет Блока.

Кончик носа — умилительно! Зато память ее не была обременена ни единой стихотворной строчкой:

— Писал что-то на фабричные темы.

— Вы с поэзией в основном по портретам знакомы?

— Что вы! И по иллюстрациям. Лермонтова я больше люблю. Врубелевский Печорин, княжна Мэри...

— А вы не пробовали о Врубеле судить по Скрябину?

Моя стрела летела мимо мишени. Скрябина Мальвина не знала.

Как-то вечером я уговорила ее не выключать репродуктор и послушать большую программу Скрябина.

— Е-моё, — только и сказала Мальвина. Но через день подвела меня к раскрытой двери, к которой издали уже подкрадывалась весна.

— Слышите?

— Горлинки...

— Это оттуда, из Скрябина.

— Ох, Маланьюшка, — подумала я уже не в первый раз, и не заметила, что высказалась вслух.

— Это которой на свадьбу такую уйму пирогов напекли, что никак доесть не могли?

— Блинов!

— Ух ты! А хорошо бы хоть на недельку стать Маланьей. У нас бы ни крошечки не осталось. Пришли бы ребята, Ли, Назар, Зауэрбек, Ачил...

Что правда, то правда! Ребята, приходившие к нам по вечерам — пописать, — были вечно голодные, вечно окрыленные идеями, проектами, вечно спорящие и вечно безденежные. Иногда они притаскивали с собой пакет макарон или маша и браконьерски варили на государственной электро-

плитке, пока расставлялись и писались натюрморты. Натюрморты тоже съедались в заключение вечера — лучшим исполнителем. Его определяло жюри в составе всех присутствующих путем тайного голосования.

Случалось, Ли выгружал из карманов кулечки с таинственными корейскими салатами из резанной мелко, как проволочка, капусты, густо наперченной. Я относилась к ним недоверчиво. Ли грозился как-нибудь врасплох угостить нас собачкой, которую-де собираются приготовить его бабушка. Меня утешало, что Ли сирота и никакой бабушки у него нет. Но осторожность никогда не вредит. Назар в подобных случаях перегибался через окно или бежал к двери и высвистывал нашего Бобика, и только после того, как Бобик вылезал из будки и откликался звонким лаем, мы принимались за еду.

У местных жителей не принято доедать какие-нибудь кушанья на второй день. Даже при самом скудном достатке. Пищу или выбрасывают, или отдают собакам. И когда наши ребята накидывались на третьегодние ши Юрия Витольдовича, наблюдавший это сторож покачивал головой:

— Что вы, не люди, что ли? Всякое съесть можете?

— Мы термиты, дедушка, не едим только стекло и железо.

— Термиты? Какой такой народ? Раса у них есть?

— Есть. Всеядной расы: художники.

КОВЕР

Никто не заставлял нас устраивать такую каторгу из работы. И сколько мы клялись строго регулировать наш быт, вовремя заботиться о пище, а не вспоминать о ней после того, как все магазины уже закрыты, и спать каждому по восемь часов в сутки, в чем мы более всего нуждались! Чуть ли даже не ежедневные прогулки намечали. И торжественно решали, что с завтрашнего дня начнем новую жизнь!

Но наступало завтра. И даже неизвестно, когда именно оно наступало. Тогда ли, когда взъерошенный Юрий с обезумевшими глазами выскакивал из-под станка для ак-баскуров и уступал мне место на спальном мешке под тулупом ровно на два часа — на сто двадцать семь тысяч двести секунд, — успевала я в утешение себе высчитать, засыпая на лету. Или когда на мешке уже спала Мальвина, а я с густо запесоченными, как в самый страшный бурян, глазами снова разворачивала на полу длинные свертки ак-баскуров. И видела с навязчивостью галлюцинаций в их шерстинках

то сеновал с душистым колючим сеном, в которое так хорошо зарыться, то послушно принимающий форму тела гамак под шелестящей сонной березой, то прохладное дощатое дно лодки, которую равномерно покачивают оливково-зеленые волны в золотистых опилках солнца. Или когда раздавался резкий звук, будто кто-то ходил по железной крыше, оттого что Мальвина яростно раздирала ватман на планшете с неудавшимся, по ее мнению, соотношением синего, голубого и красного. И швыряла на растопку. Или когда Юрий, потирая остекленевшие веки, начинал растапливать печку, потому что уборщица топила непременно с угаром. Или когда впрыгивала в форточку кошка Катя и лапочкой заигрывала с кистями кимешека, свисающего откуда-то со стула, и Юрий бешено топал ногами, и мы знали, что топает он не из-за кимешека, а от ревности, потому что кошка сейчас подойдет ко мне или Мальвине и начнет кусать за щиколотки, чтобы ее взяли на руки и погладили, а к Юрию подходить не будет, как бы он ни задабривал ее колбасой. Или когда кошка деликатно пойдет сопровождать кого-нибудь из нас в один маленький домик в конце двора и выкопает себе ямку, и закопает, и будет поджидать спутника, чтобы с ним вернуться в дом. Но если спутник управится раньше и не станет ждать ее, такой вой кошачий подымется, что все соседские собаки будут рваться с цепей и долго еще над городком будет стоять шум и гам.

Нам некогда было уходить с работы. И мы не уходили с работы. Я не помню такого случая. Мы всегда только приходили на работу. И это я помню ярко, многоцветно, со всеми деталями, характерами.

Широко распахивала дверь Мальвина. И гудел ее гобоистый голос.

В узкую дверную щель протискивался бочком Юрий, обязательно что-то таща, волоча, неся с собой или на себе: стеклянный стенд, доски от сандыка,¹ свертки ковров. . .

Важно отклонившись назад и оттопырив руки, будто у него уже был огромный живот, являл себя Абдымурат.

Пригибаясь под притолокой и каждый раз роняя шапку, входил на длинных негнущихся ногах Ачил. Они гнулись у него, как у всех, но казалось, что при такой длине им требовались еще дополнительные суставы.

С хохотом, который слышался уже за квартал, вваливался Назар, неуклюжий, лохматый, в мешковатой одежде. Он так размахивал руками и подавал туловище в разные стороны, будто ступал по бревну и едва удерживал равно-

¹ Сандык — шкаф-сундук в юрте.

весне. А между тем он был прочен и силен, как медведь. Мы посмеивались над этим загадочным родством, потому что медведей как раз в наших краях не водилось.

С лицом благостным, как у евангелиста, словно в храм, вступал наш общий любимец Зауэрбек и застенчиво улыбался, и в мастерской сразу светлело. Как будто не ко времени по эту сторону, а не по ту, где полагалось быть саду, расцветало молодое вишневое деревце. Он приносил свои неизменные два альбома; один «всеядный», куда он рисовал и набрасывал самое разное, и другой — «молитвенник», где была только одна Кызболды, девушка, которую он любил.

Я помню только, как мы приходили на работу. Хотя у каждого из нас был свой дом. И я даже знаю, что мой дом был очень хороший. Там было самое красивое в мире окно, в которое можно было смотреть бесконечно и совершенно бездумно, отдаваясь потоку жизни. Там были белые стены, чудесные! Совсем без всяких узоров, орнаментов, красочных пятен. Веселые белые стены, на которых ничего не надо запоминать, расчленять, систематизировать, сравнивать, отбирать. И вечный огонь в печке с дверцей без заслонки, и потому уголь выпадал из нее и прожигал пол, но дом все-таки не сгорел. И самая лучшая в мире мебель — перевернутые ведра разных размеров, удобные уже тем, что никакой гость на них долго не высидит. Чем-то мне этот дом напоминал годы эвакуации. Временностью, непостоянством, отсутствием вещей лишних и даже самых необходимых, отсутствием привычек. Дом, где всегда можно было начать сначала, ни на что не оглядываясь. Дом, где ничего не жалко было вышвырнуть, раздарить, забыть. А вокруг были свобода, простор, лужи, звуки, которые никому не мешали, свет, колодец, возле которого назначали свидания кошки, собаки и индюшки.

И когда я смотрела подолгу на веселые белые стены, я вдруг начинала понимать, что последовательность событий не важна. Что было на день раньше, на день позже? Дни — это всего лишь клеточки для завязывания узелков. А мы складываем из них плотные ряды и забиваем намертво железным гребнем. Это легче легкого, как всякий автоматизм, да еще по заданным наперед образцам. Но есть какая-то другая последовательность, которую все мы ищем. Может быть, закономерность, а не последовательность? И тут никому ничего нельзя подсказывать. И ничего нельзя предугадать: получится или нет тот единственный верный ковер, с побежалостью, с летящим вкось ворсом, который будет и наш и не наш уже, потому что будет жить собственной жизнью? Сойдутся ли все узелки так, чтобы он жил? Составят

ли открытие? И, может быть, дни января лягут вперемешку с июньскими. А какой-нибудь день двадцатилетней давности займет самую середину в обрамлении дней завтрашних. Но никому не будет уже дела, как ты ел и спал, завязывая свои узелки, и болело ли у тебя что-нибудь. Ведь есть только будущее и прошлое, а настоящего не бывает. Раз уж само время никогда не останавливается. И можно думать о будущем, как о прошлом, и о прошлом, как о будущем.

Никогда я не вела дневников, но просто стала замечать с наступлением темноты, что прошедший день завязался голубым узелком, или лиловым, или желтым. И кончики были то длиннее, то короче, и всегда неровны, хотя я их старательно подрезала ножницами. И, наверное, потому мы так жадно набрасывались на работу, что каждый боялся оставить пустую клеточку, не завязав узелка. А ведь если много таких незавязанных клеточек, то и соседние могут рассыпаться, и весь ковер не удержится.

САНДЫК

— Опять вы с Юрием поссорились? — спросила Мальвина. — И опять на всю жизнь?

— Не мы с ним, а он со мной. Я в этом участия не принимаю, а лишь служу жертвой.

— А что случилось-то?

— Вчера? Что-то было, паверное. А! Вчера мы сандык ташили. Новый, вон он стоит.

— Этот вот слон?

— Нет, тот, что повыше, с витыми балясинками. Очередная гордость нашей коллекции.

— Как же вы вдвоем на машину его взвалили?

— Мы не взваливали. Юрий на себе ташил.

— Вы не могли бы со мной пойти посмотреть сандык? Его надо забрать, пока хозяйка не сожгла. Я, должно быть, переплатил, что-то со мной случилось. Она так пристально на меня смотрела...

— Старуха?

— Да, она, должно быть, пожилая. Но, по-моему, она в положении.

Вот те раз, подумала я, старушке-то лет семьдесят!

— Вы же знаете, что Джоконду Леонардо тоже писал беременной. Оттого она такая загадочная. Это очень действует на нервы, когда так смотрят. Я и растерялся, и переплатил...

Старушка мало чем напоминала Джоконду. Я эту старушку видела: крикливая, суматошная и — прижимистая. Хотя, кто ее знает, какой стала Джоконда к старости, — ведь люди очень меняются...

— Может, она вас чем-нибудь опоила?

— Опоила? — Юрий с изумлением посмотрел на меня. — Но... это невозможно. Я бы и кумыса никогда не рискнул пососать.

— А откуда у нее кумыс?

— Вот именно — откуда? — еще больше изумился Юрий.

Вид у Юрия был очень несчастный, и я согласилась пойти. А ведь сколько раз давала себе слово не вмешиваться в его истории. Старушка с сандыком жила в пятнадцати минутах ходьбы от нашей мастерской. Замусоренный дворик, промерзший полутемный сарай-пристройка, где хранился сандык. Запах гниющей соломы и запах... бедности. В усадьбах с достатком пахнет совсем иначе. Старушка прятала руки в рукава. На голове у нее было наверхено целое осиное гнездо из кисей, платков, за подол с обеих сторон цеплялись внучата. Беглым взглядом никаких признаков беременности я не заметила, хотя на старушке было накручено множество одежек... Она крикливо жаловалась, набавляя цену: «Зима затяжная. Уголь кончился, сандык хорошо горит, дерево сухое. Сто лет стоял. Один сожгла уже».

Во мраке около стены таинственно шелестела солома.

— Слышите? Уже начинается. Может, я на улице постою, а вы посмотрите?

— Бросьте валять дурака. Апа,¹ свет нужен. Фонарь бар?²

При тусклом свете «лётучей мыши» сценка приобрела характер библейский. Два малыша, задрав подольчики, присели по краям сандыка. В углу на подстилке из соломы лежала ишачиха и смотрела на Юрия. И взгляд этот трудно описать словами.

— Эй, ты, — хорохорился Юрий, — смотри, пожалуйста, куда-нибудь в другую сторону. — Но сейчас же скис. — Извини, сегодня я тебе ничего не принес, я очень торопился. Но отвернись пока, бога ради!..

Ишачиха продолжала смотреть. И теперь я поняла, что она действительно с непомерно большим животом. И взгляд ее ничего не требовал, но завладевал тем, на кого она

¹ А п а — сестра, уважительное обращение к женщине.

² Б а р — есть, имеется.

смотрела. Ишачиха чуть улыбалась, и в глазах ее было столько усталости, мудрости, покорности судьбе, и радостного ожидания, и даже какого-то смущения...

— А когда, по-вашему, она разродится? Может, потом прийти?

— Я не знала, Юрий, что у вас тут такая... знакомая. Я, право, не знаю. Вам лучше знать.

— Я кормил ее хлебом, когда приходил. Больше-то ей есть нечего. Она начнет кричать, когда я уйду.

— Ну, дайте хозяйке пятерку, чтобы прикармливала.

— Джок¹, — причмокнул он, — детишкам скормит. Я уже переплатил. И на детишек. Но бить ее они не будут?

— Не будут.

— Но ведь он может замерзнуть, когда родится.

— Может и замерзнуть. Я думал, вы что-нибудь придумаете. Я-то должен в командировку...

— Хорошо, мы с Мальвиной будем ее навещать.

— Правда будете? И подкармливать?

— Нет, будем ей читать толстый том истории живописи Узбекистана.

— Поняла? — обратился Юрий к ишачихе. — И не устраивай сцен, когда я уйду, слышишь?

Ишачиха тяжело вздохнула.

— Ну то-то же. — Юрий повеселел. — Давайте теперь сандык забирать.

Мы взялись за два конца и с трудом приподняли его.

— Нечего и думать.

— А мы думать не будем, а будем нести.

Юрий пятился назад, я толкала вперед, — мы выволокли сандык на дворик.

Но пятиться дальше Юрий не пожелал.

— Неприлично, может кто-нибудь увидеть. Мы лучше разберем днище, доски потом захватим, во второй заход.

— Вы просто ищите случая еще раз навестить свою пасию. Но мне-то все равно. Разбирайте.

— А теперь я подлезу под него.

— Вы приходите, что на четвереньках приличней передвигаться, чем задом наперед?

— Но меня же не видно. Только руки и ноги. Ну как? — пропищал он уже из-под сандыка. — Вы его отпустите.

Я выпустила сандык, он хлопнулся и отдал Юрию кисти рук.

— Обождите-ка, я отойду. Отлично. Вы знаете, вам даже идет на четвереньках...

¹ Джок — нет.

— Попробовали бы сами, — верещал он из-под сандыка. И еще что-то неразборчивое, что поняла одна ишачиха и ответила ему душераздирающим ревом.

— Что там случилось? — спросил Юрий.

— Ничего. Джоконда вам сочувствует. Уходите скорей, не то она разнесет хлев или еще хуже: разродится до времени. Может, вы хотите принимать роды сами?

— Нет уж. . . — Юрий довольно быстро прополз за ворота и по проулочку. — Я так долго не выдержу. Где мы? Я больше не могу.

— Как раз на перекрестке Ленинской.

Я помогла Юрию вылезти из-под сандыка. Он уселся на него сверху, чтобы передохнуть.

— Пожалуй, на двух ногах мне все-таки удобней ходить.

— Странно.

— Что ж делать?

— Ну, давайте, привяжем его к автобусу. . .

— У него и так балясинки потрескались. Вы лучше на меня его наденьте стоймя, с головкой.

— Но вы же ничего не увидите, даже куда ногой ступить.

— По-вашему, я много видел на четвереньках?

— Все-таки кругозор был шире. . .

— Мы свернем на тихую улицу, а вы сзади поддерживайте и направляйте.

— Но там же дальше.

— А мы туда, а потом налево, а потом направо, — и он так жестикулировал, что шоферы, принимая его за регулировщика, стали высовываться из кабин и материться.

Чтобы избежать скандала, я решила уступить и кое-как надела Юрию на голову этот проклятый сандык. Но и направлять его оказалось делом нелегким. Я взялась за нижние концы сандыка.

— Что же вы так медленно?

Я прибавила шаг.

— Вы нарочно? Хотите меня свалить?

Наконец мы выбрали, согласовали и утвердили аллюр, темп и маршрут и выскочили на тихую улочку, где, конечно, не скалывали лед, и тут сандык пошел такими зигзагами. . .

— Прекратите вилять, Юрий. Я не хочу, чтобы меня видели на улице в обществе пьяного сандыка.

— Тогда свернем на Тополиную.

— Но это в три раза дальше!

— Там частный сектор, улицы песком посыпают.

Мы свернули на частный сектор, посыпанный песком. Люблю я эту улочку. Тихая, чистая, уютная, слегка изги-

баюшаяся, с голубыми и палевыми домиками, с утепленными уличными кранами, около которых толпятся ребятишки с ведрами, а за ними собачки прибегают, и петухи, и курицы, и утки приходят поболтать о том о сем. Все живое обратилось в нашу сторону: бежит сандык на тоненьких ножках. Первыми осмыслили это явление мальчишки.

— Цирк, цирк приехал! Фокусы показывать будут.

— Тетенька, а по канату ходить будете?

— Тетенька, а медведя привезли?

— Вы совсем не поддерживаете свою сторону, — возмущался Юрий под сандыком, — вы что, ее совсем бросили?

Я не бросала. Я только ослабела, не успеваю отвечать на вопросы детворы.

— Я же потеряю равновесие! — вопил Юрий.

— Вы думаете, что когда-нибудь им обладали?

— Давайте попробуем убежать от этой свиты.

— Убежать от мальчишек?!

Но когда самый любознательный и отважный мальчуган, оказавшийся вровень с нами, просунул палец сквозь решетку сандыка и попал Юрию под ребро — а Юрий смерть боится щекотки! — сандык подпрыгнул и завопил страшным голосом:

— Вот мать-то уши надерет! Ведро где оставил? Ну и попадет же тебе!

Мальчишка ошарашенно отскочил.

Перепуганные дети отстали уже давно, а сандык продолжал еще завывать страшные угрозы. И, по всей вероятности, именно это встревожило собачек. Я не думаю, что сандык напоминал им фургон собакодавов, как утверждал потом Юрий, — тогда бы они, наоборот, разбежались. А тут они дружно взлаяли и бросились к нам.

— Сверните куда-нибудь, где нет этих проклятых тварей и колодцев, — взмолился Юрий.

— Напрасно вы их лягаете, они от этого свирепеют.

— Но они хватают за пятки!

— Им не нравится ваша походка.

— Уй, как больно!

— Вы постарайтесь отвлечься. Думайте о чем-нибудь другом. Это помогает. Если бы вы видели, какой изумительный закат...

— Кто?

— Закат, говорю, закат. Ну, знаете, когда солнце садится.

— Ах, солнце? Я думал, что уже глубокая ночь.

— Какие великолепные краски!

— А какие?

— Совершенно бирюзовые и янтарные. Сначала чистая бирюза, голубая, а потом старинная бирюза, знаете, какую в раскопах находят, с загаром вечности, даже желтоватая, и постепенно переходит в янтарь. . .

— Закат вчера, правда, был потрясающий, — вздохнула Мальвина.

— Ну вот, вы же сами так считаете. А Юрий там в сандыке истерику закатил: «Откуда янтарь, почему старая бирюза из раскопов? Они же должны быть домами закрыты. Где мы находимся?» — «Ну, на Совхозном тракте, к юго-западу от города». Я же не могла допустить, чтобы его совсем заели собаки.

— Ё-моё, — ахнула Мальвина, — так как же вы с Совхозного тракта сандык доставили?

— На тележке, дали утром совхозники. Только Юрий не захотел оставлять у них сандык, там и ночевал с ним в обнимку.

— На дороге? В поле?

— Зачем? Во дворе, под навесом.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

— Причина всех ваших неудач, Юрий. . .

— Я еще только приколот чистый ватман, где вы видите неудачу?

— Ну, вот здесь, еще здесь и в правом нижнем углу, — я поводила рукой над планшетом, — в том, что вы слишком варитесь в собственном соку и выводите гомункулусов в колбе.

— А вы что предлагаете? — Он робко глянул вбок, чувствуя подвох.

— Освежиться пустыней. Продышаться, пописать.

— Теперь? Бураны же, и вы. . . замёрзнете.

— Не «вы», а «мы», потому что вы поедете с нами.

— Никуда я не поеду, — взвился Юрий, — я только что приколот чистый лист. Не уговаривайте. Бесплезно. Не поеду, и все.

— Хорошо-о. Но если с нами что-нибудь случится. . .

— С вами никогда ничего не случается. Если бы с вами могло что-нибудь случиться, давно бы уже случилось. Тысячу раз. Со всеми что-то случается. Люди гибнут, калечатся, теряются. А вам все ничего. . .

— Речь-то не обо мне, о Мальвине. У нее завтра день рождения.

Юрий поболтал в стакане кисточкой и отошел к печке — погреть ладони и поразмышлять.

— Лучше я вас в кино свожу.

— Разумеется, сводите. По возвращении.

— Да, — вдруг оживился он. — Машина-то на ремонте. Раньше, чем через две недели, не выйдет. Так что я бы очень хотел...

— Главное, чтобы хотели.

— Но машину...

— На попутных. До развилки. Пошли, Мальвина, собирать рюкзачки. Нам еще нужно пироги испечь.

Мы опрометью кинулись из мастерской.

— Вот тут, в коричневом рюкзачке — еда. Не сядьте на него, бога ради, Юрий. Баклажки у всех с собой? Ну, там еще в рюкзачке есть запас жидкости особо ценной.

— Глупая затея, — ворчал Юрий на все лады, пока мы тряслись по так называемой дороге, которая отличалась от всех других мест в этих однообразных и голых землях резко выраженным холмистым рельефом.

— Похоже, этой ночью дорожку бомбили.

Потом дорога выровнялась, мы свернули в горы и надолго смолкли. Слишком сильным было впечатление от этих ярких «тональных» скал — светло-зеленых, и черно-красных, дотлевающих, и черно-желтых, пламенеющих недобрым огнём.

— Черт те что, черт те что, почему я до сих пор здесь не писал? — жалобно бормотал Юрий. На каждом повороте он порывался выскочить из кузова. И мы хватали его за полы.

— Ровная дорога, а вас так и мотает из стороны в сторону, сидите спокойно.

— Это не ухабы, я просто слышу пение нимф, а вы его не слышите.

— Я, кажется, тоже начинаю слышать, — призналась Мальвина.

— Нет, уж раз решили в пески — так в пески. Меня не пускали, когда я хотел, а здесь я не хочу. Это все слишком похоже на туркменский орнамент.

— Похоже, правда? — воодушевилась Мальвина. — Может, вы меня здесь сбросите?

Юрий покачал головой:

— В этих скалах слишком много профессионализма, расчета на эффект, техничности. Контрастные и острые формы. Расцвеченная графика. А там была живопись и больше непосредственности. Нет, поехали дальше.

— Но ведь день рождения Мальвинини, а не ваш, Юрий! Вот что, вы проезжайте дальше в пески со всеми шмутками и устраивайтесь писать. А мы с Мальвиной налегке просто пройдем эту дорогу. Мы быстро пройдем.

Юрий очень неохотно согласился.

— Какая тишина, в ушах звенит, — сказала, оглядываясь вокруг, Мальвина. — А как легко ступать ногами по камню! Он даже вверх ноги подбрасывает. Я люблю ходить, не ездить, не летать. Я скоростей не люблю. Чувствуешь себя не человеком, а придатком техники. И ничего не разглядишь. Может, новые всякие течения в искусстве — от скорости? От мелькания и рассеянного внимания? А змеи еще спят? Хоть бы одну встретить.

— И черепахи спят. Здесь много черепах. Огромных. И они очень любят скорости. Бегом бегают.

— А что же тут едят орлы? И где гнездятся? Пошли, посмотрим.

— Сейчас им голодно. А летом едят черепах. Схватывают лапами и взлетают с трудом, как сундуки тащат, — бросают с высоты и разбивают панцири. А к их гнездам подходить не стоит. Пустые.

Мы шагали по дороге, часто останавливались, иногда сворачивали в скалы, взбирались на их уступы. То тут, то там выглядывали поверхности пород, как бока ископаемых чудовищ, засыпанных осыпями, шлаком, — структура их напоминала то черепаший панцирь, когда скалы были коричневыми, то очень старое, сношенное дерево, когда они были серыми, то слежавшиеся, слипшиеся нити какой-то ткани, когда они были темно-зеленые. Горы были как раз настолько хороши, чтобы пожалеть, что ты не геолог, а всю жизнь занимаешься чем-то другим. И вся эта независимость гор, их особый язык — не для тебя. И это обидно, потому что горы всегда — выражение энергии, мужества земли, как бы ни были они стары и разрушены. Потом вдоль главных массивов пошли белые сверкающие бугры-конусы, будто их кто-то насыпал нарочно, соблюдая особый ритм, — на равных расстояниях. Сверху они выглядели розетками, вплетенными в кайму орнамента, поле которого было гуще, темнее, но с таким же множеством подцветок, блесков — как ворс старого ковра.

— А почему так похоже на что-то инопланетное? — не оборачиваясь, спрашивала Мальвина.

— Вы много видели иных планет?

— Ну да, то есть нет, представляю. И видела много раз во сне. Поверите, маленькой еще видела лунный пейзаж —

совсем такой, каким потом оказался, по фотографиям. Отчего так? И даже что скользко под ногами и что подпрыгиваю и лечу...

По скалам Мальвина шла не по-солдатски, а по-джейраньи, изящно, красиво, отдаваясь радости движения. И все же хмурилась.

— Вам не нравится?

— Е-мое, как здорово. А напиши как есть — скажут: сюрреализм. А в природе много все-таки сюрреализма?

— И импрессионизма, и классицизма. И сюжетного построения. В природе есть все, что потом придумывают люди.

— А может быть, мы зря затеяли все это? Ну, с рождением? Поверите, Женя, это вот первый раз, что празднуется мое рождение. Никогда у нас не праздновали. Не твоя заслуга, что родился. Сначала мне завидно было: у всех рождения, хоть как-нибудь, по-бедному. А мы — без рождения. А потом решила: и правильно — мешанство, гости всякие, пироги...

— Я посмотрю, как вы зубы запустите в пирог. У меня слюнки текут при одной мысли.

— Хорошо, конечно, сытно поесть. Ну — без рождения. Ведь бывает всякая вкусная еда. Я же не ханжа.

— А может быть, сегодня — день рождения Огня? Давайте его праздновать. Может, сегодня, тысячи лет назад, какой-нибудь парнишка неандертальский высек этим камешком искру и зажег костерчик. И плясал, и прыгал от восторга. Но когда у вас будут дети, вы все-таки празднуйте им день рождения, хотя это будет ваша, а не их заслуга.

— Дети? У меня? — даже остановилась Мальвина. — У моего дяди — восемь штук, и все рыжие и веснушчатые. А он все никак не может остановиться. Я спрашиваю: «Зачем вам столько детей?» — «А что, жалко, что ли, пусть растут». Я вот у них была — в глазах рябит. Куда ни глянь — все дети. В доме ни мебели, ни посуды нет, одни дети. Я к ним первый раз приехала ночью. Улицу нашла, а номер дома забыла и записку потеряла. И все-таки нашла. По запаху. И зачем — дети?

— Ну, хотя бы затем, чтобы научиться отвечать на вопросы, а не только их задавать.

— Это верно, пожалуй. Обождите: я высыплю камни, все карманы набила, вот, смотрите, какие интересные. Они все равно хороши только здесь. Притащишь домой — никакого вида. Вы зеваете, устали, да? Посидим?

— Не выпалась. Провозилась с пирогами. И свежий воздух, — опьянела. Так хорошо подремать у камешка.

— Знаете, почему я попала сюда? Из-за парня одного,

Ему назло! Его на тот берег распределили. Меня-то, вообще, тоже. А я испугалась: вдруг подумает, что это я нарочно, чтобы ему почаше на глаза попадаться? Я на этот берег перебралась.

— Но встречали его хоть?

— Встречала, — нехотя сказала Мальвина. — А что толку? Хоть бы и не встречала. Прошло все. Остались одни тополя, черные на закате.

Она прижалась к каменной глыбе:

— Шепчет хорошее что-то, вот приложите ухо, — или дышит?

— Сейчас все зашепчет, ветер подымается. А почему вы не едете учиться куда-нибудь, в Ленинград, в Москву? Потом пожалеете. Из-за парня на том берегу?

— Из-за пальто. Я уже и сейчас жалею. Но там холодно. И не будешь в ватнике ходить по Москве?

— Мы ходили.

— Тогда все ходили. Не люблю, чтоб жалели и пальцем показывали.

— Ох, Мальвинушка!

— Пожалуйста, не называйте меня так. Меня отец так называл: Мальвинушка, и всегда прибавлял: дубинушка. Я ведь не здесь родилась. И в Туркмении только выросла. Я родилась на Волге. Даже помню наш сад и домик. И в доме у нас рояль стоял. И на нем ни пылинки. Я, наверное, и запомнила его, потому что блестел. Нас к нему не подпускали. Тут у нас другой отец был — отчим. Сапожник — тоже оттуда. Вот мы с ним и воевали, — может, от этого я такая когтистая. Ачил говорит, что я когтистая. Отец, то есть отчим, бил. И колотил нас. За то, что мы с матерью загубили ему жизнь, и за то, что он выше среды, что нас, детей, трое и денег не хватает. Он и стихи писал. Когда напивался, колотил по чему попало. Но мы подросли и стали давать сдачи. Мать он никогда не трогал, хотя вечно грозился. Ну, лучше бы бил. Пилил, как бормашина. Он потом вовсе спился. От нас ушел. Мать было жалко. Мы ее караулили, запирали, чтобы не бегала к нему. Она-то его жалела. Да и мы жалели. Потихоньку. Потом он наконец умер. Что вы улыбаетесь, Женя? Ему лучше было умереть. Честное слово. Я от жалости говорю, честно. Я девчонкой очень сильная была. Ну, мне одной никогда его было не дотащить до дома. А мать нас домой не пускала, пока не разыщем и не приведем. Вот мы и айда в разные стороны. Шарим, заглядываем — во все арыки, во все проулки. А никого не спрашиваем. Гордость. Мать приличия соблюдала. Перед соседями. Будто кто-нибудь не знал. Но турк-

мены уважают характер. Встретится, глазом не моргнет, скажет: «Ты беги к арыку на Самаркандской, там твой брат играет». Чтобы не обидно было.

И с нами мать выделявала... Одеть нечего, заплат на заплате. Зато — накрахмаленные. Все дети как дети, а мы накрахмаленные. Навяжет на нас разных бантиков, и чтобы мы не бегали, а чинно ходили по улице, взявшись за руки. Мы — за дувал, бантики поснимаем, спрячем, ботинки сбросим и со всеми ребятами носимся.

Из той, из довоенной жизни мать чаще рояль вспоминала, чем отца. А я вспоминаю. И как-то нечаянно. Иду, например, вечером по улице, фонари горят, увижу свою тень — и нá тебе! До чего же моя тень похожа на отцовскую. Даже не объясню — чем? Может, он гулял со мной по вечерам и вел за руку, а я на его смотрела...

Мать и сейчас, если кто ее обидит или неудача случится — сразу плакать. Пирог ли пригорел, сын ли не пишет — все одним объясняется, что без мужа живет. Как же — без мужа? И один был, и второй. У некоторых ни одного. А пожилой женщине прилично и без мужа. «Все-таки...» — говорит.

Совсем я не пишу домой. Не люблю писать. А надо матери написать. А то приедет, пол мой увидит: я его не мою, вастилаю газетами...

— Мальвина, я думаю, если бы наша кошка Катя заговорила, ее биография была бы похожа на вашу.

— Вы мне льстите. Катя — хорошая кошка. Птичек на лету ловит. А вы ее портите нежностями.

Мальвина вскочила:

— Ох, Юрий Витольдович там с ума сходит: куда мы пропали?

— Юрий Витольдович там забыл обо всем на свете. Поставил мольберт и не помнит, кто мы такие. Но там — пироги. Вперед!!!

Остаток пути мы почти бежали. И голоса наши от голодного возбуждения приобрели звонкость.

— По-моему, в фарш надо было добавить яичка.

— Пирог — не котлета, и хорошо, что фарш получился рассыпчатый.

— Я боялась, что он сядет. Духовка плохо нагревалась.

— А я локоть сунула — как зашипит! Думаю, не подгорел бы.

— Да, он хорошо пропекся, и корочка такая румяная.

— Вот в торте я сомневаюсь. Все наспех, наспех... По рубить бы тесто подольше.

— Ой, что вы, я попробовала — дух захватывает. До чего

вкусно, и аромат мечтательный какой-то. Где вы достали лимон?

— Заветный. Из Москвы.

Юрия мы увидели издали. Он писал. Верхушки барханов дымилась. Горизонт исчезал во мгле. Неизвестно, где кончалась пустыня. Неопределенные клубы извивающихся туч казались продолжением барханов.

Был тот тусклый тягостный свет, который пробивается неизвестно откуда, сбоку, снизу, словно солнце раскололи на тысячи кусков и разбросали по всему небу. Самым светлым, устойчивым пятном оставались блеклые пятна ближних такыров.

По тому, как были запесочены Юриевы щеки, шапка, отвороты тулупа, ясно было, что он работает давно и неотрывно.

— Ага, пришли все-таки, — сказал он, не оборачиваясь. — Я узнал вас по теням. Какие ни рассеянные, а все-таки тени.

Вот если эти тени поймать, вопрос освещения сам собой решится, — защелкнуло у меня где-то в мозгах. И начнет — колорит. И так и написать: человек останется за полотном, то есть перед полотном, а на полотне лишь падающая тень. Нет, лучше одну фигуру, сидящую спиной, и рядом тень от другой, стоящей. Сюжет может быть остродраматичный. Старик сидит, а тень — уходящего или подходящего. А может, тень смотрит в бинокль. С тенью что-то уже было? Ну, это потом надо обдумать. А то уже подташнивает от голода.

— Я все шмутки бросил там под останец и поставил стелечку одного знакомого джинна. Можете питаться. Я не хочу, пока свет.

— Свет еще долго будет.

— Будет другой, а я хочу этот.

— Юрий Витольдович, ну, мы вас позовем, когда все приготовим, — значительно пообещала Мальвина,

Он только рукой махнул:

— Идите, идите.

Но я еще задержалась, чтобы посмотреть, что он пишет. Кулящиеся барханы первого плана. Но почему второй план четче, чем первый? Где он это видит? Налетающий ветер? А задние планы опять плывут. Выборочный какой-то ветер. Впрочем, здесь все бывает. Бывает и так, будто джинн проходит и взвывает песок за собой.

— Женя! — окликнула Мальвина. Она делала мне какие-то странные знаки. — Его нет, — бесцветно сказала она, когда я подошла.

- Кого нет?
- Нет! Я везде искала. И с той стороны останца — тоже нет.
- Джинна?
- Рюкзака.
- Вы шутите.
- Посмотрите сами.
- А смотреть-то было негде. Я почувствовала во рту привкус металла:
- Юрий Витольдович!
- Я же сказал, что питаться не буду.
- Конечно, не будете. Потому что нечем. Где вы могли потерять рюкзак?
- Потерять? — Юрий засеменил к нам. С палитрой и кистью в руках он был похож на воина, вооруженного щитом и дротиком, но сдающегося в плен. А легкие отпечатки краски на его щеках выглядели боевой татуировкой.
- Я все сложил, и тут никто не проходил, кроме одного старика. Он не стал бы тащить. Он интересовался только моей живописью.
- С чем вас и поздравляем.
- А может, вы забыли его дома?
- Еще чего! Я своими руками клала его в кузов. Вы не уронили его где-нибудь по дороге? .. Отпраздновали!
- Кузов? Кузов... Да, там что-то оставалось. Зрительная память подсказывает мне. Какое-то пятно.
- Опустите свой щит и копье и постарайтесь вспомнить.
- Сейчас скажу. Коричневое? Да, абсолютно точно — коричневое пятно. Кадмий светлый. Меня зрительная память никогда не обманывает.
- Он уже воспринял меру своей вины и суетился, заглядывая во все углы останца и даже под кустики ближайших саксаулов.
- Что ж вы теперь ищете?
- Но я так ясно теперь его вижу, ощущаю... А много там было?
- Сядьте, бога ради. Пирог с мясом... Юрий сел.
- Пирог с капустой... Опустил голову.
- Ватрушка... Сгорбился.
- Торт «наполеон»... Пригнулся к земле.
- И бутылка вина.
- Ниже пригнуться было некуда.

— Ну конечно, пироги — мещанство, — уныло заметила Мальвина.

Я молчала, но в желудке моем что-то жалобно попискивало. Напрашивался вопрос, на который все равно нечего было отвечать: «Что же делать?»

Вдруг Юрий встал и поплелся, все так же вооруженный, куда-то мимо мольберта — вверх на бархан.

— Остановите его, Женя, он очень расстроен.

— Пусть идет куда глаза глядят.

Но глаза его смотрели на гребень самого высокого бархана, а добравшись до гребня, он повернулся к юго-востоку и, воздев щит и копье, выпустил пронзительный визгливый вопль. Тучи треснули, выпустив диск солища, а барханы испуганно поползли в стороны.

Тут уже вскочила Мальвина, мрачная, решительная:

— Он сошел с ума! Ведь так может быть от переутомления, от расстройства. Или у него плохо с сердцем? Он может умереть.

— Мы — тоже. От голода.

— Надо принимать меры! Чему вы смеетесь?

— Так кричали ихтиозавры и бронтозавры, когда ломали друг другу хребты. Крик — домлекопитающий! А может, он вызывал джинна? Больше ничего не остается. Он же говорил про какого-то.

— Я думала, он шутит.

Юрий быстренько присеменил обратно и уселся как ни в чем не бывало, отложив наконец палитру и кисть.

— Я полагаю, он сейчас явится.

— Джинн? — спросила Мальвина.

— Да. Поклонник моей живописи.

— А джинн тоже поклонник вашей живописи?

— А кто еще? — спросил заинтересованно Юрий.

— Ну, мы с Мальвиной.

— А! Я так и думал. Ну, тогда разбудите меня, если это потребует ситуация.

И он хладнокровно растянулся на песке, натянув на воротник тулупа.

Мы все-таки раскрыли этюдники, но писали вяло. Пустыня теперь представлялась мне как выражение бесконечной усталости земли. Я выбрала себе бархан, но он был похож на рояль в мешке. Пародийно похож, словно какая-то обезьяна решила вылепить его из песка. Я отвернулась к другому, но этот был не менее отвратительный — контрабас в футляре. А эти бесконечно бегущие полосы — расстроенные, ослабленные, развитые, перепутанные струны, которые никак не могут найти свое место: всё время его ищут, перестран-

ваются, переползают. Изуродованный оркестр, который всё жё тихо, шепотом звучит, что-то вроде совсем слабого пичикато. Да, ведь я хотела рассеянную тень. Но солнце не пряталось. И вот она — очень четкая асфальтовая тень: старик в тюльпеке, с камчой.

— Салам алейкю-юм.

Почему я никогда не боюсь пустыни? Здесь, в песках, человек человеку — друг. И так естественна радость встречи с себе подобными. И взаимопомощь и взаимопонимание, хотя встретившиеся не знают ни слова на языке друг друга, а говорят очень много, быстро и даже выслушивают не перебивая. И все-таки договариваются. Здесь, где с такой торжествующей нежностью ловишь какую-нибудь зашевелившуюся точку-мушку у горизонта среди песков и уже ликуешь, видя, как она превращается в человеческую фигурку, постепенно отчленяется от длинной тени, благородно прекрасной преданностью, сходством с человеком. И вот фигурка вырастает до равных тебе размеров — и равенство это тоже восхитительно — и спрашивает:

— Су бар?¹

И чаще, чтобы дать, а не взять! Хоть несколько глотков. Юрий протирал малиновые глаза и сплевывал набившийся в рот песок.

— Представьте себе, бабай², мои дамы не прочь пообедать. — Он зачавкал и зажевал со страшными гримасами, тыча пальцем себе в живот и в нашу сторону.

— Та-ак, харашо-о, — нараспев произнес старик.

Тогда Юрий вытащил кошелек из кармана и продемонстрировал, как ему хочется отдать старику содержимое — семь рублей.

— Та-ак, харашо-о, — повторил старик. — Барашка бар? Якшимес?

Юрий отрицательно почмокал языком:

— Курсак кичкене³. Барашка джок.

— Та-ак, харашо-о, — еще раз пропел старик и, размятая рукавом песок, приступил к деловым расчетам.

— Бир курица, — на песке появился столбик: «I».

— Якши-якши⁴, — одобрял Юрий.

Потом длинная полоса поперечная и три столбика:

— Уч сом⁵, — сказал старик.

I—III

¹ Су бар? — Вода есть?

² Ба бай — дедушка.

³ Курсак кичкене — живот маленький.

⁴ Якши — хорошо.

⁵ Уч сом — три рубля.

— Бир курицын сын — бир сом¹.

I—I

— Якши, якши, — повторяли мы уже хором.

— Бир курицын брат — уч сом.

И, соответственно:

I—III

Юрий пожал плечами, мы переглянулись. Теперь Юрий перехватил торговую инициативу в свои руки, стер все надписи старика и начертил свои:

— Один курица — три рубля.

I—III

— Один курицын сын — один рубль.

I—I

И подвел итоговую черту, а под ней четыре столбика,

III

выдавая реплики в сторону:

— А ну его к богу в рай, этого брата курицына. Лучше не связываться.

Однако старик, явно получавший удовольствие от торговли и от того, что все смеялись и что люди такие хорошие, веселые, заупрявился, стер все письма Юрия и вывел опять свои:

I—III (курица)

I—I (курицын сын)

I—III (курицын брат)

IIII

— Курсак полный будет, харашо-о курсак.

А для того, чтобы преодолеть нашу бестолковость, загнул три пальца, а семь оттопырил и потряс перед носом Юрия.

— Ему нужно семь рублей, как вы не понимаете, иначе торг не состоится. Соглашайтесь скорее, мы умираем с голоду.

— Кто бы это мог быть? — бормотал Юрий. — Петух, что ли?

Отставив локти, вытянув шею, он прошелся перед стариком на полусогнутых ногах, наскакивая на него бочком-бочком, протянул: «Ко-о-о, ко-о-о, ко-о-о» и, отойдя немного, разразился таким победным «кукареку-у» и так при этом

¹ Бир сом — один рубль.

горделиво выгнулся, что старик восхищенно зачмокал, зажмурился, но отрицательно покачал головой:

— Курицын муж юрта нужен. Куриц много — жена будет, сын будет, государству будет сдавать. Курицын брат — юрта не нужен. Покажи еще курицын муж!!

— Что он мелет?

И мы вместе со стариком умоляли Юрия показать еще раз курицына мужа.

А Юрий вскипел:

— А! Ну! Черт с ним! Бери все семь рублей. На попутку не хватит — пешком пойдем. На! Бери, — совал он деньги старику, — тащи всех: брата, тетку, племянника, свекровь, только скорее, чокан, чокан!

Старик пообещал: «Чокан! Чокан!» — и скрылся за барханами.

— А вы не думаете, Юрий Витольдович, что он совсем не вернется с нашими деньгами?

— Исключено. Здесь вам не большой город! Собирайте-ка лучше топливо. А я, — у меня почему-то в глазах темнеет, — вертел изготовлю.

Мы успели натаскать сухого саксаула и даже поджечь костерчик, когда за барханом зашевелились струнки тюльпека и показался мешок за спиной старика, не слишком, впрочем, тяжелый. Я обернулась к Юрию, чтобы поздравить его с победой, но он весь передернулся, побледнел:

— Этого я и боялся... Бра-а-атец, — простонал он, вытянув руку, и рухнул на песок.

За стариком вприпрыжку, прихрамывая на одну лапу, трусил громадный тощий пес. Мощные клыки его слегка прикрывал розовый язык. Один глаз был пустой. Другой горел многообещающим огнем. Чувствовалось богатое прошлое, полное боевых подвигов. Но сейчас он был стар. Морда, в каких-то рывтинах, шрамах, поседела. Шерсть клоками висела по брюху. И хвост его был похож на надломленную палку.

— Бра-а-тец, — всхлипнул Юрий, прикрывая голову руками.

— На вид он не очень аппетитный, — сказала Мальвина.

— Пожалуй, мы уступим его Юрию Витольдовичу.

Пес любезно облизнулся, понюхал воздух и направился прямо к Юрию.

— И торопитесь, Юрий, пока он вас не съел. По всему видно, что ему не часто переппадают лакомые кусочки.

Старик между тем обстоятельно развязывал мешок, вытащил курицу, выложил перед нами и чинно подправил ей опавшую головку. Потом выложил также цыпленка и тоже

подправил ему головку. Потом выложил... селезня и ему тоже подправил зеленоватую головку.

А к этому добавил лепешку — сверх договора, потом вроде почесал себя под мышкой и вытащил мешочек и отсыпал на лепешку соли. А потом позвал пса и потрепал по шее:

— Друг меным, тоже бабай. Нос — хоро-о-ший. Тоже фокус делаем. Деньги нюхал, кто давал — сразу нашел.

Пес положил голову на носок галоши хозяина, но мы смущали его, и он нервно зевнул. Старик вежливо извинился:

— Юрта, хозяин, айда, — говорит. — Чокан.

— Зря мы *belle soeug*¹ под белым соусом не заказали, — щебетал Юрий, обсасывая утиное крылышко. — Очень хотелось бы мне попробовать ножку *belle soeug* под белым соусом. *Entre nous soit dit*², сколько же вам исполнилось, Маланьюшка?

СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

— А я обменял вас на оленье рога, — объявил Юрий. — Чудные рога, обитые бронзой и прекрасной сохранности. Четвертый век.

— Неужели археологи Московской экспедиции решились расстаться с такой уникальной находкой?

— У них безвыходное положение. Канал дал им сумму на обследование района трассы. Им нужны люди. Срочно.

— Нельзя ли и нас с Назаром обменять?

Юрий задумался.

— Каналы будут рыть все новые и новые. Со временем нам тоже перепадет от них денег, археологическая практика нужна...

Вблизи Кават-калы понимаешь, почему пустыню называют Кызыл-кум — красные пески. Они и в самом деле красновато-оранжевые, рыжие. И такыры здесь не серые или белесые, как обычно, но ярко-розовые, сиреневые, иногда почти фиолетовые или красно-бурые. Даже ослепительные солнечные лучи не обессиливают эту яркость и многоцветность.

Тусклым здесь бывает только дневное небо, как и везде над пустыней. Окрашенность такыров — дело микроскопиче-

¹ *Belle soeug* (фр.) — свояченица.

² *Entre nous soit dit* (фр.) — между нами говоря.

ских водорослей, оживающих в периоды ливней. Цвет песка — это его возраст и биография. Такими бывают древнейшие пески, образованные разрушением гор, давно не существующих на земле, и пролежавшие тысячи лет под солнцем.

...Переходя от здания к зданию, мы подолгу разглядывали каптар-ханы. Здесь они сопутствуют почти каждому сооружению. Различные по планировке, это двухэтажные помещения, стены которых изнутри украшены снизу доверху небольшими углублениями-нишками.

Долгое время назначение этих сооружений оставалось для науки загадкой. Каптар-хана в переводе — голубятня. Так называют эти помещения местные жители. Предполагалось, что углубления в стенах служили квартирами для голубей.

Но раскопки одной из каптар-хан Кават-калинского оазиса не подтвердили этой догадки. Никаких следов обитания в ней птиц археологи не обнаружили, зато находили черепки хозяйственной и бытовой посуды, следы трапез: зернышки персика, абрикоса, кости животных.

А в сочинениях арабского путешественника XIV века Ибн-Батуты есть описание подобной комнаты в богатом доме куня-ургенчского кадия (судьи), в которой «разостланы роскошные ковры, стены обиты сукном и со множеством углублений, и в каждом углублении серебряные позолоченные посуды и иранские кувшины. Таков обычай у жителей этой страны убирать свои дома».

Наверное, очень немногих миновало в детстве увлечение кладоискательством или собиранием цветных стеклышек и красивых черепочков. В археологии подобное занятие становится серьезным научным поиском.

Мрамористые такыры Кавата покрыты россыпями черепков, то тусклых, однотонных, то переливающихся радужными пятнами, украшенных резным или лепным орнаментом, многоцветными росписями. Все это, сверкая под знойным солнцем, похоже на разгромленную кладовую драгоценных камней из «Тысячи и одной ночи».

Мы находили на такырах металлические украшения, наконечники стрел, мелкую скульптуру из терракоты — обожженной глины.

Искусство поиска требует от археологов неустанной зоркости. Вот неказистый кусок серо-бурой глины. Так легко отшвырнуть его ногой и пройти мимо. А взглядишься — и у глиняного комочка окажется голова с ушами, горб, ноги... Да ведь это же терракотовый верблюд!

Нашли мы и барана, и лошадок. Грубо, примитивно сра-

ботанные, они напоминают игрушечные фигурки, какие лепят у нас на севере ребяташки из речной глины. Несомненно, что эти скульптурки — местного происхождения. Такой товар не стали бы привозить из далеких стран.

Но вот верблюды, нарисованные на изящном, тонком глазурированном черепке. Синий и зеленый, они идут друг за дружкой по дну тарелки. Судя по качеству черепка, это иранская работа. Так мы встретились с верблюдьим караваном из Ирана, который ожидали увидеть, подъезжая к Кават-кале.

Мы находили изображения рыб, птиц, животных.

Не хватало самого интересного — изображения человека. Может быть, он лежал где-нибудь совсем близко, среди бесформенных глиняных обломков, и ждал... Сотни лет ждал, что его поднимут живые человеческие руки... Наши многочисленные глиняные лошадки должны же были иметь всадников! И мы нашли их.

Назар, подобравший эту находку, завопил так неистово, что работавшие по соседству раскопщики кинулись к нему на помощь, решив, что его ужалила змея. Но вокруг него сновали только любознательные безобидные ящерки. Он держал на ладопи глиняного человечка, смешного, уродливого, обезглавленного временем, но самого настоящего.

Странное ощущение испытали мы однажды, когда заметили, что с такыра за нами пристально наблюдает чей-то немигающий глаз, миндалевидный, из-под тонкой, удивленно приподнятой брови. Это недреманное око принадлежало какой-то иранской красавице, нарисованной на блюде. Осталось неизвестным, понравились ли мы ей. Мы-то были от нее в восторге.

Подворачивая полы палатки, придвигая с грохотом чемоданы, волоча за собой пустые ящики, мы сходимся к столу. Обед — единственное время, когда все в сборе и можно обменяться новостями.

— А вы слышали, что Юрий Всесвятский на Топраке? Забрал бочку воды, арбуз, две буханки хлеба и уединился. Пишет этюды.

— Пожалуй, это единственный человек, о котором никогда не беспокоятся, что он заблудится в пустыне.

— Он все такой же тощий?

— Не смейтесь... Девушки любить не будут.

— Нужны ему ваши девушки! Он признает только терракотовых, преимущественно безруких или безногих, которых подбирает на такырах,

— А не пойти ли нам в воскресенье к Юрию в гости? Чего-нибудь прихватим ему из консервов. Машинной отсюда километров сорок, а напрямик и пятнадцати не будет.

В воскресенье мы увидели с высокого крепостного вала Топрак-калинского городища, что Юрий разгуливает по дворцовым залам не один. Отставая шага на два из почти-тельности, за Юрием следовал старик караванщик в мохнатой круглой шапке, с плетью в руках. Иногда он отбегал в сторону и, высунувшись в пролом стены, на всю пустыню выпускал пронзительный визгливый вопль, почти плач, но снова возвращался к Юрию.

— Какой, однако, впечатлительный старик, — пробормотал Назар, останавливаясь.

Мы не сразу догадались, что старик кричит на верблюдиц, пасшихся у подножия Топрака.

Навстречу нам, как легкая стрелка, вылетела остромордая, прозрачная от худобы туркменская гончая удивительной масти: ее белая от природы шерсть была покрыта не совсем собачьими узорами — зеленых, синих и розоватых тонов.

Назар потянулся, чтобы погладить ее, но сейчас же отдернул руку:

— Насколько я понимаю, Юрий об нее вытирает кисти.

Не в пример собаке, Юрий не спешил нас приветствовать. Он еще долго прощался со стариком.

Вблизи мы разглядели, что Юрий еще больше похудел, сильно оброс щетиной и что на груди у него болтается резиновый шланг, обмотанный несколько раз вокруг шеи.

— А что это, Юрий Витольдович, — вежливо осведомился Назар, — кашне у вас такое?

— Я больше всего боюсь потерять шланг. Без него мне воды из бочки уже не достать.

— А вода-то в бочке осталась?

— Да. Она у меня, — Юрий бросил на нас многообещающий взгляд, — в «цветущем» состоянии. Я сейчас вас буду угощать. Все равно у меня кончились белила. Поэтому я вас не выгоню.

Он забегал из конца в конец по громадному двору, то в одном, то в другом уголке приседая на корточки и быстрыми собачьими движениями разгребая песок.

— Я запрятал все запасы по разным местам. На случай, если в мое отсутствие кто-нибудь обнаружит тайничок, то чтобы в других уцелело. Я, правда, сам их все переизбаловал и в первые дни ничего не ел. Поэтому у меня почти все осталось. Уберите ваши консервы.

Пить чай Юрий пригласил нас во внутренние покои хозрезмшаха. В узком коридорчике, расположенном позади парадных приемных комнат и примыкающем к северо-западной башне, полностью сохранилось сводчатое перекрытие. Мы кое-как разместились все пятеро, прижавшись спинами к кирпичам более чем полуторатысячетлетней давности. По стенам и по потолку ползали маленькне ящерки, с любопытством поглядывали на нас.

— Здесь самое прохладное и уютное местечко во всем дворце, — не без хозяйской гордости пояснил нам Юрий.

— А не страшно вам одному в этом пустынном здании?

— Нет, нет! — замахал Юрий руками. — Но я здесь редко бываю один. Прошел слух, что на Топраке поселился праведник-отшельник, и ко мне являются разные посетители. Дама одна приходила. Странная. Хлопнулась на колени, ползает за мной и плачет. Я испугался. Но плакала выразительно, в духе страстей христовых Дюрера. Я Дюрера... не очень, но это — черт те что!

— Но там Богоматерь и Магдалина. Обе плачут. Кого вы имеете в виду?

— Я имею в виду ту апу. Я потом догадался. Это она просила исцелить ее от бесплодия. Смешно по-вашему?

Мы не сдержали короткого смешка.

— Я не очень похож на тигра?

— А вам бы хотелось?

— Я просто вспомнил, для этой цели раньше пролезали под тигром.

И в краеведческом музее, еще когда он был в Турт-куле, пролезали под тигриным чучелом. Не столь эффективно, наверное. Но живых было мало... А сейчас совсем не осталось... Было это давно, в тридцатые годы... Не смешно. Это значит, мы с вами никудышно работаем — местная интеллигенция. Не эффективно. Надо чаще выезжать, выступать по радио. Не стройте глупые рожи, — Юрий гневно дернул шланг на шее. — А я вам скажу...

Но не успел ничего сказать. Легкий шорох на потолке продолжался долю секунды, и на голову Юрия шлепнулась средней величины змейка, выплонула с перепугу ящерицу, которую начала заглатывать, и обе пустились наутек.

Наступая друг другу на ноги, мы с криком шарахнулись к выходу. Юрий досадливо отмахнулся.

— Не пугайтесь, — успокоил он нас, — это уже не первый раз. Она из семейства эф¹ и тут охотится, а живет в шахском гареме. Только, пожалуйста, не раздавите ее не-

¹ Укус эфы смертелен.

чаянно. А то приползет другая на розыски. Они живут парами и очень нежные супруги. Вы не дали мне договорить...

...Мы до того увлеклись оживлением Топрака, что даже начали прислушиваться: не донесутся ли до нас голоса хорезмшаха или его стражи?

Но вместо хорезмшаха заговорил Юрий:

— А сколько таких сокровищ, как наш Топрак, еще не найдено, не открыто? Ведь вся Средняя Азия — это же исторический заповедник. Здесь что ни шаг, то открытие. А что у нас иногда творится? Под носом у музейных работников бульдозеры скребут древнее городище. А на городище роскошным образом выступает планировка, чудесные сосуды целехонькими выскакивают сами из-под земли. Сколько губится — безвозвратно! — интереснейшего материала! — Юрий задумчиво покручивал свисающий с шеи кончик резинового шланга. Главное — привлечь, заинтересовать местных жителей. Они нам здорово помогут. Вот этот старик туркмен, которого вы видели и над которым изволили посмеиваться...

— Мы не над стариком, Юрий Витольдович! Мы над вами, — со всевозможной вежливостью уточнил Назар.

— Все равно, — отмахнулся Юрий, — этот старик протопал изрядный крюк по пустыне вместе со своими верблюдами, чтобы передать мне два античных сосуда и несколько монеток, подобранных на такыре. Я обязательно включу их в экспозицию музея.

Нам пора было уже уходить, чтобы наши кават-калиньские товарищи не забеспокоились и не стали разжигать на башнях сигнальные костры.

Мы очень спешили. Нам некогда было оборачиваться на ходу, но мы знали, что еще долго на могучей топрак-калиньской стене светлела худенькая фигурка Юрия, глядевшего нам вслед.

— Не машите при ходьбе руками, — донесся к нам уже издалека его тонкий насмешливый голос. — Не заденьте злого джинна. В темноте они обступают человека со всех сторон!..

У БЕЛОКАМЕННЫХ СТЕН

Назар подвязал брезент палатки, уселся против меня и хитро прищурился:

— Что-то я не пойму, защищаешь ты его? Родионова-то?

— Да не защищаю. Вам бы все только приговорить! К повешению, к четвертованию. В вашей категоричности

очень много поверхностного, скороспелого. Ну что пристал? А я даже и не сужу, а просто думаю.

— Раз ты в обществе — думай вслух. Мы все имеем право увидеть то, что видит наш старший товарищ такими отсутствующими глазами. Нехорошо зажимать видения.

— Беда в том, что в тех видениях я была часто с такими же отсутствующими глазами. Уж кого тянет на видения, тот пропащий человек. И если я что и замечала, то вскользь, боковым зрением.

...«Не то царевич Петр, не то царевич Алексей», — художники метко его прозвали. Многих он раздражал. И знал это, и плевал. Ни о ком столько не судачили. Никого столько не продергивали в карикатурах, на капустниках. Потому что это как-никак было явление, и надо было к нему относиться — отрицательно ли, положительно ли... А он оставался каким был. Цельности такой можно позавидовать. Убежденность свою отстаивал работой, кулаками, иногда хамски, чаще молча, презрительно.

Мастерством почитал верность натуре, точность, законченность. А все остальное считал — от лукавого, от лени, называл бездарностью, словоблудием. Даже и хитрость-то у него получалась всегда прямолинейная. Глаз и рука были натренированы, как ни у кого из нападающих на него... А глаголов «хабен» и «зайн» так и не осилил. Но тут дело сложнее. Мало кто в те годы к немецкому языку мог относиться безболезненно! Да еще к таким понятиям: «иметь», «быть». Не забывалось, что они хотели иметь и кем хотели быть.

Но это кто-то рассказывал про глаголы. А я помню его не слишком складную верзилистую фигуру на фоне прекрасных белокаменных соборов, расписных и синих куполов, заснеженных старых лип и воронья... И еще на фоне тесно составленных стеклянных баночек на подоконниках, и грязных кастрюль, и пакетиков, и кульков тех пятнадцати человек разного пола и возраста, которые проживали в монастырских сводчатых палатах последнюю военную зиму, на полдороге к дому.

Но тут требуется набросать всяких кадров с обобщениями и деталями. Многие кубики пространств — они задымлены испорченными печами и морозной мглой, врывающейся с улицы, и овеваны хлопаньем и взвизгами дверей и запахами не то чтобы аппетитными, но пищевыми, и ошалелыми сквозняками в коридорах, и адской холодрыгой уборных... Особенности интерьеров с узкими языками пола вдоль составленных почти вплотную кроватей и чемоданов, на ко-

торых тоже стоят супы и кульки с финнками вместо сахара и пайки хлеба.

Очень разнообразные ракурсы и силуэты людей, с обвисшими плечами, в мешкообразных брюках, сидящих на своих кроватях и жующих после посещения столовой яичный порошок. Несчастья и потери, накопленные за четыре года скитаний, в приближении к дому как-то удивительно дружно оттаивали и заболели с новой и, может быть, впервые с полной силой. Просто эти раны все вдруг собрались вместе и выстроились в полный рост на фоне обычного северного русского пейзажа в природе и на фоне городских условий быта — русских же, а не азиатских. Тут все было свое, слишком родное, обычное, помнившееся, довоенное, чтобы не чувствовать, что оно уже навсегда ушло. Напрасно так бойко высмеивала в те годы наша литература эвакуированных. Ленинградский тыл стоил фронта. И для многих было бы легче, не выезжая никуда, умереть в своих стенах. Труссы сбежали раньше. А тех, кто теперь, возвращаясь, обитал в белокаменных палатах, вывезли из Ленинграда в феврале сорок второго года. . . Многих хоронили еще по дороге и продолжали хоронить в горячей пыльной земле Средней Азии, где на переживших все самое тяжелое в Ленинграде обрушились еще и тиф, малярия, пеллагра. . . И, умирая, они лишены были той не исчисленной никакими единицами измерения поддержки, какую дают родные камни, знакомые силуэты улиц, блеск Невы, — атмосфера влажная и туманная, пасмурно-нежная, ее и не чувствуешь даже, и она ничем не похожа на распластывающую, требовательную энергию южного солнца, от которого надо прятаться вместо того, чтобы охотиться за ним. Никогда столько людей сразу не любили так нежно Ленинград, как в те годы. И произносили его имя особенными голосами. А еще у них так же продолжали умирать истощенные дети и так же приходили им похоронные с фронта.

Все-таки Родионов мне чем-то нравился. И не потому, что я была, наверное, единственным человеком в этой комнате, с кем он не поскаandalил, — я просто не попадала ему в поле зрения; и не потому, что он не приставал ко мне — тоже единственный человек в этой комнате — с дурацкими вопросами, почему я лежу целыми днями на кровати, укрывшись одеялом с головой, а по ночам ухожу в лес, вместо того чтобы сидеть на лекциях или в мастерской, — ему до этого не было дела, и все и всякие лекции он презирал. Может, мне и нравилось, как он презирал.

И пока в этом бивуачном состоянии одни рыдали, другие спешили занять посты и не упустить шанса, третьи жени-

лись заново, иные пили с горя или просто по святой традиции, иные делали все как-то наспех, частично, начерно, а иные все устраивали рабочее место и создавали базу, чтобы начать работать, и все слушали Пятую симфонию Чайковского, и все писали с упоением наконец-то настоящие русские пейзажи с мохнатыми лошадками, бабами в тулупах, воронами на снегу; и все стояли в очередях, мерзли, спорили из-за посуды, пайков, места у окна и поневоле узнавали друг о друге массу ненужных вещей: у кого какая посудина под кроватью, кто как храпит ночью, на чьей шее засосы от поцелуев, какой намечается новый флирт у художника «Икс» и у профессора «Игрек»; а потом все снова собирались у репродуктора и, уже не ругаясь и не ссорясь, слушали последние сводки с фронтов и залпы салютов; и пока нам по жалким, смятым картинкам в книгах или на отдельных листах — одинаково убогой полиграфбазы — толковали про глубину цвета и необычайное богатство колорита классиков, — меня изнурял страшный голод юности, осаждали тысячи сжигающих вопросов о жизни. На них требовался ответ сейчас же, немедленно, для того чтобы продолжать дышать. Многие вызываются на них ответить, и никто никогда не может ответить. И даже никто не подскажет, что ответчиков искать не нужно — их не бывает, что отвечать можно только самому вопрошающему, и отвечать всю жизнь.

Картины Родионова не утоляли мой голод. Может, раздражали его сильнее. Но сам Родионов? Он помнится мне на фоне двух старых профессоров, которые спорят об аркбутанах, и желтые облака яичного порошка выпархивают из их ртов... А два других архитектора, вылавливая со дна стеклянных банок жалкие лапшинки, обсуждают проблему городов будущего. Их более всего в жизни занимает вопрос рассчитывать ли квартиры на многосемейных, малосемейных или вовсе одиноких людей? Им важнее всего сейчас решить, как целесообразнее организовать коммуникации. Они спорят, сидя на ногах третьего профессора, а тот задыхается от приступа грудной жабы, возможно и ложного, потому что в эвакуации он вернулся к морфию, с которым было когда-то покончено, и теперь жаба — единственный способ выпросить у замученной, сиреневой от усталости жены укол в ягодицу. И тут же на полу рыдает его младший сынишка. И, конечно, я еще слишком молода, чтобы не сочувствовать, и буду ухаживать за ним всю ночь, не понимая, что замученное лицо жены, невыносимо привычное, унылое, одинаковое, ничему не удивляющееся и не могущее ничем удивить, вызывает у больного потребность начать новую

жизнь и пайти спасительницу помоложе. Но я все же во время разгадаю этот маневр, и спасти будет другая.

И я помню Родионова на фоне вдрызг пьяного скульптора с лицом боярыни Морозовой, которого встретила где-то уборщица Даша и дотащила сюда, в семинарскую нашу комнату. Но сначала она дотащила огромную бутылку с великим тщанием и осторожностью, а потом уже кое-как — втычки — обладателя бутылки. Но, взвалив его на койку и стаскивая с него сапоги, Даша вдруг уронила свою голову и заголосила отчаянно и неудержимо, и все побросали свои дела, и все слушали и кивали головами.

— Пять лет уже с мужика своего пьяненького сапогов-то не стаскивала...

И помню Родионова на фоне архитектора, похожего на кипящий кофейник с узким высоким туловом, вечно булькающего от потребности высказаться, от избытка идей. Он порхает по коридору и по лестничным клеткам, напевая, и потом, затаившись в уголке ненадолго, подкарауливает какую-нибудь жертву, хватает ее и уволаскивает в темный угол, и бочком, бочком, насканивая на нее, как ястребок, пресекает все ее попытки выскользнуть. И сокровенным шепотом рассказывает ей, что пилоны Софийского собора никак не могут погашать распор купола, потому что он погашается самим куполом гораздо выше... И это элементарно и ясно любому школьнику, который в состоянии вычертить простой параллелограмм сил. И давно уже пора пересмотреть историю архитектуры, которая выше головы набита подобным вздором и нелепостями, как средневековый «Молот ведьм».

Этот архитектор с блеском защитил свою диссертацию и в таком же петушково-ястребином стиле насканивал на почтенных своих оппонентов, не щадя их седин, и перышки их летели по ветру... Диссертант был слишком стремителен и подвижен и не мог устоять или усидеть на одном месте, и даже во время защиты носился по всем сводчатым коридорам в азарте и... в позаимствованных у кого-то недырявых и незаплатанных галифе, которые трепетали, как крылышки стрекоз, когда он подскакивал к какой-нибудь студенточке в величайшем возбуждении: «Но миленькая моя, но миленькая моя, дайте ручку, дайте-ка, вот видите, какая у меня грудная клетка, певческая, певческая клетка, стакан можно поставить, ей-богу удержу, не уроню, чувствуете, чувствуете? И стру-уны ве-ещие боя-ана», — выводил он звучным баритоном и мчался дальше, перескакивая через три ступеньки. А если бы диссертацию провалили? Он бы скоро забыл о ней. Вряд ли он и защищал бы ее, если бы не зверский аппетит, который у многих развился в годы войны. Дис-

сертация прибавляла граммы яичного порошка и фиников. Он слишком полон был опровержений, гипотез, расчетов, поправок, он разбазаривал идеи с такой легкостью, что никому и в голову не приходило вникать в них серьезно, а уж если находились такие чудачки, то... с изумлением замечали, что все, что он говорит, чрезвычайно интересно и, по-видимому, правильно, но... А где ж он сам? На другом этаже? Или на футболе? Или услужливо тащит знакомой даме узел с грязным бельем в прачечную, объясняя ей при этом, какие ошибки допустили архитекторы при сооружении Биби-ханым на сейсмически ненадежной почве. Он просто органически не мог долго усидеть за письменным столом. И превыше всего дорожил хорошим настроением, и ни разу никто не видел его унылым и скучным.

Он вечно устраивал на работу каких-то алчущих и жаждущих. Иногда они начинали его потихоньку самого выпихивать, он сердился и переходил на другую работу, но не портил себе из-за подобных пустяков футбольного сезона. Многие годы он воевал, спорил, плевался, чертыхался, схватывался насмерть с известным ученым на всех совещаниях, обсуждениях, собраниях, пока тому не стали угрожать столь крупные неприятности, что все его поклонники от него отшатнулись. И тогда архитектор стал усиленно зазывать его в гости и кормить пирогами.

— Я против, против. Но, миленькая моя, миленькая моя, но это же не лучший научный аргумент...

Но это тоже было позже. А тогда... А тогда ученый этот, весь состоящий как бы из разнонаправленных тиков, наэлектризованный более, чем электрический скат, темпераментный в духе кватроченто, заслуженный острослов, бросал на ходу своим взрывчатым тенорком: «Пережили блокаду, переживем и родионовское искусство».

И еще я помню Родионова на фоне другого архитектора, молодого, мягкохарактерного, в подштанниках, очень деликатного и щепетильного, просто не успевающего натянуть брюки, чтобы подскочить к новорожденному сыну, зашедшему в крике, который, зажимая уши, терпят остальные четырнадцать обитателей комнаты. Он похоронил одного за другим уже троих детей в эвакуации. И потому малейший всхлип этого младенца вызывает неудержимые рыдания молоденькой матери. Этому архитектору провалили диссертацию за то, что города его были слишком будущи, за непрактичность, нереальность, за насмешку — которой не было! — над тысячами людей без крова, которым якобы было не до полета, провалили, забывая, что именно тогда-то выше оно и взлетается и мечтается, когда дымится кругом развалины.

... Но вопреки всякой логике суровости и аскетизму войны, наступает все равно среднерусская весна. Потому что девочки из СХШ (средней художественной школы) — вопреки логике тощего супа — хорошеют, сидя на подоконниках лестницы, и накручивают все больше локонов, с каждым локоном все более одевчиваясь и притягивая к себе взоры. И грудными и колокольными становятся их голоса.

Немного напоминал огородное чучело Родионов. И одежда на нем — плащ ли, халат ли — казалась не заполненной объемами, как у куклы, из которой Образцов вытащил руку, и складки колебались, когда он двигался, как будто не было под ними тела. И все-таки слишком много занимал он места на таком маленьком пространстве, — ведь тут же в общежитии стоял и его мольберт, и с рассвета до темноты просиживал он за работой, будто ничто происходящее вокруг его не касалось. Будто кроме полотна и красок и натуры вообще ничего в мире не бывает.

Я поневоле подглядывала самую интимную сторону его жизни. Нет, не семейную — та была на виду у всех: и ссоры, и примирения, и измены. А более интимную, рабочую. Но разве другие не работали? Работали. Но сейчас ведется речь не о других, а о нем. А что еще? Ну, еще по утрам, загребая своими излишними руками и ногами, он обнимал и целовал всех по очереди детишек, которых много накопилось от разных мужей у его красавицы жены, включая и самого Родионова. Дети любили его. Бог их знает, как они там помещались все на единой кровати, широкой, как деревенские полаты. А потом он писал, писал, писал, иногда насвистывая. И вот на этот свист, как змея из своего убежища, я выползала из-под одеяла.

— Вы знаете, что вы насвистываете, Миша?

— Нет, Женечка.

— Бетховенскую сонату, тридцатую, E-dur. Так и шпарите такт за тактом, и хоть бы раз сбились.

— Писал вчера в одном доме портрет. Там играли. Не знаю уж, что там... — загадочно улыбался он в свои кошачьи усы.

По свисту за работой я точно знала, когда он посещал этот дом. Между койками бродил его больной малыш в незастегнутых штанишках, иногда присаживаясь на палитру. Хватал за рукава всех выходящих мужчин и тянул жалобно, уныло, безнадежно: «Ива-ан Иваныч, вы в уборную? Скажите моей маме, чтобы она скорее шла домой».

Мама все не шла. А уборная, замерзшая, с непрерывным злым шумом, с периодическим ураганом воды в унитазах, представлялась местом страшным и где-то на самом краю

земли. И малыш, придерживая свою несгибающуюся, с туберкулезным свищом ручку другой рукой, теряя всякую надежду на утешение и ласку, выражал свой протест против всего скучного, холодного, болящего в мире непрерывно-заунывным речитативом. Он тянул целый день это свое бесцветно-тоскливое «ма-ма», а к вечеру у него уже получалось «ва-ва», когда он вовсе выбивался из сил. Успокоить его, кроме матери, никто не мог. А мама проводила этот мучительный для всего общежития день не в уборной, а в Москве. В дни, когда Родионов насвистывал сонату, мама возвращалась поздно — убийственно красивой, нарядной, пахнувшей духами, влекущей и загадочной. Вот тут я тоже выползала из своего убежища из-под одеяла, чтобы не упустить редкостного зрелища: посмотреть на Варю с такими томными тенями на прекрасных чуть впалых щеках и с таким дурманом во взоре. В ее нарочитой небрежности был и вызов и расстройство. Она еще серебристо смеялась и как бы изнемогала некоторое время, стараясь не смотреть в Мишину сторону. Изменяла она с неохотой, из воспитательных соображений, чтобы напомнить мужу о своей власти над мужчинами. Ее тянуло к больному ребенку неудержимо, и она с трудом сдерживала себя, чтобы не броситься к нему бегом, а еще постоять перед зеркалом, в которое мало что было видно, поправить шаль или прическу, сбросить в руки подскокивших мужчин овчинный тулуп так, будто это горностаевая мантия, и принять на себя огонь восхищенных взглядов.

Но, бывало, Родионов сидел за мольбертом молча по многу дней. И Варя возвращалась из Москвы не царственная, но безудержно сияющая, вся нагруженная пакетиками, которые так и сыпались из ее рук, карманов, сеток. Она была счастливая и прекрасная. И дети вокруг начинали тоже смеяться, и никому в голову не приходило всхлипнуть, даже если кто-нибудь прищемлял палец. Это означало, что Родионов продал картину и Варя обошла все коммерческие магазины. Покупки сваливались на кровать, и каждая вызвала столько междометий, всхлипывающе-восхищенных вздохов, прерывистых и восторженных, и все это было так выразительно, что стоило задуматься, не преждевременно ли изобрело человечество членораздельную речь, которая гораздо бледнее и не так точна. Варя не умела радоваться одна. И даже в семейном кругу, хотя его никак нельзя было назвать узким! Довоенный дух копченой колбасы, или миндального антивоенного печенья, или тонкокорых апельсинов эпохи длительного прочного мира и крепких международных торговых связей заставляли сердца учащенно биться. Люди

с сильной волей устремлялись к дверям в промерзшие коридоры, на лестничные площадки. Но Варя преграждала дорогу собственным телом, раскидывая свои обольстительные руки и выдвигая на первый план совершенные формы зрелой женщины-матери, туго обтянутые тонким летним платьем, голубеньким с цветочками, составлявшим единственную ценность ее гардероба и заметно проредевшим уже на правой груди и под мышками. И так нежно и изящно играл овал ее лица, тронутый задушевной милой улыбкой, — устоять было невозможно. И тогда начинался пир горой. И сыро со слезой жевали не менее усердно идейные враги Родионова, и даже щуплый художник с четвертью лица от худобы, который только что лез в драку с Родионовым за то, что тот без разрешения схватил его подрамник с загрунтованным уже холстом и записал его пейзажем, открывавшимся из окна нашей комнаты, пока щуплый ходил и выбирал место во дворе.

Враги, правда, утешали себя тем, что поддались лишь сбоянию Вари. Но ведь и о Варе они между собой поговаривали по-разному. Натурщица. Малокультурная. Кругозорчик-то куриный. Да и не так уж она красива. Маленькие глазки. Лоб низковат. Какие там мыслишки за таким лобиком? Детей рожать — ума не надо. Вот скулы выступают еще. И линия носа неправильная: не то что курносоват, но какая-то вздернутость, взволнованность имеется.

Родионов без счета ее писал. Портретист, которого ценили как раз более всего за сходство, за точность. И все-таки ни в одном портрете Вари нет. Собратья Родионова с удовольствием это-обсуждали: все потому, что тупица и бездарь; как раз то, что ему надо; кто что видит; корова и корова, жена, мать и больше ничего. Как будто для того, чтобы быть хорошей матерью и женой, не нужно никаких достоинств!

Такого типа женской красоты в русской живописи нет. Зато везло ему в русской литературе. С таких женщин писались Анфисы, Грушеньки, Настасьи Филипповны, Аксины. Быть может, особое отличие Варино было в том, что она была добра.

...В Абрамцеве есть небольшое проточное озерцо на дне небольшой долины. Окружено оно лесами, и дорога вьется вокруг него. Хозяева Абрамцева недаром славилась вкусом: оно так и притягивает художников, всегда это озеро кто-нибудь пишет или рисует и по сей день. В разное время года, при всякой погоде, вечером, утром, в полдень. Каждый раз оно новое, и не хочется от него уходить, а когда все-таки уходишь, долго еще оглядываешься сверху, с дороги, из-за

деревьев. В чем же его прелесть? В благородной сгармонизованности всех черт. В приветливости, чуткости ко всем изменениям в мире, к освещенности, к дуновениям ветерка. В том, как связывается оно с обрамляющими холмами и лесами. В выразительности их очертаний и соотношений, допускающих самое полное выражение всех стихий. Вода — так уж вода! Ее немного, но о ней узнаешь очень многое. Так же богато небо, то отраженное озерцом, то окаймленное зубчатым лесом, то сквозящее через зеленые воздушные решетки листвы, а зимой — сквозь переплетения веток... Все очень уместно, связано, все помогает друг другу. Дорога очень любит это небо, горы очень любят это озеро. Они возникли в наилучшем сочетании, и взаимодействие их бесконечно разнообразно, ненавязчиво. И все вместе приспособлено к глазу и к росту человека, к его кругозору. Там очень много написал пейзажей — и неудачных — Родионов. Вот это озеро обладало секретом Вариной красоты.

Красивых лиц очень много. Но чаще они бывают заунывны и забываются быстро. Смотреть на Варю доставляло радость. Хотелось еще и еще ее увидеть. Издали, вблизи, в фас, в профиль. И к лицу ее замечательно были подобраны цвет волос, голос, все интонации, все движения. Вари. В ней отражалось все, как на зеркальной глади абрамцевского озера. Огромный мир чувств таился в этом лице. Оно притягивало к себе множеством жизней, в нем заключенных. А уж было ли все это на самом деле так?

Была в ней еще одна тайна: некий экстракт женственности. Но не чувственности, а какой-то беззащитной, трогательной податливости, отзывчивости, мягкости. Все движения ее лица были страстны, но как-то затаенно стыдливы и скромны. Лицо с такой нежной впалостью щек, чуть страдающим изгибом губ, высокими летящими бровями было кротким. Бесхитростная домашняя Варя, у которой на руках даже самый разоравшийся чужой больной ребенок моментально утихал. И вот за цепью обыкновенных действий, поступков открывался какой-то иной смысл, особый контакт с миром. Так же, как и звук голоса обладал магическим действием, нес особый смысл, помимо логического, составленного словами. Что бы там ни судачили про ее кругозор и количество прочитанных книг, но обладателями таких лиц бывают лишь натуры богато одаренные. И Варя, воплощение природного артистизма, умела превращать в источник обаяния и грязную кастрюлю, которая попадала ей в руки, и стоптанный задник башмака. Она бы удивилась и не поверила бы, что все это называется художественным вкусом. Даже когда она кокетничала, было это без малейшей искус-

ственности, без игры и штампов, без искусственных оттрепированных, повторяющихся манер, которые всегда есть в запасе даже у самых красивых и умных женщин и почти у всех актрис, знающих, что такая-то улыбка или взгляд проверены — им идут. . .

Варя была идеальная натурщица. С нее можно было писать римскую матрону, одалиску, богоматерь, семидесятницу, комиссаршу эпохи военного коммунизма, знатную доярку, партизанку, заслуженную учительницу, летчицу. Ей надо было только примериться, присмотреться к костюму. И для этого пройти через зимний двор в другой корпус. Только там было большое зеркало в полутемном вестибюле.

О, это было таинство, когда она прохаживалась, вглядываясь подолгу в зыбкую зеленоватую страну зазеркалья, что-то поправляла в прическе, обдергивала рукава и поворачивалась то спиной, то боком, подымая руки, выбирая походку, осанку. И вдруг из глубины, словно с самого дна туманного, затянутого желтой ряской озера, всплывала ей навстречу другая Варя — всю жизнь доившая коров в колхозе имени Ленина, или служившая фрейлиной при дворе Екатерины II, или великолепная барыня ампирического века. С каким блеском в глазах, с каким упоением проделывала Варя все это! Но Мише, который писал с нее всех женщин и мужчин, не требовалось так много. Ему нужен был лишь костюм и полная неподвижность. Позы он «ставил» ей сам, и она покорно деревенела, часами не шевелясь, замерзая в тунике римлянки, истекая потом в нахлобученном платке и тулупе партизанки.

Она и не думала критиковать или сомневаться в Мишиной правоте. И ограждала свои добрые отношения с людьми тем, что она всего лишь жена и мать и в учениях не смыслил, а Мишу своего любит и добра ему желает.

— Почему вы не стали актрисой, Варя?

— Женечка, ведь для этого нужен талант, — с такой грустной покорностью говорила Варя, будто даже подозревать ее в талантливости совершенно противоестественно. — А я ведь только красивая. . .

Кто-то сумел ее убедить в этом и испугать. Неужели такой же вот какой-нибудь Миша?

— Я ведь умею жить только настоящим чувством, а не придуманным. Попробовали мы с моим первым мужем быть актерами. Он очень рано умер. Все это вместе с ним и кончилось. Мы совсем молоденькие были. Я очень любила его. И Мишу тоже люблю. Остальных нет. Позволяла себя любить. Я ведь очень ревнивая. Я ведь знаю, как это тяжело и больно — быть нелюбимой. Но. . . — Лицо и голос у нее

становились такими, будто она говорила и смотрела откуда-то издали, не в этой комнате общежития с пятнадцатью койками. — Нет, — вспыхивала и смеялась она, — лучше просто крутить, чем... позволять себя любить. А чтобы любить, тоже нужен талант. Это не каждый может, а думают, что каждый.

— Да уж, Варя, кому и знать это, как не вам, — доносился с какой-нибудь койки мужской голос.

— А вот и знаю, а вот и знаю, — серебристо смеялась Варя, — и не жалею, что знаю. А уж если муж мне прощает, вы-то кто, чтобы учить-то меня? Это вы от учености считаете, что пусть лучше от женщины плохо пахнет, лишь бы она не раздевалась и не мыла под мышками в общей комнате. Безнравственно! А по-моему, самое нравственное — взять да отвернуться... Я по крайней мере отворачиваюсь, когда вы свои баночки из-под кровати вытаскиваете. Мне не мешает, но и не интересно несколько подглядывать да подслушивать.

— Варя, Варя, это неженственно, — возмущался хор мужских голосов, — цинизм!

Не слишком мужественно было и на Варю нападать за ее флирты, хотя бы потому, что каждый был не прочь приударить за ней.

Любить Варя умела. Быть преданной, заботливой, благородной, немелочной. Умела прощать, терпеть, быть снисходительной и великодушной и предъявлять свои права. Умела быть счастливой. Она так радовалась влюбленным парам, большим чувствам других людей, красивым женщинам, здоровым детям. И так хорошо понимала, что пути сердец причудливы и ненадежны, подчинены неведомым законам или вовсе беззаконны. И боль и поражения на этих путях так же неизбежны, как очарования. Ее раздражало ханжество, и тогда она была беспощадна.

— Вы только подумайте, — объявляла она всем желающим и не желающим знать, — Скупцов-то хотел меня выставить в заднюю дверь! Чтобы я с его Кисонькой не встрети-лась, Скандальчика испугался. Скандальчик от любимой женщины — это же прелестно и приятно. Если он ее любит, а не боится только! Он холостяк? А я семейная. И то за всю жизнь на свидание ползком или в заднюю дверь не ходила. И не пойду. А раз уж пришла — мне ворота отворяйте. И прятаться по углам не буду. Пусть ревнует Родионов, пусть бросает — сам виноват! Скупцову я больше нужна, чем он мне. Все же это понимают. По мне — одно у него достоинство, что живет рядом. Ребенок во сне заплачет — услышу, прибегу. Конечно, я навстречу Кисоньке вышла, даже волосы не оправила — пусть думает больше, чем и

было. О-ох, — она проводила рукой по волосам, — теперь всю ночь утюги будут через окно швыряться или книги, что ли, тяжелые, тоже как утюги, — ученый же он не какой-нибудь, лауреат. Надо хоть ограждение на улице поставить, не зашибли бы кого...

Мусорные ведра, толчея, орущие дети, свои и чужие, дырявые чулки, отсутствие денег на завтрашний день, распутица, в которую без галош из дому не выйдешь, а у Вари были валенки, но не было галош, изоляция в четырех стенах — это все пустяки, не портившие настроение Вары. «Было бы только завтра, а кусок хлеба найдется, — лихо заявляла она, засучивая рукава и подтыкая юбку, чтобы мыть пол. — Уж если в блокаду не померли, теперь-то выживем как-нибудь». Не плакалась она и на то, что Родионов откровенно шел на скандал, и на то, что в Академии его выставят из аспирантуры, где надо сдавать философию, иностранные языки и методологический минимум. «Моя философия тут», — он показывал на ящик с красками.

Потеряв надежду на отдельную комнату и на отдельную мастерскую, которую тоже можно было бы превратить временно в комнату, и прежде всего в спальню и детский сад, Варя, терпимая к самым разным привычкам и причудам не отличавшихся чистоплотностью мужчин — обитателей комнаты, — приняла, однако же, свои меры. В один прекрасный день, разобрав невероятные нагромождения кастрюль, банок, склянок, пакетов на широком подоконнике, она скребла, мыла, чистила энергично, воинственно, напоминая в этой роли не домохозяйку — Валькирию. Мужчины восхищенно потирали руки:

— Домовитость у женщин в крови!

— Правильно, правильно, Варя, — одобряли ее со всех коек, вместо того чтобы помочь.

— Думаете, я из-за чистоты? Мне же сидеть с детьми всю зиму, как заключенной. Должна я света белого хоть кусочек увидеть? А-ах, смотрите-ка, смотрите-ка, опять девки-искусствоведки забежали, а? Ну-у! Не иначе как Девяткин приезжает. Он же холостяк и полковник! Интересный, крупный мужчина. Вы посмотрите, ох, опять бедняжка Черванадзе мерзнет, ждет-пождет своего Чернобородого, и пуговицы уже не застегиваются на пальтишке. Зимнего-то нет, видно. А ему и дела нет! Все равно, наверное, жениться-то придется. Зря только он ее мучает, и не ее жалко, а ребенка. Чему смеетесь? Думаете, на пользу пойдет это ему, что мать мерзнет целыми днями, мучается? Родится больной какой-нибудь... А эти-то Зайкович уже откровенно вдвоем ходят. Мужу-то небось не написала. Вернется с фронта, что же его

ждет? Лучше бы написала. Может, он там кого-нибудь тоже найдет...

Варя знала, как жестоки бывают законы сердца и как неизгладима память чувств.

— Женечка, ну не щадите меня, не жалейте, скажите уж правду, как женщина женщине: видели вы его, когда в Ленинграде-то были, как он разгуливает по набережным с этой? Скажите, лучше она меня? Красивей, моложе?

— Варя, не знаю я ее. Так, издали, .. вообще-то. Ну, старая гримза. Женщина блокаду пережила, какая же она может быть цветущая, красавица? Ну... в чернобурке и блондинка, так там все блондинки, потому что седые и крашенные.

— Блокаду... — горько говорила Варя, — будто мы ее не пережили. Самое тяжелое... В том ли моя вина, что за ним очертя голову поехала? Для него и для ребенка поехала. Эта... ну что ж, ну пусть утешится, истосковалась женщина за войну, всех потеряла, последний свет для нее. Я не осуждаю. Но... что ж, я не жена своему мужу? Все равно я ей Мишу не уступлю. Где бы ни гулял, ко мне придет. И что это война с мужиками делает? Не знаю, как это объяснить, но и от войны это. Все — бешеные.

Я не могла только сказать Вале, что ни с кем он не здоровался, потому что никого не видел, когда ходил по пустым набережным пустынного Ленинграда вдвоем с этой дамой. И было в них что-то такое, над чем не хотелось смеяться и зубоскалить, и было в них что-то такое, о чем хотелось сказать: вот мужчина и женщина, пережившие страшную войну, страшные потери и смерти и нашедшие друг у друга защиту хоть ненадолго и силы жить дальше. И еще хотелось сказать, что не они проходили сквозь Ленинград, а Ленинград проплывал сквозь них со всеми пустынными набережными и облаками над Невой, раскрашенными корпусами кораблей, с мешками и досками над Медным Всадником, — Ленинград, весь в голубоватых ватниках и в шинелях...

И на потеху всем кому не лень на столик проходной Академии художеств, где все всё читают, падали злые, отчаянные и горькие Варины телеграммы: «Перестань путаться с Элеонорой. Я беременна. Возвращайся». Но Варя была еще по-своему мудра, зная также, что жизнь никогда не останавливается и не кончается даже на великих потерях и что слишком долго рыдать на поросших травой могилах нельзя. Она по-своему старалась утешить и меня, зная, что и самая философская возвышенная тоска в юности не бывает беспредметной.

— Не понимаю, и чего только зевают мужчины, — вкрадчивым голосом произносила она как бы в пространство, когда народу собиралось побольше, а я выходила из комнаты, — когда тут такая очаровательная девушка тоскует? Вот я вчера посмотрела, она волосы сушила у печки: будь я мужчиной — влюбилась бы. Я вообще люблю все красивое. Ты бы, Миша, написал ее.

Миша неопределенно соглашался, что да, мол, неплохо бы, но ни его, ни меня не привлекала такая перспектива.

Он писал с зари до зари, и щеки его надувались от упрямства. Тогда он был не в чести. Его грозились выставить из Академии. А он держался за нее, выужден был держаться: семью такую большую надо было как-то кормить, устраивать...

Он писал без конца Варю и — ну, вы все знаете его эти разноцветные муляжи, где все вровень: и лицо женщины, и лацкан пиджака, и ножка стула.

Однажды только Варя позволила себе замечание, не подозревая, как важно то, что она говорит. Вернувшись с коротенькой прогулки, которую разрешил ей Миша во время затянувшегося сеанса позирования, она сказала, заигрывая, с искорками в голосе, из чистого кокетства:

— Между прочим, говорят, что оригинал лучше портрета.

— Кто говорит? — зло фыркнул в кошачьи усы Родионов.

— Собратья твои, художники.

— Дураки они, ты мне мешаешь работать со своими глупостями, не разговаривай...

Варя покорно вздохнула и замерла, стараясь даже не дышать. Если бы она могла, она вошла бы в полотно и растворилась в красках, как это бывает в фантастических историях, ради Миши не пожалев себя.

Я не виновата, что проникала в чужие тайны. Это получалось само собой. И, может быть, даже от сочувствия им обоим. Почему у него не получалась Варя? Что ж, он не любил ее? Не любовался ею? Не чувствовал ее обаяния? Любил, конечно. Бросил другую семью ради Вари, принял всех ее детей. Доказал жизнью, но... не живописью. И не так все это просто.

Я поневоле видела, как он работал. Я думаю, это давало больше, чем слушание сильно теоретических лекций на ту же тему. Было очень поучительно смотреть, как он работал. Очень жестко в отношении самого себя, очень дисциплинированно. Никакой отсебятины. Он держал себя за горло, строго вел свой художественный инстинкт всю дорогу, как

огромного дога в колющем ошейнике. Никуда от натуры — тютелька в тютельку. Все силы были положены на точность. Стрелок нацеливается в десятку — так он работал. И все-таки прорывалась какая-то стихия. Нечаянно попадало на холст еще что-то — может, невольное восхищение, может, нечто заложенное в самой природе вещей. Ведь, черт подери, мир для художника — это «вещи в себе», превращаемые в «вещи для нас»... Невозможно было не растрогаться Вариной красотой и теми образами, которые умела создавать она; нельзя было равнодушно смотреть на абрамцевское озерцо или на верхушки белокаменных соборов среди заснеженных ветвей... Очень трудно не впасть при этом ни в какую настроенность, а остаться холодным и точным, как фотоаппарат. Я-то думаю, что и фотоаппарат не всегда остается равнодушным. И можно было бы написать мемуары фотоаппарата, прожившего интересную жизнь с каким-нибудь путешественником или режиссером...

И при самой железной дисциплине, прямо-таки монашеской, при идеальном аскетизме, не допускающем никакой фантазии, все-таки что-то прорывалось в живопись — сами краски это делали, ведь и они тоже обладают своим характером, своими хотеньями и страстями. И вот эта незаконченная живопись, подмалевки или наброски, этюды очень часто оказывались живыми, интересными, с настроением и увлечением и колористическими находками. Но!!! Все это он считал минутной слабостью, которую надо преодолеть. Еще можно было выбирать дорогу, еще не все гайки были закручены, и вот тогда было самое интересное! Я даже до пояса вылезала из-под одеяла, обычно же высовывала только нос. Я до того донаблюдалась, что уже заранее знала, к какому тюбику он потянется, какую краску возьмет с палитры, как положит мазок. Если много смотреть, такое «соавторство» приходит само собой.

Беда в том, что он не считал это состояние «искусством», достойным быть «произведением», «вещью». Но, может быть, ему самому было жаль расстаться с жизнью, которую он создавал?.. Он медлил. Он обычно делал маленький перерывчик в этот момент, чтобы перекусить тут же что-нибудь наспех, навернуть полбатона или из солдатского котелка похлебать затирухи.

Или они устраивались вдвоем с Варей на краешек подоконника и обсасывали тщательно каждую косточку селедки. Это красиво очень было, когда они ели на подоконнике вдвоем селедку над обрывком смуглого пергамента или яркой обложки «Огонька», в золотистом свечении теплого интерьера на фоне обсиневших веток и голубоватой зимней

бесконечности. Рядом с русой гладко причесанной головой Вари даже его неподвижное неправильное круглое лицо казалось значительным, и вдруг выяснялось, что у него очень большие карие, как у сеттера, ореховые глаза. Иногда он еще расхаживал на своих длинных ногах по комнате. Они особенно казались длинными оттого, что и волосы — тогда это было не частое явление — свисали тоже очень длинными черными обсосками, как лохматые уши у сеттера, и оттого, что он слегка сутулился, туловище его казалось короче. Но это хождение сопряжено было с опасностью для соседних чемоданов и прочих штук.

А потом... я ныряла с головой под одеяло. Мне не хотелось видеть, что будет дальше. Я и так знала. И мне от этого делалось нехорошо, обидно, тоскливо. Как в детстве бывало жалко загубленной мальчишками птицы или забитого камнем золотоглазого лягушонка. На последнем этапе живопись превращалась в мертвопись. Не всегда, но часто. Ну вот то самое, из-за чего студенты пускали на его картину на выставке гусениц — так написаны были листья над портретом Лермонтова, который был к тому же безмерно туп и самодоволен, а потому и физически противен.

Но мало ли художников, создающих плохие картины? Не на всех же так свирепеют собратья и зрители. Я думаю, особенные нападки вызывал он тем, что прежде всего отличался огромным умением, которого (чаще!) не было у остальных. И это раздражало, досада брала: «Мне бы твои глаза да твою руку, я бы...» Было, однако, несколько картин, в которых он сумел остановиться, не убить ради мастерства и точности самого себя и свою живую любовь — ведь любил же он и ту сонату Бетховена, значит, чувствовал, как это красиво. Нельзя этого отнять — ради справедливости. Иногда я думала, что тут тоже какая-то трагедия художника и совсем это не смешно. Мало ли что говорят, а еще чаще кричат, размахивая кулаками, декларируя, а в особенности, когда тебя на улицу выгоняют с семьей... Ведь есть же и другой разговор — с самим собой. И со всем миром (через головы собратий!).

Он так же писал и когда его выставили в конце концов из аспирантуры и Академии и денег не хватало на краски. А Варя еще ребенка родила. Девочку при выходе из роддома она обернула в собственную юбку. И все-таки она вся светилась от счастья, когда несла ее через позолоченный осенью белокаменный городок. И рядом Миша, долговязый и нескладный, старался шагать мелкими шажками, сутулясь и обнимая жену за плечи. Они смеялись по-молодому,

не попадая в шаг, а встречные бабы, не скрывая зависти, смотрели им вслед:

— Не всех убивают. Кому и посчастливится... дождаться...

О той блондинке и разговора больше не было. Она осталась на набережных Невы — одна со своей чернобуркой. Миша опять писал без конца Варю и детей.

И вдруг всеобщий суд признал! Ну да, конечно, это «Возвращение с фронта». А какими страстями все обрывается... Может, такого и не нужно, но, к сожалению, так бывает.

Родионов никогда не капал, он шел, как медведь, напролом. Он и личных счетов не сводил ни с кем иначе как кулаками, даже тогда, когда вошел в силу и славу. И когда те же собраты, которые выгоняли его из аспирантуры, вынуждены были пригласить уже в качестве академика. Он не лез даже в первые ряды, а стоял на задах во время защиты живописных дипломов, неуклюжий и смешной в долгополом плаще, и отмахивался презрительно от сверхлюбезных приглашений занять место в президиуме. Он даже приходил на защиту искусствоведческих дипломов и, вытянув шею, подставлял руку к уху, демонстрируя, что изо всех сил старается понять, на что тут время тратят те, кто ни одной картины не написал, не знает, как это делается, а берется судить и вершить судьбы искусства, компенсируя свое незнание терминологией. Но, как выяснилось, он пришел, собственно, для того, чтобы подраться с оскорбившим его товарищем, что и не замедлил осуществить, выманив его в тамбур, дабы соблюсти вежливость.

Неверно, что он карьерист и только. Он честолобив не сильнее других. Но он более всего хотел работать и всегда оставался работягой. Много лет спустя мне еще раз пришлось подглядеть его интимную жизнь, и тоже нечаянно.

Я шла по рембрандтовскому залу Эрмитажа от конца к началу и увидела Родионова перед «Данаей». Наверное, не надо было видеть, какое жадное лицо у него было, когда он всматривался — ну, разумеется, в живопись воды, золотистого свечения, всплывающих пузырьков. Он разбойно оглянулся вокруг и прижал к зерну полотна ноготь большого пальца — зачем? В том-то и дело, что, если бы он расковырял до дыр все полотно, если бы выгрыз его зубами, все равно не стал бы Рембрандтом, а остался бы Родионовым.

Ну что ж, он все же остался Родионовым. Он был, и он сыграл свою роль. Он был необходим и неизбежен. Надо быть объективным. И учитывать еще, как он складывался.

В те годы, переломные, пестрые, без всякой подготовки, с одной только смутной жаждой и упрямством, тыкался он повсюду. И в этом безбрежном море течений, направлений, где каждый был пророком, и к тому же единственным (а заодно и деспотом), без культуры, без традиций, он искал хоть какие-то точки опоры, какие-то критерии. И это было единственное, что тогда ему представлялось школой. Но и эта школа тоже была крайностью и выбила из него какой-то живой нерв, научив кроме всего прочего и недоверию, и негативизму, и непримиримости, а главное, узости и нетерпимости по отношению ко всему, что непохоже на него! Но ведь его так подталкивали, так ориентировали. И что-то сломали в нем, чего он не мог потом срастить. А если даже иногда и ощущал, что ему не хватает чего-то, все равно бы не признался, потому что членораздельно этого не понимал и подсказать со стороны никто не мог, а самому для этого надо было снова все в себе сломать и всю жизнь пережить заново, притом неизвестно — как. Может быть, если бы кто-нибудь убедил его в необходимости так сделать, он бы пошел и на это, когда был помоложе, потому что он был фанатик и великий труженик. Может быть, убеждать его как раз и надо было бы новым, молодым? Но ведь молодым всегда бывает не до того.

Все-таки на нем отпечатывались все приметы нашего времени, он был хоть Родионовым. Многие ли из вас смогут это сказать про себя? А он был. И почитаемым и презируемым, и битым и побивающим, и выгнанным и милостями осыпанным, и несостоятельным, и трезвым и пьяным, и голодным и сытым. Ну, когда человека слишком много ругают, он, конечно, ощеривается. А был ли он в самом деле так уверен в своей правоте и в своем пути — никто же не знает. Я стала сомневаться в этом, увидев его лицо перед «Данаей». Он считал, что он один...

А тогда, в те годы, я не умела, по юности, быть снисходительной к людям ни в искусстве, ни в жизни. Я ничего им не прощала, и на все слабости их и уязвимости — будь то слабости колорита или характера или чрезмерное увлечение бытом, желудком, снабжением, «материальной базой», карьерой, краснобаиство и позерство, злоупотребление высокими словами, супружескими и несупружескими изменами — я отвечала бурным негативизмом и мстила собственным аскетическим одичанием.

И я уходила в зубчатые леса, в обескровленную белую ночь, но и они не утоляли моей тоски и не утишали одиночества. А живопись? Она молчала. Она ждала, она требовала чего-то от меня самой, чтобы заговорить. Какого-то

шага или желания. А я не желала! Белокаменные соборы я ощущала как выражение физической тяжести; расписные трапезные казались мне слишком инфантильными, неоправданно веселыми — чему радоваться-то? А иконы? Я их ненавидела! Они делали явным то, что я считала своей личной тайной. (Это было предательством!) И меня давила безъязыкость, пустота звонниц, колоколен, которые вечно плыли в небе, заигрывая с облаками, летели и парили, но вдруг в самый ответственный момент оставались пустыми, отсутствующими, глухонемыми и сияли всеми красками заката, вместо того чтобы закричать! Звать! Сказать самое главное! Это искусство и эта природа меня угнетали, как будто везде видишь себя и некуда спрятаться.

А хуже всего — вороны. Их были тучи. Они вечно кричали, суетились, перепархивали. Дорожки, валюты, лепнина, купола были заляпаны их пометом. Как будто они решили побелить облупившиеся церкви, отреставрировать стены и сошли с ума на этой идее. А в их криках мне слышался плач ребенка. Они затащили его на верхушки деревьев, не отпускают и бог знает что с ним выделывают. Какая ждет его участь? От своей черноты или оттого, что все вокруг было из камня, вороны казались тяжелыми, как бумажники. По тому, с каким хлопаньем они взлетали и перелетали, чувствовалось, как туго притягивает их к земле. Иногда я думала, что это мои вопросы, на которые все равно никак нельзя ответить, формулируются, материализуются и оборачиваются в крикливых назойливых ворон. Возможно, среди них, где-то там, на верхушках берез, уцепившись за ветку когтем, повис и вопрос Родионова и раскачивается на ветру. . .

Как мне нужны были тогда мои азиатские ахающие, рыдающие и хохочущие горлинки, и микротени шероховатой пахсы, и горячая пыль дорог, которая, как вода, сочится между пальцами босых ног. . . И в днях, чистых и прозрачных по-среднерусски и часто ветреных, когда все вокруг сверкает, будто ко всему подсыпаны осколки слюды, я искала обесцвечивающего раскаленного солнца Азии. И, уходя в призрачную, ненастоящую белую ночь, искала роскошную южную тьму, которую можно потрогать рукой, к которой можно прижаться щекой, как к мягкой, косматой, курчавой шкуре доброго зверя. Мне нужны были ночи юга, по которым все-таки ощущаешь движение времени, смену суток. . .

— Ну, все-таки ты меня не помирила с Родионовым, — рассмеялся Назар. — Может, он и ничего был парень, и

роста такого, как я, — это приветствую. Художник должен думать. Ну, не каждый день, конечно, но хоть изредка.

— Он думал. По крайней мере «сюжетно» думал.

Юрий громко зевнул и высунулся из-под тулупа:

— Я нарочно не слушаю, потому что я его не люблю, вашего Родионова, хотя кое-что я бы купил. . . Родионов вообще был хулиган. Я помню, он писал портрет искусствоведки одной. Он ее обижать-то не хотел, но, видно, не очень любил. Она миловидная была, но, как все женщины, конечно, хотела быть львицей и — хоть на портрете — красивой, нарядной и парадной. А уж какая там светскость и парадность после блокады, в эвакуации. . . Но и платье надела парадное, и кресло вытащили, и позу львицыну она приняла. . . А окошко-то все из латаных стеклышек. И лицо такое болезненное и растерянное, и все ее страдания и старания казаться счастливой и уверенной очень хорошо получились. А его ругали, что он все подряд случайные детали и трещины на окне выписывает. . . А это — целый сюжет. А как же. . . И не смешно это, а трагично. Наивное цеплянье этой изголодавшейся молодой дамы за иллюзию мирных благ, за уют человеческий. . .

БУРАН

Какой был свист, рев, вой, грохот в пустыне, когда мы встретились в первый раз. . . Четыре дня уже грохотало так, будто вся земля превратилась в огнедышащий вулкан, извергающий горячий черный пепел. Невозможно было представить, что все это когда-нибудь кончится и что мы сможем это пережить. Палатки наши срывало одну за другой, едва мы их ставили. И все же надо было как-то готовить пищу, спать, дышать, двигаться. Работать было невозможно. Самые терпеливые мужчины начинали материться, женщины — огрызаться и чертыхаться.

Вот тогда-то как раз и проломили Жорке голову ломом. Потому что ничего не было видно. . . Мы могли только сообщить по радио о нашей беде, но надеяться на помощь не приходилось. Вылеты в такую погоду запрещены. О приземлении самолета нечего и думать. Однако какой-то хирург лепрозория, бывший фронтовик, вызвался лететь. Обещал прибыть к нам в лагерь с ассистентом. . . на парашютах. До наступления темноты. А она и не расступалась! Нам было велено по возможности не прозевать самолет, встретить парашютный десант, а также приготовить все к операции, накупить воды, соорудить барак.

Все это было похоже на шутку, неуместную. И мы запрашивали подтверждения. Безумием было вылетать на маленьком самолете. Еще безумнее было прыгать с парашютом, даже если врачи и умели это делать. Потому что приземлиться в такой буря в заданном месте невозможно. Ни костров, ни ракет не видно. А опустившись на землю неизвестно где и не имея никаких ориентиров, кроме компаса, они должны были моментально заблудиться среди слепых стен летящего песка. Ко всем заботам прибавится еще необходимость разыскивать по всей пустыне двух заблудившихся людей, а возможно, и разбившийся самолет и труп летчика.

Решили мы это все между собой без иллюзий и действительно, то есть думали одно — делали другое: готовились к операции и выслали людей «на связь».

Радио сообщило, что самолет вылетел и что на борту находятся доктор Бегжанов и ассистент Рафик. Пилот был наш старый знакомый Козловский. Ориентиром для приземления выбрали озеро. Оно находилось в десяти километрах от нас, мелководное и такое обширное, что никакой буря не мог плотно перекрыть его летящим песком и кое-как оно могло проглядываться с высоты. Ветер должен был отнести десантников к западу. Туда и отправилась большая часть наших ребят — караулить и раскладывать на островах костры. Дело это хлопотное, потому что туда еще нужно было доставить топливо. Много топлива, чтобы горело ярко, высоко. А ветер, конечно, прижимал огонь к земле.

На всякий случай я должна была обежать периметр озера с юго-востока. Этот периметр был для меня хороший марафонский бег. Наперекор ветру. Очень скоро язык у меня свисал до плеч, и, хотя с раскаленным песком шутки плохи, я сбрасывала с себя по дороге и кидала на кусты саксаула постепенно все свои одежды, кроме самых неизбежных, рассчитывая подобрать их все на обратном пути. Пустыня уж так устроена: в ней очень легко потеряться, но нельзя ничего потерять. Она возвращает забытые два года назад тапочки и оброненный пять лет назад пояс — если только они жароустойчивые. Она может сорванную с головы косыночку преподнести вам совсем в другом конце песков. А тайничок в развалинах средневековой усадьбы, куда я однажды спрятала редкие находки, потому что не в чем было их донести, возвратил мне их почти через двадцать лет.

Я старалась бежать по воде, это все же было легче, чем погружать ступни в горячий песок. Шансов на встречу у

меня никаких не было. И все-таки время от времени с самых высоких барханных гребней я кричала, ударяя себя ладонью по губам, хотя до сих пор не знаю, зачем это надо так прерывать звук. И только я скатилась по крутизне бархана и зашлепала по его мелкой лагуне в форме полумесяца, чтобы, выиграв несколько метров, скорее забраться на гребень следующего, как вдруг меня окликнул насмешливый высокий мужской голос:

— Привет! Алё, наяда! Какие мелодичные, однако, русалочьи песни пошли в наши дни, Рафик, не правда ли?

— Это вы?!!

— Мы, а что?

Они тоже шлепали по воде. Один был высок, спортивен, обточен тренировками, с классической переносицей. И все у него было вразлет: брови вразлет, плечи вразлет, волосы вразлет. Великолепный статист-воин для шекспировских пьес, олицетворяющий мужество и отвагу. Второй прихрамывал, был помельче, худощав, лицо со втянутыми щеками и насмешливым ртом (остальная часть лица была закрыта большими шоферскими очками).

— Вы оба сумасшедшие, но который из вас доктор Бегжанов?

— Вы бы, конечно, хотели, чтобы он, — очкарик показал на шекспировского воина с огромным рюкзаком. — Все женщины почему-то хотят, чтобы доктором Бегжановым был он.

Голос у меня срывался от радости:

— Просто я хочу знать, кто из вас самый сумасшедший, ясно же.

Он оглядел меня, и я подумала, что корка песка по всему телу делала меня похожей на обезьяну. Песок ручейками стекал у меня с шеи, с колен.

— М-да... И у вас там все такие нормальные? Может, вернемся, Рафик?

— Давайте мне какие-нибудь ваши вещички, я понесу.

— Рафик может унести еще и вас в придачу, и меня. Лагерь у вас палаточный? Брезент ординарный? Ящики очень большие есть или фанера? Машины с закрытым кузовом? — Он кивнул Рафику. — Я боюсь, что нам придется транспортировать больного сюда на островок, чтобы оперировать. Там мы не сумеем изолироваться от песка и пыли.

Я вмешалась:

— На чем транспортировать? Машины сюда не пройдут.

— На руках.

— Слушайте-ка, воинство небесное, — я почувствовала

прилив энергии небывалый,— а что, если я вперед побегу как гонец и передам...

— Бегать мы и сами умеем. А дорогу как мы будем искать?

— Найдете! По моим вещичкам на разных кустиках.

— Не слушай, Рафик, разве ты не видишь, это дивона¹.

Оперировали Жорку не на острове, а в задраенной машине, при свете фонаря. Бегжанов командовал, пока мы все приготавливали и все делали не так и не споро. Но во время самой операции он шутил, разговаривал по-домашнему, словно беседовал в уютном уголке, составляя коктейли или показывая друзьям марки и семейные альбомы, а не извлекал костные осколки из нежнейших тканей головного мозга. Только хрустальные глаза его оставались непроницаемы.

Рассекреченного Бегжанова — без марлевой повязки и без шоферских очков — мы разглядели только на седьмой день, когда кончился буран и мы вызвали самолет, чтобы переправить всех троих в город. Глаза его оказались серебряными и притягивали неожиданностью при общей черноте и смуглости. Но бог знает, куда они смотрели и что они видели при этом непрерывном шевелении бровей и подергивании голубоватых в мельчайшую морщинку век.

В этот последний день мы отправились на озеро на парашютами, которые были где-то там припрятаны. Всю дорогу мы неизвестно чему хохотали, и удивлялись, что смеемся, и хохотали еще больше от этого. Мы шли посуху, и бросались вплавь, и скатывались с барханов, один раз я чуть не утонула, вспомнив что-то смешное во время ныряния и со смеху наглотавшись воды. Потом мне надоело идти и плыть, и Рафик тянул меня за руку по воде, как лодку или как бревно, и это было упоительно. Он красиво двигался в воде, она с радостью принимала его, слушалась и любила, и, когда он выбрасывал руки, она тянулась за ним, как прозрачные сверкающие крылья.

— Ты смотри-ка, опять русалка зашлась,— смеялся тонким носовым смехом Бегжанов,— типичная эйфоричка.

Спало огромное напряжение последних дней. И так счастливо обернулось все для Жорки. А ведь не было никаких надежд на спасение, что уж теперь скрывать. И просто за последние дни мы все узнали друг о друге много хорошего. Насовершали массу благородных самоотвержен-

¹ Дивона — безумный.

ных поступков, и, главное, не зря. Хорошо, что Бегжанов сумел всем этим воспользоваться. И над ним светился некий нимб нашей благодарности.

И пустыня в этот последний день сумела показать себя. Она в этот последний день была ручная, кроткая, улыбалась и радостно искрилась мириадами чистейших блесков! Будто сказочные звери, вытянув лапы, замерли золотые барханы, кто как придется и там, где застала их внезапная тишина. Мреющее белесое небо казалось тяжелее земли. Лишь у горизонта, чтобы напомнить о даях, набирало оно синевы. Но синева была усталой, сиреневой, а барханы вдали набрасывали на себя оливковые и лиловые тени. Пустыня открыла нашим глазам все тридцать три километра во все стороны¹ и показывала их преувеличенно четко, чтобы мы ощутили ее беспредельность.

Чуть не угробившая всех за десять дней бешеного урагана, теперь она задабривала нас. Чистейший песок — его хочется пересыпать с ладони на ладонь играючи. Тот же самый песок, который так послушен детским пальчикам, совочкам, когда из него лепят пирожки или строят горку, и дом, и канавку. Тот же самый песок, лениво-мечтательный, пляжный, целительный, возвращающий силы. Пустыня заигрывала с нами всеми своими веселыми, бегущими в разные стороны ручьиными полосками, жмурясь на солнце, как большая пухлистая рыжая кошка, которая ластится у ног и просит, чтобы ее почесали за ухом. Дальше к юго-востоку ей труднее было притворяться домашней кошкой. Барханы вырастали, громоздились, как небоскребы; в глубоких вихреобразных котловинах выдува в самом низу проступал черноватый солончак. Узкие языки такыров между песчаными горами тянулись долго, обещая проезд, дорогу, но вдруг корежились, срывались в глубокую воронку — рушенный щит, похожий на платформу разбомбленного вокзала с обманчиво зеленым флажком саксаула впереди.

И чистейшая тишина, тишина... С хрустом, со звоном — от чрезмерной чистоты, как чересчур перекрахмаленное белье. Или это звенели барханы от избытка золота? Или солнечные лучи от избытка солнца? Им ведь иногда тоже хочется посмеяться. И в этой насыщенной атмосфере смех, вырывавшийся у кого-нибудь из нас, некоторое время еще курчавился над головой облачком, как дыхание в морозный день, и лишь потом рассеивался...

¹ 33 км — обычный радиус видения на земле с высоты человеческого роста.

— От таких пейзажей делается разлитие желчи, — произнес вдруг Бегжанов, и Рафик понимающе кивнул.

— Вам не ясно, наяда? Всей воды всех азиатских рек не хватит, чтобы оросить пустыню. А когда разберут последние капли, тогда что? Люди будут вынуждены искать другой выход, помимо расширения полей за счет речного стока. И найдут... Говорят, под нашими пустынями — гигантские запасы воды. А пока наше море мелеет, потому что оно дитя двух великих рек. Приезжайте к нам на острова. Спешите собрать драгоценные ваши коврики, вышивки. Люди скоро уйдут отсюда. И чем больше вот таких бессмысленно растрачивающих воду озер, тем скорее. Зачем здесь озера? Сбросовые воды или излишки? Присчеты, беспечность...

Мы стояли на высоком бархане, Бегжанов, Рафик и я, и отражались в зеркале лагуны, куда осыпал свой белорозовый пух доцветающий тамариск. Там, со стороны озера, среди множества барханных островков, все плескалось, вздыхало, шуршало, пело, щебетало. По другую сторону простирались до самого горизонта молчаливые пески. Туда уходили наши длинные, тонкие, как копыя, тени.

КАМЫШИ ЧЕРНЫЕ

Утро в городах и кишлаках Средней Азии начинается не с восхода солнца, как в остальных местах земли, а с горлинок. Я не люблю их за глупость, неразборчивость и крайнее легкомыслие. Они лепят гнезда где попало, непрочные, предаются любовным утехам круглый год и плодят толпы детей, которых не в силах выкормить и воспитать. Они не очень обременяют себя заботами о будущем. Их женщинам не хватает гордости и кокетства, мужчинам — почтительности и самоуважения, которое прямо-таки распирает наших северных голубей на всех карнизах и подоконниках. Но взрывчатые, стеньящие голоса горлинок неотделимы от куполов и плоских крыш, от шероховатых пахсовых стен. Можно представить эти стены — даже без знойной дымки, без пыли, но нет в Средней Азии обжитого человеком угла вне криков горлинки. Восторженные тревожные возгласы — то ли хохот, то ли рыдание или аханье. Не поймешь, чего в них больше: тоски и жалости или торжества и изумления. Может, потому, что они неприхотливы и вездесущи, они знают так много? И знают еще что-то, чего никто не знает.

Утро — это не только длинные тени. Но и длинные вкусные дымы во дворах. Новое утро.

Обычная гамма каракалпакских вышивок — красный, зеленый, желтый. Но у островитян и жителей побережья в вышивках появляется синий шелк. Они исконные рыбаки, а наше море по интенсивности цвета занимает третье место по шкале Фореля после Адриатики и Эгейского.

Моя экспедиция по сборам народного прикладного искусства объездила почти все острова и подходит к концу.

Ресторанчик, где состоялась наша встреча, был единственным местом в городе, где можно что-нибудь съесть. Но и выпить тоже. В нем почти не оказалось мух. Считанные души. И какие-то не по-мушину скромные. А народу разного много. Я удивилась вслух, чтобы доставить приятное официантке.

— Мухи любят, когда люди едят, — возразила официантка. И вздохнула. Лучшим украшением стойки был ее жизнеутверждающий бюст, замаскированный куда менее тщательно, чем куски жареного сазана. Местные завсегда-тай-рыбаки мирились с этим украшением безболезненно. Но приезжих газетчиков из республиканского центра оно волновало. Как местный колорит.

Бегжанов курил сигарету за сигаретой и играл сам с собой в шахматы, они подавались ему вместе с пивом. На меня он смотрел, как смотрят на карточку с историей болезни, когда их целые шкафы и каждая ждет прочтения.

Его заместитель Павел, широкоскулый, я не поняла — кореец ли, казах ли, переглянулся с официанткой и принялся рассказывать страшные истории так громко, будто я сидела не за их столиком, а на улице.

Официантка хохотала, запрокидываясь и играя серьгами. Рыбаки с соседних столиков одобрительно побрякивали. Не очень твердо ступая, однако без помощи стен и спинки стульев и в отличнейшем расположении духа, вошел шофер рыбзавода, курчавый светлоглазый Васька. Иначе здесь его никто не называл. Несколько мгновений он как бы прислушивался, вникая в суть разговора, и вдруг, дружелюбно придвинувшись к приезжим, успокоительно махнул рукой перед их носом:

— Проказа? У меня была, сколько раз...

Он знал, что делал. Столик опустел. Официантка прикрыла ладонями смеющееся лицо, выставив круглые локти с обильными ямочками.

— Вот еще, Васька! Поклонников от меня отбиваешь.

— В самом деле, — сказала я. — Может, кто-нибудь из них в шахматы играет?

— С Сергеем? За одну доску? — Павел мефистофельски скривил губы.

Вот тогда-то Сергей Бегжанов произнес своим монотонным голосом:

— Ты бы ей свою историю рассказал.

Бывает, сидишь среди обыденщины, и все понятно. До скуки, до тошноты, ведомо-переведомо. И эти потускневшие мухи, перелетающие с бумажных цветов на медведей. И эти медведи, которые «Утро в лесу», преодолевающие любые расстояния, приспособляющиеся к любым климатическим и природным условиям. Нет на моей обширной родине такого уголка, который оказался бы не омедвежен. И эти рыжие собаки, которые дерутся от нечего делать у распахнутой двери. И нетрезвые голоса: «А я тебя уважаю, а ты меня уважай». И вдруг все словно сдвигается с места, словно ветер пробегает, и оживают шишкинские медведи, высовываются из рамы, готовые сломать тебе позвоночник.

Я не знаю, что бы ответил Павел. С треском хлопнула и без того раскрытая настежь дверь, взвизгнули и разлетелись в стороны рыжие собаки, и в ресторан уверенно вступили новые посетители. Эти были приезжие издалека. Юные решительные киношники с ружьями, с патронташами, а один сверх всего вооружения — с окладистой бородкой. Ребята со спортивной выправкой, ищущие, где бы восстановить справедливость, кого бы защитить от кого-нибудь, кому бы протянуть надежную мужскую руку дружбы. Ваську, зацепившегося за мой стул, зрелище туго набитых патронташей вдохновляло затеять драчку. Благородно защищать было некого, кроме меня.

— Папаша,— сипло воззвал Васька к юному с бородкой.— Нет, папаша, вот хоть ты рассуди нас.

Папаша нехотя порозовел;

— Садись к нам. Сначала выпьем. Потом рассудим.

— Теперь вы спасены,— сказал мне Павел очень громко,— можете бежать.

— Эй-эх, курносенькая,— куражился Васька. Он был не прочь, чтобы его напоили. Но я вышла из игры.

Павел нагнал меня на побережье:

— Обиделись?

— Зачем же?

— Ну-ну.

Это, видимо, было не все, что он хотел сказать. Мы уселись на опрокинутую лодку. И молчали, каждый порознь. Я убеждена, что у каждого человека есть своя мелодия. Может, и несколько. Чем больше, тем человек интереснее. Но главная — одна. Выражающая самую суть. И она звучит всегда — разговаривает он или молчит, ест ли, спит ли. Мы часто ее не замечаем, чтобы не осложнять себе жизнь.

Но бывает, она звучит так настойчиво, что не услышать ее невозможно. Появлению Павла предшествовала мрачная скорбная тема из правой части оркестра, где медь и барабаны. Тема рока, от которой испытываешь смятение, ибо не знаешь еще, чем и как она разрешится. Тема Сергея была грустной и мудрой, временами со щемящей нежностью, но без мятежа.

— Очень приятно быть добрым, очень легко любить людей, — медленно проговорил Павел, — когда это ни к чему не обязывает.

— Эге, Фауст и Мефистофель тоже беседовали на берегу моря, — прозвучал внезапно голос Сергея. — Павел, я в райком. Через полчаса приходи туда.

Павел кивнул.

За нашими спинами разбросался в глубину острова городок из чистеньких белых домиков. Такие города я в детстве вырезала и склеивала из бумаги. Выходило очень одинаково, и потому я пририсовывала в окнах разные цветы или занавески, а иногда и лица. Лица получались удивленные. Как и моим бумажным, этому городку не хватало чего-то. Зелени, конечно, деревьев. Во сколько обходился хозяевам каждый тополек, геранька, если воду получали по талонам и дополнительную — за деньги с катеров? Недавно геологи обнаружили на острове на значительной глубине жилу пресной воды, и вокруг домиков образовались бахчи. И землю на них привозили или приносили в мешках на собственных плечах, потому что где ее взять, если вокруг — пыль, песок, рыба чешуя, истолченные ракушки?

Насколько не хватает зелени земле, настолько излишки ее забивают море. Рыже-бирюзовые заросли камышей. Если смотреть с самолета, кажется: летишь над всхожими полями. Если плыть на челне, то в камышах кроме птиц, ондатры, водяных змеек можно встретить и коров, по брюхо в воде, обгладывающих молодые побеги. Камыш — строительный материал, топливо, корм скотине, но камыш и угроза. Здесь, где ничего не растет, камыш растет слишком быстро.

От местного населения меня отгораживает незнание языков. Их сразу пять, и потому я не знаю толком ни одного. Но немое кино — великое искусство. Люди и обстоятельства так выразительны сами по себе, что все равно знаешь, о чем люди думают. Слова иногда только прикрывают правду. А озабоченность многими мелкими делами не стирает главной общей заботы: рыба! Рыба вымирает, море уходит. Все население побережья и островов — ры-

бачье. И если у городов, как и у людей, есть свои мелодии, то здесь слишком уж долго звучит зауспокойная месса по морю и рыбе.

— Ветрено. Дать вам пиджак? — спросил Павел.

— Нет... Ну, дать. Хотя мне не нужно.

Павел захохотал. Настоящим азиатским диковатым смехом, который искажает лицо, сотрясает грудь, но остается беззвучным. Я никогда не слыхала, чтобы наследственные кочевники смеялись в голос. Разговорный же голос Павла был приятный звучный баритон, даже без акцента, лишь с легкой окрашенностью придыхательных «г», «к», «х», как почти у всех, для кого родной язык — турецкий. Без пиджака Павел оказался шире в плечах, тоньше в поясе, по-моему даже выше. И его черный галстук отливал синевой и развевался по ветру, как и длинные прямые волосы. Мефистофель все-таки он, наверное, а не я? А был ли Мефистофель столь же мужествен и красив и вкрадчив?

Утверждают, будто был такой первый жест Евы, жест смущения, когда она подняла руки поправить волосы. Я не стала поправлять волосы, — я ту же затянула косынку, как боевой шлем перед атакой.

— В конце концов, мне кажется, что в жизни есть многое, что тяжелее проказы...

— Мне тоже, — сказал Павел беззвучно, как смеялся.

— А где ваша семья? Ваши сыновья?

Вопросы о детях разряжают атмосферу. А мы вместе выбирали для них костюмчики в автолавке. Значит, были эти сыновья.

— Далеко... Под Москвой сыновья.

Далее я с удивлением прислушалась к своему голосу, как будто кто-то говорил из глубины моря:

— Я бы не позволила. Нельзя позволять человеку — судить самого себя. Это может оказаться слишком жестоко. Непоправимо. Пусть судят другие.

Потом, вспоминая всю эту встречу, я нашла самое простое объяснение вырвавшимся словам. Они были о своем, очень личном. Но в тот момент, то ли от выпитой бутылки пива, то ли от гипнотизирующейzybучей массы аспидно-черного камыша, который прибило неведомо откуда к берегу широкой полосой и который дышал, пульсировал, вспучивался и опадал, растягиваясь и сжимаясь, от его многозначительного шуршания, — я почувствовала себя ясно-видящей. Так остро было прикосновение чужой трагической судьбы. Я знаю: будь мы моложе — это могло бы стать началом любви, ибо нельзя безнаказанно заглядывать в чужие души. И однажды уже было так, когда я была

действительно молодой, то есть способной не глядя прыгнуть под любой обрыв...

Его слова щекотали мне кожу между бровей, но это было уже не двадцать лет назад — и я встала.

Странно все-таки для взрослого человека с таким упорством вперяться в шевеление прибитых камышей. Что меня так притягивает? Поблескивающая, серебристая влажная масса с очень стройной структурой из легких плавучих палочек разных размеров, подвижных, все время меняющих положение, в одиночку и во множестве, — непрерывное сцепление, размыкание, перестройка. Для хаоса — слишком равномерная. Для системы — слишком не поддающаяся исчислению... Похоже очень на плетеную из шерсти в два цвета скатерть каракалпаков с длинной бахромой. На таких угощали в старину в торжественных случаях. А может, на гигантскую плотную сеть, по которой кто-то невидимый ступает, прогибая и раскачивая. Или на чешую огромной извивающейся змеи. Замирая от неуверенности, я пытаюсь угадать, в каком месте она вздыбится бугром, и считаю до пяти, обманывая себя — до десяти, — и все равно ошибаюсь! Бугор вырастает левее наискосок. И хотя очень быстро, но так плавно, что кажется, будто медленно. А он уже успокаивающе разглаживается. Ведь ничего такого не случилось? Еще попытаться! Вот здесь теперь. Я даже прошу его, уговариваю, называю ласковыми именами. Но он не поддается на обман и лесть. Я выбираю единственную камышинку, чтобы проследить ее путь, но взгляд рассеивается, я теряю ее в общем блеске, а когда нахожу снова, на нее ворохом накидываются соседки и погружают в глубину. Я не могу схватить, организовать этот шаткий ритм, впадаю в тоску от собственного бессилия. Но уходить мне не хочется.

— Эй, конечно, кто еще как столб может стоять битый час на берегу? Женя! Это вы плавуны разглядываете, ё-мое... как здорово. Мне тоже можно?

— Мальвина! Вы как сюда?

— От художественных мастерских. Хотите задник вместе написать? Срочно. Или боковину. Или вам деньги не нужны?

— Мальвина, вы не знаете, кто такое аспид? Задник писать я не буду.

— Ну тогда стойте, стойте так. Аспид, кажется, змей, вредный наверное. Меня отец аспидом называл. Стойте — я вас попишу. Я на ваш силуэт прибежала. У меня все

с собой. Вы ведь обещали попозировать. У вас такой странный наряд...

— В экспедиции сгорели все вещи. Собирали с бору по сосенке.

— Сосенки были корабельные. Чудесно! Все висит складками. Какая-то богоматерь скрбящая, с веснушками и облупленная.

— Следы реставрации.

— У вас цвет лица как у ливерной колбасы — нездешний какой-то.

— Выбирала специально. Под врубелевскую гадалку.

— Нет, вы лучше помолчите, а то у вас очень оживляется и молодеет лицо. И не смейтесь. С таким трагическим аспидным фоном, ё-моё-о! Мозанка, мерцанье смальт...

ЖЕНА ХИВИНСКОГО ХАНА

Хоть бы все куда-нибудь ушли. Так спать хочется...

По-моему, у меня под головой не подушка, а кусок масла. За окном шелестят акации, а мне все представляется, что это я перебираю свои кальки, эстампажи, реестры, перематываю пленки.

Половину нашей комнаты занимает... я понятия не имею, как называется весь этот металл, стекло, пластмасса, провода, с ручками, с ножками, с колесиками, короче — имущество киношников. Они снимают документальный фильм «По меридиану» и уже добрались до самой южной точки. А она как раз и оказалась на этом клочке земли.

Нашим вождем, бесспорно, стал Васька, в моем альбоме для эскизов похожий на фавна, в Мальвинином — на рыжего породистого бычка. Васька — шофер рыбзавода, прикомандированный к кинопруппе.

Гостиницу закрыли на ремонт. Нас объединили и разместили в жилом корпусе при больнице. И у нашего окна есть все, что полагается настоящему человеческому окну: серо-зеленые подвижные листья, птичьи реплики, квадратик неба и квадратик живого пейзажа с цветочками, забором, белесым изгибом дороги, силуэтами строений.

Но этот садик, защищенный стенами от песка, — единственный на острове. Его вынянчили на привозной воде старик Маметкулов, бывший резчик по дереву, и Павел Бадмаев. Маметкулова киношники отсняли на цветную ленту для нас и для себя. И, может быть, включат в свой фильм. Очень хорошее лицо было у старика, когда ему

привезли из нашей лаборатории набор инструментов. Его просили вырезать на филенке пару бараньих рогов. Он с нежностью водил старыми, ревматическими пальцами по доске, а резать узор перед кинокамерой не захотел.

О Павле лучше всего теперь справляться в Мальвининном альбоме, а не в моем.

— Темной души человек, — объявила Мальвина, в сотый раз подбирая кончиком кисти голубые и терракотово-розовые тона для бадмаевских век.

— Ноги у него, правда, кривоваты. А насчет души когда вы успели разглядеть?

— О, он сам был болен, оттого и людей сторонится.

— Вот воображение-то творческое!

— А почему он мрачный такой? И что он тут околачивается? Другого дела нет, как только цветы поливать?

Я хочу спать, еще с прошлого года. С тех пор, как Юрий Витольдович решил производством местных сувениров возместить уменьшение рыбного стада. Я хочу спать, а Васька обстоятельно усаживается рядом с оператором на мою же койку и разглядывает «пикассины», припиленные киношниками к стене. Их две. «Женщину, сидящую на корточках» из «голубого периода» Васька осмысляет с ходу:

— Лунища там! В Барселоне, говорите? И грунт — известнячок!

Перед поздней вертит головой, примеряясь, как петухи с какой стороны клюнуть?

— Какую эмблему выражает?

— Женщину в кресле. Впрочем, не помню точно: не мужчина ли это?

Оператор снисходительно теребит бородку:

— Конечно, это требует известного уровня подготовки, но современный зритель, преимущественно горожанин..,

— Ты не о том, — отстраняет товарища режиссер.

Славный парень этот кудлатый режиссер. Сквозь линзы очков у него странно удлиняются зрачки, вытягиваются, как ленточки, особенно когда он раскачивается на стуле. И жесты у него такие, будто весь мир на самом деле полон духов, саламандр, и мы-то их не видим, а он запросто общается с ними.

— Метафора никого не смущает в литературе? Можете вы сказать в стихах: «От нежности в глазах двоится»?

— От нежности тоже случается? — промурлыкал Васька и с чувством посмотрел на раскрытые ворота и дорогу, уводящую за угол.

— Можете сказать: «Я видела в каждой былинке дорогое лицо его страшное»?

— Я? — вспыхнула Мальвина.

— Это Блок, Блок, вы просто похожи на него лицом.

— Неправда! У него лицо длиннее.

— Ну а попробуйте передать это в живописи. Вот я когда смотрел... ну, Жаклин, например. Ведь все светится нежностью. Он любит ее красотой, всеми ее линиями, всеми формами одновременно, он любит ее во всех ракурсах...

— Дробь, — остерегает Васька, — без подробностей, будь мужчиной.

— И она... как бы воплощается во всем мире. Или наоборот: вся красота мира — в ней! Некий эквивалент.

...Когда можно вступать в спор или не вступать — лучше не вступать. Все равно добра не будет. Как будто этого эквивалента нет в «голубом периоде». Как будто Греко, Гойя, Рембрандт, хоть один великий художник обходился без всеобъемлющей любви и без красоты мира.

— Вы меня поймете, — обращается Кудлатый к нам. — Я сам пришел к этому не сразу. И знаете? Во многом от своей профессии, от кино, конечно.

Мальвина кисло отходит от окна. Павел так и не вышел поливать гвоздики. А они все равно пахнут. Даже мы чувствуем — в накуренном помещении. Но что-то случилось. Может, катер с цистерной сел на мель. Васька с обостренным вниманием наблюдает, как запирают больничные ворота. Все понятно. Но отпустить его с вечера — невесть в какой канаве искать утром. А Кудлатый все раскачивается на стуле.

— Ведь кино — та же живопись. Или графика. И это множественность образов в одном. Перед зрителем мелькает плечо, рот, ресницы, вполоборота, в четверть. С неожиданных точек зрения. В проекции. Вы увеличиваете произвольно масштабы, даете серию превращений, отбираете детали, пейзаж. Показываете то же лицо плачущим, смеющимся, спящим, юным, состарившимся. Вы подбираете тысячу ассоциаций: ветку сирени, танцующую снежинку, лавину в горах — и все это о ней, о героине фильма. Вы меня поняли? В тот миг, когда были открыты возможности кино, классический век одномоментной иллюзорной, примитивной словом, изобразительной живописи — был кончен.

Как бы не так! Мало ли транспортных средств придумали люди: лошадь, колесо, пар, электричество, ракету, а ходить ногами по земле не перестали... Но я не перебиваю Кудлатого, чтобы не затягивать разговор.

— Мы только уточняем и утоньшаем одно сложное

понятие сотнями других, когда создаем фильм. И вот возникает единое общее впечатление, итог! А как же все это выразить в одной композиции, одномоментной? Старыми средствами нельзя. Тут, знаете, очень много общего — в киноискусстве — вот именно с этим методом живописи. Я и в этом фильме, который мы сейчас делаем, хотел бы...

Он достал новую, совершенно целехонькую папиросу, обстукал ее, примял и с ощущением приятности сунул в угол рта.

Я ловлю себя на страстном желании выбить из-под него одним ударом стул! Если будет сопротивляться — оглушить! Навалить на него подушек, одеял — гору! И потом... когда затихнет — прыжок на свою койку и спать, спать, спать...

А он все раскачивается. Мальвина не пожимает, а дергает плечом, как мальчишка, вступающий в драку:

— Не люблю! Чего тут разводить? Вы попробуйте провести с такой точностью и так чисто линию, вот и поймете. Чтобы выражала. Спросите Мамёткулова. — И с яростью поворачивается ко мне: — Ну я знаю. Я скованная. И провинциалка, и говорить не умею...

— Бог с вами! Таких коленных чашечек и таких глазниц — это даже слишком много для одной женщины.

— Не понимаю! Вопрос не в том: можно или нельзя? А вот насколько это нужно мне сейчас — раздваиваться от нежности?

— Да-а? Но если обклеить стены листами из вашего альбома, то как раз и получится...

— Метафора, — подсказывает Васька, чем-то ужасно довольный, и направляется к выключателю.

Утром мы с Мальвиной допивали на кухоньке только по третьему стакану стылого мглистого чая, когда ставни приоткрылись, появилось Васькино ухмыляющееся лицо. Он заелонялся ладонями от света, и голубые глазки его сияли:

— Девочки! Собирайте ваши скрипочки. Через десять минут выезжаем. Мальчики заканчивают погрузку.

— Куда это?

— На мыс Барса-Кельмес. «Пойдешь — не вернешься» по-русски. Между прочим, к супруге хивинского хана. Как-ой кадр! Раскрепощенная женщина! Бахчисарайский фонтан! Рок судьбы в шести сериях! Широкоэкранный! Детям до шестнадцати лет...

— Ты, что ли, придумал?

— Мой скромный вклад в дело культурного прогресса. Или не хотите?

— Хотим! Хотим!

Похоже было, что смерчи, разгуливающие по острову, увлакивали с собой куски аккуратных рыбацких поселков и кидали второпях без разбора — как раз на этом мысу, — оттого и получилась такая неразбериха. Здесь не было улиц. Дома смотрели кто куда хочет. Зато юрты все повернулись входом на юг. Усадьбы, огороженные камышовыми плетнями, а часто лишь обозначенные символически навалом колючки, или веревкой, или старой сетью, напоминали случайные заплаты на старом чапане. Казалось, здесь какой-то особый грунт, не подлежащий топографическому обозначению, состоящий из слоев утоптанного навоза вперемежку с высохшим камышом. Лишь вокруг ям — силосных или для замеса глины — выглядывали клочки солончака, поросшего темно-зеленым карабраком и верблюжьей колючкой. Зола, мусор, помои выбрасывались на дорогу, образуя естественную насыпь. На брезгливое замечание Кудлатого про антигигиеничность и про лень жителей Васька сердито ответил, что другого стройматериала тут нет. А подъезд по солончаку — это вам не улица Горького. И что солнышко лучше всякой санинспекции.

Здесь жили переселенцы из различных обезводненных районов. А видимую хаотичность поселка неумолимо спланировали изрезанная береговая линия и неравномерная засоленность почвы. Во всех пониженных местах поблескивали солончаковые болотца.

Непонятно было, кто и куда ездит тут на машинах. Население предпочитало водный путь в лодке вдоль берега или узкие тропы, прорубленные в камышовой чаще, где пробраться можно только в плоскодонном челне, отталкиваясь шестом. Пожалуй, лодки и каюки (челноки) оставались здесь единственными, кто признавал еще это море — морем, эту воду — водой. Рыбы от него отреклись. Свободнорожденные чайки и бакланы его презирали. А гуси и утки, которых насильно разводили хозяева, скорбно поглядывали с берега на обманчивую синеву. Впрочем, какая-то утиная мамаша по молодости, а может, ее привезли откуда-нибудь — так, по невежеству, спустила своих малышей на воду, не вняв тревожным крикам утиной общины, и теперь расплачивалась. Слипшиеся комочки утят с приклеенными крылышками и воспаленными лапками вылавливали из моря ребятишки и полоскали их в ведре с прес-

ной водой. Несчастливая утиная мать, бегая вокруг ведра и от ведра к берегу, истошно кричала. Утята призывали ее на помощь. Взрослые утки бранили на чем свет стоит. Но всех перекрывал органнй тенор гусака, грозно наступавшего на киношников. «Вот это и называется заболачивание и засолонение нерестилищ», — гоготал гусак.

Раскрепощенная женщина ютилась на отшибе. Тут уж со всех сторон откровенно подступал солончак — мокнувший, густопсовый. Понятна стала и многообещающая Васькина реплика: «Во дворце собственном живет». Голые прутья, лоскуты кошм, скрепленные кое-как.

— Проветривается, — констатировал Васька.

Внутри что-то испуганно зашевелилось. Я приготовилась к тому, что оттуда выпорхнет кто-нибудь с клювом и когтями, и почти не ошиблась. На пороге появилась старуха. В ней и впрямь было нечто пернатое. Складки серого покрывала, окутывающего голову и свисающего до лодыжек, — замызганные перья, его полы спереди — подобие оттопыренных крыльев. Птичья линия сгорбленной спины и откинутой длинной шеи. Истончившийся нос и корявые птичьи лапки. Только глаза были не по-птичьи тусклые, неподвижные. Она протянула нам ворох тряпья, в котором нелегко было отыскать черствую лепешку, чтобы отломить кусочек и съесть по обычаю Востока, вступая в дом.

В юрте было сумрачно. Пахло старьем, землей, кислотой копотью, дымом. Старуха жила не одна. Около очага, стоя, дремал кот. Старый одер! Кошачьего в нем уже ничего не оставалось.

— Не сбежавшая ли это химера с крыши Нотр-Дам де Пари? — шепнула Мальвина.

Я никак не могла поверить, что кот моложе старухи. Хозяйка огрела его по крестцу очажными щипцами, очевидно не соизмеряя силы удара. Кот с неправдоподобной прытью скакнул из юрты. Он как будто не удивился такому обращению. Это была старость, до которой не хотела бы я дожить. Старость за гранью добра и зла, за гранью летосчисления. Старушка принадлежала небесам более, чем земле. Киношники тягостно переглядывались.

— Что? У нее челюсть подвязана? — нерешительно шепнул Кудлатый.

— Это платок молчания, дуралей! Мужчины же в доме, — громко сказал Васька.

— Ах так...

Старуха уже забыла про нас. Она как бы ооченела,

сидя на корточках перед очагом, — может быть, она спала. Шустрая девчушка в желтом платьице колоколом метнулась в юрту, подсев к старухе; долго толкала ее кулачком в плечо, лопоча что-то. Старуха с усилием поднялась и бессмысленно засемила по юрте. Девочка доставала узелки с припасами, но так и не разжимала кулачка, в котором что-то прятала. Невесть откуда появилась эмалированная посудина, у европейцев именуемая «ночной», но в кишлаках и на кочевках не вызывающая подобных ассоциаций, напротив, весьма почитаемая стряпухами.

— Ой, не надо бы угощений, — поморщились киношники, в неестественных позах изнывающие на торе, почетном месте юрты против выхода.

Но Васька, с блистательной небрежностью развалившийся частично на остатках кошмы, частично на голой земле, запротестовал:

— Как без угощений? Что ей еще и делать? Ко всем людям гости приезжают. И к ней приехали.

Еще одна девчушка, совсем махонькая — темно-красный колокольчик с голубыми стекляшками на шее, — появилась в юрте с охажкой пиал, выложила их у очага, потопталась у входа и умчалась стремглав. Васька поймал старшую, пристроил к себе под мышку, и она затихла, поглощенная вниманием.

Мы попытались старуху спрашивать:

— Родственники есть?

— Она говорит: родственников у нее нет, — бойко перевел учителей сын. Хотя старуха ни слова не проронила. И даже не слышала вопроса.

— Что же она, пенсию получает?

— Она говорит: ей совсем немножко надо, — перевел мальчик так уверенно, будто и впрямь старуха заговорила. — Пенсии нет, джок, — он причмокнул языком, — она говорит: пенсию очень нужно. Совсем маленькую пенсию. Люди за нее хлопочут. Ей годов не хватает, стажа. Если кто помог бы — очень большое спасибо. Ее на колхозную работу долго не брали. Все знали про нее. Как возьмем в колхоз? Жена хивинского хана! Потом брали в колхоз. Она очень старая была. Работы такой не нашли. Искали, искали.

— На что же она живет?

— Соседи помогают. Ребятишки помогают. Она бабушкой работала, пока один мальчик не утонул. Маленький совсем. Не до смерти утонул. Откачали. Потом не стали бабушкой держать.

Какое-то воспоминание промелькнуло в лице старухи.

Мальчик добросовестно переводил ей то, что рассказывал нам.

Неожиданно она забормотала по-каракалпакски:

— Чучело — хорошо. Чучело лучше, чем мальчик.

Не требовалось особенного знания языка, чтобы понять старуху. Она твердила одни и те же слова. Но смысла в них не было.

— Мальчики — озорники. Забѳт много. Стрижи лучше. Слушаются. Чучело лучше мальчика. Мальчик утонул, — горестно покачала она головой. — Чучело не тонет.

— Безумная она, что ли?

— Это она про колхозную работу, — объяснил переводчик. — Ее ставили джугару сторожить. С трещоткой — стрижей пугать. Банку такую консервную дали. Там альчики. Ей тяжело. Еще боттала¹ к руке привязывали. Она рукой махала. Чтобы стаж был. Долго рукой махать не может. Потом ей чучелу сделали на помощь. Не здесь, в другом районе. Там стрижей — ой как много! Здесь джугара не растет.

— Вы все не о том, — вмешался Васька. — Эй, марджа! Баранчук бар? Кызынка бар?² — Васька вдохновенно разыгрывал пантомиму, понятную всем народам земли.

Он с такой трогательной мужской нежностью принялся укачивать собственную руку, с таким беспокойством ощущал хрупкость младенца, пугался своей силы и неловкости. Он подшлепывал, гулькал, строил смешные рожи; расплываясь улыбками, гордился. Ничего не скажешь: младенец получился крепенький, учитывая мощную мускулатуру штангиста и размеры кулака, обозначавшего голову новорожденного. Он даже заставил его пописать, отстранив несколько от себя.

Подобие улыбки обозначилось на окостенелом лице старухи.

— Бар! Баранчук бар! — закивала она и зачастила по-каракалпакски: — Много мальчиков было. Маленькие. И девочки были. Такой, такой, такой, — и она показывала их рост от земли.

— А большие? — настаивал Васька, повышая в воздухе головы подрастающих детей.

— Джок! Большие не живут, — спорила старуха, снижая уровень голов к полу. — Мои дети не растут. Всегда маленькие.

¹ Боттала — верблужий колокольчик.

² Марджа! Баранчук бар? Кызынка бар? — Бабушка, мальчик есть? Девочка есть?

— Может, не твои? Соседские? — насторожился Васька, указывая на поселок.

— Может, соседские, — испуганно и удивленно согласилась старуха. — Оспа привита — мой. Оспа не привита — не мой. Джок! — голова ее затряслась от страха. — Не мои!

— Что они, от оспы помирали все? — спросил Васька у переводчика.

— Путаает она все, — сказал мальчик, обиженный тем, что его оттеснили. — Нянчила она ребятшек, пока маленькие. А когда подрастут — не приносили. Других приносили, тоже маленьких. Некоторые дети иногда помирали. От оспы. Без прививки не брала. Плакать, выть начинала. Всегда тихая, а тут выла. А теперь и кажется ей, что все ее собственные дети были.

— А сама-то рожала?

— Много рожала. Родные и померли от оспы. Правду она говорит. Маленькие померли. Только очень давно. Меня совсем на свете не было. Рассказывали. Я слышал. Теперь всем оспу прививают. Вот посмотрите хоть.

Малыши поселка, давно уже облепившие нашу юрту, стали как по команде заворачивать рукавчики, выстроились в очередь и дружно заревели. Старуха оживилась, строго прикрикнула, двоих погладила по головке. Мы поняли без переводчика. Малыши знали твердо: раз на машине приехали из города дяди и тети, значит, будет прививка. Васька вскинул брови:

— Ишь ты, ободряет. И сама приободрилась. Ну, мы только так, марджа. Посмотреть. Мы колоть другой раз приедем. У нас инструментов, шприцев нет с собой, вакцины, — подробно разъяснял он старухе, как будто она могла понять. Но она поняла. И даже наставительно погрозила Ваське:

— Всем! Всем! Прививку делать!

Детишки расправили рукавчики и вновь образовали ярусы зрителей. Во всех дырах и щелях юрты поблескивали глазенки и сопели маленькие носы. А девочка, сидевшая в юрте, чувствуя, что ей завидуют, кокетливо потуплялась.

— Ты нам, бабушка, про хозяина расскажи. Ходжаин бар?

— Бар, бар ходжаин. Терт адам. — Она выставила по очереди четыре сморщенных пальца и так же по очереди загнула.

— Понятно. Загнулись, значит, все четверо.

— Когда в колхоз не берем — кушать надо, да? Ее

замуж выдавали. За стариков разных. Кому присмотр нужен был. Я плохо перевожу?

— Хорошо. Но ты знаешь как? — мягко попенял мальчику Васька. — Ты от себя ничего не прибавляй. Ты нам потом от себя переведешь. Ты дословно.

— Нельзя! Она никакие слова говорит. В русском нет. Про станок ткацкий рассказывает. Как ак-баскур делают. А теперь про вышивку. Накш, узор! Названия разные.

Старушка совсем ободрилась, вступив на проторенную дорожку. Разговаривала сама с собой, живыми воркующими интонациями, отрицая, поддакивая, показывая что-то руками. Переводчик не поспевал за ней: «Коврик взяли. Саукеле взяли. Да-а. Денег дали. Серьги тоже взяли. Одну спрятала. Нет, сказала, не ищите. Потеряла. Старые серьги. Двери у юрты сняли, унесли. Денег много. Муки купила». По несколько раз с видимым удовольствием перечисляла покупки.

Мы уже догадались, что старушке нанес визит наш Юрий Витольдович. Сцены торгов, уговоров, объяснений на тарабарском наречии и языке немислимых жестов во множестве украшали Мальвинин альбом. Было увековечено сангиной и акварелью, как он обвязывает веревкой створки и взваливает на свою хлипкую спину, как частит маленькими шажками, спасаясь бегством, и старушки ошеломленно смотрят ему вслед, а в иных вариантах — кидаются в погоню. Двери этой юрты, конечно, висели в нашей мастерской. Мальвина полистала альбом и показала зарисовку филенки с хивинской резьбой.

— Мои двери, мои! — заволновалась старуха и погладила рисунок. Тихое умиление озарило ее лицо, как будто во мраке ее памяти вспыхнул утлый язычок светильника и поманил за собой. Двери вводили ее к хивинской пороге жизни, к юности.

— Хан-то он хан, но тоже ведь мужчина. Может, она любовь свою вспоминает, — резонно заметил оператор.

Движения ее стали осмысленней, точнее. Она ловко залила кипятком чайник. Девчушка подсыпала заварку, — вот что, оказывается, зажимала она все время в кулачке: Васька притащил из кабины четыре банки со сгущенкой, буханку хлеба. Мы делали вид, что пьем и едим. С расчетом, чтобы и сгущенка и хлеб остались старухе про запас. Старуха помнила, что она хозяйка, суежилась, угощала. Она даже похорошела, насколько это возможно в ее возрасте.

— А мы, марджа, знаешь откуда приехали? — панибратски объявил Васька. — Из Хивы. Дай, думаем, по пути

заедем — из двора-то. В комнату твою заходили. Никто в ней сейчас не живет, ну, порядок поддерживают. Выметено, блестит все. Ну, как там у вас жизнь-то протекала?

Старуха растроганно закивала:

— Кушать много давали. Сколько хочешь кушай. Барашка, шербет, манты давали. Фрукты, сладости. Хоть десять раз в день кушай. Что захочешь, скажи, все принесут. Сами не готовили. На кухне повара все делали. Бешбармак, плов... Работать не заставляли. Если кто сам хотел — вышивал шелком. Шелка много, всех цветов. Что сделаешь — не отбирали. Позволяли родственникам посылать. А норму не требовали: сколько сделал? Она себе женгсе вышила, нарукавники. Кок-кейлек тоже. Еще ак-кейлек¹, к старости. Крестиком. Да-а! Красивый кейлек. Подол, рукава — все вышила. Узор сама придумала. Все удивлялись, хвалили. А за скотиной ходить, джугару толочь, сети чинить — этого не заставляли. И кошм не валяли. Все готовое давали.

— Что ж там целыми днями-то делали?

— Песни пели. Наряжались. Платья много было. Примеряли одна перед другой. В зеркало смотрелись. Каждый день в зеркало смотрелись. Купались много. Кушали.

— Так тебе хорошо жилось-то?

Старуха выпрямилась, елико возможно, и твердо ответила:

— Яман, яман. (Плохо.)

— Да чего ж плохо-то?

— Эксплотация, — очень чисто произнесла она и описала руками в воздухе большой круг. Мы переглянулись.

— Хорошо хоть не абстракционизм, — пробормотала Мальвина.

Киношники расхохотались. Старуха, чувствуя всеобщее одобрение, развеселилась сама и разоткровенничалась.

— За что тебя хивинский хан взял-то?

— За зад. Самый красивый зад у нее был, — мучительно краснея, переводил мальчик.

— Сам хивинский хан сказал: «Как лилия зад», — с гордостью повторяла старуха.

— А лилия водяная или садовая? — Васька обернулся к киношникам. — Интересно бы уточнить деталь.

— Водяная, — переводил мальчик, — кубрчак по-нашему.

— Здорово! Очень образно, — хохотала Мальвина, — но садовая тоже ничего.

¹ Кок-кейлек — синее платье с вышитым передом и рукавами. Ак-кейлек — белое платье. Белую одежду носили старухи.

Старуха с упоением предавалась воспоминаниям. Она все переживала заново. И как будто сквозь уродливую безликую старость проглядывало совсем иное существо — юное, застенчивое, озорное. Бывает так — со дна заплечного, застоявшегося колодца подымется вдруг хрупкая шаловливая рыбка и заплещется, заиграет, может быть в последний раз.

— Хан на галерее стоял, когда они купались. Его не видно. Ему все видно. Кому какая честь выпадает. Ей завидовали за этот зад.

— А строго за вами смотрели?

— Ой, строго. Никто из мужчин не заходил. Родственников по большим праздникам пускали. В особое помещение. Вблизи от входа. Туда на свидание выводили.

...Потом хан, если кого из приближенных отблагодарить хотел, — дарил своих жен. Еще гостям дарил. За большую честь считалось от хана женщину получить. Сам решал. Какую — кому. Так и ее подарил. Судье досталась. Судья старый, горбатый был. Гордился очень. Пока не подарили, ни одного мужчины не видала. Хан строгий был. Его боялись. Дрожали. Девочка одна маленькая в гости пришла. Хан увидел с галереи, приказал привести. Она ему палец прокусила. Маленькая, испугалась, наверное. Ее марама унесли и утопили. Да-а. Марама — ой злые были старухи. В гареме присматривали.

— Жены ссорились часто?

— Четыре главных жены очень ссорились. У кого дети-наследники — ссорились. А простые мало ссорились. Весело жили. Вместе пели. В игры играли. Смеялись много. Чистые ходили. Всегда сытые. Очень красивые.

— А хан часто тебя-то... гм... ну, вызывал? — не вытерпел Васька.

— Один раз вызывал, — с гордостью сообщила старуха. — Уж так наряжали, и мыли, и мазью мазали, чтобы хорошо пахла. Подружки советов надавали, как вести себя...

Тут наш бедный переводчик смешался окончательно: старушка принялась делиться такими секретами, о которых ее никто не спрашивал, но которые трудно было не разгадать по ее весьма выразительной пантомиме, тоже понятной всем народам земли. Игриво хихикая, она даже ушипнула разок Ваську. И кто-кто — но Васька?! Невозмутимый, неуязвимый наш Васька озадаченно почесал в затылке и опасливо отодвинулся. Его отступление заметили только мы. А не старуха. Это мы видели ее, жалкую, сгорбленную, ковыляющую по ветхой юрте. А она была

далеко. Она, снова гибкая юная красавица, задерживая дыхание, ступала по крутым ступенькам лестницы. Она бесшумно скользила по коридорам и залам дворца, закрывая лицо от молчаливой стражи, охваченная страхом ожидания и смутными надеждами. Это перед ней распахивались тяжелые кованые двери, мерцала позолотой роспись потолков. Ее о чем-то тревожно предупреждали горлинки. Для нее в аквамаринном небе прокалывались нежные хрупкие звездочки. С нею прощался уходящий день, склонивший уже голову и лишь шафрановыми рукавами обнимающий край земли. Это для нее вдали задерживалась дымкой темная зелень садов и потухающие изразцы минаретов, а вблизи вся пахсовая Хива обретала скульптурность и матовые теплые оттенки обнаженной человеческой плоти.

— А дела-то никакого и не было,— со вздохом облегчения объявил переводчик.— Хан после тоя устал, лег отдохнуть, да и проспал до утра. И она до утра сидела. Не то что шевельнуться, вздохнуть не смела. Душная ночь была, светлая. Как в сказке была ночь. А какой хан из себя — не видела. Глаза поднять боялась. А посмотреть бы можно было. На всю жизнь запомнить. Голос до сих пор помнит. «Тохта,— сказал,— обожди». А утром все равно подарки дали. И вниз увели. Он и не помнил, что было, чего не было. И никто про это не узнал. Пока судье не подарили. Тот очень сердился, что хан побрезговал. На самую тяжелую работу поставил. Больше уже никогда не пела. Во дворце-то и петь и плясать выучилась.

Старуха закинула руки за голову, пытаясь изобразить танец, но тяжело было на это смотреть. Мальвина, давно уже отвернувшаяся, набрасывала в альбоме ребячьи мордочки. А теперь почему-то из-под ее карандаша появлялось лицо Павла. Не столь трагическое, сколько страдающее.

— Подарите мне этот рисунок.

— Зачем? Не лучше ли его сжечь? Как и весь альбом...

Я вздрогнула от неожиданности: с порога юрты Павел пристально смотрел на руки старухи, испещренные белыми пятнами.

— Не выйти ли нам на воздух? Пусть товарищи поблагодарят за угощение,— грустно усмехнулся он,— и прощаются.

— Ну, дудки! Альбом я жечь не буду,— заявила Мальвина, задирая то одну, то другую ногу и хлопая на своих греко-римских голенищах азиатских москитов.

Васька задумчиво смотрел на ребяташек.

— А нам что делать? — смущенно спрашивали киношники.

— Искать другой сюжет, — пожал плечами Павел.

— Мы ведь ничего не ели, мы только делали вид, — с надеждой произнес Кудлатый.

— А лепешку-то при входе? — подсказал Васька.

— Да? И костюм! Что же с одеждой?

— Залезьте в мешки, там есть у Васьки в кузове, а свою сожгите, — предложила Мальвина.

— Влипши. В Москве из-за каждого прыщика в поликлинику будем бегать. И специалистов таких не найдешь, бр-р, — передернулся оператор.

— Некоторые люди до сих пор не знают, — сказал Павел как можно вежливее, — что лепра не более заразна, чем туберкулез, и так же излечима. И... пугаются излишне.

Мальвина отчаянно покраснела, будто именно на нее падало подозрение в трусости. А киношники радостно закивали головами.

— Вы разве не пойдете к нам обедать? — обиженно наставлял переводчик.

— Нет уж... А, ладно, пошли! Есть хочется, — решил Кудлатый. — Раз уж тут чай пили...

— Я бы подбросил, — отведя в сторону Павла, потоптался Васька, — да ведь крику не оберешься.

— Не надо. Медпункт вызовет инфекционную.

Машина из города пришла быстро. И когда мы кончили обедать, юрта уже догорала. В сторонке у дороги сидела наша старушка рядом с небольшим узелком, из которого торчала ручка известного эмалированного сосуда. Старуха сжимала две банки со сгущенкой, поколачивая одну о другую; равнодушно смотрела на догорающий костер. В глазах ее не было ничего живого, кроме отблесков огня. Вокруг бродил недоумевающий, приноживающийся кот-одер, не выказывая, впрочем, никаких чувств. Поодаль стояла разноцветная толпа женщин. Все молчали. На разостланный по земле клетчатый платок то и дело чьи-нибудь руки подкидывали поношенное старое платье. Когда никто уже больше не кидал, из толпы вышла тоненькая девушка, неторопливо стянула узлом концы платка, поддела на локоть, длинными гибкими шагами приблизилась к старухе, сложила ношу у ее колен и медленно побрела обратно.

— Ну, вот и заработала бабушка пожизненную пенсию, — тихо произнес рядом со мной Васька.

Мальчишки пульнули камнем в кота, подранили. Кот крякнул, быстро, судорожно перебирая передними лапами, уволок подбитое туловище в кусты.

— Не смей! Пусть увезут сперва, — пригрозил Васька.

Но старушка не беспокоилась. Она привыкла к тому, что кот, как бы его ни побили, приходит. К превратностям судьбы она тоже привыкла. Сколько раз, не спрашивая, но и не забывая, ее куда-то увозили, перевозили. В толпе не было ни близких, ни друзей. Но когда люди в белых халатах взяли ее под руки и повели к машине, толпа дрогнула и зарыдала в голос. О чем?

Я обернулась к Ваське. Но и в его маленьких голубых глазках, как в наклоненных чашечках, стояла влага.

— Ишь ты, как хорошо-то!.. Провожают, — сказал он.

Может, надо было что-то сказать, сделать, но никто из нас не знал, что именно. Обругать Ваську за его затею? Никому почему-то не хотелось.

— Этот мыс, что, тоже будут переселять? — спросил режиссер учителя.

— Очевидно. Со временем. Когда море отступит еще дальше.

— Тогда мы снимем море, пока оно еще здесь.

НА БЕРЕГУ

Море стало пепельным и молочным. Воздух — пронически звенящим, — мы не захватили накомарников. Готическую архитектуру теней поглотили сумерки. И появились звезды, чтобы обозначить место действия на земле и напомнить о масштабах Вселенной.

Васька, подогнавший машину на школьный двор, ходил вокруг бочки с бензином, а Кудлатый, взъерошенный более обычного, ходил вокруг Васьки и сокрушался. Бензина по необъяснимым причинам не хватало на обратную дорогу. По-моему, Васька намерен был тут переночевать, но передумал. И теперь прилаживал шланг к школьной бочке с разрешения местных властей, среди которых у него мгновенно нашлись кумовья и сваты.

— Васька, ты не глотни смотри. Еще отравншься, совсем не доедем.

Васька оторвал губы от шланга, сплюнул, вытер рот рукавом и блаженно зажмурился:

— Коктейль визави! Хочешь глотнуть? Угощаю.

По двору трусила ишачиха в сопровождении малюсенькой дочки и отклоняла настойчивые ухаживания вислоухо-

го поклонника, злобно била задом, когда он приближался. Мы, как и поклонник, никак не могли разобраться: отказ это или женское кокетство? Мальвина, по-дорожному, в брючках, с альбомом под мышкой, задумчиво поглядывала на ишаков, на пустое здание школы.

— Братцы, а не хотел бы я попасть сюда по разверстке на всю жизнь,— вздохнул Кудлатый.

Ишак почти нагнал свою даму, она звучно лягнула его в грудь, а когда малявочка, ее дочка, подпрыгнула его еще маленькими копытцами в брюхо, оператор ахнул:

— Да!!! Я бы тоже не хотел. Ужасно!

Мальвина подарила его ослепительной улыбкой.

— Нет! Видел дыры. Родился в дыре. Но такой!!! — возмущился Кудлатый.

— А мы ничего: живем и дышим,— нахмурилась Мальвина.

— Не придавайте значения его словам, Мальвина,— произнес оператор, скрешивая руки на груди и отставляя ногу по образцу героев приключенческой литературы, впадающих в глубокое раздумье. — Знаете, что это у него? Раннимость. Каждая точка в нас начинается со стонов и мировой скорби. И продолжается это до... первой хорошенькой девушки. А тогда сразу суровая красота действительности его захватывает! И ничего! С ним вообще-то можно... Я даже его люблю. Изредка.— И оператор вдруг обхватил Кудлатого кольцом рук, качнул его в сторону, стараясь свалить.

— Вы не находите в нем сходства с Хемингуэем? Морщины? Лобные доли?

— Брось... Неохота дурака валять,— упирался Кудлатый.

— Знаете, вы кто? — засмеялась Мальвина. — Нытик и Вытик. Двойняшки.

— Нытик и Вытик? — оживился Кудлатый, освобождаясь из объятий товарища. — Хорошо! Можно сюжетик такой. Смешную историю. Потом они перевоспитаются. В процессе. Какая-нибудь ситуация такая. С девушкой. Я уже чувствую, получится.

— Эй, новозараженные! Прощу,— воззвал Васька. — Даму, конечно, ко мне в кабину.

В кабину никто не захотел. И я еще успела зарисовать — мысленно — три стройных силуэта: два юношеских и один девичий, легко и ловко амортизирующих толчки на стремительном ходу машины и не оглядывающихся назад.

Еще перед обедом, когда мы вдвоем стояли у умывальника, Мальвина спросила, обратив ко мне зажмуренное и намыленное лицо Блока:

— Оставить вам бумагу и карандаши? Ведь вы не успеете, Женья?

— Пейзажи на ощупь? Стемнеет скоро.

— А помните, вы говорили, что в каждой женщине бывает Царевна Лебедь и Волхова? И что это несколько не субъективизм Врубеля, а пронизательность величайшего реалиста? Диалектика — раз он улавливает в одном лице не только свершившееся теперь, но и тысячи лиц, возможных, вероятных, бывших, будущих, может и неосуществившихся... Хотя и не пытается, не в пример абстракционистам с их претензиями, засунуть все сразу в одну композицию, по существу одномоментную.

— Да? Говорила? Ну да, я люблю поговорить. Но, может, вы бы сами остались — выявлять все эти лица?

Мальвина раскраснелась, вытираясь скрипуче-чистым хозяйским полотенцем.

— Не из-за меня же он притащился в поселок? Помоему, ясно?

...Ясно было, что Павел придет вечером к сожженной юрте. Ясно, что меня там встретит. И это было яснее, чем если бы мы заранее уславливались. Вот в этой ясности и было что-то очень унылое. Мне не хватало неуверенности.

Часть моих шагов по этой колючей тропинке — к юрте — принадлежала Мальвине, часть — Сергею, даже Ваське, и только несколько было моих собственных. Я знала заранее, как отступит в темноту море, но близость его останется, как песок под ногами станет холодным и отчужденным. А какой-нибудь нелепый лоскут или клочок бумаги, застрявший в колючках и невидимый днем, заявит о себе пугающим шорохом. словно оживет и начнет подкрадываться. А когда выключат на ночь электричество в поселке, все собаки разом ошалело завопят, объявляя, что их пора в мире наступила. Потом шквал собачий схлынет, останется сторожевая переключка, отдельные голоса, по-особому ночные, из глубины глоток, готовые сорваться на звериный вой. Но я заранее не знала, зачем мы оба сойдемся к юрте.

Ждать пришлось мне. Недолго. Павел подошел торопливо и был даже оживлен.

— Не выпускали, пока не поужинал, — как бы извинился он. — Всех, конечно, осмотреть не успели. Отложили до утра.

— А результат?

— Пока никого. Чесотку у ребят нашли. Две ангины, грижу у старика. Пустячки. Может, и единичный случай. Но не будем особенно надеяться. К нам поступали отсюда больные — давно! Вот уж никак не ожидал, что нарвусь.

Я решительно не понимала, что я должна говорить. И выжала из себя, как из пустого тюбика остатки краски:

— Я, наверное, не могла бы привыкнуть к профессии лепролога. Все, что случается в вашей жизни, так трагично.

— В моей жизни ничего не случается. В моей жизни все уже случилось, — сказал Павел почти ласково.

Эта мягкость меня пугала. Мы еще о чем-то говорили, и все слова наши расплывались, как туман, в котором стираются грани предметов и теряется направление.

— Мгла с моря пошла, — вздохнул Павел. — И мы с вами одни в мире. Не поговорить ли нам о вечности?

— Да! Так разговаривать — по воде палкой водить.

— А вы не обидитесь, Женя, если я сознаюсь, что и сам не знаю, зачем пришел? А ведь какой конец отмахал. И зачем мне хотелось вас увидеть?

Тут-то и было то роковое обстоятельство, что Царевна Лебедь ух как обиделась бы! Заклевала бы. И Мальвина бы вскочила и сказала что-нибудь злое, резкое — очень милое. Справедливее уничтожить на земле всех женщин, одержимых общечеловеческой любовью. Чтобы не путались они зря под ногами у злобных Мальвин, ревнивых Ксюток, кротких Кызболды. И хотя я вся от лодыжек до затылка ощутила, что, когда приеду на север, сирень расцветет и не будет пахнуть и табаки по вечерам не будут пахнуть, — я не решилась соврать, что обиделась.

Павел лежал неподвижно на спине, закинув руки за голову. Но не от ночной мглы казался он мне таким неуловимым — почти отражением в воде, когда оно то рассыпается на отдельные куски, то склеивается воедино, неустойчивое, колеблющееся.

— Ну вот, Женя, мы никогда не будем возвращаться к этому разговору, которого и не было. Правда? Может человек когда-нибудь устать? Это вроде безнадежного рака и метастазов. Но если вам все равно, посидите еще. Спасибо вам, что вы молчите. Что не говорите, что стержня у меня нет, что мировоззрения не хватает и чего там еще... Что самое несчастное существо, вот хоть бы кот этот, обаяван цепляться своими старыми высохшими когтями. Это говорю я обычно своим пациентам. Но иногда ничего не говорю.

— Я как раз хотела сказать.

— Про стержень?

— Про кота.
— Про стержень — это моя жена. У! Великая специалистка по стержням.
— Значит, она вас любит.
— Про нее лучше не гадать. Про себя... я любил, очень. Ее, понятно, а не стержень. Впрочем, это мелко. Я же и раздавил ей жизнь.

— Она была больна? И вы ее лечили?
— И вылечил, Женя. Но за то мы и зарплату получаем. Двойную. Тут никакой заслуги нет. А стержень у нее могучий. И дай ей бог. Кроме стержня ничего и не осталось. А был живой человечек. Ей, бедняжке, так хотелось вырваться в мир здоровых. Понятно же. Она еще в жизни ничего не успела. Как она была счастлива, когда сходилась с катера. И ни разу не обернулась. Счастливое лицо было у нее... когда мы попрощались.

Не скажу, что она меня не любила вовсе. Что тут был расчет или только долг и благодарность, — не так. Было сотрудничество. Совместное творчество, вдохновение, битва с палочкой Ганзена¹. Как она плакала, когда я принес ей первый чистый анализ. От восторга. До этого держалась как крепость. А что такое любовь, как не путь к счастью? Я и был — путь к счастью. Потом я стал помехой счастью. Она не сомневалась, что я поеду за ней. Она решила это за меня с самого начала, в секрете от меня. Я-то от нее ничего не утаивал. И дети появились для того, чтобы вытянуть меня из ада. Домовитые, уютные какие у нее письма, пахнут ватрушками, крахмальным бельем, театральной афишей. Она даже мне первое время трамвайные билетки присылала. Наклеивала и присылала. От восторга. Можно подумать, что у нее не бывает неприятностей по службе, огорчений с детьми. Тот мир и этот мир — вам непонятно?

— Не все. Дети как же, по почте родились?

— Вполне имели право родиться по почте. Я редко мог выбраться к ней. Так встречают только иностранных королей, как она меня встречала. Я и в самом деле оказался иностранным королем. Возвращался в свою державу. И мне не хватало стержня. Было пущено в ход все: чулочки на ножках, каждая складочка платья, каждый смешной завиток на затылке. Когда-то у нее были гладкие блестящие косы. Я любил их заплетать. С них все и началось. Она не могла сама. Полагалось бы их отрезать. Почему-то этого она испугалась больше всего. Больше незаживающих язв,

¹ Микроб, распространитель лепры.

больше угрозы ампутации рук. Как будто в косах оставалась вся связь с миром. Я взял их под свою опеку. Санитарки у нас всегда перегружены. Я заплетал. Левая была толще. Я говорил, что это ее дорога из больницы и еще очень дальняя, добрая дорога. И каждый виток косы что-нибудь значит: встречу, какую-нибудь радость.

Я придумывал без конца радости и сюрпризы, которые ждут ее на дороге. Она никогда не жила в большом городе. Не бывала на севере. Ее легко было удивить и обрадовать. Но я сам радовался и удивлялся не меньше. Потом я заплетал правую косу потоньше — свою дорогу. Молча. И она очень робко, стараясь угодить мне, стала вплетать в мою косу фамилии больных, которых я обязательно вылечу. Больше она ничего обо мне не знала. Или не смела. Я еще не заметил, как привязался к ней. Мне было ее бесконечно жаль. Но что она сделала — самое первое, когда ей разбинтовали руки? Сплела обе косы в одну. Ни о чем не спрашивая да и не надеясь ни на что. И меня не принуждая к ответу. Ведь я мог бы и не понять, если бы не захотел. Бедная девочка, как у нее билось сердце, когда я утром подошел к ее койке. И такая она вся была беспомощная, незащищенная и отчаянная. И эта коса на одеяле.

Да... но ведь для меня же она и потом, когда я приезжал, часами накручивала модные мальчишковые прядочки на эти идиотские рогульки. Были и горькие слезы, и «хоть ради детей». Она решила ждать. Сколько? Чего? Я с самого начала сказал ей, что ни в какой «тот мир» не вернусь. Не потому, что не найду там службы.

Странное ощущение, будто все, что я рассказываю, не со мной случилось. Будто в бинокль смотришь — так далеко...

Ее захлестнула молодая жажда жизни. Вот то самое — всеми когтями. А мне не надо было влюбляться и жениться. Или уж хоть бы без детей. Я ведь и сам не настаиваю теперь, чтобы они жили здесь. Но каждой женщине нужны дети. Лепра по наследству не передается. Если только при родах не заражаются. Или после. Замечали вы, что люди покалеченные или больные жаднее всех хотят иметь детей? Понятно. Нельзя у них этого отнимать. Но нельзя и требовать от молодой женщины, чтобы она шла за мужичиной, ну вот — в лепрозорий — на всю жизнь. Слишком тяжелая ноша.

— Как все-таки все бывает наоборот...

— О чем вы?

— Сосчитали бы вы, сколько тоски женской на свете оттого, что... ну, не за кем, некуда идти. В лепрозорий ли, на луну, в ад, в рай...

Павел приподнялся на локте и нахмуренно посмотрел на меня.

— Я не смеюсь, честное слово, не смеюсь! тоска, что ли, по настоящим мужчинам? Я не о вас. Всю жизнь мечтала, чтобы кто-нибудь загубил душу. Мне. Мою. Все никак не губили. Насчет всего прочего... Ах, как это хорошо, когда губят душу, Павел!

— Пойдемте, Женя. Я не хочу говорить об этом. Ни о вас. Ни о себе. То есть, конечно, о себе. Жена — по привычке все называю ее женой! — будет еще счастлива. Это не палкой по воде, но палкой по песку. Тоска по настоящему мужчине! Так ведь это же не ваша — моя, моя тоска. Я не смог им стать. Пытался, замахивался и не сумел. Я знаю одного настоящего мужчину — Сергея. Это не палкой. Это складки на застывшей лаве. Атлант. Он на своих хлипких плечах преспокойно удержит небо, в шахматы играючи. Он думает: все могут. Он тысячу раз прав! Извините, что я ухожу. Вы не видели, куда они кота задевали?

— Но я очень боюсь... собак, Павел. Не оставляйте меня на съедение.

Я проклинала себя за мелочность. Но... я же не успела пропитаться местными запахами, а расовые предрассудки у собак... еще не изжиты. И палки нет.

— Ну да, ну да, как же можно! Я должен вас проводить.

Мы почти бежали по солончаковому болоту, по узенькой тропинке, и я прихватила туфлем липкой холодной грязь.

Павел вдруг остановился, повернулся ко мне, загордив дорогу.

— Тс-с-с, это он, — прошептал Павел, указывая пальцем куда-то за мои плечи. — Тс-с-с.

Зубы лязгнули у меня не от холода. Вот этого ужасно не люблю. Когда что-нибудь за моей спиной.

— Пом...

Но Павел не дал мне крикнуть, мгновенно стиснув огромной, как совковая лопата, ладонью мои челюсти:

— Ах ты, и пристрелить-то нечем, — бормотал он мне в самое ухо. — Не кричите, Женя! Кот, кот, кот. Не оборачивайтесь. Зрелище не из приятных. Кишки наружу, а ползет. К юрте. Может, вы и правы. Сухими когтями... Это мы ему мешали. Он ждал, пока мы уйдем. Ну, будь по-вашему. — Он выпустил наконец-то меня, мимоходом попра-

вив шпильки в моих волосах. — Пусть сам околет, как хочет. Пошли. Я им говорил, чтобы сожгли, если найдут. А то зароят по-мусульмански. У них и люди-то чуть не на ружу из могил торчат.

НОЧЬ В МУЗЕЕ

Я проездом — болею в фондах Музея искусств.

Лежу на раскладушке под потрескавшимся «Караваном», неотреставрированным, потемневшим, но могучим, как фрески проторенессанса. От пола и до потолка вся середина комнаты забита руками, ногами, шеями верблюдов, спортсменов, младенцев, чайханщиков, волнами с белыми гребешками, взрывами, бесконечными уборками хлопка — масляными, акварельными, гуашевыми, керамическими, деревянными. Все это очень соответствует моему бредовому состоянию тяжелой ангины. На болезнь мне отпущен целый день — выходной — и ночь. На рассвете я улетаю в свой маршрут.

Прошло десять лет с тех пор, как мы с Юрием Всесвятским в этом же самом здании раскладывали по ночам на лестницах первые собранные коллекции прикладного искусства. Теперь здесь Музей искусств, ему удалось завладеть всем огромным зданием.

Я смотрю в окно и боюсь пропустить хоть один кадр. По-моему, в вечерний час у всех дверей всех домов должна происходить страшнейшая давка, как перед открытием сессионного кинофестиваля или как у концертного зала, когда играет Рихтер. По-моему, люди, расталкивая и обгоняя друг друга, выпрашивая билетки или вовсе без билетиков, должны рваться из дверей, из окон, из ворот на улицу, чтобы приобщиться к этому потрясающему зрелищу — наступлению вечера в городе Нукусе.

Ни в Самарканде, ни в Душанбе, ни в пустынях Туркмении, ни в горах Тянь-Шаня, которые по-своему памятны и прекрасны, — нигде не бывает такой разящей чистоты неба с реянием в воздухе серебряных стрел. Голубое и чистое, отраженное большими белыми экранами домов, это оно превращает улицы, обсаженные деревьями, в тоннели, в которые заплывает, как вода, зеленовато-малиновый сумрак. Это оно превращает площади, пустыри, перекрестки, паузы между домами в сквозящие, сияющие дворцы. И каждый вечер рядом с кубиками, глиняными и каменными, возникают парящие фантастические сооружения световой архитектуры, архитектуры будущего и самой изначальной,

Золотые деревья с листьями на белой подкладке, разноцветные фигурки людей — лишь узорчатая кайма этого неба. Его очень много, потому оно и остается еще так долго светлым и живет, когда на земле все тускнеет, становится призрачным, необязательным. И пока прокалываются первые звезды, я несколько раз заново рождаюсь на свет, не успевая при этом умереть...

— Чай пить будете?

— Мы только и делали, что чай пили.

— То был дневной, а это вечерний.

— А будет еще ночной?

— Ночью будет некогда. Я покажу вам кое-что. Пойдемте в залы, там есть вещи, которых вы не видели.

— Но у меня зуб на зуб не попадает.

— Там не будет сквозняков, не волнуйтесь. Завернетесь в одеяло. Не все ли равно — лежать под тулупом или ходить?

— Такая тяжесть давит на каждом шагу...

— На мне сто сорок тысяч долга. Вот и давит на каждом шагу — сидя, стоя и лежа. Того и гляди вещи обратно рассылать придется.

— Нет, Юрий, мне не подняться.

— Посмотрите первый этаж.

— Мне шагу не ступить.

Наконец-то отстал и даже ушел. Обиделся? Какое счастье! Свинцовый сон охватывает меня, но при этом что-то дребезжит, стучит пронзительно, непрерывно.

— Вот вам транспорт. Правда, без рессор.

— Что за тележка? Откуда?

— Мусорщика. А что? Во дворе стояла. Я позаимствовал. Наша прорывилась, когда кирпич возили.

— К чертям! Убирайтесь. Сама дойду.

Люди бывают коварны, лживы, искусство никогда не лжет. Если оно чего-нибудь хочет от вас — прислушайтесь и поверьте. Оно сдержит все свои обещания. И даст больше, чем обещает.

Грохочет оперно громадный замок. Я понимаю Юрия: в этом запертом на замок мире нет замкнутости. В мире живописи на стенах, скульптуры и керамики по углам — все понятно, дружелюбно. Здесь человек обретает себя, если не висят на стенах бездарные, ходульные вещи. Но здесь почти нет таких.

— Послушайте-ка, Юрий, я все-таки думаю, что смотреть все это надо днем, при нормальном освещении.

терпеть не могу эти лампы дневного света. Верещат, как поросята, вибрируют и все превращают в морг.

— Живопись тоже их не терпит.

— А кроме того, ночная жизнь музея всегда романтична, даже если всякую дрянь навешать. Сколько шорохов, тишины, безмянных скользких бликов, вздрагивающих стен, и само присутствие здесь образов владельцев дворца с высокими окнами — уже факт волшебства.

— Я думал, вы из детского возраста вышли. Я все равно должен приходить сюда по вечерам открывать окно. Они должны погулять перед сном, подышать. Днем я вас сюда не вожу потому, что вы прилипнете к окну, как дурочка.

— Уж очень золотая осень. И вид из окна такой... Это наш старый спор. То, что тут висит, не надо разве соизмерять с тем, что за стенами?

— Если дети родились, они требуют забот. В вас нет инстинкта материнства. Вы можете бросить ребенка, не накормив.

— Я никогда не перестану удивляться, как вкус к жизни может быть до такой степени вытеснен страстью к вещам, к собирательству. Все коллекционеры — люди ненормальные. Как будто картины не о том же: счастлив человек или несчастлив? Не стоит еще раз начинать об этом.

— А я до сих пор не пойму и не перестану изумляться, как происходит такое чудо, — бормочет Юрий. — Вот полотно, ну пусть даже натянутое, что из того? Пусть даже загрунтованное, хотя это уже кое-что. И вот ящик с красками, пусть даже очень хорошими, и кисти, пусть даже колонковые. Но что из того? Ведь ничего еще не случилось. И вдруг — рождается сияющее чудо! Почему? Так встречаются совершенно разные люди, мужчина и женщина, далекие, разномыслящие, и... они стремятся друг к другу. Кому какое дело? И вдруг получается кто-то третий, новая жизнь. И всем уже есть дело. Вполне самостоятельная жизнь, и с этим уже ничего не сделаете. Напрасно думать, что он или она продолжают в ней. Новая жизнь может восстать против них, пойти совсем особым путем. Время обдышит ее иначе, волеет ее в иную форму, поставит перед нею иные задачи. Она уже не вернется в вас, как картина не вернется в тюбики с краской. Совсем этого и не надо, может быть? Нет, оказывается, надо. Только я не могу понять почему. Вы думаете, что тут происходит по ночам? Они спорят, ругаются, вспоминают?

— Они делятся впечатлениями о зрителях.

— Что же они о нас думают? Например, фрески тысячелетней давности.

— Они ничему не удивляются: если сумели дожить, значит, все предвидели.

— Нет! Прелесть будущего в том, что его можно идеализировать.

— И прошлое — тоже! Трудней всего почему-то идеализировать настоящее. Но они ошибались только в деталях. Многое в искусстве обращено далеко вперед, через наши головы.

— Это в самых сильных вещах! Но вещи нашего музея, заглядывают ли они так далеко? Они никогда не ссорятся между собой. Если не вотрется среди них кто-нибудь фальшивый. Тогда они дружно выпихивают его со стен. Вот эти два художника были при жизни врагами, конкурентами, представителями так называемых противоположных методов. А как они прекрасно дополняют друг друга, я нарочно повесил их рядом. Им есть что вспомнить. Талантливые вещи никогда не мешают друг другу. Как бы ни были разны. Посмотрите! Вот висит северный, самый что ни на есть сдержанный Шевченко с его господством серого в гамме, который мерцает, переливается и на котором блеклые тона — желтый, розоватый и голубой — звучат так интенсивно. Какая собранность форм и цвета! Пасмурное теневое царство, оказывается, очень красочно. Как теплится тело женщины на этом портрете, написанном в холодных тонах. И юг он изображает в таких же нежных гаммах. Целые поэмы. Неожиданно? Но разве не правда? Разве не такие соотношения цвета мы знаем в наших пустынях и горах?

И — Волков! С его буйно-красным, как расплавленная лава, напряженным цветом, охристым-огненным, зеленым-огненным, с контрастами на всю катушку.

Лишь бы талантливо! Надо подбирать соседей не по краскам, тематике и течениям, а по степени талантливости. Меня спрашивают, как это я так развешиваю, что все смотрится и ничего не забивается. Ведь у Шевченко камерный мир! А у Волкова эпос, все эпос: и портреты, и сбор урожая, и жанры — все эпос...

— Вещи надо смотреть днем. Они устали, им надо отдохнуть, на них столько глазели. Они спят, а с первыми лучами солнца...

Но Юрий меня не воспринимал, я не висела на стене, а двигалась, имела плоть не керамическую, не деревянную, не гипсовую. Он сидел, подобрав ноги к подбородку и выкинув от колен руки, похожий на цветок кактуса.

— Все равно наука никогда столько не сможет, как искусство. Наука исследует, искусство создает.

— А колесо, паровоз, телефон?

— Но искусство охватывает мир еще не познанный, опережая науку.

— Так думают художники, а ученые-философы считают искусство эмбрионом научного мышления.

— Э, нет. Искусство старается охватить как можно шире. А наука все уточняет и сужает. Всегда — я тысячи раз проверял — всегда в талантливой вещи открывается хоть маленький, но обязательно новый закончик жизни. Возьмите!

— Ничего брать не буду.

— А вы возьмите, возьмите, — он кинул мне три маленьких сосудика, один за другим, я вынуждена была их поймать.

— Ну, что я вам говорил? Что? Три полоски и загогулина, везде три полоски и загогулина. Разные только пропорции, но этот — так себе, второй — отличный, а третий — изумительный. Вот вам — закончики-то!

— Я хочу про другое.

— Да, да, — вдруг уступает он и сразу гаснет. — Сколько всякой суеты вокруг искусства было и будет, потом суета забывается, отваливается, и искусство рвется вперед и остается навсегда. Но его надо вынырнуть. Его обязательно надо нырнуть. Это неизбежно, что две жизни — одна большая, другая маленькая — у искусства. Но без маленькой не бывает большой. Я не создал большой и выбрал себе маленькую. Разве не так?

— Так.

— Чего же вы не согласны? Вы всегда не согласны.

— Меня волнуют мысли более простые. Смотрите, это полотно написано Волковым в труднейшие годы, голодные, холодные, когда ни холста, ни подрамника не было, краски с трудом добывались, ценой последнего куска хлеба. Он писал на обоях, на обороте афиш, на старом тряпье. А какие счастливые они, с каким замахом, прорывом вперед! Фантазия, мечта, эпос, в котором все переплелось: древние философские представления и последние, самые смелые открытия человеческой мысли, которые только сейчас становятся реальностью, — вот вам взрыв, который породила революция, все перевернув... Но вот вещи после тридцатых годов. Тогда еще умерли его близкие, он остался один и чуть не сошел с ума от горя. И тяжело очень складывалась его художественная судьба — не признавали, не понимали, много ругали, хотя сейчас уже трудно поверить и представить, за что. А где, покажите мне, где горечь? Разочарование? Сомнения? Они, конечно, были. Но они остались по ту сторону полотна. Любовь была сильнее. По-прежнему все

сияюще. И... все о добром и прекрасном в мире. А вот вещи военного периода: тревожность, смятенность в самой фактуре живописи, в мерцании красок, но еще больше и мудрее — восхищение человеком. Хорошо, вы скажете, индивидуальность такая? А Курзин? В последние годы жизни он писал вот эти пельмени, примус, натюрморт. С юмором, со страстью. Неиссякаемое жизнелюбие. Пельмени эти стоят гоголевских галушек: бац — в сметану и сами в рот прыгнут. И перышко лука шмыг за ними и хрустит на зубах. А Курзин ходил отекий, без единого зуба, доживал последнее. Объясните мне, как это получается? Или его Испания? Стихия праздника, уж такая переполненность жизнью, вакханалия, Дон-Кихот, заехавший на наш восточный базар с испанскими перьями и плюмажами, и Росинант, смахивающий на наших многотерпеливых верблюдов... А теперь, Юрий, покажите мне наших — Мальвину, Джуманияза, Ачила, Ли.

«Я, когда поработаю на совесть, выхожу из мастерской словно очищенный, промытый... — говорил Ачил. — А если долго не работаю, делаюсь неповоротливым, пиджак под мышками жмет и во рту привкус, будто зубы не почистил».

— Из выставки Ачила этот портрет мне больше всего нравится.

— Рудабэ? Он всем нравится.

Этот целомудренный портрет — целая полемика. Благородно написано. Некоторые стесняются благородства, стыдятся любить женщину, а не просто употреблять. И целые периоды есть в искусстве — только об употреблении, не о любви. Мужская чистота — такое же редкое качество, как и женская. Но о женской очень много говорено в искусстве, литературе. Так вот, это написано с мужской чистотой. И ведь дураку ясно, что это портрет не просто красивой молодой женщины, а возлюбленной. Солнечно от нее в мире. Хотя сама она вся в темном и затененная. И статная она, и прекрасно ее тело, соблазнительна линия спины. Как у Анны ренуаровской. Но Рудабэ в своих темных одеждах таинственнее обнаженной Анны. Анна — женщина для всех, Рудабэ — для единственного. И рядом где-то малыш. Потому что в руках у Рудабэ игрушка. И, слава богу, Ачил не расцвел ее, хотя, конечно, это серьезное искушение — сделать такое яркое ударное пятно. Собранность проиграла бы. Ничего напоказ. Молодец восточный принц. Его пейзажи юношески поэтичны, но там глаза еще разбегаются. И закат хорош, и горящий тандыр на закате хорош, и ребятишки-пятнышки, — ведь мир битком набит сюрпризами.

Дальше зал Джуманияза. Конечно, художники — творцы прекрасного — должны быть сами красивы. Но, к сожалению, не всегда так бывает. Юрию и тут повезло. Он нашел себе в живописцы благородного красавца Ачила, а в скульпторы — красавца Джуманияза с голосом золотым, певческим. Голос у него настолько силен, что из вежливости Джуманияз говорит одними губами, — как Ачил из вежливости, чтобы не возвышаться над людьми, слегка сутулится.

У Джуманияза тип красоты иной, с глазами-маслинами, если маслины бывают печальными и задумчивыми, с овалом лица и губами под Будду. Он ниже, полнее, женственнее Ачила. Но поклонницы обоих нашли точные характеристики: Ачил выполнен в утонченных традициях XV—XVI веков, Джуманияз восходит к древней кандагарской культуре. Оба вчерашних кочевника обладают душевной тонкостью и слишком умны, чтобы заважничать, облениться и поглупеть от быстрого успеха. Может, это и есть главное качество талантливости.

— Ачил почему-то не портится с годами... Он ведь красив не только с виду, — вынужден был признать даже Юрий, который не покладая рук отыскивал в людях скверные стороны из воспитательных соображений. Ачил пока единственный, с кем Юрий не решается ссориться, и даже... слушается его. Иногда.

Джуманияза первый раз я увидела в тяжелый день... над античным оссуарием, к которому он догипсовывал верблюжью голову — воображаемую. Трудная задача: у оссуариев пропорции самые произвольные. Юрий бродил по комнатам административного корпуса и ко всем придирался. Он был болен, не хотел болеть. Он вдруг хватал тряпку и начинал мыть пол, или составлял протоколы несостоявшихся заседаний, или вызывал на закупочную комиссию людей в праздник, когда, разумеется, никто не приходил, и бешенство его возрастало.

Устроив всеобщий нагоняй и несколько персональных выволочек, он выхватил откуда-то резиновую хлопушку, бросился искать мух и щелкал, щелкал, щелкал по стенам, столам.

— Развели мух, черт те что, никому ни до чего нет дела. (Хлоп! — перед носом уборщицы с ведром.) Пришлось перемыть самому пол. (Хлоп!) Только грязь размазываете. Вы печатаете опять с опечатками. Мне пришлось письмо в министерство самому перепечатывать. (Хлоп! Хлоп!) Куда вы, к черту, кленте сразу всю машину? Надо по участкам, иначе ничего у вас не сядет, сколько раз говорил... Почему вы затягиваете нити? (Хлоп! — перед реставраторшей тка-

ней.) А вы, Зина, оставили банку с нашатырем открытой, думаете, спирту так полезней? (Хлоп!)

Некоторое время люди ошалело осваивались с налетами и хлопками, потом принимались снова за работу, но стоило углубиться в дело, как Юрий вырастал за спиной и хлопал муху, одну-единственную, которую перегонял от одного сотрудника к другому.

— Черт те что, черт те что. Почему вы никто не отвечаете? Зачем столько развели мух? Ну? Отвечайте!

Джуманияза Юрий еще обходил. Или муха облетала? Возможно, Юрий помнил, сколько сил стоило уговорить Джуманияза пойти на работу реставратора, да и то временно, чтобы познакомиться с пластикой древних мастеров. Где бы он еще взял такого реставратора? Вероятно, и муха понимала, что негде взять такого. Но все-таки мушинные круги постепенно сужались. Джуманияз морщился от каждого хлопка, старался отворачиваться.

Хлоп! Груда гипса рухнула на пол. Джуманияз отпрянул, что-то хотел сказать, но Юрий его опередил. Тут уж было не до мух.

— Что вы делаете, Джуманияз? Не выдумывайте отсебятины! Вы должны делать в этом месте голову на шею, а не хвост.

— У кого же из заднего места растет голова?

— Это уж позвольте мне решать, вы не археолог.

— Эту вещь делали не археологи, а скульпторы, нормальные люди, которые знали, где голова у верблюда, где хвост, которые...

— Я вам сказал: делайте две головы, спереди и сзади, то есть обе спереди. Это симметричная геральдическая композиция: двуглавый верблюд. Двуглавый орел мог быть? Слыхали? Это не археологи придумали.

— У двуглавого орла головы не из-под хвоста росли.

— Ну, вы видите, тут вторая дырка. Ее надо чем-то прикрыть. Чем же еще?

— Хвостом.

— Хорошо, пожалуйста! Черепок подходит по облому? Садится сам? Значит, два хвоста. Будь по-вашему.

Джуманияз тыльной стороной ладони отер лоб и все-таки испачкался белым.

— Два хвоста на один зад?

— Да. А что особенного? Это же древний верблюд, а не современный. Надо, чтобы было за что брать этот оссуарий, переносить. Конечно, должны быть две ручки, — один хвост немного сдвиньте вправо, другой влево.

— Как хотите, Юрий Витольдович, я два хвоста на

одной верблюдице делать не буду, незачем ей два хвоста на одном задѹ. Никакой двуглавый орел меня не убедит.

— Вы все не можете! Вчера у вас голова болела, вы не могли. Сегодня вы хвостов не можете. Вы за моей спиной сговариваетесь и ничего не слушаетесь. Вы...

— Это вы лучше всех знаете и ничего слушать не желаете. Это вы...

Сотрудники обступили спорящих, растапывая на полу гипс и давая советы.

— Да это же не верблюд.

— А кто?

— Ну, бурдюк, видите?

— Это тигр, сам ты бурдюк.

— Как это? До вчерашнего дня он черепахой считался.

— И вообще это медведь, но условный.

— Да черепаха же, братцы, ослепли, что ли?

— Начать с того, что это не оссуарий.

— Час от часу не легче.

— Это, возможно, сосуд для вина.

— А откуда у него лапы?

— Отойдите, отойдите!

— Вы ломаете его!

— Не наваливайтесь!..

— Смотрите, треснул!

— Тут была трещина.

— Уронили черепок.

— Убирайтесь вон сейчас же! Немедленно!

— Сами убирайтесь!

Обычно деликатный Джуманияз вышел из себя, и его певческий голос гремел, перекрывая общий хор советующих и сочувствующих. И только тоненький писк Юрия прошивал его как иголочка.

— У вас глаза нет. У меня опыта археологического больше.

— Я скульптор, я не буду делать чепухи. Я лучше увольюсь. Почему вы всех считаете психами?

— Я вас не считаю психом, а только вы тут сговорились все против меня.

— Я не про себя, что я псих, я про тех мастеров, которые делали когда-то верблюда, — что они не психи.

— А вы откуда знаете, какие они? Можете увольняться, сколько хотите, я вас не держу.

— И я за вас не держусь.

— Пожалуйста, уходите сию же минуту. И отдайте мне черепки.

— Это вы уходите. Вы тут все опрокинули, дайте хоть я соберу.

— Собирайте и уходите, скатертью дорожка. Немедленно!.. Стоп! Уберите руку.

— Что стоп? А, да! Стоп!

— Стойте!

— Не кричите!

— Да успокойтесь!

— Смотрите!

— Встал!

— На место, вверх ногами!

— Кто, кто вверх ногами?

— Хвост!

— Как вверх ногами?

— Это же не ручка, ну конечно, это хвост, кверху задран!

— Ай да мастера древности, посмеялись над нами! И сами повеселились, когда делали.

— На самом законном месте хвост.

— Все-таки молодчина вы, Джуманияз!

— Да ведь это же вы первый увидели. У вас глаз ничего не пропустит.

— Ну, дала верблюдица, неслыханно!

— И красиво! И скол точнехонько подходит.

— Схулиганили мастера-то! Три тысячи лет назад верблюдица задирала хвост!

— Сенсация, нигде еще не было, чтобы на оссуарии верблюдица с задраным хвостом...

— Значит, это не оссуарий?

— Надо всех позвать, пусть посмотрят.

Опять все собрались вместе, ахали, охали, восхищались. Юрий и Джуманияз обнимались, хлопали друг друга по плечу и... в сумятице я похитила резиновую хлопушку и спрятала так, чтобы ее никогда не нашли.

Юрий включил свет в залах Джуманияза. Казахи, как и все мусульманские народы, не знали скульптуры. Но эти образы жили в сказках, песнях народа. Формы таились в очень близком искусстве резьбы по дереву, в орнаментах кошм, ковра. И скульптура подхватывала эту пластичность узора, который вольно льется, кружится и стремится вдаль, как взгляд человека по необозримым равнинам Казахстана, как мысль, как сам человек — всадник на верблюде.

Девичья фигура — «Росток» — пробуждается, тянется, хочет оторваться от блока, какие-то силы бродят в ней, за-

ставляют расти, стремиться на волю. Я не знаю, как насчет натуры, может, и не было у него натурщицы, может, он и нуждается в ней. Но это не реальная женщина, а скорее языческий образ весны. Джуманияз не глазом берет, он осязает, ощущает форму — это самое сильное в нем.

«Аму-Дарья» — голова из яблоневого корневища с могучим разливом кудрей. Сквозь рисунок древесины, будто сквозь струи, проступает лицо, капризное и своевольное, кроткое и грозное — такой и должна быть Аму-Дарья, .

В другой комнате — попадаешь в хоровод. Колышутся фигуры девушек в национальных одеждах. И — целая оранжерея: головы на лебединых шеях. Сестры Нефертити с приподнятыми щеками. Но родство-то более глубокое, чем подражание. Такие губы, такой овал лица у здешних девушек. Где-то, когда-то во времена хеттов, три с половиной тысячелетия назад, они и на самом деле состояли в родстве с Нефертити.

— Фольклорная скульптура пока оригинальнее всего, что он сделал.

— Хочет работать в мраморе, в камне — здесь по соседству интересный камень. Поедем в экспедицию — заодно поищем.

— Он хорошо чувствует дерево, эти работы не выиграли бы в мраморе.

— Кто знает. Может, будет еще интереснее?

— А что он сейчас делает?

— Достал старую карагачевую ступу для сбивания масла — лучший материал. И пилит с женой в своем дворике. Когда дождь, работает у нас в вестибюле. Борьбу злых и добрых сил.

Юрий пригнулся и пригласил меня к замочной скважине.

— Дальневосточные традиции? Индия?

— Или Мексика...

— Подсматривать в щелку нечестно.

— Памятник Бируни — готовит на городскую площадь. Очень увлечен. Вот еще посмотрите, откуда он вышел, Джуманияз.

— Я знаю, я много видела казахских орнаментов.

— А я вам говорю, не знаете. Джуманияз — образованный ученый, современный, а то были старые мастера орнамента со своей традицией, но скованные мусульманством, а вот вам недостающее звено. Смотрите. Я не могу пройти мимо, чтобы не погладить его.

Это не игрушка, небольшой деревянный верблюдик, условный, выполненный с юмором. Смышленный, терпели-

вый. Это друг, помощник. Сказочный верблюд, приносящий счастье в дом.

— Автор — старик резчик. Он торгует, больше ничего не режет, говорит, выгоднее торговать на базаре яблоками. Родного брата этого верблюда мы нашли в средневековых слоях кочевых племен, только каменного.

— А я помню братишку его из бронзового века.

— У нас целый музей деревянной скульптуры. Вызвал джинна из бутылки. Теперь все режут и тащат мне очень интересные вещи. А платить нечем! Потому и лезу в долги. Загонять обратно в бутылку жаль.

— А это что у вас за покойница?

— Тут у нас самые-самые молодые. Потому одни сплошные «воспоминания о прошлом»! Всѣ могилы, могилы. Коричневые, серые, синие, черные. Колорит — только самый мрачный. Одно кладбище со вдовой, другое со вдовцом, третье с сиротами, четвертое — со старухой матерью. Видите на этикетках годы рождения художников? Замогильный детский сад. Сюда кто заходит, посмотрят и смеяться начинают. Доходят до зеленых и лиловых могил и во все горло гогочут. Но я сохраняю серьезность. Если бы в их юности было столько могил, сколько в нашей, наверное, им хотелось бы писать другое.

— А зачем вы сделали такую комнату?

— Как зачем? Пусть сами проверят, как оно выглядит. Разве иначе убедишь?

— Давайте заглянем на прощанье к Мальвине.

Листы с осенней пустыней, где тамариски низвергаются, как фонтаны. А саксаулы, как сказочные чудовища, сами изумленные своей чудовищностью и оперением, протягивают лапы к человеку дружески. И «Детство» — верхом на ослике, детство, у которого большие ступни и худые коленки и спрятанное в космах лицо. Застигнутое на пыльной дороге заходящим солнцем детство — с упрямо выпрямленной спиной, оттого что не легко и не бездумно жилось.

Туркменский колорит с оглядкой на Ван-Гога, а вовсе не на тех художников, о которых говорила она, что любит их. Что ж, это и не удивительно, что Ван-Гог послужил ей опорой.

— Может быть, хватит, Юрий?

— Идите, Женя, ложитесь. А я похожу еще. Все равно уже скоро будить вас к самолету.

Среди ночи я выпрыгнула из машины другой экспедиции и темными задворками музея подкралась к зарешеченному окошку. Оттуда струился свет и сгустками выпадала духота и запахи: клея, пота и старых занавесок. Юрий сутулился над отчетами, держа их на коленях. Столы, составленные, как костяшки домино, и заваленные керамикой, гипсовыми крошками, отдыхали. Какой у него маленький лобик, когда он вздергивает брови и все лицо съеживается. Гладкими остаются лишь дорожки выгоревших бровей. Годы, годы...

— Юрий, не морщите лоб, это некрасиво.

— Если это единственная помеха моей красоте... Вы разве не в Москве? Поезжайте в наш отряд ертын азанда¹.

— Я бы хотела для начала выспаться. А потом... подумать.

Ключ в замке долго щелкал вхолостую, прежде чем выяснилось, что дверь не заперта.

— Нам нужны раскопщики. Как Нэла? Стоящее нашли что-нибудь? Чай будете?

Я с наслаждением вытянулась на раскладушке, изживая из ног и всего тела подрагивание горячего пола и стен кабины, которым была битком набита за последние четырнадцать часов, и рассказывала. Потом дремала, начерно просматривая сны и выбирая самый сладкий, когда донесся из дальней комнаты бессонный голос Юрия: «...боюсь ненужных мыслей и хотел бы их избежать...» И еще через некоторое время: «Вас в спальном мешке вносить в кузов? Или сами? Там доспите на матрасах».

Значит, наступило уже «ертын азанда».

Машина шла ровно (по асфальту?), потом с толчками, откуда-то дуло. Мужская фигура со вздернутыми плечами маячила на передке крытого кузова, словно в нише, заполненной фаянсовой голубизной. Затылок и профиль мужчины объединялись в одной плоскости, как на левых полотнах двадцатых годов. Кто-то подсаживался в пути.

— Э-э, остан², — орал мужчина из голубизны, — большую возем! — И переходил на местное наречие: — Джок, аппендицит, операция булады³.

¹ Ертын азанда — завтра спозаранок.

² Остан — осторожно.

³ Булады — будет.

Попутчики жались к сторонке, не задаваясь вопросами, почему больную везут на операцию из города, а не наоборот.

Я сладко потягивалась:

— Эй, парень, а куда мы едем-то?

Он махнул рукой, показывая, что вперед.

— А как называется?

— Экспедиция называется, раскопки.

Юрий забыл мне сказать, куда отправляет.

Другой раз я проснулась от тревоги моего тела: прекратилось движение. В кузове никого не было. В раскрытые настежь дверцы пустой кабины самоуверенно вписывался пейзаж солончаковой пустыни с маревым горизонтом. Снизу, от земли, доносился легкий матерок, пробуждая мою любознательность. Я соскочила на землю.

Мощная кариатида со шваброй вместо головы поддерживала кузов, двое снимали заднее колесо.

— Скорее, уроды! — стонала кариатида. — Брошу сейчас...

Рубаха на ее спине темнела, стекающие с шеи капли благодарно впитывала сухая земля.

— Терпи-терпи, милый, нас-то не придави, — тоненько частил шофер.

— Не могу! Нос очень чешется.

...С того и началась моя научная деятельность в археологическом отряде Музея искусств, что я почесала огнедышащий нос, отогнав комара.

— Товарищ Домкрат, — спросила я, когда колесо прикрутили, — а как вас звать? В повседневной жизни?

— Родригой.

— Не жарковато ли для юмора?

— Можете Моськой, Жучкой, Шариком, мне все равно. А хотите — номером «68-43-Эк».

— У меня на цифры плохая память. А «Эк» что же за место? Эквадор? Экватор? Экбатаны?

— Экспонат! Устраивает? — Он обернулся ко мне, но, кроме длинного рта и челюстных углов, я ничего не увидела.

— Нечего на людей бросаться, сам виноват, — огрызнулся шофер.

Оказывается, домкрат имелся при машине, но тот же Родрига сорвал резьбу, пока остальные покрикивали «дай-дай».

И звали его по паспорту Родригой — не Родионом, как он предпочитал называться. Это я узнала позже, в мирной обстановке, на раскопе.

— Папаша учудил. Никифор сам-то. В честь реально существовавших прототипов, товарищей по оружию. Братья

мой — Педро и Хозе. А сестрица Инэ-э-с-са! Хемингуэевичи Вологодские. Хорошо, не Гвадалахарой отхватил. У сестрицы сорок второй размер обуви, сто семьдесят восемь рост.

— Кто же твой отец?

— Шофер был. Когда называл.

— А чего ты вечно на эдаком придыхании разговариваешь? Будто по секрету.

— Приучили. В армейском хоре еще. Назначили петь. Что ни спевка, хормейстер всеми дирижирует, на меня рукой машет: «Не выделяйся». Влево к тенорам, вправо к басам переставлял: «Не выделяйся».

Спать приходилось, как в кинозале во время сеанса: прожектора, тарахтенье, обрывки речи, какие-то силуэты, светотени, плывущие по экрану палатки. Хорошо, хоть лента временами обрывалась: гас свет, и наступали паузы. И тогда раздавался оглушительный свист и храп. Из соседней мужской палатки. И снова вспыхивали фары, все приходило в движение, набегали кадры один за другим. Это — ночью. Днем мы на дахме¹ — Башне Молчания. Она одна возвышается над бескрайней тусклой равниной с точечным орнаментом колючек и ржавой сыпью вблизи, а вдали с размытыми оливковыми грязными пятнами. И так плавны, постепенны очертания холма, который башня венчает, словно глиняная корона, и так незаметно, естественно возникает ее силуэт издали, когда едешь по пустыне, что поневоле задумываешься о том, что она НЕИЗБЕЖНА. И неспроста величава. На рубиновых и шафранных зорях, на бирюзовой неполуденной синеве, в полдень на раскаленном небе цвета несвежих простыней. Обвита шакалами и совами по вечерам, днем она — в молчаливых змеях, седых и тощих, в красно-прозрачных шершнях и черных воронах. А по ночам вырастает выше созвездий, указывающих путь человеку на Земле и Земле во Вселенной. Если бегут облака, дахма, как исполинская ладья на цепях, вздымаясь и покачиваясь, плывет и нигде не уплывает... И так века, тысячелетия.

Почти все наши парни оказались работягами, но двое — командирами. Они так же получили лопаты и были поставлены откидывать землю. Но сразу принялись покрикивать. Один выделялся золотым зубом и соломенной шляпой

¹ Да х м а — место трупоположения у огнепоклонников, где птицы и шакалы очищали кости, которые затем хоронились.

с большими полями. Его толстые румяные щеки были густо усыпаны конопушками, как будто на них искрошился саман — из той же шляпы.

Другой, тот, что придумал мне аппендицит, являлся каждое утро в шикарном сером костюме на собственном мотоцикле и каждый вечер в таком же виде уезжал за тридевять земель по пустыне ночевать в кишлак.

Соломенная Шляпа предпочитал ездить за водой, вертеться около мотора, давая указания шоферу, или подменял его за баранкой. И это разрешалось, пока он не загнал машину в выбучие пески, откуда пришлось вытаскивать ее стрелой подъемного крана. Ни трактора, ни грузовики — они безотказно сворачивали на наши призывы — помочь не могли. Едва они пытались приблизиться к утопленнице, огромные пласты земли начинали подрагивать, как студень под тупым ножом, с неприличным звуком лопались, и зловещие трещины грозили дейгишем — обвалом, способным поглотить и трактора, и грузовики, и нас самих на закуску. Соломенную Шляпу, однако, не уволили, а решили поддержать на земляных работах — до переезда на следующий памятник. Он не пал духом: зуб его сверкал от восхода до заката, команды сменялись громкими рассказами о его бесстрашии и выдающемся уме.

Мотоциклист (у него как-то странно загибались уши, как у слона) распоряжался лаконично, но грозно, поигрывая великолепной мускулатурой, еще не утратившей юношеской пухлости. Без превосходства он посматривал только на Родиона, а Родион, чтобы не раздражаться, обходил его подальше.

Мы расчищали расщелину, ворота, предвратные сооружения, основание домика наподобие сторожки, широкие ступени главного входа на верхнюю площадку — там-то и складывались умершие, отдельно мужчины, отдельно женщины и подростки.

Какой-то умник в тридцатые годы решил отличиться, заложил динамит и подорвал верхушку скалы в центре короны. Мы собирали сколы синеватого камня с таинственными знаками. По мнению одних — протохорезмийской письменности, по мнению других — племенной принадлежности кочевых народов. Вся поверхность скалы была словно усыпана ржавыми банками, столько железа содержалось в породе, и она тренькала под ногами, как испорченная бала-лайка.

До сих пор неясно, что добавляли строители кроме молока в раствор, что делало его крепче кирпичей и объединяло все в единое живое тело. Даже то, как сооружение менялось — за тысячелетия! — оплывало, покрывалось морщинами, трогает меня: уж очень понятно, по-человечески стареет. Конечно, такие совершенные тела должны обладать прочностью всех тканей. Клетки — ячейки фундамента, заполненные чистейшим песком, — составляли великолепный каркас, он предохранял постройку от разъедания солями, от сейсмических толчков. Сложенные из кирпича-сырца многоэтажные перекрытия и стены каркаса изолировали от проникновения влаги. И, наконец, основу башни, подобную прочным скелетам рубенсовских ядреных нимф, составляла природная скала.

Ниже середины башня опоясана вкладышами синего камня. Что-то подточило ее, и стены ремонтировались на разных уровнях. Наверное, в средневековье. Не было в этих опоясках идеального порядка и тщательности. В античности строили «навсегда», не жалея труда и времени. Ведь и на каркасных кирпичиках, которых никогда никто не видел, тоже стояли «знаки качества» — тамги мастеров.

Пейзажи писать я могла лишь по вечерам. И получались у меня одни закаты, вроде переваренного кофе, сгущенно-трагические. Наверное, потому, что писала под вой шакалов, — так и следовало бы озаглавить мою серию этюдов, фантазий на темы прошлого.

И слишком — в тишине и одиночестве — проникалась я настроениями зороастрийцев, будто сохранилась какая-то радиация с тех далеких времен: ее излучали стены.

...Страх ли перед смертью гнал людей с носилками обязательно бегом на исходе дня, в окружении факелов и собак, отгоняющих злых духов? Или особая горькая мудрость, требующая четкого отдаления мертвого от живого, прошлого от настоящего? Потому что скорбь изнуряет человека, отвлекает его от борьбы за сегодняшний день. А жизнь сурова и требует всех сил. Авеста¹ жестоко, директивно запрещала излишества скорби. И все связанное со смертью объявляла нечистым. Ни одной из основ жизни — воздуха, воды, огня, земли — не позволялось касаться мертвым. Только очищенные стервятниками и шакалами косточки в гробиках-оссуариях сохранялись. В противоположность религии древних египтян, которые всеми средствами старались сохранить тело человека ради бессмертия его души. И в противоположность синхронному буддизму Авеста возводила в доб-

¹ Авеста — священная книга зороастрийцев.

лесть полезный труд, борьбу за земные блага. Строгая иерархия Авесты распространялась не только на людей, но даже на животных.

Среди местных мусульман, сменивших древнейшую религию зороастризма, соблюдалась до революции неприкасаемость омывальщиков трупов, мусорщиков, мясников. Еще цирюльников, стригших волосы и ногти — постепенно отмирающие частицы человека.

...Водный путь позволял доставлять сюда умерших из дальних округов. А те, кто убирал, следил за порядком, обслуживал башню, жег вокруг нее костры во время обряда, — те жили поблизости, где-то у ее подножия, из рода в род передавая свое ремесло и проклятие неприкасаемости. Веками.

Эти люди жили подаяниями, не возделывали землю, чтобы не осквернить ее, пили из особого колодца, но имели свой скот, который пасся отдельно от общинного, маленьким стадом. . . И лишь молодые тяготились одиночеством и засматривались на далекие мерцающие огоньки селений по ту сторону реки. Иногда видели они пожары, войны, скачущих всадников. Высокопоставленные особы тщательней закрывали лица и отворачивались, проезжая мимо. Иногда проходили караваны — башня служила хорошим ориентиром. Но никто не приближался к ней. Пока не пробил час.

Эти служители культа сознавали свою мрачную власть и тайне гордились ею. Ведь не только презирали их остальные люди, но и боялись. Недаром Башня Молчания — самая высокая во всей дельте, выше сторожевых и дворцовых, выше храмовых.

Как ни жесток кажется ритуал, есть в нем своя дикая сила и предусмотрительность. Когда в напряженной тишине пустыни в час заката запевают хоры шакалов, в их человеческом голошении столько тоски, отчаяния, ужаса и ликования, что никакие отпевания в церкви, оркестр и орган не угонятся за ними. Шакал-запевала выводит чисто, высоко изначальную молитву-мольбу, кто-то отвечает, остальные иступленной скороговоркой причитают, подхватывают, подхохатывают. Они умеют вести диалог-переключку, выделять дуэты и трио, расходясь и сходясь к одной ноте. Выдерживают паузы и сливают все голоса страстно и отрешенно. . . И это даже как-то примиряет: уйдя от нас, душа не одинока, она преступила предел, очистившись от боли и скорби, и наши слезы ей до фонаря, отныне она будет следовать путями, непонятными здесь, на земле. Ее встретили и уводят Ангелы Смерти.

Все это великолепно! И, может, родственники покойного

еудили по шакальным хорам, сколь дружно или с прохладцей встречают душу на том свете, но... моей серии этюдов, которые я делала наспех, в расчете потом проработать, не хватало чего-то... самого существенного, какого-то лично моего ключа...

НАШ ПОВАР САПЫРБАЙ

— Вы все шакалов слушаете? — налетел на меня Юрий.

— Да. Они мне напоминают вас.

— А вы мне гиену. Только гиене могло прийти в голову отпустить повариху.

— Как я могла не отпустить? У нее внук заболел.

— Да хоть бы сто внуков заболели! Не приедет она. Запой у нее, а не внук.

— Сами виноваты. Нельзя хватать кого попало на работу. Надо сначала подобрать людей, и тогда...

— Машину отберут на хлопок.

— Теперь не отберут, она чихает после купания.

— Но мы и сами вряд ли сможем на ней передвигаться. Разве что впряжем вас.

— В машину я впрягусь. Пожалуйста. Но готовить не буду!

— Э, зачем спорим, зачем ругаемся? — вмешался Сапырбай. — Я буду поваром, я еще в армии варил. Но чтобы в свободное время на раскоп ходить. Скучно без компании.

Сапырбай давно работал с археологами, мы его так и передавали с рук на руки. Был он в годах, переменял много профессий, в деньгах особо не нуждался, построил дом старым испытанным способом байкозы — при помощи родни, продал его, построил другой — выше, светлее, в новом районе, и мог бы не мотаться по свету, осесть на своем складе, куда он устраивался работать зимой, а его все тянуло людей посмотреть, себя показать: на складе скучно, все обо всех всё знают. По настоящему-то призванию — быть бы ему маскарабасом, мастером на выдумки, шутки, присказки. А в наших пестрых отрядах собиралась молодежь — самая благодарная публика.

— Вот витте, вот витте, вот витте, — как Юрий, верещал он, подбирая какую-нибудь дерьмушку с такыра и отставляя на вытянутую руку, будто без очков не видел; за щекой у него был нацвай, от этого получалось как бы с присвистом: «фьюнтте, фьюнтте», еще восторженнее и потешнее.

— Ка-кая прэлест! Бла-годат!!! — произносил он замедленно-мечтательно моим голосом, когда вестер засыпал нас

отвалом и мы словно шерстью обрастали. Он чихал, как наш шофер, благодарил, как Рыболов, сморкался, как Родион. Он перекликался с совами, шакалами, овцами, они отвечали ему немедленно. Однажды он долго путал стаю, прикинувшись отставшим журавлем, которого улетающие братья всегда поджидают, подбадривают и зовут с собой.

— Эх, ребятушки, не взлететь мне, поздно, — печально сказал он по-человечески и махнул шапкой.

Любил он поругивать образованных за то, что «все у них тут» — потрясал воображаемым портфелем, а не «тут» — стучал пальцем себе в лоб, и молниеносно проскальзывающее выражение самодовольства и авторитетной тупости было межнациональным, и делалось жаль, что сам он не успел стать актером или писателем. «Рано женился, детей народил, будто не знал, что вырастут и опять один останешься». Разыгрывал он драматическую сцену Лисы и Зайца, свою любимую. И Лиса с ее жесткой жадностью и хитростью была страшна, а Зайца жаль до слез, со всеми его переживаниями маленького человечка, безобидного, зависимого, у которого и всей-то радости — толстая зайчиха с ребятишками, и все же верящего в добро и завещавшего своим детям: никого живого не обижать, не трогать. И последний отчаянный крик, когда его уносит Лиса, — «Не переведутся зайцы, не переведутся» — вызывал не смех даже у нашей охоты до смеха компании, а молчание. Эту историю соглашался он рассказывать при костре, вечером, после ужина. Пляшущие отсветы костра обостряли неожиданные перевоплощения его коротенькой фигуры и широкой смешливой физиономии. А тени, уходящие во тьму, и немая бесконечная пустыня включались в спектакль как действующие лица. И ребята не ленились собирать топливо на костер, в котором нужды мы вовсе не испытывали в газовой республике.

— Пропадает талант, на сцену бы, — сказал Юрий.

— По-вашему, на сцене за деньги — нужно, а в поле, на дороге, в шахте, в казарме — людям ничего не нужно? — сердито спросил Сапырбай, задетый тем, что его жалеют. — Что вы в музее под стеклом показываете, наши женщины на себе носили! И билета не спрашивали, если кто посмотрит.

История, как скорпион в штаны заполз, когда Сапырбай работал шофером, рассказывалась в холода. А «прямое попадание» — в критические минуты.

— «Прямое» — успел подумать, на «попадание» времени не хватило. Вот, значит, и кончилось все — вот и нет меня... А что-то будто осталось? Прикидываю: что ж такое могло

от меня остаться? Любопытство осталось! После хорошего человека — добрые дела остаются, а после меня — любопытство. Интересный случай. Я и приоткрой один глаз — как оно теперь все будет? И-и-их!!! Куда ни посмотрю — кругом бабы голые. Ну, значит, точно, что помер: в рай попал.

— А ты сомневался?

— Колебания были. У нас мулла учит: кто в бою помер, тому сразу в рай, грехи не зачитываются... Бабы крепкие, веселые, сразу видно — нездешние. Волос светлый. Я оба глаза открыл: после смерти чего стесняться? И все мои боевые товарищи тут — хохочут, лапами загребают, времени не теряют. Давай и я грести.

Сапырбай рылся в карманах:

— Тут? Нет? Эх, жаль, не захватил. Я с той поры везде их с собой таскаю, всю пачку. Жена, видать, вытащила, ревнивая она у меня. Все карманы вывернет, пока сплю... Я ей объяснял: из бомбы это бабы, агитационные, — немцы начиняли открытками и долбили нас... не страхом, так инстинктами!! А жена — свое: «Все равно, чтоб внимание не отвлекали. Нечего, говорит, честного человека карманы поганить».

Собирая будущие истории, Сапырбай размышлял вслух:

— Этот топограф ваш приезжал — муж Марин Николаевны? — присаживался он ко мне поближе.

— Ну и что?

— А вот: какой муж, и жена — какая? Он шесть часов пробыл, все мерил. К ней в палатку не зашел.

— Я не подсматривала.

— И я тоже не подсматривал. А куда денешься, если человек по раскопам ходит и ходит, метры да градусы. Будто других слов на свете нет.

— Работы много.

— Я сам работаю много, — выразительно пожимает плечами Сапырбай и заключает с упреком: — А оба молодые... А вот те поляки-художники приезжали, из самой настоящей Польши. Пожилые уже, в годах. Он в кузове ехал с нами, она в кабине.

— По-твоему, наоборот надо?

— Почему? Я понимаю: женщине — уступить. Только машина у нас закипала, останавливалась, ее водой заливали, и он, понимаешь, каждый раз соскакивал, — верхней частью туловища Сапырбай показывает походку, — к кабине не подходил и ручку супруге... — Сапырбай церемонно кланяется и с пискom втискивает губы в свое запястье.

— Также не угодил?

— Это, по-моему, уже слиш-шком!

Рассказывал он ребятам о собственной женитьбе. Как не помышлял ни о чем таком, прилетел в один город в командировку за древесиной, и как с самолета шел, и навстречу ему женщина важно выступала, ни на кого не глядя, сердитая. Он и пошутил: «Не меня ищете?» — «Зачем ты мне?» — «Я, гражданочка, как раз жену выбирать приехал». А у самого и-в уме не было, ну, надо же пошутить. «А еще ты что умеешь?» — «Плотничать, сапоги тачать, крышу крыть — все умею, стены сложить». — «Крышу правда умеешь? Тут обещали одни, да надули меня. За сколько?» И давай торговаться сразу. Всю командировку я ей крышу, сараюшки чинил, печку перекладывал, боты заварил. Обрато уезжать — села плакать: «Зачем, говорит, привыкла?» — «А со мной, говорю, поедешь?» — «Поеду». — «И дом не жалко?» — «Что дом жалеть пустой?» — «Зря белил?» — «Продадим». — «Ну, раз так, не продавай. Жалко труда своего. Я сам к тебе перееду». — «Лучше я с тобой. Потом вместе обратно вернемся».

— Вот и вся моя история: поехали, приехали, переехали.

— Незамужняя была? — уточнил Олег.

— Ну, вроде не была по-настоящему, а дочка у нее подрастала. Да у-нас в старину в народе не считалось за недостаток, если до замужества ребенок родился. А я как народ.

— Какой внешности?

— А-а? Жена-то? Ничего. Полненькая.

— А куда ты другую-то жену дел, старую?

— Больше не буду. Извините. Не беспокойтесь. Извините, — замял Сапырбай последний вопрос.

СЫН ДИМУЛЛЫ

Для пущей значительности Юрий пригласил переводчика — для объяснений с Ушами, который избегал раскрывать рот.

— Ты со своим мотоциклом вечно опаздываешь!

— Со свечами что-то.

— Вчера со свечами, завтра со спичками, — никуда больше не поедешь. Или увольняйся.

— Такого закона нет, чтобы человека домой не отпустить после работы.

— А такой закон есть, чтобы из дома на работу опаздывать?

— Я могу на «Волге», там тропа верблюжья — узко.

— Чего ж ты на такую грязную работу едешь, если столько у тебя денег?

— У моего отца все есть. Надо мной смеются, что лодырь. Чтобы не смеялись — езжу.

— Растят папаши-начальники единственных сынков!..

— У нас двенадцать детей, мать — героиня.

— А отец кто?

— Пенсионер. Персональный. За революцию. Димулла он.

— Как? Как?

— Димулла-самоучка, мы из бам, уллик ювучи,¹ ему в медресе никак нельзя было. Про него в книге написано. Ездил с революционным отрядом. Агитировал. Мусульмане тогда все верующие были, он с Кораном ездил, разъяснял, что в Коране — то же.

— Что — то же?

— Про труд, про бедняков. Я не религиозный, я плохо знаю, как там про бедняков.

— Ересь какая!

— А, да-да, — обрадовался парень, — отец тоже говорил, что ересь. Про фартук объяснял. Флаг такой — из фартука. Отец очень старый. Я в школу хожу, его не слушаю. Я радио слушаю, телевизор смотрю.

— Врешь ты все.

Я вмешалась:

— Да нет, Юрий, фартук был, это про Кейкова², помните? Из «Шахнаме» Фирдоуси.

— Кузнец, кузнец, точно кузнец, теперь и я вспомнил, — подтвердил парень.

— Действительно, такой димулла ездил с отрядом Шейдакова³. Я только думала, он давно умер.

— Зачем умер? Слышит плохо, да. Я родился — ему семьдесят лет было, слышал хорошо. Это другой димулла помер.

— Это отец тебе уши обломал?

— Зачем он? Я борьбой занимался, это нечаянно. Разгорячился очень. Я не заметил. Никто не заметил. Я победил. Поэтому не заметил. За это не обижаются.

— А почему ты тут ночевать не можешь?

— Я могу. Они протестуют. Ребята. Спать не даю, храплю очень. Из палатки гоняют. Шляпа соломенная совсем ругается.

— Глупости, будешь ночевать, и все, понятно? Как-нибудь поладите, и все.

¹ Ювучи — представители «нечистых профессий», омывальщики трупов.

² Кейков — кузнец, легендарный борец за справедливость.

³ Шейдаков — руководитель революционного отряда.

Вечером в соседней палатке под бряцание гитары велась какая-то торговля:

— Слышишь, ты! — требовал Соломенная Шляпа. — Я из-за тебя инфаркт получу, я уже в армии отслужил, ты меня уважать должен.

— Отслужил и отстань, я тебя на первой минуте уложу.

— Я с ракетным оружием дело имел. Ты мне кулачный бой предлагаешь, деревня! Наш век техники.

— А машину засадил.

— Это примитив — грузовик! Ты вот что, я не лягу, пока тебя за ногу не привяжу: как захрапишь — дерну, и засыпай технически грамотно.

— Привязывай, — согласился сын димуллы, голос у него был обиженный.

Среди ночи меня разбудил страшный человеческий крик. Юрий мчался к рабочей палатке с фонариком, Родион — с мешком и веревкой в руках. Из палатки доносились какие-то странные звуки. Свет фонарика метался, высвечивая полуголых ребят. Они корчились со стенами. Соломенная Шляпа ошалело озирался, зажимая в пальцах конец шнура. И только сын димуллы, вытянувшись под домашним одеялом из пестрых уголков, уютно посапывал.

— Что тут у вас? — хрипло спросил Юрий.

Хохот обрушился, как камнепад.

Юрий просеменил к Соломенной Шляпе, выхватил из его пальцев веревку, одеяло поползло.

— Женя, вы идите, мы сами уладим.

Утром сын димуллы рассказывал по-деловому: «Я поспать люблю. Тут не уснуть, обиделся. Отец молитву учил на сон, хорошую, половины не скажешь — засыпаешь. Забыл. Шляпа храпит. Никто спать не может. Я веревку от своей ноги отвязал и привязал к нему самому. Он не двинулся, разве его растолкаешь? Обида прошла, я уснул. Должно быть, здорово дернул, раз так заорал. От такого крика инфаркт может быть. Хорошо, не слышал я».

ТИШИНА

Но вот выпадают ночи тихие и красноречивей газет и радиосводок свидетельствуют, что республика перевыполнила квартальный план по рису, хлопку, животноводству, распашке новых земель. Тогда дружно тренькают раскладушки, выпаживая камни, отряд наш выезжает спать под открытое небо.

У меня есть свои тайны в пустыне, где неба и звезд пол-

ный купол. Стоит только пониже опустить изголовье, улежся поудобнее, как охватывает легкое кружение: начинаешь чувствовать стереоскопию звездного неба, привыкаешь к невероятности пространств, земля исчезает под тобой, со всеми заботами, усталостью, и ты свободно несешься среди звезд, как равный среди равных.

— Что за черт! Неужто это звезды так чавкают, хрупают?

Несколько голов поднялось с раскладушек:

— Башня!

— Она!

— Наваждение насылает.

— Уроды! Опять поленились корки арбузные закопать, Пше-ел! — гремит Родион.

Кто-то задумчиво отвечает: «Тпрфх». И стук копыт не скоро затихает в ночи.

Когда ворочается Родион, диву даешься, сколько можно из одной раскладушки выжать зверских стонов. Попробуйте завалить на раскладушку роденовского «Мыслителя».

Где лежит Юрий, сверху тела не видно и снизу плотно не провисает, странно, что оттуда исходит голос.

— Сорок пять... плюс тридцать метров... Все-таки огромная высота для Башни Молчания...

— Из молчания самые высокие башни складываются, — мрачно объявляет Родион.

— Это почему ж так? — зевает Сапырбай.

— Потому что обо всем главном человек молчит.

— Кому как нравится... Тебя когда демобилизовали-то? По болезни?

— Отстань. Давно.

— И до сей поры не выздоровел.

Юрий сонно бормочет:

— А много было у них времени свободного, у зороастрийцев. Чудный кирпич. Столько забот о смерти?! Мне вот некогда о том свете думать, как-нибудь похоронят. Мне новый корпус к музею успеть бы.

— А может, мы сами и не понимаем всего, — многозначительно говорит Сапырбай. — А ну как нас воскрешать научатся? Если спутники летают, неужто не изобретут люди бессмертия практически?

— Изобрели уже, — торопится Олег. — Некоторых после смерти в холодильниках держат. Потом воскреснут.

— Значит, правы те, кто выдумал царство теней, — с тоской отзывается Родион. — Воскресни я через двести лет, что я пойму вокруг? Кто поймет меня?

Да... башня вмешивалась в наши разговоры. Но когда паузы затягивались, мне казалось, что все мы в полете и остальные раскладушки — птицы моей стаи.

Самая хлипкая птичка — Юрий — перетягивает остальных на свой маршрут:

— А потом, в следующую эпоху, фёрпост был, крепость. До чего здорово, сейчас она вся серебряная.

— Руины! Красиво?! Для чего люди так склонны любоваться руинами старых крепостей? Под луной и на закате. Было грозно, а сейчас безопасно? Отжитость страстей и идеалов очень притягивает, — не надо за них живот класть.

— Если бы люди идеалов не выдвигали, животы за них не клали, так и ходили бы стадом обезьян под луной и на закате, и ты с ними, — посвежевшим голосом откликается бестелесная раскладушка.

Сапырбай со злости даже сел:

— Дай, что ли, Олега, закурить. Без веры — звери одни, и то не всякие.

— А вы не так думаете, Евгения Васильевна?

— Я — историк. Оттого, что люди забыли, как звалась крепость, при каких обстоятельствах погибла, мы не перестали быть потомками сражавшихся. И если судьбы этих крепостей влились в общие судьбы народов, значит, и в мою.

— А я не историк, кладовщик, и то понимаю.

...Вроде постепенно все раскладушки поутихли, только сын димуллы нетерпеливо ворочается.

— А ты чего?

— Караулю.

— Мотоцикл?

— Звезду падучую. Новый мотоцикл хочу.

— Зачем тебе два?

— Хочу «Яву». У меня «Зенит». Не оправдал себя.

— А говоришь — не религиозный.

— Это не религиозное. По религии не бывает: попросил — получил. Отец говорит: в торги с богом не вступаю. — Он прищелкнул на зуб: — Джок! Там — разные добро-детели — задаром. Чтобы лучше стать. Кому это надо? Нет, я не религиозный.

— А в звезды веришь?

— Да не верю, а нужно очень «Яву».

— А вы чего бы хотели, Евгения Васильевна? — спрашивает Сапырбай.

— Хотела бы я? Ох-х! Увидеть счастливого человека, не частично, случаем, а полностью счастливого человека хочу видеть!

Черт возьми, все-таки воду никто так не передавал, как импрессионисты, — со всей свежестью, прохладой, зеркальностью.

Я целый день писала этюды, забравшись на попутке вдаль, и к вечеру возвращалась самоходом через озеро. Это мой отгул за многие рабочие дни. То ли я перегрелась, то ли что? Заболеть собиралась? Какая-то подозрительная нежность расточалась по мне. Будто не было позади раскаленного пекла, крупноблочных каменных гор, бетонных такыров. Еще немножко, и сквозь меня прорастет пушистый тамариск. Уже начавший облетать, не сетуя, покорно, на морщинистый песок с легкой чернотой в бороздках, потому что золото все выдуло за день — слюду...

Если бы мне предложили вдруг: «Хочешь быть гениальной?» Ну, какие-нибудь всемогущие силы. Я бы ответила: «Э, нет, братцы, ищите дураков в другом месте». В юности отвечают на такой вопрос иначе — по неведению. Хотя совсем бездарным человеком быть скучно.

Песок подо мной остывая, делался жестче, подергивался пылью. Но импрессионисты были, и незачем их повторять. А сколько появилось (и является до сих пор!) подражателей импрессионистам, как, впрочем, и всякому большому явлению в искусстве, — внешних! Хотя, казалось бы, проще простого сначала схватить суть всякой школы, всякого направления.

Перед летящим Демоном Врубеля стояли — Репин! Серов! Дервиз! — и видели ошибки анатомии, плохо записанные переделки эскиза там, где был гениальный прорыв в будущее, решение проблемы времени, траектория полета в единой композиции. И успокаивали художника, что он-де еще успеет перевернуть корпус и ноги в соответствии с головой — до открытия вернисажа. Позже в своих воспоминаниях Репин с болью рассказывал, как вспылil и обругал их Врубель, обычно такой деликатный человек. Никому еще не снился тогда Пикассо и новые способы передачи движения, которые потом покорили весь мир. Как тяжело заглядывать вперед. Даже на полвека.

А когда Врубель в клинике для душевнобольных, ослепший, вскакивал с койки и кричал о своих новых глазах — изумрудах, — какие тайны мироздания открывались ему? Тайны, которые не под силу пока человеческому мозгу? Но ведь в наше время офтальмологи вживляют ослепшим искусственный хрусталик в глаз, и они прозревают.

Почему от трагических мыслей всегда меня клонит в сон?

А если и усну? Вот уж где никого не бывает, и нет смысла беспокоиться об одежде, брошенной на берегу.

Некий инстинкт заставил меня приоткрыть глаза и взглянуть из-за тамариска. Наискосок, на ближнем островке, расхаживал противоестественно голый мужчина. С голым черепом. Белым, как хорошо выскобленная кость. Белым даже на белокожем, без загара и местной смуглоты, теле. Ноги шли вперед, далеко опережая впадину живота, и совсем запаздывали ключицы. Руки, слабые в плечах и мощнеющие к кистям, помахивали позади торса и как будто не имели к нему отношения. Я никогда не видывала такой бессвязности всех частей тела. Может, его начали препарировать в анатомичке, да и забыли? .. Он не был похож на живого. Но он двигался, действовал. В этом-то и заключалась причина, почему я не отвернулась и не ушла сразу. Не солнечный ли у меня удар? Я пощупала голову — не бред ли? Во-первых, он вез тачку с половиной лодки. Не говоря уже о том, что зыбучий мокрый песок, где ноги проваливаются, не лучшая трасса для узкого колесика. Он выгрузил свои пол-лодки и бережно, как целую, спустил на воду. Половинка погрузилась на дно. Он напевал что-то писклявое, калякал голоском под поворожденного. Вода хорошо доносит звук, каким бы он ни был. Этот звук выражал состояние покоя и счастья. Вдруг с экстатическим вскриком человек запрыгал, завращался с выгибами и наклонами. Танец, что ли? Не танец. Он просто вытянул и отцепил с крючка огромную рыбину, посолил ее, да-да, именно присолил ей голову — слегка, даже сшибив пальцами лишние кристаллики, — рыба как-то увяла. А человек, достав из тачки безмен, взвесил ее, обмерил деревянным складным метром ее рост, портновским — объем талии, и!.. поднес к берегу и осторожно выпустил в воду. Рыба не всплыла брюхом кверху!

В ближайшие полчаса он только и делал, что забрасывал спиннинг и вытаскивал огромных рыб — серебристых усачей, красноперок. Обычно осторожные сазаны, сверкая золотом, кидались на его крючки, по-моему, еще в воздухе. И каждый раз он проделывал ту же процедуру: солил, мерил, вешал и отпускал в воду. Разница заключалась лишь в том, что с каждой новой рыбиной он пел все громче и победней, а его отдельные ноги выплясывали такое!!!

Со звездами нельзя шутить. Я видела совершенно счастливого человека. Но что-то в нем было, от чего я не испытывала ни радости, ни успокоения.

Мы торопились с раскопа на обед.

— А что это за штука, Родион, не знаешь?

Штука подозрительно смахивала на половину той самой лодки, потопленной на озере.

— Бешик (колыбель), — развеселился Сапырбай. — Какие шутки могут быть? Говорю, спал в ней. Боится, что сопрем.

— Явился еще один — хлеб даром есть, — поиграл могучими мышцами Родион.

— А что ж я его не видела?

— А никто его не видел, — хихикал Сапырбай. — А-а, сама узнаешь.

— Вот, познакомьтесь, наш новый сотрудник, Валентин, — представил Юрий, когда мы сошлись к столу.

Человек с голым черепом, но в ватнике поверх спецовки пробомтал:

— Мы уже виделись.

Мог бы и промолчать.

— ...Феноменальный рыболов, еле донес, рыба портится, жарко, прямо не знаю, что делать? — И Юрий добавил в сторону, будто не все слышали: — Черт те что, приходит за полночь, а спать когда?

— Вы тоже не очень много спите.

— Я по восемь часов землю не бросаю. — И, повернувшись снова к Голому Черепу, завопил благим матом: — ЛОДКУ ВАШУ В СУББОТУ НА МАШИНЕ ДОСТАВИМ, НА СЕБЕ НЕ ВОЛОКИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

— Не орите! С ума сошли?

— Он же глухой. И могли бы вы не подрывать мой авторитет, не делать замечаний в присутствии коллектива. Я его к вам переставлю, он меня раздражает.

— Ну, как вам новый рабочий? — настороженно бросил Юрий, забежав на наш участок.

— Ну, работает.

— Со странностями, верно?

— У всех свои странности.

Я обернулась и поежилась: вместо человеческого черепа у нового рабочего было кабанье рыло.

— Подумаешь!.. — неуверенно сказала я. — Мне часто кажется, что у людей звериные хари, у кого — львиная, у кого — овечья, — я все же сняла защитные очки и тщательно протерла стекла. А! он всего-навсего работает в противогазе. — Счастливый вы народ! Противогаза не видели, — сказала я рабочим. — Правильно делает в пылице нашей.

— А хрюкает зачем? Морду подымет, воды глотнет и как хрюкнет!

Сын димуллы зло косил глазами:

— Не дураки, понимаем: дразнит, знает, у мусульман чушка — нечистая животная. — И грозно добавил: — А улик ювучи чушки не ели, никогда не ели.

— Да он горло прополаскивает, вам-то что.

Труднее было объяснить, почему он то натягивал на себя какие-то мешки, скрываясь, как рыцарь в доспехах, то раздевался до мини-плавок.

Нет, меня он не раздражал, — удивлял. А работал тщательно, только очень замедленно. Я даже порадовалась, что в обмен забрали Соломенную Шляпу с его болтовней. Если работа выпадала не пыльная, Валентин снимал противогаз, но не выглядел от этого менее странным. Он жил в каком-то собственном, изолированном и непроницаемом мире, и это отражалось на его всегда бледном лице со втянутыми щеками и бесцветными губами, они то складывались в узкую трубочку, то расползались к ушам, — всегда плотно сомкнутые.

Иногда в перерывах он присаживался и чертил что-то на песке. Мы его окликали, и он, словно проснувшись, озирался и успокаивался. Я поняла, чем так необычны его глаза — маленькие, голубые: слишком много в них цвета и мало черноты зрачков, они почти не расширялись.

— Смотри-ка, что делает! — вскрикнул Джевгаш.

— Ах, не приставайте вы к нему, — мне показалось, что Рыболов выжимает полотенце, неумело: толстый жгут нелепо сокращался в его руках.

— Какая змея здоровенная! — Остальные повскакивали с лопатами наготове: — Укусит! Бросай!

— Уберите ваши лопаты. Он не кусается. Он мне нужен, — схватив змею за челюсти, Валентин разордал ее пополам.

— Зачем вы это? — я содрогнулась.

— Наживку.

Родион отказался спать в одной палатке с Валентином:

— Увольте, все согласен терпеть, но не этих, брр... Вы зайдите, посмотрите, как они скачут и извиваются.

— Кто? У тебя не белая горячка?

— Ах, если бы! — мечтательно вздохнул Родион. — Эти самые, живцы змеинные. Хотите, буду спать на колее, на могиле, к черту совсем...

Шофер отказывался ездить с Валентином за водой: за-

ходить в реку и подавать ведра в бочку тот соглашался только в абсолютно голом виде, а место было бойкое, посещаемое.

Под вечер остановилась возле нас машина. В кабине рядом с шофером сидела луноликая авантажная дама в габардиновом плаще. Глазки и ротик ее, утесненные обилием щек, выглядели обиженными сиротами.

Дама пухлыми ручками опустила стекло и подозвала меня. Ну, может сама вылезти, если ей надо. Королева какая. Она вылезла, подошла ко мне сзади, бесцеремонно хлопнула по плечу:

— Эй, парень, Сапырбая жена я, Сапырбая ищу. Есть? Сапырбай? Да у вас тут одни мужики, я вижу, — с любопытством разглядывала она стол в кухне и газовые плиты.

— Угу, — я постаралась выдать из себя самые утробные ноты. Я чувствовала, что опять нам угрожает исчезновение повара.

— А чей же это сарафан на палатке висит? — спросила гостя.

— Это от прежней поварихи остался, — вышел из положения Олег.

Луноликая бесцеремонно сорвала сарафан, расправила его в руках и осматривала с пристрастием, даже лицом ткнулась. И небрежно перекинула через веревку, углядев Сапырбая.

— Собирайся. Хватит уже. Соскучилась.

Сапырбай что-то вяло ответил одними губами.

— Не отпустит? Я сама с вашим начальником поговорю.

Сапырбай почесывал шапку за меховым ухом, — это была его актерская находка, укоренившаяся как привычка. Он делал вид, что раздосадован, но все эти сдвинутые брови, сжатые в ниточку губы, согнанные морщинки разъезжались в стороны, как плохо наклеенный грим. А узкие карие глазки его сияли, сияли голубым светом...

— Так как? Отпустите, Юрий Витольдович, на денек? Я ведь давно дома-то не был.

— Тут, видать, деньком не отделаешься, — многозначительно заметил Олег.

Я ждала грозы и бури. С завываниями: «Какого же черта ты ехал?.. Я министру пожалуюсь! Я в народный суд! Я такое тебе в трудовой книжке запишу!» Ничего подобного не последовало. В наступившей тишине под изумленными взглядами всего отряда Юрий, скрестив руки на груди, проорковал:

— Как-нибудь обойдемся. Я сам готовить буду. Конечно, семейный очаг забрасывать нельзя, каждому хочется уюта и тепла, иначе не проживешь.

Не слышались ли мы?

— Конечно, поезжай. Дом, семья, — если этим не дорожить, то чем же? Без семьи — не человек, а головешка.

— Ты что такая грозная? — сказал Олег женщине. — Засмеялась бы, улыбнулась.

— Улыбнись на десятом километре, как отъедем.

Но это случилось раньше. Усевшись в кабину, она высунулась из окошечка:

— А сарафан-то у вас на веревке свежестиранный висит, порошком «Новость» пахнет, — и торжествующие щеки ее — каждая — разделились пополам усмешливыми перетяжечками, и получились как бы четыре щеки — четыре веселые аппетитные булочки.

Сапырбай сидел наверху в кузове с незатейливым багажом и на все реплики ребят:

«Арестанта везут».

«Не, с узелком в баню собрался».

«Баня-то жаркая ждет его», — кивал и улыбался, да перекидывал из-за одной щеки за другую нацвай и отмалчивался. Сознывая свое превосходство и чтобы не вызывать зависти.

Мы опять остались без повара.

Ребята вылетали один за другим из столовой палатки и усаживались снаружи в ее тени, где я примостилась с постирушкой.

Никто еще в мире не исполнял так «Аве, Мария», как Юрий пересказывал рецепты ухи.

— Сначала сварите головы. А рыбу варите в чешуе, не всю, две штуки. . .

— Откуда она чешую возьмет, если рыбы нет?

— Не перебивайте.

— Юрий Витольдович, отпустили бы меня пораньше с работы, с машиной, ведь не на свои, на лагерные нужды.

— Вы получаете удовольствие от рыбной ловли?

— Ну, получаю.

— Вы отпускаете рыбу на волю, если некуда девать?

— Ну, отпускаю.

— Вообразите, что отпустили ее на волю, а принесете нам. Значит, сначала, Светлана. . .

— Чищу рыбу.

— Рыбу все будут чистить, вы только варить, слушайте внимательно. Сначала...

— Я уже сбилась.

— Ты записывай, есть карандашик?

— Зачем вы лезете не в свое дело, уходите, Камилы!..
Голову отрежьте.

— И выбросить?

— Выйди из палатки сейчас же, Джевгаш!

— Головы самое вкусное.

— Не всякая голова.

— Выйди, Олег! Ну, тогда сами варите уху.

— Нет уж, я лучше выйду.

— Чешую сварите...

— Клей ведь получится, Юрий Витольдович.

— Убирайся сейчас же отсюда!!!

— Ну, ну, ну? А кружавчики эти из голов не вырезать?

— Жабры, жабры, какие это кружавчики? Дыхательные жабры. Светлана, вы нарочно меня дразните!..

Тени за палаткой на всех, уже не хватает.

— Э, Мотоцикл, понял, о чем они говорят?

Парень мрачно кивнул. Ребята захохотали.

— О рыбе говорят, умник! Как уху варить. Балык знаешь?

— Сам дурак, молчи, — сверкнул белками парень, — я знаю, что мне делать, аува! Он ей не пара.

— Родион, — тихонечко позвала я.

— Не беспокойтесь, засек, — он сделал многозначительное движение ладонью вниз, к земле.

— Нет, издалека посматривай, без рукоприкладства.

Я уходила на арык, еще что-то делала. Забежав в столовую напиться, попятилась, такую отталкивающую силу излучал Юрий. Нацепив передничек, ОН ВАРИЛ УХУ САМ. Было почти видно, как проносятся в его раскаленном мозгу обрывки фраз, мыслей.

— Слышали?! Я ей уже объявил, что мы не сработаемся,

— И чтобы она увольнялась?..

— И убиралась в свой Ленинград. Пошел и сказал. Подошел прямо к палатке и так и сказал, не знаю, слышала ли она, надо еще пойти сказать.

— Опять вы влюбились.

— А вам жалко?

— Наоборот, завидно.

— Конечно, вы предпочитаете, чтобы на вас смотрели снизу вверх, а так не всегда получается.

— Это скорее не снизу, вверх, скорее — сбоку. Ну,

сделайте формальное предложение: навеки остаться с вами и делить жизнь, — как это называется?

— Не все ли равно, как называется, раз я этого не хочу. Вы же сами прекрасно знаете, что не хочу ничего подобного.

— А вдруг бы она согласилась?

— Я бы не согласился! И что за манера у нее идиотская — гладить меня по рукаву, по воротнику, понимаете? И прекратите ваши эти...

— Провокации.

— Провокации, да. Я пойду скажу ей еще раз. И потом, она ничего не ела. Вы же не отнесете? — Он с испугом оглянулся на меня.

Разве удержишь такого человека? Нет, ничем не удержишь такого человека. Он и не мог услышать моего ответа, он семенил между веревками и якорями палаток с мисочкой в руках. И опять разносилась по всему лагерю «Аве, Мария» на новые тексты: «На всей земле люди что-нибудь едят. Вы на меня обижайтесь, а на сазана не надо, на фрукты не обижаются».

Сын димуллы стал переодеваться в серый костюм не только по вечерам, но и к обеду.

Все с башни ушли, один Рыболов еще собирал свои доспехи, а у меня не садился план, все замеры ребята переврали.

— Не откажите в любезности, Валентин, я вас ненадолго задержу, встаньте на колышек, я сама перемерю диагонали.

Он покорно направился к колышку, но по пути заглянул в мой чертеж.

— Здесь четыре с половиной, а не четыре метра, — показал на планшете.

— А вы мерили?

— И здесь неверно, не три с четвертью, а три тридцать. — Он подергал черепом. — Зачем столько времени тратить? Давайте я начерчу от руки, а вы проверите.

— Спасибо. Очень здорово. Ошибок нет.

— Вам не хватает конструктивного мышления, — снисходительно сказал Рыболов, пуская свои ноги идти вперед и вниз по склону.

Не в бровь, а в глаз, правда не хватает.

— И нет склонности к абстрактному.

Тоже верно.

— Абстракция всегда удаление.

— А вы любите явления при их зарождении?

— О да. Конечно. Всякое излучение потом так рассеивается, слабеет, перебивается другим, и очень многое утрачивается, — я старалась попасть в тон.

— Смотрели когда-нибудь в телескоп, в микроскоп? Вы мерите все на свой человеческий рост — сто шестьдесят два сантиметра, если не ошибаюсь?

— Точно. Но в некоторые дни почему-то сто шестьдесят три.

— Это — детали. Если бы вы на первых порах хотя бы отсчитывали от бесконечно малых...

— Ох! Мне бы хоть от полутора метров усвоить и переварить то, что я вижу, — в пределах бытового здравомыслия.

— Вы не с того начинаете, — презрительно скривились его губы, — надо сначала изобрести свою систему. Настоящая абстракция и не сложная и не сушит мозг. Свежая.

— Ну, может, мне чаще попадались тухлые. Мне кажется, что все эти отсчеты, бесконечности, проблемы, излучения, связи каким-то образом присутствуют в гениальных произведениях искусства, — потому-то никто никогда не объяснил, что это такое.

— Странная мысль, недостойная двадцатого. Да, двадцатого века, в котором вы живете, когда грани между наукой и искусством уже опять начали стираться. Но если мысль очень редкая гостя, — загадочно улыбнулся он и прибавил шагу, — то... тогда свирепеют, если ее разбить.

Я вдруг почувствовала: а ведь могут побить его ребята.

— Дразнят вас ребята, Валентин, слишком для них необычно...

— А я, Евгения Васильевна, их всех по могилкам проецирую, — он показал рукой на каменные могильные выкладки по склонам холма. И улыбнулся на этот раз мстительно, хитро и мечтательно. — Я пытаюсь восстановить, в какой могиле чей код. Наиболее близкий. Понимаете?

— Слава богу, нет. И вам это удастся?

— Не всегда, не всегда, — скромно потупился он. — Ведь некоторые могилы пусты! Разрешите, я понесу ваш планшет? Я хотел вам еще кое-что сказать...

Мне не хотелось смотреть в это болотно-бледное лицо, так и виделись осклизлые гати, расплывающийся туман и фиолетовые поганки. Но — услуга за услугу. Тут же я поклялась, что никогда ни о чем сверхурочном просить его не буду.

— Да? Я вас слушаю.

— Поняли про жабры-то? Все поняли? — Он говорил тоном человека, которого не удалось провести.

— Признаться, не очень.

— Вам известно, наверное, что до сих пор рождаются люди с жабрами. Вот тут за ушами отверстия, — он показал на себе (уши у него треугольные, с утрированно длинной мочкой). — Заметили, какие она носит длинные волосы? Я знал одну такую даму. Я был неравнодушен к ней. Я стриг ее.

— Стригли?

— Да. Лесенкой, фестончато — каскадом № 2 с прорежением к височкам и темечку. Она могла бы дышать на суше и под водой, но ее оперировали. Врачи поняли, что это жабры, а она и не подозревала, думала — свищи, гноятся.

— А что же надо было?

— Воздействовать на клетки. Что-то сдвинулось в хромосомах, и восстановился код не тысячеклетней, многомиллионной давности лет... Если можно воскресить такое! Восстановить этих-то, — он пнул ногой синий могильный камень, — не займет много времени. Не в этом задача.

— А в чем?

— Но если можно восстановить код, столь удаленный в прошлое, то... вы догадываетесь?

— Нет.

— Можно приблизить и коды будущего. И уже сейчас создать человека, каким он станет через миллионы лет.

— За чем же дело стало?

— Надо экспериментировать. Базу экспериментальную. Сегодня он может показаться чудовишным, сумасшедшим...

— Гм, да... это, конечно, очень интересно, но я вижу, освободился душ. Если я сейчас не проскочу, придется долго ждать. Я-то ведь дышу только легкими и кожей.

— Понимаю, понимаю, бегите. Я отнесу планшет в вашу палатку.

...О, благодетельное изобретение человечества — теплый дождь из продырявленной консервной банки, нацепленной проволокой на кран питьевого бака! После него нет проблем, есть ситуации. И те кажутся пустяковыми.

СВЕТЛАНА

Трудности археологии? Из них главная: как остаться не втянутой в личные отношения кого-то с кем-то? Вечная трудность, усугубляемая жарой и буранами.

— Ты зачем на закате уснула? На закате бог пайки рас-

пределяет, кто уснул, в список не попадет, — вернулся Сапырбай.

Но к кухне допущен не был: он ведь справлялся без ассистентов, и даже по видимости отпала бы нужда в Светланином присутствии.

— Сапырбай нужнее на раскопе. Он же опытный. С большим опытом, — настаивал Юрий, хотя никто не возражал.

Светлана все это слышала. Но меня подстерегала тень у куста.

— Можно с вами посоветоваться? Не знаю, как мне быть, — со смешком начала она, — Юрий Витольдович требует, чтобы я уехала. Но ведь ему будет труднее без меня? Я приехала помогать. Так все сложно в жизни, не правда ли?

— С каких пор женщины перестали понимать, что если их просят о чем-то, то хотят, чтобы они сделали наоборот?

— Я же не виновата? Уж так получается? Я сама не знаю почему?

Женщинам нравится быть роковыми. К месту или не к месту. Ей тоже нравилось. В пустыне, при нашей-то жаре — не очень, конечно, к месту. Тут бы в пору помочь как-нибудь просуществовать, а не подсовывать сухие камышинки в разгорающийся костер. На все вспышки Юрия она отвечала загадочным молчанием, обидой и кроткой жертвенностью, — это действовало сильнее, чем ругань, и больше мучило непонятностью: с какой стороны начать мириться. Но принимать поклонение — это все же снать, хоть и отраженным светом. Я хотела, было, сказать, что страсть эта может так же внезапно и необоснованно угаснуть, как и вспыхнула, и — что меня всегда удивляло — совершенно бесследно. Не останется даже ну хотя бы обыкновенной мужской снисходительности к закатившейся звезде. Я не стала этого говорить.

— Решайте сами,

— Приехала полуповарихой, — пожимал плечами Родион. — Ну и категория — полуповариха.

— Все полегче Юрию будет.

Родион выразительно присвистнул, но сейчас же спохватился:

— Эй, уроды! Чайник не забудьте на башню захватить. Чтоб никто не отлучался в лагерь в рабочее время!

Что выдумывала Светлана сама? Что — Юрий за нее? Все с ног сбивались, чтобы как-нибудь ее обойти, не встретить — таково было распоряжение начальника.

— Она очень застенчивая, нужно с этим считаться. И что за любопытство такое — глазеть на человека, если ему это неприятно?

— Хорошо. Не будем глазеть.

Я видела только по вечерам, когда зажигались свечи, мягкий девичий профиль со вздернутым носиком из-под челки и волосы, падающие на плечи, — тень на маленькой палатке.

Скоро ей наскучило играть в прятки, она стала появляться в столовой после приема пищи или под конец.

— Ей неприятно видеть, как люди едят, — сообщил нам Юрий не без гордости. — Она очень впечатлительный человек, у нее детство было тяжелое.

— Она уже попривыкла, теперь можете с ней поговорить, если хотите, — скупясь, сообщил он еще через день.

Светлана даже стала подниматься на раскоп, именно тогда, когда не стоило оставлять лагерь без присмотра. И опять я видела лишь ее силуэт — хрупкий, расплывчатый, возможно потому, что она всегда садилась против солнца, мягкие слабые коленки подтягивая к подбородку и перебирая волосы на плече. Вопросительные знаки в ее речи, на мой вкус, были расставлены слишком часто:

— Ах, как это можно? Не понимать? Не чувствовать? Такой красоты? И ругать? Такую красоту? И вы отрицаете? Обратную перспективу? В русских иконах? Но она же есть? Вы считаете? Это не доказано?

На меня веяло обросшими бородой разговорами, которые мне портили кровь тридцать лет назад. Но не теперь.

— Вы даже не хотите ответить?

— Обратная перспектива — как изобретение конца века, двадцатых годов — существует. А в русской иконе — значит, уж «туда-и-обратная» перспектива. Но незачем тянуть за шиворот научные понятия, которые сложились позже. Икона писалась безотносительно к ним.

— Да? Вы так думаете? Значит, вы не видите? И не признаете точку зрения объективного божества не от вас, а наоборот? Снаружи — на вас, божьего ока?

— Четверть века назад я же сама изобретала это «божье око». Но у меня были обоснования посерьезнее: надо было получить стипендию, а я ровно ничего не знала и выдвигала ошеломительные концепции, чтобы зубы заговорить экзаменатору. Он жив-здоров, этот ученый. Патент могу потребовать. Он считал, что это чепуха, однако выслушал и зачет поставил. А вот теперь это «божье око» возвращается ко мне.

— Вы это несерьезно?

— Более чем серьезно. Хорошо, что я тут, а не там, и что выбрала такую дорогу, а не иную. Когда выбирала, я ведь не была уверена, что не пожалею. Нет, не жалею.

— А что же остается делать человеку самому обыкновенному, негероическому? — со смешком проговорила Светлана. — Который не может? Как вы все?

Я промолчала.

— В искусстве-то здесь все равно ничего не понимают, правда, и вряд ли способны воспринять. Неизбежный налет провинциализма...

— Значит, это вам уже ясно? Чего же вы спрашиваете?

— Ну так просто, интересно. Значит, вы считаете, что я очень глупа? — тоном кротчайшего превосходства спросила она и обдернула брючки. — Интересно, интересно. Ну почему же вы не хотите сказать? Прямо? Вы ведь любите прямоту? Глупа? Да?

— Нет. Хуже. Я считаю, что вы не очень виноваты.

— Не очень? А кто же виноват?

— Ложное солнце мудрости, в которой вас растили.

— Ах, а вам помешала война взрасти в его лучах?

— Не война, так что-нибудь другое помешало бы. Скверный характер.

— Значит, вы считаете? Что все наше поколение...

— При чем тут поколение? У всякого поколения свои трудности.

— Вы имеете в виду всеобщий конформизм?! Потребительское общество?! — так и встрепенулась Светлана.

— Хоть бы одно слово собственное сказала, зануда... — поморщился Родион.

Неожиданно в дискуссию включился Сапырбай:

— Да-а, с жизненным опытом — горько, без него — скучно. — И хитро подмигнул: то ли мне, то ли Светлане.

— Знаете, я пришел к выводу, что улыбка Джоконды идет только ей одной, — заявил мне Родион, — у остальных получается ухмылка.

— Ты известный женоненавистник.

— Так же как вытягивать шею и задираать подбородок — одной Нефертити. Почему это женщины боятся оставаться сами собой, объясните мне?

— От слабости и неуверенности. Это вид самообороны.

— Вот уж не обороны!!! А боевых действий.

— Тем не менее ты все успел рассмотреть, проанализировать и выводы сделать?

— Меня всегда расчет женский возмущает.

— Никакого тут расчета, а просто обездоленность и естественное игнорирование молодых сил.

— Ну да, я забыл, вы же ни о ком не говорите плохо и всегда всех жалеете.

— Тебя во всяком случае.

Родион обиделся и больше ко мне не приставал с обменом мнений, и перестал передразнивать Светлану — как кокетливо она пугается воображаемых змей, взвизгивает и отпрыгивает.

Юрий совсем перестал спать, как весенняя птица. Он взрывался и скандалил по всякому поводу и без повода — еще громче. Все остальное время он искал возможности упомянуть, если уж не поговорить про Светлану.

— Мало у нас падежей. Говорят, в китайском двадцать пять, — ворчал Родион.

Я подумала, что мужчины не умеют быть снисходительными друг к другу, как и женщины.

ВИЗИТЫ

Нас одолевали гости. В автобусах прибывали школьники на экскурсию из дальних колхозов. Поднимались к нам пастухи высматривать пропавших овец. Заходили местные любители выпить на свежем воздухе. А иногда заглядывали и горожане, беглецы с хлопка, — мы догадывались по их смущенным переглядам и неумело запрятанным передникам. Явилась на трех машинах колхозная свадьба, разноцветная, шумная. Трое суток пировали и веселились дома, на четвертые погрузились на машины и поехали, подбирая по дорогам всех встречных и приобщая к празднеству. Хватали и нас за руки, тянули к машинам. Отказаться — обидеть. Мы схитрили, предложили открыть той на месте: ящиков и корзин с угощением они привезли с избытком. И Башня Молчания превратилась в ярмарочную карусель. Пели, пили, плясали со страстью, удалью, хохотом, озорством. Народу и шуму было столько, что молодых мы и не углядели — тех, за чью любовь пили, кому счастья желали.

Посетили нас соседи-археологи, и на глазах у всех в удлинённых Нэлиных пальчиках нож превращался в собаку-ищейку, обнюхивал быстро-быстро пахсу, и ни к кому так радостно, с готовностью не выбегала навстречу стенка из налипшего завала, путаницы глиняных комьев.

Родион расчищал яму — не без надежд, что Нэла его виртуозность оценит. А она, взглянув мимоходом, головой покачала: «Слон в посудной лавке».

— Во всяком деле мастерство красиво, — угрюмо заметил Родион, когда Нэла уехала.

— Родион-то наш задумываться стал, — подколот Сапырбай.

— Лодырей ненавижу и болтунов, — рывкнул с яростью Родион.

Сапырбай надолго смолк, и жить стало скучнее.

Юрий освирипел от посетителей.

— Представляете? Опять весь перерыв этот тип ножик у меня клячил, я же там в одиночестве. Сначала просил подарить. Теперь: продай, говорит, — длинный, очень удобный нож. А ножики эти нам по ошибке заслали. Никудышные, не годятся для раскопок. Тип-то явно уголовный...

Навис кто-то и над моим участком, тоже возникал к перерыву, — грузный, неповоротливый, как бегемот, с нашлапкой на широком затылке. Нож он у меня не просил, но его великанский рост, молчание и хриплое дыхание надомной — нервировали.

...Сапырбай присел рядом на корточки разметать поверхность не потому, что она в этом нуждалась.

— А побьют его ребята, побьют. Чертить умеет, рисовать умеет, а работает — знаешь кем?

— Не спрашивала.

— Зимой — фигурой работает. Я расспросил.

— Какой еще фигурой?

— Ничего не делает, стоит или лежит — на животе, на заду, — а ему зарплата идет.

— Артлото. Облигации. Понимаем, — кивнул дядька с нашлапкой.

— Нет, два раза в месяц, как всем, аванс и окончательный расчет. Есть профессия такая? И звание заслуженного дают, как артистам.

— А-а, натурщиком. И ты хочешь?

— И так и называется — позориться, он сам сказал.

— Позировать.

— Все равно позор.

— Голый стоит? Или в трусах? — заинтересовался дядька.

— По-разному, по нему рисовать учатся.

— Добровольно? Или по мобилизации? Ах, так? По собственному желанию? Назначают, значит.

— Знаешь, кто он? — кивнул мне Сапырбай, головой показывая на дядьку. — Мой друг. Заслуженный человек, а ты его бегемотом... Герой труда, хлопкороб. Бригадир всего этого места, всего, что с башни видишь.

— Аувва, аувва, — привычно покивал дядька, равнодуш-

ный к похвалам. — Тот старик в белой чалме (очевидно, Юрий сушил на голове кухонное полотенце) неправильно сказал. Как это наши деды здесь все разрушали? Мы здесь давно, он приехал, не знает. Наши деды канал копали, землю сеяли, сюда хоронить ходили. Теперь другое место хороним. Тот старик ничего не понял. Кто землю сеет, разрушать никогда не будет. Вода есть, земля много, дом строил. Зачем войной ходить далеко? Некогда. Работать надо.

Была какая-то нехронологическая справедливость в его обиженных словах, сильнее и шире хронологической: он лучше Юрия чувствовал правду земли. К тому же арабы-завоеватели и монголы-завоеватели действительно не были земледельцами. Я неловко извинилась за горячий норов Юрия, ссылаясь на трудности.

— Зачем обижал, прогонял? Я черепок наступил — другой найдем. Я тяжелый, нога большой, нечаянно раздавил. Я проверять хотел, если дело нужное — помочь. Топрак¹ убирать — двадцать лопат, один наш скрепер. Давай-давай, чокан-чокан по-нашему, — перевел он с облегченным на родной язык. — Ваш ножик землю плохо копал, шашлык хорошо делать. Я сельпо ходил, шампур нет... — Он учащенно задышал, подбирая слова: — Есть такой народ, кавказец называется, — если гость будет хвалить, обязательно дарить должен. У нас этого нет. У нас не та-ак. Мы ждать не будем, пока гость похвалит. Мы сами догадываемся: подарить можем. Гостя уважаем. Если есть что — угощаем, если нет — тоже угощаем: к соседям идем, забираем.

Я, к удовольствию Сапырбая, краснела и смущалась все болсе:

— Может, чаю выпьете? Соседей у нас нет, а чай есть.

— Э-э, — отмахнулся посетитель, — не то говоришь. Я виноград два ящика привез, куда денем? Вы — гость, мы — хозяин. Земля наша.

Ребята сами себе разливали уху.

— А где Юрий? Поужинал? За находками ушел? Надо костер зажечь.

— Не надо, — ответил за всех Родион. — Не надо костра. И опять все молчали и переглядывались.

— Гулять пошел, пусть прогуляется. Почему не посидеть человеку одному, если хочется, — миролюбиво предположил Сапырбай.

...Юрий сидел в одиночестве, обнявшись с камнем, и плакал. Я уселась по другую сторону камня.

¹ Топрак — земля.

— Вам что, места больше не найти?

— Воздух общий.

— У нас с вами ничего общего быть не может, — он помолчал и, не дождавшись возражений, всхлипнул: — Все. Надо уходить. Не могу. Не справляюсь. Я чувствую, что дело, которое я затеял, меня переросло. Она сказала, что я крепостник и мне бы людей драть на конюшне.

— Ох, Юрий, я иногда очень жалею, что нельзя на конюшне, — так бы хорошо! А кричать и скандалить лучше поменьше, у меня нервная чесотка от ваших криков. Кричать надо изредка для сохранения эффективности.

— Вам хорошо со всеми ладить, всем зубы заговаривать, отвечаю-то за все я. — Он подобрал кончиком языка стекающие ручейки справа и слева. — Я сделал все, что мог. И разве это не для них же? Вы знаете, я человечество очень люблю, даже нежно. А вот живых людей... я устал от них, мы друг друга не понимаем. И теперь я уже решил: уйду.

— Но вы ведь это после каждого заседания... Или когда денег не хватало на сборы, на экспедиции.

— А когда их хватало? — оживился Юрий.

— Или когда художники требовали картины обратно за неуплатой.

— И сейчас двое подкарауливают меня в городе.

— Или когда уходил очередной сотрудник.

— И сейчас уходит. Она заявила...

— Да вы же сами всех выгоняете. Еще и с воплями.

— Это чтобы не жалко было. Да, я сам. Она тоже заявила, что уволится. Все разваливается, все бегут, всем я мешаю. Пусть остаются. Лучше я уйду. Теперь на самом деле уйду.

Он отмахнул слезы далеко в сторону, и одна капнула на меня, — этого еще не хватало!

— Я был готов к неоплаченным счетам, — я забывал о них через несколько часов после того, как держал в руках; к инертности — ее можно преодолеть; к отсутствию интереса — его можно вызвать, да еще какой, сам не обрадуешься, — джинн из бутылки. Но попутно вылезло еще много других джиннов — непредвиденных, и я с ними сражаться не в силах. Вы что, не верите, что я уйду?

— Уходите. Даже интересно. Куда-нибудь к марийцам в леса или к калмыкам в степи. И начать все сначала. — Я даже повеселела: — Или в Туву. Мне очень в Туву хочется. Будет хоть где приткнуться.

— Джок, туда, куда я уйду, не стоит торопиться.

— Ну, там все будем. — Мощный произвольный зевек чуть не разорвал мне рот. Спекулятивные разговоры

о смерти, как и слезы, меня не смягчают, а ожесточают. — Вы бы выпались хоть раз, всем бы полегчало.

— Любовь бывает одна.

— Да-а? — Я боялась, что вывихну скулы и не смогу жевать, я еще не ужинала.

— С вами ни о чем нельзя серьезно... уаы-а-а-аох, — разъехались челюсти Юрия, — говорить. Из всего устраняете бала... — он зевнул еще шире и протяжнее, — ...ган.

Я зевнула короче и успела попасть в унисон. Зевота очень заразительна, но зевать и плакать одновременно не может ни один человек в мире. По-видимому, растянутые сухожилия и мышцы щек сужают слезные протоки — все дело в этом. А ребята наши до сих пор убеждены, что я нашла в тот раз какие-то особенные слова утешения.

БАЛБЕС

Может, Юрий чересчур калорийно кормил рабочих? На неделе они уставали на раскопах. Но в выходные дни энергия их требовала выхода. Они томились без дела, слоняясь по лагерю, к вечеру непременно кто-то напивался, озоровали. Всего-то и было выбора: забраться из зеленой в белую палатку и срезать тамошним с брюк пуговицы или из белой прокрасться в зеленую и зашить накрепко всем штанины понизу. Уже на руках выкатывали ночью машину из лагеря, чтобы Юрий не слышал, и куда-то ездили, а вернувшись к утру, лыка не вязали. Да, может, и не случилось бы ничего, если бы не Балбес, брат жены нашего шофера. Шофер и нанимался с условием, что мальчишку мы тоже возьмем, хоть рабочим, хоть бесплатно, лишь бы дома не оставлять, от рук отбился.

Перегоняли его с раскопа на раскоп, приставляли к кухне, к воде — везде ему было скучно, везде он мешал, что-нибудь ломал, пачкал, терял; вертелся и скакал непрерывно, выкрикивая глупости и кривляясь, и выводил из себя самых терпеливых. Он был не глуп, отлично соображал, кто послабее, кто с кем не ладит, над кем можно издеваться безнаказанно, над кем с оглядкой. В часы безделья ребята не шугали его, а потешались, и тем вдохновляли на проделки.

Мне надоело слушать анекдоты соседней палатки, я ушла работать к подножию холма, от чертежей меня оторвали злой гогот и улюлюканье, доносившиеся из лагеря.

Обрывки раскрашенной бумаги летали между палаток, Балбес, просунув голову в какой-то надорванный плакат,

выкрикивая ругательства, увертывался от Рыболова, нелепо простиравшего к нему руки.

— А ну прекрати, брось сейчас же! — закричала я с ходу мальчишке.

Рыболов споткнулся об ящик, упал, сильно расшибся. Он не поднялся, а полусидя корчился на земле.

— Что вы над человеком издеваетесь? Что он вам сделал? Что происходит?!

— Да мы ничего. Это Балбес выкрал у него, мальчишка.

— А что там?

— Тьфу, мерзость, пакотня, не жалко, похабство.

— Какая-то птицерыбовошь с глазастой кожей, и антенны-усы. А глаза человеческие. И все разные. Один вытаращен, другой прижмурен... — рассказывали рабочие, посмеиваясь.

Валентин сухо, без слез, сотрясался от рыданий, и каждая часть его тела рыдала по-своему, бледные, далеко отставленные лопатки, похожие на плавники, вздрагивали не в лад с затылком.

— Лучше б убили меня. Лучше б убили. А они — его, — захлебывался Рыболов. — Все кончено. Теперь не поправишь. Все расчеты, всей моей жизни...

Рабочие не ожидали такого оборота дел и стояли молча. Балбес принял это за невысказанное одобрение и стал бегать вокруг моей палатки. Олег догнал его, сорвал плакат, но мальчишка успел выдрать изрядный шмат и, скакнув за мою спину, считая, что тут-то его не достанут, рвал его на мелкие крошки, швырял, топтал и плясал по ним, повизгивая.

Рыболов рыдал. Я вlepила мальчишке затрешину.

— Пусть я отсижу пятнадцать суток, под суд пойду! Но голову я тебе сверну за эти штуки. Подбери сейчас же все до крошки!

Мальчишка испуганно заползал по земле.

— А вы, — я обернулась к рабочим, — вы... Рыбу его жрете?! — В горле у меня клокотало.

— Кушали, — согласился Сапырбай.

Рыболов бился в припадке. Я не знала, как его утешить.

— Ну, может, у вас есть какой-нибудь эскиз? Второй экземпляр?

— Второй экземпляр... Его не отдали.

— Послушайте, Валентин! Тогда не все потеряно.

— Не отдадут.

— Я вам обещаю, мы обещаем, Юрий Витольдович напишет отношение, ну, какое-нибудь, что необходимо —

для музея, экспериментальная живопись, ну, что-нибудь, для изучения, для выставки, для экспозиции...

— Только мне этого не хватало, — бормотал Юрий, прибежавший с башни. — Да, обязательно напишем, даже сами съездим, с министром, выхлопочем, — проорал он. — А пока успокойтесь и спокойно работайте над эскизом, прорабатывайте. У Женн возьмите — акварель вам нужна? Гуашь? Масло? Ну, выпишем из города. Или чем вы работаете? Я вам дам целый день — завтра, будете отдыхать или писать... Вот сволочь этот шофер, вечно я жду, что машина перевернется... Что ж вы не отдали Родиону на хранение? Никто бы не посмел тронуть. Я вас предупреждал: отдайте... Пока не соберете все клочки и не отдадите Валентину, обедать не будете.

— Да мы уж собрали, Юрий Витольдович, хобота не хватает.

— Ну и тварь же, — поморщился Юрий, — вы, наверное, все перепутали.

— Да нет, Юрий Витольдович, вроде похоже, как было. Я тоже хотела подойти посмотреть, но Рыболов метнулся с криком:

— Нет, нет, вам нельзя! Женщинам нельзя, я вас умоляю!

— Ну что вы, что вы, конечно не буду, раз нельзя.

— А ты! — Юрий боком наступал на Балбеса, тот пятился. — Первым же рейсом убирайся отсюда, собирай вещички, ертын азанда.

Наверное, у меня был внушительный вид:

— Я тоже уволюсь. Сегодня. Сейчас же. Вещи вы доставите. Я доберусь на попутке. Я сыта вашей компанией. Виноваты все, а не один мальчишка.

Юрий не посмел возражать:

— Но, может быть, дождетесь утра, сегодня попуток не будет... праздник...

— Пейшком дойду. Через горы.

— Вам придется идти всю ночь...

— А то вы не знаете, что тысячелетиями караваны передвигались именно по ночам!

Юрий знал про караваны, но знал еще, что останавливать меня бесполезно.

— Ну, как хотите... — Он ушел в свою палатку. Слышно было, как он рвет петли, застегивая ее.

...Я вышла налегке, с одной баклажкой и скатанной курткой через плечо. Я знала проход через эти горы. Там есть два ложных сворота — ночью можно их принять за наезженные дороги, на самом деле это русла древних по-

токов, они белеют во тьме. Они ровны под ногой и уводят в тупики, постепенно сужаясь и выбрасывая поперек колкие, как лезвие пилы, складки горной породы. А надо идти темной, неприметной верблюжьей тропой.

Всю жизнь мою можно разделить по горам: время синих гор, с далекими снежными пиками; время снежных вершин; время белых скал; время серебристо-рыжих и зеленых цветущих столовых холмов, эпоха серых и черных обнаженных гор... И когда я иду во тьме среди гор, это все равно что рядом с человеком, настолько близким, что не надо касаться его, не надо окликать его, чтобы чувствовать его присутствие.

Горы — вот уж кто знает обо мне все. Еще с давних пор, когда я пришла к ним мертвее камня и они молча согревали меня в ночи своим теплом, когда другого тепла не стало... Они тоже это помнят, а больше это никого не касается. Плохо тем, кому не помогают жить горы, собаки, лошади, костры.

Я ухмыльнулась, представив себе, сколько там в лагере оставила Светланиных ахов: «Как можно? Ударить? Человека? Беззащитного ребенка? По лицу? Еще Достоевский... Где же ваш гуманизм? Конечно, тут вместо романтики — один мат и грубость, но нельзя опускаться? До их уровня?»

Что такое бессмысленная жестокость, понимают еще в детстве, раз и навсегда. Я поняла лет шести, себе на забаву мучая белого мышонка. Я подкидывала его в воздух и считала, что ему весело падать с большой высоты на травку, чем выше, тем забавней, а он упал и не встал: быстро-быстро дышал и моргал красными глазками. На мое счастье он все же не разбился.

...Подходя к покатым низким предгорьям, я спугнула какого-то зверя с мохнатым хвостом. Я успела поймать его фонариком, он бесшумно словно поплыл в воздухе — так драпанул — и исчез в овраге, серый со светлой подпушкой. Для шакала слишком велик. Я миновала один сворот, подходила ко второму. Вдруг сзади завывли в два голоса. Я остановилась, вслушалась. Похоже на человеческие. Это и есть человеческие. Юрий не пошлет за мной погоню! Если это все же погоня — глупо. Из них никто здесь не ходил, заблудиться легко. И не будут же они заворачивать меня силой. Придется ждать. Один голос, мужской, тянул мое имя, другой — чистый, стеклянный, как у муэдзина, — выкликивал что-то неудобоваримое. И зачем они полезли наверх? Я помигала фонариком на голоса.

— Обождите на-а-а-ас...

Я еще помигала, выключила свет, присела у скалы.

— Вот она, я же тебе говорил — догоним, вот она. — Длинная тень утешала коротенькую. — Ну, хватит реветь-то, хватит уже реветь, всю дорогу ревешь, стыдно, мужчина ведь. Нос хоть бы вытер, большой уже.

Они промчались мимо меня.

— Приятной прогулочки.

— Евгения Васильевна! А мы думали... — произнесла длинная тень.

Коротенькая по-козлиному подпрыгнула и заревела откровенно.

— А мы думали, волк... тебя... Пойдешь домой? Не пойдешь, да?

Оба, Рыболов и Балбес, уверяли, что удрали потихоньку, втроем. А Юрий Витольдович на ужин не выходил.

— А где же третий?

— У третьего со свечами что-то.

НОВАТОР

Странное дело, теперь мне было не отвязаться от маленького Балбеса, он бегал за мной как собачонка. Он не шел — кидался, летел, если я о чем-нибудь просила. Нет, не из страха, а с оттенком обожания. То его за человека не считали, не замечали, а оплеухой как бы породнились. Неужели так обращаются с ним родственники — мать, сестры, те, что любят и жалеют и пекутся о нем?..

В столовой царило благодушие, как в семейном доме после ссоры, развода и примирения. На такой высоте трудно удержаться людям с разными характерами, если они вынуждены существовать носом к носу день и ночь. Да еще при сухом законе, который ввел Юрий после печального эпизода с Рыболовом. И, чтобы поддержать эту высоту подольше, я источала холод и неспрощение:

— По-моему, следовало бы всех уволить. И искать новых, пока будем перебазироваться в Кзылтау. Все равно придется ехать в город, рабочих не хватает. А с такими силами... сложный памятник?

— Рабочих вечно не хватает, усвойте, это включается первым пунктом в понятие вечности.

— Ну а дальше — как? Ни одного нормального...

— А дальше — хуже будет. Биологический ли, технический наш век, одно могу сказать: нормальные идут в

геологию, газ, нефть, — там втрое больше платят. Вот мы и подбираем всяких... — Юрий кокетливо оглядел переставших вдруг жевать ребят, — мечтательных чуел.

Миски забренчали одобрительно.

— Недовольны, Юрий Витольдович? — засмеялся Сапырбай. — Я по разным организациям работал, нигде так весело не бывает. Тут как в пятницу на базаре: какой хочешь товар выбирай... — Он прижмурился: — Весь с изъясном. Садись в такси... — Он опять прижмурился, готовя эффектную концовку, но не успел.

— Век техники, — как обычно некстати изрек Рыболов, — а будущее не за ней. И сейчас скажу, почему. Никаких технократий не будет. Технический прогресс зашел в тупик. Уничтожение мира, органической жизни — на каждом шагу, самоуничтожение — вот к чему пришел технический прогресс. И вы все, поклоняющиеся технике, — убийцы.

— Ну... поехал, — простонал Родион.

— Вот! Вот один из убийц, — саркастически улыбнулся Рыболов. — Не скажет: пополз, полетел, поплыл, а — обратите внимание — поехал. Подразумевается двигатель внутреннего сгорания, генератор, выхлопные газы. Природа не ездит, — она развивается, движется, стремится. Это ты поехал, я не поехал. И жаль мне тебя, убийца.

Родион побледнел:

— Я-а? — Он с усилием сдерживался и из белого стал малиновым. — Смотрел я, когда работал в рыбводхозе, как атерина жрет друг друга в тазу под формалином!

— Неэтично? — пожал плечами Рыболов. — Невежественный ум! Она борется за сохранение вида. А если бы эту энергию направить...

— Вот и не нужна мне твоя биоэнергия! — взревел Родион. — У меня челюсти крепче твоих — я тебя не жру? — И, отбросив эфемерный полотняный стулик, нырнул под брезент палатки во тьму.

— Вспышки ярости со склонностью к разрушительным действиям — вторая фаза шизофрении, — конфиденциально сообщил Рыболов, — предшествует сумеречное состояние.

— Атерина — рыбка такая малая, — миролюбиво объяснил Сапырбай. — Ее по ошибке случайно завезли в наше море, с кефалью, кефаль-то подохла, а атерина ух как расплодилась, все корма, говорят, сжираала...

— Первые годы, первые годы, теперь равновесие достигнуто, — уточнил очень довольный Рыболов, — сама природа, сама биоэнергия поправила ошибку, неряшливость

человека. А? Что? Природа-то всегда оказывается умнее и справедливее ваших жалких думающих и бездумных машин. Решения всех технических задач найдут в простейшей клетке, в самом человеке, в неизведанных его ресурсах и формах энергии. И те человечества, цивилизации вырвутся неизмеримо вперед, которые раньше других поймут это и пренебрегут техникой во имя биологии. Это уже пройденная историческая коллизия, когда отсталым был аграрный пояс земли, а передовыми странами — промышленные. У аграрных, в особенности у первобытных, — они еще могут пойти другими путями, — меньше разобщения с природой. Страшнейшая трагедия человечества, отгородившегося каменными стенами, машинами, городами — от истинного...

— Слаженный такой коллектив, — с завистью пробормотал Юрий, когда завывали шакалы, — вот бы нам так.

— Вот именно! Вы это инстинктивно уловили, — нам бы так! Даже то, что человек оглушил себя одеждой, нарушило его контакты... Носит чужую дохлую шерсть, дохлую кожу и химию, вовсе не способную чувствовать! Покровы допустимы, но для изоляции в минуты усталости. Оденьте рыбу в пластиковый футляр, что станет с ее боковой линией? Невежды обрубают хвосты собакам — это все равно что состригать антенны и заземления у приемников. Хвост и усы у зверей не случайно сосуществуют. А у нас что? Бритые лица, а хвоста вовсе нет.

— Ну, это же не у всех, — вставил сонный Юрий и не понял, почему вокруг засмеялись.

— Если мы прошли за эволюцию стадии всех животных, мы можем все, что они, — биологически. Жалкий итог — самолеты вместо крыльев, акваланги вместо жабр!

— Опять жабры? Не к добру, — сказала я.

Юрий клевал носом на речи Рыболова, словно поддакивал. Свеча догорала. Никого не осталось в столовой. Я сидела, потому что меня ломила усталость.

Юрий слишком низко клюнул носом и сразу проснулся:

— Почему же вы рыбу не голыми руками ловите, а изощренными спиннингами, и увешаны с ног до головы голубой оптикой?

— Временно. Временно. Но я все же надеюсь, вы убедитесь. Скоро, очень скоро, — захихикал Рыболов и исчез.

— Юрий, у него есть справка?

— То есть?

— Медицинская. О допуске к работе в районах пустынь.

- Мы не бюрократы.
- Я так и знала.
- Он инвалид второй группы.
- С каким диагнозом?
- А вам какое дело? Ваше дело работать. А не раз-
пихивать. Он... изобретатель биотоковой живописи. Он
сам о ней не помнит. Уже тихий. Знаете, электрошок, хи-
мия — новые средства, очень сильные. Только не взду-
майте...
- Кунсткамера!
- Ну, вы не последнее в ней украшение.

— Слушай, ты! Что, уж лень навялить рыбы? Солнце
такое! Слабосильная команда! Лодыри! Ну, домой возъ-
мете, зимой пригодится, слышите, вы!

Но к кому ни обращался Рыболов, никто его не под-
держал. «Мухи очень летят». Сводились счета.

Уже третий день на столовой палатке висело объявле-
ние, выведенное рукой Юрия: «Рыбоприемник не работает».
Валентин тосковал, бледнел, худел. На четвертый день на
закате он вышел из палатки и стал закидывать спиннинг —
в кусты.

— Ну, видать, будет дело, — хихикали ребята. — Уха
наваристая получится.

Никто не предполагал, что о крючок зацепится глупый
заяц. Серый комочек, перебирая невидимо быстро лапка-
ми, метался по земле, а неумолимая катушка притягивала
его к феноменальному рыболову все ближе и ближе. Юрий
впал в ярость.

— Вы сами разрешили закидывать спиннинг в лагере,
чтобы не дисквалифицироваться, — невозмутимо возразил
Рыболов.

— Что я вам разрешил?! Тренироваться! А не зайцев
выуживать. Это хулиганство! Я ночи напролет чищу рыбу.
Не хватает с зайцев шкуру сдирать. Я вам как начальник
отряда разрешил. А как повар — запрещаю.

— Он все равно раненый!

— Рану йодом залейте, плыстырем залепите и отнеси-
те под тот же куст.

Так и сделали, и йода не пожалели. И я думаю, неко-
торое время заяц этот прожил без хлопот, припеваючи,
пока не выдохся, потому что лисы и шакалы от него ша-
рахались.

Кто-то топтался около моей палатки. Я поленилась вылезать из мешка, но свечу зажгла. Ее света хватило, чтобы разглядеть, сколько страдания и растерянности в лице Валентина. Он отважился наконец извиниться и войти. От Родиона я знала, что Валентин последнее время просыпается и подолгу не спит по ночам, зажигает свечу, садится на раскладушке, ставит голые ноги на холодную землю и, закутав голову спальным мешком, о чем-то думает.

— И не протужается, черт! — единственное, чему удивлялся Родион.

— Я думал, может, вы не рассердитесь, я... — Валентин осекся. — Не будете издеваться, как остальные: я... должен что-то вспомнить. От этого очень многое зависит. Я все эти дни... я почти вспомнил. Вот-вот вспомню. Вы не согласились бы мне оказать содействие?

— Пожалуйста, но в чем?

— Подскажите.

— Но я даже не знаю, из какой области?

— В том-то и дело — из какой области? — Он горько усмехнулся. — Я нес вам чертежи, это все имеет отношение к моему делу. Хотите посмотреть? А, тут чистая бумага, я не ту папку взял. Я вам принесу сейчас.

Я не стала признаваться, что «ту» папку показывал мне бдительный Родион. И знаменитую отреставрированную птицерыбовошь с длинными усами-антеннами. Графически выполнено великолепно, даже не поймешь, как и чем, тончайшие линии, — мне это напомнило некоторые рисунки Филонова. Или прославленного Бехзада, писавшего неуловимым беличьим волоском. Но что в этих рисунках — ни я, ни Родион не могли даже предположить. Какие-то видения, выполненные с точностью диаграмм. Кардиограммированные формы, вычерченные, очевидно, цветной тушью. Ни сюрреализмом, ни абстракционизмом не назовешь. Был там, например, цветок, он бесконечно повторялся, растворялся, возникал, компоновался в разных масштабах, сдвигах, его можно было видеть в любом месте листа.

— Игра ума, не искусство, — сказал Родион. — Слишком холодное.

— А если мы просто не умеем понять?

— Черт возьми, сколько же во всем этом как раз от техники, машинизма, которые он отрицает. Что вы думаете про эту страшилку? Уродливо, болезненно, нелепо, а... как-то... трогательно? Вы не находите? Что это такое?

— Не знаю. Автопортрет?

— Ну-у? Эх хватили, я бы не додумался...

— Что вы так разволновались, Валентин? Устали, наверное? — От сочувствия у меня получалось нараспев. — Вы бы отвлеклись. Хотите, я книжечку вам... — Я порылась в рюкзаке и достала Гекльберри Финна.

Валентин отшатнулся, словно я протягивала ему раскаленный камень.

— Нет, нет, только не книжечку. Нет! Я когда-то очень много читал. Дни и ночи читал... еще — до всего! Я хотел математику изучать, но пришлось начать трудовую деятельность парикмахером в Конотопе. Я тогда уже хотел путешествовать, но обстоятельства не позволяли, и средства ограниченные. Ведь и квартиру нелегко поменять. Я одно время увеличивал свою комнату зеркалами из дамского зала. Списанными, конечно. Но это не способ. Пространство получается. Анфилада, много комнат. Но в каждой комнате — по человеку! Опять тесно! И опять все синхронные, одинаковые. Я стал менять обои, обстановку, вещи — до последней вилки. Продавал и покупал новые. То есть старые, по дешевке, но совсем другие, и расставлял по-иному. Будто в другую страну попадаешь. На это уходил мой заработок, даже то, что я приватно подрабатывал. Но обоев-то выбор невелик, лучше самому раскрашивать стены гуашью. Дешевле, и колера сам выбираешь. И узор. А можно покрывать чертежами, рисунками, формулами, графиками... Я стал наблюдать над собой, другого выбора не было. Это я как раз хорошо помню, во всех деталях. Знаете, на стенах графики имеют иной смысл — глубже, чем в блокноте или на подоконнике. Я жил тогда как в клетке. Потолок тоже исчертил графиками. Видите ли, я обследовал, не имея других объектов, все измеримые функции своего существа. День за днем. Ну, с простейших: вес, давление, пульс, кардиограммы, энцефалограммы, спектральный анализ крови. Разумеется, я вел дневник, путеводитель. Внешние обстоятельства, погода, питание, активность солнца, степень загрязнения воздуха, личные встречи с друзьями, с женщинами — это ведь прекраснее всего выражается графиками. Воздействие и количество информации на слух, на глаз, поступающей через печать, телевидение. Я проверял все уловимые зависимости, высчитывая полезный коэффициент — между прочим, интересные результаты — в интеллонах.

— А что это такое?

— Единица измерения интеллекта, обобщенная, она складывается по нескольким параметрам. У меня разработаны очень тонкие системы измерений. Но это детали!

Я могу вам дать свой справочник с подробным изложением и обоснованием всех систем.

Он беспокоился все более, руки его заметно дрожали.

— Однажды я сделал удивительное открытие. Когда его сделаешь, непонятно, как другие этого не видят. Боятся узнать себя? Вы же не боитесь?

Я притворно чихнула, несколько мужских голосов сквозь брезент и метра полтора свободной атмосферы пожелали доброго здоровья. Палатка моя не на отшибе. Хорошо.

— Да-да, я слушаю... Открытие?

— Я помню этот день, яркий, с осенней свежестью. Пахнет прелым листом, хваченным морозцем, и все такое голубое, голубое...

— Значит, у вас еще оставалось окно?

— Да, в сад, я не закрывал его ни зимой, ни летом, в парикмахерской у нас всегда духота. До этого дня... окно оставалось. — Он набрал в легкие воздух и с шумом выдохнул: — Я завесил его в тот день. Мне не хватало места. Заставил фанерой и загрунтовал, разумеется, и на ней впервые изобразил то, что мне открылось. Я стал сводить все графики в одно.

Он был беззащитнее малого ребенка в своей восторженности.

— Какие изумительные очертания получились, какое потрясающее по точности, по красоте и цвету создание... Я сливал, нет, они сами сливались, эти вибрации жизни. Бесконечно разнообразные! Это ведь портрет ЧЕЛОВЕКА, аналитический пока, и я его увидел со всеми тайнами, рациональными и иррациональными, в его устремленности, во множестве пространств и измерений... Мне трудно с вами говорить. Вы даже не знаете высшей математики?

— Нет.

— Досадно. Но вы знаете, что двумерно можно передать трехмерное пространство — пользуясь условным языком? Всякий язык — чистая условность, и всякое изображение — цвет ли, линия. Естественно, что и четырехмерное можно свести к трех- и двумерному, и соответственно любое — к простейшему мерному изображению... Вот это я там и увидел. И вы знаете, если вращать треугольник, совокупить множество движений, получится конус. А что получится, если совокупить весь процесс, все движения, все развитие человека? И это я там тоже увидел. Но мне ведь хотелось быть понятым!!! Глаз надо воспитывать, чтобы он схватил, чтобы он сразу воспринял все целое. Я думал, все будут так же счастливы, как я, увидев-

ший и открывший!.. Но я рвался вперед, вперед, я не мог задерживаться, останавливаться. Это ведь был первый шаг. Всякий график выражается формулой. Бесконечное количество формул. Потом я спохватился: надо упростить, свести к минимуму. Я искал эту формулу, формулу всеобщности...

Почему психи и уголовники всегда проникаются ко мне особым доверием?

— Но вы нашли ее? — Я спросила, чтобы как-то заполнить затянувшуюся паузу, потому что он осекся и беспокойство его достигло предела, он все время оглядывался, прислушивался.

— Вам не кажется?.. Меня, наверное, кто-то гипнотизирует. Вдруг мысли начинают путаться. Это может быть и ультразвук. Ничего не болит, голова не кружится, но мысль... я ее теряю, и кто-то очень четко произносит, я внутренне это слышу: «Морковку лучше есть в сыром виде».

— Да-да, так формула всеобщности в искусстве?

— Вот именно. Вы правы, — мучаясь, он боролся с собой: — Вы абсолютно правы: действительно, морковку лучше есть в сыром виде. — Глаза его вылезали из орбит, но зрачки так и остались узкими, как у кота на свету.

— Вы бы не могли мне подсказать, — наконец с усилием вытолкнул он, — хоть одну букву, я ее нашел... н... не могу вспомнить... эту, как ее...

— Морк... тьфу, черт, формулу?

— Морковку лучше есть в сыром виде, — повторял он все быстрее и быстрее, как будто пластинка с тридцати трех оборотов соскочила на девяносто шесть.

— Успокойтесь, успокойтесь. Знаете что, Валентин? Если вы хотите вспомнить, послушайтесь мудрого совета: утро вечера мудренее, ложитесь сейчас спать, а утром на свежую голову вспомните.

— Вы считаете, поможет, если я усну?

— Конечно, всегда помогает.

Он послушно ушел.

Никто не удивляется, что спятил, начитавшись рыцарских романов, Дон Кихот. Что же удивительного, если, начитавшись без подготовки и систематического образования «Знания — силы», «Науки и жизни» и необъятной научно-фантастической литературы, доверчивый парикмахер из Конотопа проснулся однажды сапиенсом¹ тримиллионного века.

¹ Сапиенс (лат.). — мыслящий.

К утру он все забыл. Стал неожиданно героем и нашим спасителем. К утру несчастный Юрий, поднявшийся жарить рыбу нам на завтрак, обнаружил, что газ в баллоне иссяк, и разбудил Родиона, чтобы тот подключил свежий баллон. То ли со сна, то ли оттого, что Родион ни малейшего представления о газовой технике не имел, то ли баллон действительно оказался без прокладки, — газ зашипел и завонял панически. Было еще темно, Юрий решил посветить и поднес горящую свечу: Столб пламени с ревом забил в крышу палатки, оба мастера отскочили, вопя друг другу: «Мешки! Ватники! Пламя сбить!» Оба были только в трусах. Пока соображали, где взять ватник или мешок, какая-то фигура совсем без ничего метнулась к баллону и голыми руками зажала жерло, а Родион закрутил гайку.

И всего-навсего осталась в крыше веселая дырка с черными краями, оцертаниями напоминающая Аральское море, — в нем-то и заголубел рассвет.

— Ну! Если бы не Валентин! — только и было разговоров.

— Меня надо было разбудить! — надрывался Соломенная Шляпа. — Следующий раз обязательно меня будите.

Валентину разрешили рыбачить, и он успокоился.

Однако Юрий настоял, чтобы он прикрывал голову, и Рыболов напяливал обрывок дамского чулка, обвязав махрившийся конец леской наподобие пупочка.

БОЛЕЗНЬ

Нельзя было отпускать машину. Но мы боялись, что без разрядки, хоть какой-нибудь, опять начнутся в лагере «происшествия», и отправили на выходной в город всех рабочих, кроме троих дежурных.

Я вернулась с этюдов затемно. Родион с того и начал:

— Плох. Совсем плох. Залег. Так еще не было. Рассорились. Она в палатке рыдала, я не вмешивался. Он слег. Меня выгнал. Разговаривать не хочет. Всех выгнал. Не пил, не ел.

— Свет там есть? Зажгите ему лампу и оставьте. И дежурьте снаружи по очереди.

— Не понимаю, когда все радости от мучений и мучительств. И она тоже! «В монастыре бы мне, — говорит, — жить». Людей боится. А что в монастыре? Община. Монастырь и начинается отказом от индивидуальности. Занавески до полу не достают, чтобы все на людях, на глазах, ни секунды тебе уединения. Она бы там недели не продержалась,

— А ты откуда знаешь, какие занавески? Был там?

— Был.

— Час от часу не легче. В другой раз расскажешь...
А где она теперь?

— В вашей палатке. Боятся одна. Змей боятся, лунного света. Башни боятся, предчувствия ее мучают. Теней боятся, шакалов. Нянька ей нужна. И ничего не боятся, а выдуривается.

— Я всю жизнь темноты боюсь и зеркал. А башня правда зловещая. На всякий случай, где Мотоцикл?

— Уволился. Он, понимаете, посватался по всей форме. Целую коляску сватов навез, и на заднем сиденье тоже, а его отшили, и, знаете, не слишком деликатно. Юрий Витольдович очень кричал. Смеяться над ним стали, он обиделся. Можно было повежливей: отказать и все. Чего доброго вспомнит, что из омывальщиков — брезгуют им. Осторожней надо, он мстительный и хитрый.

— Сколько событий...

— Да... Он мотоцикл увел, а сам вернулся за справкой. Юрий Витольдович сказал: не уволит и справки не даст. Мотается он здесь где-то по лагерю.

— Заставь его тоже дежурить.

— Его?!

— Пусть посмотрит, как страдают, — может, поумнеет.

Юрий лежал с багровыми щеками, это было видно даже при тусклом свете «летучей мыши». И глаза его пылали последним отчаянием:

— Вы все к ней несправедливы...

Я молча кивнула.

— Ее нельзя винить. Ей здесь трудно. Не повезло с самого начала. Представьте, по дороге сюда к ней приставал милиционер. Он говорил такие пошлости. В такой форме. Требовал свидания. Недвусмысленно.

— Ну и что?

— Он же милиционер.

— Ну и что?

— Как ну и что?

— И вы помчались жаловаться министру? Терпеливый же у вас министр.

Я стала считать пульс Юрия, но все время сбивалась. Я думала, что за последние четверть века мы только ругались, да, только ругались, за исключением тех общих собраний, когда надо было отстаивать планы, сметы перед лицом общего врага, как выражались музейщики. Юрий выдернул руку — маленькую, словно истаявшую от жара, и натянул одеяло до подбородка.

— Я когда-то мечтал, чтобы вы состарились.

— Очень благородно с вашей стороны. И не каждая мечта так легко сбывается.

— Нет, вы не умеете. Всё черти скажут. Ведь уже было так: казалось, всех выморило, а смотришь — опять завелось.

Он молча приглядывался.

— У вас когда-то тоже был вздернутый нос.

— Ну, это у всех — в молодости.

— А глаза нисколько не похожи. Хоть и зеленые. Но это формальный момент — зеленость. У нее на фарфоре нарисованные или подглазурная роспись, а ваши — железные со ржавчиной, как клещи, ими гвозди хорошо выдерживать.

Ах, если бы!

— Кто-то пришел?

— Нет, Юрий.

— А мне слышалось. Никого нет?

— Нет.

— А чьи же это шаги?

Я только вздохнула.

— Она еще не уехала?

Он стал говорить неразборчиво, застонал. В палатку заглянул Родион, я была благодарна ему за то, что он рядом.

Юрий бредил. Даже по спящему лицу видно было, что он очень страдает. Вдруг он открыл глаза и внятно произнес:

— А вы помните, что вы мне обещали?.. А я вам?

— Да.

— Не забудьте!

— Я помню.

Родион отвернулся, давая понять, что не слышит. Что ему почудилось: романтическая клятва в вечной любви? Что-то очень интимное? О нет, это было посерьезнее, то, что мы обещали. И сейчас я бы дорого дала, чтобы не было этого обещания.

— И уйдите. Вы мне мешаете.

— Ну скажите же вы ей что-нибудь... — шептал мне вдогонку Родион.

А что я могла сказать этой невидимке, которая даже не двигалась, а трепетала по палатке и не умела застегнуть приготовленный для нее спальный мешок — для этого требовалось задержать молнию, в виде исключения исправ-

ную? Что человек этот ни разу, ни одной минуты не прожил для себя? Что женщины, которых он любил, тосковали, страдали, вздыхали по кому-нибудь, а ему уделялась горькая и сладостная, как отравы, роль поверенного?

Мало ли людей на свете одиноких и привычных к своему одиночеству настолько, что, кажется, в том их призвание? Сначала кажется посторонним, потом близким, а потом и им самим. Что все, что сейчас происходит, — одно мечтание о несбывшейся жизни, и тем всевластнее и упорнее, чем нереальнее? Но надо каждому, чтобы было о чем пожалеть. И еще. Что такое одиночество требует мужества, гордости? А порождает его безоглядность и беззаветность человеческая?

— Женятся же люди, ну, просто так? Многие.

— Он женился, ничего из этого не получилось.

— Она сбежала?

— Он сбежал.

— Слышите, слышите, что это? Щелкает?

— Не щелкает. Топает.

— Кто-о?

— Суслик, тушканчик приплясывает.

— Так громко?

— Ночь очень тихая. На воскресенье все разъехались по домам.

— А почему днем никогда?

— Днем другие шумы.

— А что так шуршит?

— Песок сыпается с палатки.

— Ветра же нет.

— Они остывают. Песчинки — живые. Они всегда в движении, в переменах. Что-то строят, мастерят, замышляют. Куда-то текут. Они были уже вершинами и дном океана. И думали, что это навсегда. И были глазами и руками человеческими. И тоже думали, что это навсегда. Теперь они... не хотят терять времени.

— С какой вы нежностью о песчинках... Вы не сердитесь, что я к вам вселилась? Я очень боюсь по ночам одна. И этого... очень боюсь.

— Родиона?

— Не-ет. Родион меня презирает. А который на меня смотрит все в столовой. С ушами. Женinx. У которого рот не закрывается.

— Раньше не открывался.

— Он ведь с ножом ходит.

— Ватный мешок не так-то легко ножом разрезать. Укройтесь с головой.

— Да нет, это я просто так, — засмеялась невидимка, — я вам спать не даю.

Я вздохнула:

— Завтра можно поспать, пока наши не приедут.

Мне тяжёлый всякий разговор, что сочтётся по чайной ложке каждые четверть часа; не успеваешь ни уснуть, ни переключиться к своим мыслям, — отвлекут! И, чтобы не раздражаться, ждёшь, и вхолостую работает внимание, очень усталое. Выскажись и умолкни!

— Все ваше поколение очень быстро ходит, прямо-таки летает, я заметила.

— Наше поколение всегда торопилось.

— Я хотела сказать: почему так тяжело быть правой? Я сказала ему... правду ведь сказала? Надо было сказать?

Мне не хотелось отвечать.

— Может, пойти извиниться?

Я сделала вид, что сплю. Я бы не стала гладить человека по голове и по рукаву, зная, как ему это не все равно, и зная, как мне это все равно. Но я другое поколение, которое привыкло очень быстро ходить.

Нет, не уснешь! Несколько раз я вставала проводить Юрия — жив ли? У входа в его палатку сын димуллы-самоучки, бывшего омывальщика, вспоминал все молитвы, подходящие к случаю, о легкой без мучений смерти, о прощении грехов, о ниспослании исцеления. Он не верил в них. Он просто их вспоминал. Я устала от его бормотания.

Юрий больше не разговаривал. Он только прикрывал глаза, если соглашался, и открывал, если протестовал. Так получалось само собой. Он отказывался ехать в больницу и отказывался вызвать докторов.

— Светлана спрашивает: прийти ей?

Глаза открылись непримиримо и не скоро затянулись бледными веками.

— Уйти ей, уехать? Совсем уехать? В Ленинград? В Ташкент?

Опять открылись, еще непримиримее, поморгали, потом закрылись примирительно. Ничего не поймешь!

— О, боже мой? Чего же вы от нее хотите?

— Ничего. Я просто хочу, чтобы она была.

В палатке моей трепет отсутствовал. Вот еще напасть, где же Светлана?

— Родион, ты не видел?

— Здесь где-нибудь бродит.

Меня шепотом окликнули с земли, в темноте я не узнала человека, обувавшего сапоги.

— Это я, — блеснул золотой зуб. — Меры принять надо. Нельзя без мер. — Он выпрямился, голос его обрел повелительные нотки: — Вы! Срочно пошлите меня за врачом! На ту большую дорогу. Одного пошлите. Или вдвоем с Олейгой.

— Сиди.

— Теперь такие особенные меры есть: даже если помер человек — выздоравливает, реанимация, — объяснил с койки Олег.

— Что это все не спят? Светлану не видели?

— Не спится.

— Зовет, что ли, Светлану?

— Никого не зовет. Не заблудилась бы.

— Да вы что, Евгения Васильевна?! — отозвался Роднон.

— У меня свои соображения.

Я еще побродила у подножия башни, искала Светлану. Не хотелось мне посылать ребят ей вдогонку. Она уже, наверное, далеко. И если придется тащить его на руках, если машина не явится к утру, если машин не будет ни своих, ни чужих? Нет! Нельзя никого из лагеря отпустить. Я больше не сомневалась, что Светлана побежала к огонькам культурной зоны. В любом случае ее путь пересечет одна из дорог, а дорога любая выкружит на асфальтированное шоссе и приведет в культурную зону, даже если ни одна машина ее не подхватит раньше. Ну а если она спутает направление — впервой ведь, — хотя небо очень звездное! — то придет обратно к башне. Вот если она попрет напрямик, пересекая все дороги, и запутается...

— Роднон, повесь на башне фонарь и разожги костер.

— Наши ночью нипочем не вернутся.

— Можешь ты хоть раз выполнить распоряжение без дебатов?

Только бы она не сломала, не подвернула ногу! Какнет силы, о которых человек и не подозревает, дремлют в нем до случая. Я поймала себя на том, что думаю о Светлане тепло, и сразу увидела ее, похожую на испуганного мышонка. Круглое хорошенькое личико, и мягкие бровки из-под челки. С таким лицом из окна хорошо смотреть на улицу, подперев щеки руками, и чтобы на подоконнике цветы стояли пахучие, чтобы прохожим, увидевшим девушку в окне, захотелось тишины.

И как все замерло в ней и перестроилось, когда она решила бежать. Она вдруг увидела, что гипнотическая башня смерти со всеми ее наваждениями — лишь груда глины и старых камней, а шакалы — жалкие вопиющие твари. Шавки подзаборные опаснее, потому что смелее, а эти — трусы,

достаточно рукой махнуть, бросить ком глины, только не бежать от них, чтобы не привязались. Ей придется открыть много маленьких истин: что топтать по пустыне ночью надо громче, чтобы распугивать тварей, а широкий шаг с легким наклоном вперед меньше утомляет. Не предупредила, уверена была, что не отпустят. Не знает она, бедняга, что даже по петляющей дороге быстрее, чем напрямиком. Прямик упирается во многие каналы с водой и без воды, поведет через сыпучие валы, ноги будут вязнуть, то и дело придется высыпать песок из тапочек. Она узнает, сколько непонятных звуков в ночной пустыне — и сколько шума и шорохов производит сам человек. И будет пугаться, пока не разберется, что это спецовка задевает брюки, а это ветер высвистывает в ушных раковинах. Ничего, легкий страх даже приятен, холодит спину, шагать быстро — всегда слишком жарко.

Я тоже, как Юрий, хочу, чтобы она была.

Я подсказывала луне: не прячься, не прячься за облака. И потерла ладонь о ладонь, чувствуя колючки, в которые обязательно упрется Светлана, вылезая из арыка. Но что-то большее кольнуло меня и продлилось болью, сжимающей сердце. На бревнах сидела женская фигура.

— Светлана???

— Почему вы так изумились? Что я ушла? Из вашей палатки? Но я чувствовала, что вам в тягость... и потом, вообще... — В голоде чувствовалось пожимание плеч.

— Очень кстати, — проворчал Родион, — тогда встаньте, пожалуйста, с бревна. Нет, совсем отойдите. — Он нагнулся, шаря в темноте и забирая сразу все бревна.

— Оставь, Родион. — Я оглянулась: ушла ли Светлана? — Не нужно.

— Погаснет.

— И фиг с ним.

— Та-ак, — Родион поставил ногу на бревно. — Вот, значит, как. А стащу-ка я их наверх, веселее у костра. Тягомотно как-то впотьмах. Неужели вы думали?.. Да и не помогло бы ему.

— Ей бы помогло.

— И как бы она дорогу-то нашла?

— А как можно еще найти дорогу? Для этого выйти надо и идти.

— Ну, хоть любовь бы, что ли, конкретная?

— Достаточно самой приблизительной. Погаси костер.

Родион ушел, а я еще сидела на камнях, поглаживая захладевшие голени. Нечего сочинять поступки людям,

А люблю я в образ вгонять. Глядишь, началось бы что-то новое в ее жизни.

Тени вдруг возникли и заплясали вокруг меня. Край башни дрогнул, заметался. Черт подери! А этот-то что иллюминация устраивает, вместо того чтобы погасить?

— Ты что творишь? — Я едва переводила дух от быстрого подъема. — Что за бабская чувствительность?

— Машина к нам заворачивает. Во-во, свет опять, не наши ли?

Свет пропадал, мерцал как звездочка, плыл размытым и слабым, — машина кружила далеко между барханами. Наша, значит, наша! Сигналит! Выбравшись на повышение и направив свет на нас, шофер включал и отключал фары.

На подступах поняли мы, что машина не наша, мощнее, — но все равно встречали с нетерпением.

Ярко возникли, дрогнули и исчезли палатки, пока она разворачивалась. Шофер, не выключая мотора, высунулся из кабины.

— Ну? Что тут у вас? Приключилось что-то?

Бог мой! Надо же такое! Быть не может! Я онемела.

— Чего молчите-то?

Васька?! Неужели Васька?.. Я привстала на подножку и, задыхаясь от радости, вцепилась ладонями в его щеки:

— Васечка, Васенька, милый.

— Ты... погоди, погоди. Кто ж это? Шальная баба, ну?

— Узнал?

Втянув воздух, он издал какой-то нечленораздельный звук.

— Женья? Чего не бывает ночью-то темной на дороге?.. Женья. Не-ет, так этого нельзя оставить.

Он выключил мотор, зажег свет.

— Может, при свете иной кто покажется? Померещилось мне?

— И рыжий такой? Все такой же рыжий.

— Сединой облагородился, а ты все... тощее еще. И правда, Женья.

— А у нас беда, Вася. Ох, не спрашивай. Сама скажу.

Я рассказывала, и сердце у меня сжималось все сильнее, и голос давал трещинки. Васька подрагивал ответно белыми ресницами. Зрачки его расширились.

— Ну, ты вот что, не убивайся раньше времени, попробуем достать врача, а уж как получится. Ты со мной хочешь?

— Нет, останусь.

— Как знаешь... Надо же, — подмигнул он ободряюще, — и меня весь день как предчувствие манило в шалман, гм, гм! Кабы вовремя выехал — другой бы дорогой проехал, прямо на переправу, засветло если бы успеть мне. А тут вижу огонь в ночи, где ему не положено. Либо беда, либо озорство. А как беда? Одним словом — будьте.

Машина загрела, и Васька укатил в ночь, откуда так непонятно явился.

Первым на бешеной скорости зыркнул из тьмы мотоцикл. Некто, обвешанный сумками, невысокий и подвижный, подскочил к столовой палатке, где горела «летучая мышь». Молодой, черноволосый, с носом немного набок, застенчиво отводящий глаза.

— Я так и догадывался, что человек болен, — сказал он, послушав нас.

— А то кто же?

— Этот рыжий, как ураган, шофер ваш, сказал: «Редкой породы, ценный очень, предводитель стада, совсем пропадает. И градусник, и аспирин, и от сердца захватите что-нибудь, есть же у вас пирамидон какой-нибудь. Хоть бы до утра поддержать». Я понял — хитрит. Ветеринар я. Тут близко доктора нигде нет. Ну, если я чем могу... И градусник привез, он у меня один, я вам оставляю.

Я представила огромный лошадиный градусник, который засовывают в рот или еще куда-то, и хмыкнула, невзирая на трагизм положения. Да и парень ночной был симпатичный.

— Ну, пройдемте тогда к... предводителю стада ценной породы.

— Да-а, неважно, — сказал он, выходя из палатки, — сорок у него, вот энтеросептол есть, всю мою личную аптечку возьмите, аспирину еще давайте, не повредит...

Вновь прострекотала пустыня и выбросила мотоцикл с двумя седоками. Позади оказалась женщина, впереди мальчишка-подросток.

— Воду вскипятили? Где роженица? Какой-то сумасшедший ваш человек, путает все на свете: башка у него или пьяз? «Помогите, — кричит, — роды трудные, мужчина мучается третьи сутки». Пьяного зачем посылали?.. Ну, нечего было кинокомедию разыгрывать, сказал бы как есть. Я бы инструменты зря не таскала. Щипцы накладывать думала. Все равно бы приехала, — изумилась акушерка. — Нет тут нигде врача близко. Что я ему, дура какал? «Ры самая красивая из женщин», — говорит. — Она инстинктив-

но оправила платочек на голове. — Медицина людям помогать обязана. Пройдемте к больной, тьфу — к больному вашему... «Жена, — спрашиваю, — рожает?» — «Нет, — говорит, — но родственная душа». — «А ты-то женатый?» — «Да». Я подумала: пригулял мужик, здоровенный такой, что-нибудь любовница сделала над собой. Некоторые ведь думаю, все самим можно. «Рожала когда?» — «Ой, что вы, никогда». — «Сколько лет?» — «Точно не знаю». — «Молодая?» — «Не-е-ет, в годах и даже очень...» — «Пожилая? Старше вас?» — «Что ж, я не молодой и не красивый?» — на ходу досказывала она. — Глупый он человек, очень даже глупый: «Вы самая обаятельная», — говорит...

Ночная гостья сделала Юрию укол, он затих, стал дышать ровнее.

— Ничего, не волнуйтесь, надежды не теряйте, — успокаивала она нас, садясь на заднее седло и приспособливая на коленях чемоданчик.

В предрассветных сумерках подкатил сам Васька.

— Сейчас дантиста будем встречать, — мрачно предрек Родион.

Васька привез кого надо — даже двух специалистов: терапевта и хирурга, — слетав до городка и обратно. Хирург знал Юрия и лечил раньше.

— Его в больницу надо регулярно класть каждые полгода. Все последствия операции. Да не ляжет он, и тогда не выписался, ушел потихоньку, скандал был. Лечить человека может медицина, если он хочет лечиться. Да и то бывает иногда бессильна. А если не хочет...

— Значит, проживет сколько сможет, понимаю и сама так думаю.

— Странные вы люди, — развел руками врач, выгибая пальцы, гибкие, как у танцовщицы. — Чему же вы смеетесь?

...Однажды я боялась сразить Юрия известием, что мне поставили диагноз — безысходный — и настаивали на срочной операции. Я отказалась, но мне захотелось увидеть все места на земле, которые я любила. Я стала отпрашиваться из экспедиции раньше срока. Остался еще неувиденным Север. Мне было жаль преподносить эту весть Юрию, человеку одинокому. Я долго кружила вокруг и около, выбирая мягкую форму и подходящую минуту. И — рассказала.

«...Вот так, приходится торопиться... надеяться-то не на что». Он клеил сероглинную миску. «Да-а? — изумленно посмотрел он на меня. — А вы думали, что вы бес- смертны?»

Врач улыбнулся

— Ну, дай бог нам побольше таких веселых пациентов.

— Я тебе тут позывные наши записал, — Васька засовывал мне в карман спецовки обрывок бумажки. — Там-то наш заливчик Беги-боз-гол, — он махнул рукой, — ветер крутит, соль носит, высохло... Дома пустые стоят, разваливаются: поперву-то дверьми да ставнями хлопалн. Да уж отхлопались. Аэропорт, помнишь, где был, рядом с башней старинной?

— Ну как же, двенадцатого века.

— Во-во, двенадцатый стоит, а будки наши все развалились, как курятники.

— А ты-то?

— Не спрашивай. Нефтяник я. Техникум окончил. Зачный вот кончаю. А все бабы. Сколько мороки из-за одной бабы претерпеваешь! Обязательно ей, чтоб муж с высшим образованием. Будто ночью различишь, где он образованный, где нет.

— Ты вроде стыдишься образования?

— Сначала не без того... Привыкаю. Ко всем перипетиям привыкает человек, ко всякому несчастью. Да за бабранкой-то лучше, вроде как телом живу, не духом только. И радость жизни испытываю.

Всегда чего-то жалко, что ушло и уходит...

— Ну, пока. Хорошо мы с тобой встретились. Рад я, что не иначе как-нибудь.

Я смотрела на добротную, выутюженную Васькину рубашку, на посеребренные рыжие патлы, веснушчатые ладони: и тот Васька и не тот. Наверное, так и надо? Глаза какие-то не хитрые, не хмельные, а затихшие. Ну, может, это от усталости, бессонной ночи и гоньбы по пустыне.

— Спасибо, Вася, прощай.

— Что уж так? Не прощай, а до встречи на этом свете. Светлана сидела в Васькиной кабине, готовая к отъезду, с забинтованным горлом и, подергивая носиком, перебирала волосы на плече:

— Вы считаете, что мне лучше уехать?

— Я этих вопросов не решаю.

— Вы даже не хотите со мной поговорить? — она вздохнула. — А жалко: вот уедешь — и ничего этого уже не будет.

Я хотела представить, что именно останется в ее хорошенькой головке от всего этого, кроме ощущения собственной силы и власти женской?

— Буду ходить в Ленинку, слушать Баха... Я бы осталась, но ведь повариха возвращается.

— Да. Страсти по Матфею, — сказала я.

— Ну ладно, не стану вас задерживать, — покорно кивнула она.

— Захотите — снова приедете.

— Вряд ли.

Она перестала вдруг улыбаться:

— Одного я не пойму, как это вы добиваетесь, что у вас... ну, как-то не так, как у всех? Ведь все живут по принципу, каждый живет по правилу: «мое» и «мне надо», — знаете? Все остальные ценности относительные, а эта абсолютная. Люди как люди, пока не заденешь этого пункта. А тогда и тон сразу другой, и весь гуманизм... ну... под гуманизмом-то когти одни? А у вас не так как-то, — шире, что ли? — Она потрянула волосами. — Я хотела вам сказать: по-моему, очень это хорошо, хоть вы и считаете меня совсем глупой. Ну, может, я и правда глупая?

Васька нетерпеливо постукивал ладонью по баранке, прищурился на что-то:

— И у нас так, к сожалению, ну, только не окончательно все же.

— Может, я когда-нибудь и вернусь?

Я догадалась скорее по ее губам, чем услышала, — Васька разворачивался.

СТИХИИ

К вечеру прикатили ребята, привезли повариху с затекшим глазом и сливовым носом. Она, напевая, взялась за дело, опять появились прищепочки на оттяжках палаток, пошли постирушки — всем по очереди, а кой-кому регулярно, — рыба чистилась без нашей помощи, кастрюльки заблистали.

А дни становились душнее, мутнее, сердце билось гулче, требуя к себе внимания. Руку лишней раз поднять, переместить тело требовало усилий, и провисшие тенты делались тяжелыми и раскаленными, как железо.

Башня наша будто распухала, бледнела, теряя обычные розоватые оттенки, становилась белесой, зеленоватой, воздух вокруг нее подрагивал. Она явно разрасталась, так как обычный подъем на нее становился бесконечно долгим и приходилось где-то на середине ее задерживаться и пережидать, пока установится дыхание.

Мы вставали до рассвета и выходили на работу раньше, чем вылезал из-за горизонта малиновый зев — чудовище, состоящее из одной пасти. Оно не останавливалось ни перед чем. Сожрав всех змей, ящериц, жучков дочиста и

малейшие поползновения травинки, колючек, хряпало теперь с хрустом, со звоном самые пески, камни, глину. Но каждая ночь порождала новых змей, жучков, муравьев, ящерок, и они, воюя друг с другом, лихорадочно плодились, чтобы заткнуть собой эту пасть. А когда, наевшись за день, чудовище опускалось к другой половине горизонта, вся земля была черной, обугленной от мук, и малиновый зев доглатывал ее судорожно, похотливо, спазматически сокращались челюсти — неприлично было смотреть на это. Я отворачивалась и видела, что звезды на небе загораются — робкие, дрожащие, как овцы. Проклятая башня. Не надо нам было ее тревожить.

Теперь чаще матерились, чем разговаривали. Все раздражались, огрызались по пустякам. Юрий страдал молча. Он только мучительно кривился и бормотал иногда: «Коллектив, создай тут...» Я заметила, что в такую жару легче произносить слова односложные или с ударением на последнем слоге.

Раскаленная атмосфера подогревала и человеческие страсти. По очереди то Сапырбай, то Родион капали мне друг на друга.

Подсаживался поближе Сапырбай:

— Откуда он знает, как все яды пахнут? Все виды борьбы и холодное оружие — тоже знает. Очень подозрительный. Зачем, честному человеку все способы убийства знать? Зря ты отмахиваешься. Ему тырнайская шпана ножи предлагала. Не понимаешь? Схватка у них вышла, потом охотились за ним, а раз вечером на квартиру заявились — и ножи на стол. Он думал — подколоть хотят, а они в подчинение предлагались.

Являлся Родион. Начинал про Юрия:

— Не выдержит он здесь. Надо было силой отправить. Сердце нипочем не выдержит. Удивляюсь я: как вы наваливаете на себя такую ответственность? Настоять ведь могли бы.

— А что в больнице?

— Ну, уколы всякие, уход...

— Пусть остается, где хочет.

Не хотелось мне объяснять, что именно это мы с Юрием и обещали друг другу когда-то.

Все равно когда-нибудь это случится. Не могу я тебя убедить, если сам не понимаешь: лучше здесь, между делом, чем наедине с болезнью, между сиделками и врачами. И не понимай. Тебе еще далеко до этого. В музей нельзя, а дома? Но ведь нет уже двадцать пять лет у него никакого дома, кроме музея, пустыни, барханов... В его квартире

живут постоянно какие-нибудь приезжие сотрудники с ма-
лышами и бабушками, которых негде поселить и которые
без этого сразу все бросят и уедут искать, где лучше. То,
что сейчас, было много раз, который-то станет последним.
А может, еще не этот? Лучше не гадать. Нет, нет!!! Я ни-
когда не загадываю, я не хочу...

— Объясни мне, чего вы не поделите никак с Сапыр-
баем?

Родион только этого и ждет:

— Меня тошнит от всяких героических фраз, — прило-
жил он руку к ребрам где-то сбоку. — И никакими шипца-
ми ни одного лозунга из меня не выскребешь. — Челюсти
его заходили у висков, и глаза из-под чуба вспыхнули, как
пламя спиртовки. — Моя любовь горькая. Как на свадьбе
у молодоженов все кричат: «Горько, горько!», а думают —
сладко, а и на самом деле горько. А ты, как дурак, це-
луешь — на всю жизнь богом данную.

— Твоя образная система нуждается...

Он перебил:

— А этот холуй, подлипала сладкогласный, поскреби —
приспособленец, кулачишка мелкий, перед кем ни рассы-
пается, а все в свою мошну сыплет.

— Это еще не криминал.

— У! ненавижу таких... Да не трону я его, что вы анге-
лом-примирителем вокруг всех витаєте? Что ж я, не знаю,
как он меня «темным человеком» аттестует, и — кому?
А надо ли всех примирять-то?

— Знаешь, жарко очень. И не та арена.

— Арена? Она всегда и везде арена.

Родион, своротив на сторону бурелом вихров, озабочен-
но приглядывается.

— Ну? Чего тебе?

— Не нравится мне выражение вашей фигуры. Будто
не вы, а кто-то очень старый. Горбитесь не по-своему.

— Ты этого еще не знаешь. Стареют люди не от ста-
рости. Не от болезней. Невозвратно стареют, теряя близ-
ких, своих товарищей, соратников. Когда сам болеешь, ну,
уходят силы — твои — и только! Когда хоронишь друзей —
уходит твое время, сгорает атмосфера. И дышать нечем...

— Счастливый вы человек, — вздохнул Родион.

— Так думают уже потом, а сначала никак не перейти
обыкновенную боль потери. И она очень сильная, Родион.
Потом — да, и так можно думать.

— А я уже сейчас завидую.

— И учти: умирать в общем-то легче, чем хоронить.

Аня ойкала на все лады, обижалась, изощрялась в изобретении разнообразия пищи из макарон и уговаривала, как маленьких детишек, но мы почти ничего не ели. Олег подробно объяснил, как при такой жаре прекращается всасывание, и выскочил из столовой — у него пошла кровь носом. У Джевгаша — горлом: сосуды лопались от перегрева.

Наши постоянные соседи овцы тоже не ели. Они сбились в круг, хвостами наружу и пряча головы одна под другую, но прежде — головы детенышей.

Шакалы стервенели воем и по ночам носились по лагерю, забегая в палатки, уверенные, что всякий поленится швырнуть в них чем-нибудь.

Мы знали, в такой зной отменяется даже работа в полях, в городах не выходят на службу. Но мы работали: ходить было легче, чем лежать. Тени были издевательские — прозрачные, как ручейки, но ручейки горячие.

Два дня башня курилась, как пробуждающийся вулкан.

На третий наверху появился Юрий.

— Я теперь понял: вся земля, сколько ее видно, только продолжение или, наоборот, начало этой башни.

— А за каким чертом вы приперлись, чтобы мне это сообщить?

— Вы думаете, внизу легче? Там совсем дышать нечем.

— Гадство какое, — проворчал Родион, оглядывая равнину, — мало, что жрет, еще горчичкой подмазало — для аппетита. Что-то будет, ручаюсь.

— Что-то затевается, — то и дело повторял кто-нибудь, поглядывая на небо, на страшную яркую желтую полосу — не тучу, не облако, — поднявшуюся над горизонтом.

— Палатки подтянуть не забыли?

— Палатки уложить бы лучше и придавить покрепче.

— Сюда идет, к нам.

— Может стороной обойти, ветер от нас.

— Ветер понизу от нас, поверху к нам.

— А что это, Сапырбай? Неужели песок так встал?

— Нет, не песок это, — покачал головой Сапырбай, — не может песок так, от песка черное делается. Это она от ярости такая... Что-то будет. Пожар ночью видели?

— Видеть-то видели, да за рекой это, нам бы все равно не добраться.

— Не иначе — тряханет.

— Здесь не бывает, по разлому проходит.

— Земля все может, ей что.

— А мы ей скажем: «Чего пихаешься, чего пихаешься,

извиняться надо». Правда, Женя-апа? — вился и подпрыгивал вокруг меня маленький Балбес.

— Еще как бывает, — серьезно сказал Сапырбай, — в землю люди проваливаются.

— Я домой поеду, — объявил сын димуллы, — помогать буду.

— Езжай. Смотри, осторожней. А успеешь?

Сын димуллы сбежал с башни, вскочил на мотоцикл и помчался навстречу буре.

— Зря мы его отпустили, — почти сразу же пожалел Юрий.

— Не пропадет.

Странное что-то происходило в небе. Как будто в его стеклянную чашу, как в банку с водой, опускали и прополаскивали там кисти с акварелью, слишком долго не меняя воду. А краску набирали по всей палитре — она частью осаждалась, частью задерживалась на стенках; кисточки исходили цветом, цвет становился мутью, неопределенной грязью и, наконец, непрозрачной тьмою, перекрывшей все признаки утра, солнечного света. Давно бы пора все выплеснуть и налить свежую. Уже и кистей не видно, так, какое-то бурление. Очень тяжелое темное небо, очень легкая светлая земля.

— Бежимте-ка, лагерь повалим, пока не поздно. Не все, не все, четверых хватит.

— ...В машину... а-а-айте... о-они-и... — со стены башни кричал вслед Юрий и махал руками.

— Велит вещи ценные в кузов кидать, — тучи гонит! Вот чучело, будто сами не сообразим, — выругалась я, не останавливаясь и не отвечая. Мы успели добежать до столовой, где Аня составила кастрюли, крупы, сухари на столы, отвинтила шланги от плит и намертво закручивала газовые баллоны.

— Хлеб и керосин вместе не кладите, ну куда, куда суешь? Не последний день живем. Мешки вон и ящики тяжелые подымите на баулы, мука бы не промокла, не успела я. — Она локтем отстраняла налипшие на глаза волосы. — Не тронь трубу, говорю, — прикрикнула на Камилу, спешившего повалить высокий металлический столб, подпиравший вершину палатки. — Сперва прибрать надо.

— Тише, что это? — насторожился Родион. — Началось, кажется?

Нет, не гром, но как будто непрерывная слитная орудейная пальба стремительно приближалась к нам. Содрогалась земля и гудела, и как будто хрип какой-то, рык, как от реактивного самолета...

— Чего валить, сейчас само повалится, не смейте выходить! — крикнула Аня.

— В Ташкенте, говорят, тоже гудело! — подскочил маленький Балбес и ударил в ладоши. — Я же говорил, землетрясение будет. Сколько же это, интересно, баллов?

— Гал-лов! — поправил Камиль. — Тысяча наберется. И все наши.

Родион выглянул и присвистнул:

— Худо, ребята, лошади это.

— А ты думал, овцы? — удивился Камиль.

— Их ведь не завернешь, не остановишь, а?

Камиль сощурился:

— А ты попробуй, ты же смерти не боишься?

Лицо Сапырбая будто утюгом прогладили:

— Точно! Табуны! Теперь не выскочишь. Ах, дурак старый, сидел бы дома, — наскоро обругал он себя, ухватил Балбеса и юркнул под стол.

— Родион, — я вцепилась в его рукав, — не рыпайся. Единственный шанс...

— Аува! Единственный, — подтвердил Камиль. — Братцы, братцы, не подведите! — шептал он, исказив лицо, глаза его возбужденно сверкали. Так и замерли мы, пригнув головы, где кто был.

Хрип с призывком визга, бешено ударяющие копыта, оскаленные морды неслись прямо на нас. Лавина то вытягивалась клином, то выравнивалась. Живые торпеды! Море колышущихся лошадиных спин, хребтов, каких-то особенно узких, заостренных, с разметанными гривами и хвостами — как стрелы в оперении. Стоит хоть одной лошади споткнуться, зацепить оттяжку, якорь — и мы все превратимся в фарш, раздробленные, как в мешке. Мы не дышали: пронесет или не пронесет? Посуда подпрыгивала и побрякивала на столах, вся палатка трепетала, столб ходил ходуном. И это было захватывающее зрелище, когда лавины, не снижая скорости, вдруг размыкались, разметывались по лагерю, обтекая палатки, машину почти вплотную и не задев ни единой веревки, ни даже бочки, ящика, ни банки керосиновой, ни умывальника, прибитого к узкой рейке, — и, снова сомкнувшись, неслись по степи.

— Ух ты! Живы никак?

— Пока слава аллаху, — вздохнул Сапырбай под столом. — Умная скотина.

— Лошадь не скотина. Лошадь — брат человеку. Брат брата не топчет, — Камиль приосанился, гордо откинув голову.

— Сходи-ка, узнай у братишек, по-семейному: еще по-

бегут? Или конец уже? Вылезать нам из-под стола? Я не туркмен, мне не скажут.

— Ну, ты вояка! — задохся от возмущения Родион.

— А зайцы — они и не перевелись зато, до сих пор скачут, — со смешком вылез и потягивался Сапырбай, а за ним и Балбес. — Вот тигров — тех перебили, ни одного не осталось.

— Потом споры, тащите вещи в кузов, — я захватила грязный брезент и сунула Родиону: надо скорее загрузить его во избежание...

— Аува! Я туркмен. Мне сказали: беда идет. Кони врать не будут. Конь не человек. Не трепач...

Я поспешно сунула Камилю на плечо здоровенный баул. Я сама свято верила в лошадиное благородство и разум и гордилась Камилевыми братьями. Мы что-то таскали и закидывали в кузов. Но мало успели. Примчался вестник от Юрия:

— Приказано всех наверх. Все оставить.

Черт их знает, может, там, сверху, еще заметили что-то.

— Мы сразу... — задышался вестник, — мы кричали: «Кони, кони, лезьте в машину!» А вы, дурачье... Юрий Витольдович чуть не помер, за ноги держали, вниз прыгать хотел.

Да-а, видик у Юрия был растоптанный.

— Туда, туда, — он показывал на глубокую пещеру разрушения в толще стены.

— Оттуда же ни фига не видно.

— Же-е-ня, — взмолился Юрий.

Нам стало его жалко, и мы полезли. Не совсем. До пояса.

— Проклятая башня, не надо было сюда ехать, мало ли интересных памятников? — бормотал он, косясь на небо. — Это она на нас насылает за то, что мы ее растревожили?

И — небо ответило.

Ну, так примерно, как это любит Бриттен¹ в оркестре: бахнуть сразу из всех орудий, чтобы шок вызвать и чтобы поняли — шутить не намерен, а все остальное проглотят как миленькие, обалдев от первого удара и так и не придя в себя до самой вешалки.

Наступила пауза, шалая какая-то, нелепо навис над нами клочок синего неба, и как раз в это время прыснуло дождем. Было так грандиозно, так красиво, что даже не страшно. Зато ворвался новый звук — гул со свистом —

¹ Бенджамин Бриттен — знаменитый современный английский композитор.

затянувшийся удар хлыста. Это не табуны. Табуны не воют. Родион все еще стоял, широко разинув рот.

— Опомнись, дурачина, — сказал Юрий.

— Не мешайте, Юрий Витольдович, он планктон заглатывает, — возразил Олег.

— Дубина!.. — прокричал Родион, не сводя глаз с туч, и получилось: «Уина, херехонхи хохнух».

— Мамоньки, — всполошилась повариха, — это по-каковски же?

— Олега, переведи!

— Барабанные...

Тррррах, рахрах, урру рах, урру, урррр...

— Перепонки могут лопнуть от грома, у тебя целы? — проорал Олег ей в ухо.

Аня грозно выпрямилась:

— Ты-ы!! Язык-то не распускай! Я тебе в матери го-жусь! Стыда на вас нет. Грозы, что ли, не видели? А выпить не грех, когда такое дело, вот и Евгения Васильевна подтвердит, правду я говорю?

Новый треск и расколотое небо избавили меня от трудного ответа. Не гром был страшен, его уже никто не замечал, а треск, хищный, пронзительный, коварный, и всегда за затылком, как ни вертись. Таким должен быть смех сатаны.

Люди любят звуки за то, что они замирают. А если они не способны слабеть, удаляться, замирать?

По-моему, молнии даже не били, а просто повисали и не уходили, только трепетали, как веточки на ветру, со всех сторон, и мы находились как бы в шалашике из ослепительных ветвей.

На высшей точке гыра¹ в центре башни вертелся Рыболов, увешанный фототехникой, и, быстро меняя аппараты, щелкал вспышки молний.

Первый раз в жизни я слышала, как Юрий матерится.

Что-то долетело до слуха Рыболова, он помахал рукой:

— Не беспокойтесь, получится. Я светочувствительность поставил... а диафрагму...

— Родион, — простонал. Юрий, — оттащи ты этого... — Он перехватил мой взгляд: — ...Прометея, Мцыри, этого Моисея со скрижалями...

— Ох-хо, как начальник отделявает, — восхищенно прошептал маленький Балбес, который юлил около старших, как будто так безопаснее. Бог знает, с чем связывались в его мозгу геронческие имена.

¹ Гыр — холм.

— Ах, Юрий Витольдович волнуется? Ну так бы и сказали, — послушно согласился Рыболов, — я девять катушек снял, перезаряжать пора.

Смерч оборвался, как струна, замирая с долгим жалобным вздохом, которому откликается все, что умеет звучать.

И хлынул ливень. Струи воды, взвихренные ударами ветра со вспышками молний, были похожи на взбесившиеся, выросшие, как в фантастическом сне, люстры Ленинградской филармонии. Потоки сливались в столбы, колонны, то тут возникающие, то там, словно в панике искали свое место, чтобы выстроиться рядами, но сшибались, разламываясь, и рассыпались вдребезги. И слишком много усилителей окарнакировали звук, доводя до абсурда, когда ничего уже не разберешь.

А может, это кажущийся хаос, и Башня Молчания наслаждается сладкими созвучиями, и всякий гром и треск для нее не более чем вибрация отдельного завитка на басовой струне?

Поток с ревом бежал по расселине в наше убежище. Я старалась не шевелиться, застыть в одной позе — не спишком, наверное, горделивой, оттопырив лопатки, чтобы поменьше липла мокрая одежда к спине.

— Не правда ли, вода действует всегда так успокаивающе? — насмешливо проворковал Юрий.

— Сейчас навсегда успокоит. Затопит же! — вскрикнул Сапырбай. — Пусти ты, — вырывался из чих-то рук, загородивших выход, и попытался выпрыгнуть, но тут же шарахнулся обратно, значительно расширив отверстие. — Ух ты, там еще хуже, скала камнями так и строчит...

— *Il faut fair attention*¹, — прошептал Юрий.

Новый ревуший поток обрушился на наши головы.

— Камни пробили, ей-богу, камни пробили! Ну, держись, сейчас завалит, — ринулся снова Сапырбай к отверстию.

— Не отрывайся от коллектива, от нар-рода, стержень! — Родион отбросил его, как щенка, в глубину пещеры.

Все с тревогой смотрели на стены, вслушиваясь в глухие шлепки камней.

— Пробить бы дыру надо, чтобы вылилось, — кричал Сапырбай, не решаясь более действовать.

— Вот уж тогда действительно завалит, — спокойно заметил Рыболов, — простой расчет: действие веса и силы

¹ *Il faut fair attention* (фр.). — будьте внимательны, осторожно.

ветра, камней, воды и инерция устойчивости... элементарный параллелограмм сил...

— Эх, спиннинга-то нет, сейчас бы забросил, ты, параллелограмм! — сказал Камиль, кладя руку на плечо Рыболова.

...Ураган слабел, об этом лучше всего было судить по тому, что ребята начали переругиваться.

— Старый солдат, называется, — кривился Родион в адрес Сапырбай.

— Я и есть старый солдат. Если опасность идет — спасаться надо или кого спасать, а не сидеть сложа руки и строить из себя... Зря пропадать никогда не следует, — зло ответил Сапырбай. — Это ты жизнью не дорожишь ни своей, ни чужой, а я к ней очень даже привязан.

— Вот это конструкция, — восторженно лепетал Юрий. — Ни вода, ни ветер, ни время — ничто не берет.

— Да-а, смерти все нипочем, — произнес Сапырбай уже философски, и вытер совершенно мокрым платком лицо и шею.

— А дождь-то теплый, — сказал Рыболов, — лучше на свежем воздухе. Разрешите...

Его не задерживали, и он, наступив кому-то на руки, выкарабкался, помассировал лодыжки и начал приседать.

— Зарядку делает, а?

Выползли и остальные.

— Вы замечали, если выкупать сибирского кота, сколько он теряет внушительности? — сказал Юрий, разглядывая промокших, похожих друг на друга, облепленных блистающей от дождя одеждой ребят. У всех слиплись ресницы, удлинились струйками дождя подбородки и носы.

— Пошли, посмотрим, что осталось от лагеря.

...Столовая палатка разорвалась надвое по месту прожженной газом дыры, обе половинки то рывком вдруг вставали не в лад, то падали. И хлестали Аню и рабочих, помогавших ей.

Вода, хлынувшая с неба, обрушила нам под ноги море. Вот когда выяснилось, что не так-то ровна наша пустыня и понижения распределялись по-глупому, а глупее всего — вокруг нашей башни, на стоянке лагеря; что мы были значительно ниже культурной зоны, по-прежнему существующей у горизонта; что кого угодно можно уговорить подождать, даже время, но не воду; что к югу, куда убежали кони, пустыня еще ниже. Но кони знали, от чего надо бежать, а мы-то еще не понимали.

Другое море надвигалось на нас — пострашнее. Оно подняло и понесло лодку Рыболова, который, все забыв,

кинулся ее ловить и не поймал бы, если бы не верблюды. Они, как запруда, застопорили ее. Тогда они еще держались на ногах.

— Не должно наводнения, прибылой воды не-ет, таянья снегов не-ет, — перечислял Сапырбай, укоризненно глядя на пузыристую взбешенную воду, будто она от этих слов повернет вспять. — Это когда паводок или зима крепкая, лед заторосит, до дна, бывает, промерзнет, и воде некуда деваться, хоть ты бомби и мосты взрывавай и плотины. Не должно, никак не должно.

Но мы уже сообразили: оно самое! И насколько вода была быстра, настолько замедляла и затрудняла наши действия.

Мужики покрепче ринулись спасать палатки, мелкота таскала что ни попадя на башенный холм, швыряла повыше, оттуда перекидывали и перетаскивали еще выше. Никто не знал, где остановиться.

— А, дьявол, ни одного кола не вытянешь, не вырубишь, Родионова работка!

— Да рубите вы растяжки, скорее, скорее, режьте, рвите!

— Машину-уу, машину-уу! — Шофер не мог ее завести, мотор залило. — Снесет машину-уу!..

— Бросайте машину, сами уходите-е-е! — орал с холма Юрий, не умевший плавать.

Шофер плюхнулся из кабины в воду.

— Уходи-ите-е! — неслось с холма.

Нет, они не ушли.

— Сюда! — прогремел Родион, и я подумала, что возобновилась гроза.

Они все как пиявки вцепились в машину, потом двое оторвались, отскочили, чтобы подшалманить, — не шла она с каменистого грунта вверх на глинистый размякший.

— Взя-ли, взя-ли!..

— Бросайте к дьяволу-ууу!

Столько кряхтения, ора, «выражений» — пока ее раскачивали — бедная машина не слыхала за весь свой век. Она вдруг скакнула, чуть не искалечив Балбеса, кого-то исцарапав, придавив, и... стала заваливаться на бок.

— Да задавишь, черт тебя! Один задавишь всех ребят! — орал Юрий, которому все было понятно наверху, но которого никто не слышал у машины.

— Вас только тут не хватало, Евгения Васильевна, — проскрежетал Родион. — Уйдите, бога ради!

— Сам ты, идиот, уйди! Сзади толкай, кикимора!

— Ну! Слабцы! — охнул Родион.

— Да не слабы, а наклон в их сторону, и течение! Сюда, сюда тащите, ко мне, тьфу, черт, там же крутой склон!

Часть рабочих сообразила, и первым Сапырбай. Но Родион не видел.

— Разорвете же машину надвое.

— И хорошо! Будет две машины, — хихикнул Сапырбай. — Вот ты его убеди попробуй, силы много, а разума нисколько.

Я за плечо оттягивала Родиона от машины, ну, как если бы опорного быка от Кировского моста, и орала ему в ухо, а Сапырбай пока приговаривал:

— Дедка за репку, бабка за дедку, внучка... Беги-ка ты за внучку, Балбес!

— К че-ерту, бросайте все к че-ерту, потонете! — надрывался Юрий.

— И что с людьми делается, если они не умеют плавать? — Рыболов, улыбаясь, методично и как будто не торопясь, привязывал трос к передку машины.

— Милый, ты бы леску еще нацепил, — чуть не взвыл шофер.

И все же это было правильно, и Родион понял — направление!

Машину покатили к пологому склону и почти на руках внесли на холм, закрепили камнями, вывороченными из могил.

А Сапырбай, оглядывая перепачканных, перецарапанных ребят и мутные волны реки — а это была уже река, с пеной, щепками, мусором, — широко развел руками:

— «Ка-кая прэлест! Благо-дат!»

Олег перебил его:

— Этот-то, смотрите, купаться пошел. Ну! Самое время.

Со своей странной улыбкой бледный Рыболов в откудато взявшихся ластах и резиновых перчатках, с намотанным тросом на плече, входил в воду.

— Тяжельше, чем камень на шею, трос-то, — ахнул шофер, — держите его!

— Держите его, держите, — орал Юрий, — он же сумасшедший!

Родион и Камиль бросились в воду — за Рыболовом. Они быстро нагнали его. Но, вместо того чтобы вернуть, последовали за ним сами, только стащили часть троса и распределили между собой. Они еще шли, потомплыли, их сносило. Никто на холме ничего понять не мог, пока Сапырбай не причмокнул:

— Ай да ребята! Хорошо надумали.

Они добрались до торчащего головешкой столба бывшей столовой, подтягивая друг друга, и закрепляли вокруг него трос.

— Это спасательная служба, Евгения Васильевна. Столб, помнишь, длинный был?

Ну да, пилить было нечем, и Родион забил столб на метр с лишним.

— Сколько-то выстоит? Хотя недолго... — сомневался Сапырбай.

— О-ой! Гляньте-ка, овец прибило, — заметалась Аня.

— Да ты что? Спяну? Какие ж это овцы — собаки.

— Откуда собакам, любимые это твои! Шакалы.

Звери собачьего вида выкарабкивались на склон, пособачьи отряхивались и куда-то исчезали, как тени.

Еще чьи-то шерстистые головы торчали на поверхности, борясь с течением. Да уж не коты ли?

— А мои зайцы все потонут, тяжелы мои братишки плавать, — печалился Сапырбай.

— Зайцы, небось, ускакали, — сказала я в утешение ему или себе.

Замысел с тросом оправдался лишь частично. Его удлиннили вторым и закрепили крюками и камнями на склоне, и он несколько притормаживал плывущих, несомых потоком животных, а мы всеми средствами заворачивали и подталкивали их к холму. Мы все, кроме Юрия и Ани — ее Юрий не пускал. Подвыпивши, она храбрела чересчур и чересчур сбрасывала с себя одежды. Но она рвалась в бой беззаветно, и невозможно было разобрать, когда кричит Аня, вырываясь от Юрия в воду, когда коза, карабкавшаяся из воды на берег. Ну, как-то они там все поладили. Юрий извошел руганью по поводу бессмысленности затей, воспаления легких и прочего, «в этой непосильной для нас борьбе», и подтягивал веревки, которые мы успевали накинуть на животных, и делал искусственное дыхание полудохлой овце, пока она не лягнула его. Другой он дышал в рот.

— Вот, дай бог, волка выкинет, вы ему в рот подышите.

— Не можете обойтись без ваших деликатных советов?

Да, печальное это было зрелище. Все, что еще жило и боролось, устремлялось к башне. Насколько же хищники, даже среднего и мелкого калибра, приспособленной для всякой борьбы! Домашние же травоядные при виде людей принимались кричать еще отчаянней — каждый на своем языке — об одном! Но если мы не поспевали и их пронесло, они уже больше не кричали. Хуже всего получалось с верблюдами, они ведь не успевали, как зайцы, убежать.

И хотя они выше всех и дольше высывались их головы, но как только доносило до понижения — все кончалось. Они еще ложились на бок, но если веревки и лодка опаздывали — а мы не могли угнаться за всеми — они захлебывались. Очень уж тяжелы были даже для Родиона и двух казахских мальчиков, которые расторопней других управлялись. Лодку несколько раз переворачивало. И слишком верблюды пугались, они, как Юрий, совсем не умели плавать и знали, что их ждет. Не много помогли и доски, рейки — мы обвязали их наподобие поплавков. И пузыри из мокрых наволочек и чехлов — Аниного изобретения.

Проплыла откуда-то сорвавшаяся крыша, и вот на ней оказались зайцы. Тут Сапырбай стал так вопить и требовать лодку, что ему позволили прибуксировать эту дурацкую крышу, а зря: время потеряли, и сожрут же зайцев этих в первую очередь.

Несколько раз пришлось передвигать трос выше. Это и погубило всю затею. Столб накренился. А тут еще сразу несколько тяжелых баранов уперлись в трос, и столб повалило. Баранов пронесло мимо холма, мы старались думать, что они еще продержатся, — где-нибудь же кончается этот разлив. Мы продолжали еще бессистемное спасательство, но получалось хуже, да и живность проплывала все реже. Время от времени кто-нибудь из нас вылезал из воды поплясать, обежать по кругу башню.

Аня загородила мне дорогу:

— А туда лучше не смотрите, Евгения Васильевна!

— Почему?

— Не надо. Там, знаете, кладбище, наверное, размыло.

Мы сделали, что смогли. И вообще-то мы порядком выдохлись. Кто-то уже чихал. Но мы сделали все, что смогли, прежде чем собрались к машине, и тогда только увидели, как воровато, поспешно удирают с неба тучи и истаивают, всем своим видом показывая, что не они это набедокурили, а ветер. Да так оно и было. Дождь слабел. Дальше я не знаю, я, откровенно говоря, задремала, зарывшись для согрева в какое-то барахло. И этого оказалось достаточно, чтобы обо всем забыть и очнуться с прежней тревогой: Юрий тяжело болен, как Юрий?

А Юрий лежал навзничь на груди экспедиционного имущества в кузове и, приподнявшись на локтях, обозревал поле битвы.

— Все в сборе? Балбес тут?

— Тут я, тут! — радостно подпрыгнул мальчишка.

— Рыболов?

— Что вы обо мне беспокоитесь, вода, можно сказать, моя стихия.

— Джевгаш? Камиль? Сапырбай? Олег?.. Слава богу, все целы и невредимы. Зря мы этого, с ушами, отпустили.

— Ну, здесь не лучше.

— На глазах всегда легче.

— А... — мне что-то мешало, будто я сидела на колючке, — а где Соломенная Шляпа?

И словно ветер пробежал от одного к другому: «Шляпа... Шляпа... Шляпа...»

— Родион, где же он?

— Не знаю. Был как будто. У машины его во всяком случае не было.

— Кто последний видел его?

— Кто последний видел Соломенную Шляпу, отвечайте! — тоненько крикнул Юрий.

Последнего не оказалось.

— Что вы его все шляпой да шляпой, имя у него есть, — покачал головой Сапырбай.

Выяснилось, что никто не помнит, как его имя — Балтабай? Нет! Юрий?..

— А ты видел же его последний раз?

— В столовой. Кушали, — поспешно отступил Сапырбай.

— В столовой, — нестройным хором подтвердили ребята.

— Он с мотоциклом не уехал ли?

— Мы же видели, что нет.

— Довели парня, додразнили, что он откололся и спать ходил куда-то в одиночку. Не такой уж он подонок, — сказала я.

— Я сам знаю, что не такой, что вы меня учите? Допрыгались, — кричал Юрий.

— Что прыгаешь, как дурачок, на одной ноге? — накинулся он на Балбеса, замершего испуганно. — А если его затопило или завалило?

— Или коты разорвали глаза, и он выползти не мог. Да-а, жалко, хороший был парень, веселенький, — вздохнул Сапырбай. — Никто не знает, чья очередь первая...

— Непонятно! Куда он мог деться? — твердил Юрий. — Живой или мертвый? Не могло же его смыть так, чтобы он и не пикнул?

— А грохотало-то как, Юрий Витольдович, может, он и пикнул. Надо искать.

— Ку-шать, ку-шать, — скликала Аня по-домашнему, будто ничего и не случилось.

...И вот тогда-то началось землетрясение. Первым толчок почувствовал Юрий. Он оглядел нас, округлив глаза, но не меняя положения:

— Чувствуете? Качнуло.

Мы молчали. Бежать некуда.

— Чувствуете? Чувствуете? — повторял Юрий.

— Я никогда не переживал землетрясений, — признался Родион, — как-то ново, не чувствую.

Тут Юрия стало подбрасывать и мотать из стороны в сторону так, что он съехал до половины с горы наиболее ценного экспедиционного имущества, — из-под брезентов с трудом просунулась лохматая заспанная голова с багровыми щеками и блеснул золотой зуб.

— Кушать? Как будто звали? — Он удивленно озирался, моргал и снова озибался...

— Что? Не сообразишь сразу, как и распорядиться? — Сапырбай приседал от хохота.

— Сперва покушаем. Потом... сушить все надо, — с некоторой запинкой скомандовал Соломенная Шляпа.

...Вода чуть убыла и стала спокойнее, — мутная, желтая, замусоренная чем ни попадя. Обнажились синие опояски стен, подобные засечкам уровня невских наводнений на граните набережной под сфинксами. Пар исходил ото всех и от всего. У солнца щеки ходуном ходили от усилий не расхохотаться. На кого это оно было так похоже, на кого-то очень знакомого? Ах, да, на нашего же Соломенную Шляпу. Кстати, он ходил и распугивал зверей, разыскивая ее повсюду, и нашел-таки, промокшую и помятую, и теперь сушил на голове. Он заявил, что увольняется завтра же: ему не терпелось порассказывать в городе и кишлаке о своих подвигах во время наводнения.

...Бок о бок, молчаливо и пока добрососедски обсыхали на Башне Молчания мокрые и такие похожие друг на друга птицы, звери и люди живые. Вот когда я убедилась, что волосы, перья и шерсть — единого происхождения. Но зачем зря терять время?

— Э-эй, уроды!!! Куда вы там запихали мой этюдничек?

ПОИСКИ

В ту ночь наступил конец света. Первый конец, потому что в том же сезоне был еще один конец света. А тогда... на исходе ночи загорелась наша галактика. Весь Млечный Путь зловеще побагровел и покрылся протуберанцами.

Я увидела это раньше других, обратив лицо свое к небу. И мне захотелось теснее прижаться к обреченной земле. И я легла на землю, широко раскинув руки, чтобы защитить ее собой. И сердце мое пронзила мировая боль, как в лучшие минуты жизни: юности, разделенной любви. Ибо в то далекое глубокомысленное время юность и счастливая любовь были неотторжимы от мировой боли, приступов голода и массовых смертей.

— Вы посмотрите на это чучело! Конец света? А что вы на такие разлеглись, будто не можете ждать его на раскладушке с тем же успехом?

Юрий полностью обезголосел и не произносил слова, а сифонил, как испорченный аппарат для газировки.

Но, может быть, начать не с ночи, а засветло?

То был самый счастливый день в жизни Юрия Витольдовича... Потому что ночь — она была совершенно хичковская, пока мы искали труп! — неудобно называть счастливой. Точнее: это был самый счастливый вечер в жизни Юрия Витольдовича. Забегая вперед, сразу скажу: трупа мы так и не нашли! Но то были самые счастливые часы в жизни Юрия Витольдовича за всю историю нашего с ним знакомства: он мог орать на меня, топтать ногами, а я молчала. И это было так странно, что все фразы он обрывал на полуслове удивленно. Потом он, конечно, жалел, что упустил свой единственный шанс.

— Ей лучше было умереть сразу.

— Да замолчите же!

— Как это все расхлебывать... не представляю. Нэ-эла! Ей лучше было умереть сразу.

— Ну зачем вы это повторяете?

— А зачем обманывать себя? Или вы еще надеетесь? Не понимаете, что произошло?

— Заблудился человек.

— Не могла она заблудиться. Она тут все песчинки наперечет знает, восемь лет работала. Тут и с закрытыми глазами негде потеряться. Завяжите мне глаза...

— Не буду. Между прочим, это все-таки пустыня.

— Вот именно, и вы должны были помнить про пустыню, когда бросали ее одну. Без воды. Без спичек. В лифчике и трусиках, говорите?

— Да. Когда я видела ее в последний раз.

— Сумасшедшие. Ну? И что за фокусы такие? К чему голыми бегать здесь, где никого нет? И не девочки уже.

— При чем тут девочки? Сколько я ходила.

— Вот и доходились.

— С портфелем, с работой, в обеденный перерыв. А когда и позагорать-то? Не на раскопе же! Я совсем без ничего гуляла.

— Вот-вот, кто бы встретил — с ума бы сошел. Об этом вы не думали? Едет человек по пустыне, усталый, измученный, может без воды, воду всю выпил. Кругом на тысячи километров ни души. И вдруг — женщина голая разгуливает, да еще с портфелем. Вы понимаете, как это страшно?

— Смотря какая женщина.

— Она еще острит! Неужели и эта смерть вас ничему не научит?

— Не хочу я думать про смерти! Змеи спят...

— Змеи как раз любят кусаться ночью.

— Спят! От холода. Тигров нет, волков, хищных зверей. Только лисы и барсуки. Они на человека не нападают, если не бешеные.

— Значит, остается что?

— Ногу сломала. И лежит где-нибудь под кустом.

— Стойте. Вон она, вон.

— Да нет же, это коряга саксауловая.

— Вон же нога чья-то.

— Не хватайте меня, нет там никого.

— Под каждым кустом мерещится мне ее тело... По моему, уже бесполезно искать, мы все барханчики обкричали. И воды у нее ни капли.

— Ну да, потому она и пошла на колодец.

— Или поташили.

— Зачем так подло думать о людях? Сколько мне встречалось в пустыне чабанов и охотников, сколько лет мы ходили в одиночку? Я в родном городе лестницы больше боюсь. Там, знаю, закричишь — никто не выйдет, только засовы крепче задвинут. А здесь? Что ж это за дурак — поедет за тысячи верст от человеческого жилья караулить в песках: а не появится ли голая женщина?

— Это раньше все было.

— А теперь что?

— Меняется лик земли. Республика из аграрной превращается в индустриальную. Недоступных мест нет, все на машинах, тракторах, вертолетах. А тут бурильщики, взрывники, строители, среди приезжих всякий элемент просачивается... Ну что это все кажется мне, что за кустом стоит голая женщина?

— У нее халат был.

— А мне кажется, что голая.

— Это свет так падает.

- Подойти?
- Ну смотрите же, никого нет.
- Нет?
- Ну нет, конечно.
- Нэ-э-э-ла! — провыл Юрий на все четыре стороны света. — А вы не забыли, на какие звезды я просил вас посмотреть для ориентира?
- Да вот они, за вашей спиной.
- Их вообще слишком много. По ним трудно ориентироваться. Вы не перепутаете?
- Нет, но они могут...
- Что?
- Погаснуть!!!
- Почему вы все прижимаете меня к горам?
- Потому что если она сбилась с дороги, то только там. Выйдя на такыры, она сориентировалась бы.
- А вот это что мелькнуло слева?
- Ничего там нет.
- А вы звездочки не потеряли?
- Нет!!!
- А куда вы падаете? Стойте, стойте!
- О господи, тут же обрыв.
- А-а, обрыв. Хорошо. Дайте-ка я вперед пойду, вы что-то ослепли. Нэ-э-э-ла!
- Юрий, где вы?
- Я тоже под обрыв. Здесь кругом обрывы. Нэ-э-э-э-ла!
- В яме-то нечего кричать.
- А может, ее сюда бросили? Если бы она жива была, она откликнулась бы давно. Слышите, что это? Звук. Стон, слабый такой. Она могла простонать, прийти в себя от холода.
- Она могла уже сто раз замерзнуть.
- Может, она уснула?
- Да кто ж уснет на таком холоде? Почему вы не вылезаете?
- Я потерял очки.
- Все равно вылезайте.
- А, вот они... В Кегейли девочка спала между отцом и матерью на айване, ее зарезали. А вы говорите «жива».
- Я ничего не говорю. И это не в Кегейли. А в Кунграде. Да и вообще, может, никого не резали. Сплетни. Зачем вы на куст полезли? Неужели нельзя обойти?
- А фонарь для чего светил, про который Родион говорил? Может, ее приканчивали как раз. Или закапывали.

— Не было на песке никаких следов, кроме верблюжьих.
Три дня назад проходили там люди.

— Откуда вы знаете?

— Есть такие следы, и вы бы догадались.

— Догадываюсь. А еще был случай...

— Идите отдельно, и я пойду одна.

— А потом и вас искать?

— Или вас!

— А звездочки вы не потеряли?

— Тьфу, черт! Куда они с неба денутся, раз ни одной тучи?

— Ужасно, ужасно, как в дурном романе, и туч нет.

— Хоть бы дойти до места, где мы с ней разошлись...
Тут, рядом.

— Кто рядом?

— Послушайте, вы очень странно выглядите при лунном свете.

— Уже полчаса, как луна зашла.

— Но у вас один череп, ни глаз, ни щек.

— Я просто на самом деле такой. А вот еще случай...

— Давайте помолчим.

— Тогда мы потеряемся. Думаете, мне приятно с убийцей разговаривать? Я с вами разговариваю, чтобы не потеряться. Нэ-э-э-ла! Ведь уже нет смысла искать. И я вас не то что простил, но смягчился. Вы правы: когда слишком большое несчастье — становится уже неважно, кто виноват. Это потом судить вас будут. И сразу за всех. Вы всех всегда втягиваете. О, черт, слышите? Опять этот дог без намордника разбежался. И эхо — подумайте! На мой крик два только раза откликается, а на его — семь!

Мощный зов Родиона звучал во всех регистрах.

Юрий вздохнул прерывисто:

— Не надо мне было его с цепи спускать.

— Вы спятили, о чем вы?

— Поскольку мне все равно, я уж признаюсь: как это прекрасно... без поводка пожить! А я так и умру, ни разу не сняв. Да, может, это самые счастливые минуты его жизни! Чувствуете? Сегодня он может ходить всю ночь наедине с небом и землей, во всю грудь звать белокурую женщину. Без отчества. Вас когда-нибудь так кто-нибудь звал? Не жалко заблудиться.

— Бредовый вы человек.

— А почему бредовый? Он сам говорил мне, что таким белокурый женщинам нельзя на свет родиться. Длинноногим, статным. А она в столовой нарочно пересела, что-

бы он на глаза не попадался. Каково это человеку? Я его ненавижу. Самый вес его, экстерьер. Как повернется, так колбасины заходят под рубашкой. И брючины натягиваются на ходу. Вы ей только ничего не говорите, если она вдруг не совсем погибла. Но вряд ли... А о чем были ее последние слова?

— Не помню.

— А все-таки?

— Сказала же, не помню!

— Ну, мне интересно.

— Не приставайте.

— Как будто трудно сказать.

— Она призналась мне, что любит Юрия Всесвятского, а не Родиона.

Некоторое время Юрий идет молча.

— Я вам этого не прощу никогда, Женя. Действительно, нам лучше пойти врозь.

— Мало ли чего я вам не прощала. Нэ-э-эла!

— Нэ-э-э-эла! Он жизни не пожалел бы, лишь бы вынести ее живой или мертвой из пустыни. Мне его отдали под расписку, дога вашего, в котором все женщины такое деятельное участие принимают. На перевоспитание. И я его таскаю с собой повсюду. Отпустишь — погубит. Себя, и меня, и еще кого? Плохо кончит. Культуры не хватает. Чуть что — все в глаза порет.

— Вы сами не очень затрудняете себя сдержанностью.

— Я иначе, а он... сразу по шее. Не дает, я перехватываю, но тяготеет к кулачной расправе. И липнет к нему самое отпетое. Бандиты, девки гулящие — души не чают. Нэ-э-э-ла!

— Женщинам всегда такие нравятся.

— Вы мне, ради бога, не про женщин. Я директор музея, не мое дело разбираться в женских сердцах. Да не одна, а две проходу мне не давали целый год.

— Почему же вам-то?

— Потому что он спрятался, а я нет. Заявление принесли, что такого человека на работе держать нельзя. Потом стали просить: «Возьмите нас в уборщицы, в подметалы, в сторожа ночные, вовсе без зарплаты — на общественных началах». Как тут планово работать? Кто беременный, кто брошенный, кто с собой кончает, а кто только еще женится. Кто в машине разбивается, у кого ребенок колокольчик проглотил. А эти две дамы даже не в штате у меня. Я только у штатных единиц в сердечные дела вникаю. Ох, как я его ненавижу! Руки у него золотые, правда,

Блоху подковать может. А зачем искусству блоху подковывать? Умелец он, а не художник. Как я из него сформирую художника? Местного искусства не понимает. Ему барочные формы нужны, культ грубой плоти, силы. Посмотрите на его Еву, как она пялится на Адама затюканного. Не знает он, куда спастись от дуры — толстой и чувственной. Лучше бы без нее, да не обойдешься. Вообще-то выразительно, Дерево он чувствует, но обреченные они какие-то оба, и Ева и этот ни к чему могучий Адам. Правда, они и были прокляты... Концепция есть. Но это концепция одиночества и разобщенности. Наверное, так оно внутри у Родиона и есть... Жаль его. Видели деревянные маски Якуба Дурдыева? Демоны, а — веселые, озорные, все с юмором. Потому что сам Якуб — отчаянный, веселый добрый, сорвиголова. Родион мог бы быть очень интересным, если бы не надломилось в нем что-то, и вот все идет, идет своим чередом, да вдруг где-то на высокой ноте и срывается, так же, как и голос его. Нет в его искусстве единства мира. Знаете, он сидел уже, и пограничником служил, и в психдоме был. Он ведь убил кого-то... не поймешь: чаянно, нечаянно, — он страшен в ярости. Во всяком случае без дела бы не убил. Уверяет, что посадили зря, будто сопротивление оказывал не он, а его товарищ, а он за него вступился. Поди разберись. Каждый так сказать может. Два брата его погибли — несчастный случай. Еще он с каким-то начальством в бане поссорился из-за шайки, вышший чин оскорбил. Хочет бирюзовую инкрустацию для нас сделать. Тончайшее выполнение, я смотрел, а что-то не вяжется, не цельно. Везде он успевает что-нибудь изобрести, открыть, всех очаровать, всех восстановить против себя, и всё в мгновение ока. Нэ-эла!

— Черт с младенцем. Вы же не в ту сторону его тянете. Он к вам не приспособится.

— А я этого младенца себе не просил.

— Думаете, вы черт, а он младенец? Не наоборот?

— Вы всегда стараетесь человека унижить. Нэ-э-эла! Теперь, я боюсь, он и вправду пойдет на рудники. Ведь надо же так, чтобы и та была белокурая.

— Кто «та»?

— Из-за которой он голос потерял. Она тонула, он бросился спасать.

— Она топилась?

— Я уже сказал, что разбираюсь только со штатными, а это случилось где-то на Севере. Он долго болел. В консерватории сказали, что певцом он, может, и останется, но средним, с уникальностью диапазона и тембра — конечно,

я в этом плохо понимаю. Но Родиону или все, или ничего. Он бросил консерваторию. Поехал в Заполярье. Он вам рассказывал?

— Да, очень интересно.

— Сюда попал после всего. Я его вещи покупал. А руководить не успеваю. Только одни неприятности... Он ничего не боится, ничему не верит, ничем не дорожит.

— Неверно. Дорожить боится.

— Основа его как художника — голод на все новое. Зачем ему север? Зачем юг? Хочет знать, испытать, увидеть. И все с полной самоотдачей. Что из такой почвы произрастет? И где он свою буйную голову сложит? Высокая зарплата на рудниках — отговорка.

— Легко вы забываете, что и ваши пути были извилисты.

— Он идет не моими путями.

— Каждый своим.

— Ну вот, я и спустил его с поводка... Пусть идет, куда хочет. Мне все равно его не удержать.

— Неужели нет способа?

— Кто мог бы удержать — не станет этого делать.

— Кроме женщины!

— Воссоздать единство мира за художника?

Я так и не поняла, кого мы ищем: Родиона, или пропавшую белокурую женщину, или единство мира?

Но вначале были поиски на высшем уровне, оснащенные техникой.

Каждый раз, когда машина останавливалась, слышно делалось, как шуршит ветер мириадами песчинок. И ребята переговаривались негромкими голосами о будничных своих заботах, чтобы страхнуть гипноз темноты и тревоги.

— Олега, ты когда в Москву-то подаешься?

— Вызов придет.

— А если машины не будет?

— Не проблема. Это-то не проблема, — показал он голосом, что проблема есть, другая, и стоит он перед ней, как перед стеной.

— А как родители твои смотрят, что вторую попытку затеваешь?

— Помогать не помогают и мешать не мешают, чтобы после не упрекал. Не верят они.

— А сам-то веришь?

— И чего людей носит? Какая сила? Будто здесь не жизнь та же самая. Здесь ты нужный человек, в цене. Дом

свой. И семья. Девушка, наверное, есть. А там? Все поло-
маешь. Тянет — ну, съезди, посмотри и успокойся. Теперь
и у нас не захолюстье. — Шофер делился собственным опы-
том. Он уже проделывал две попытки.

— Сам не знаю, — одним махом отстраняет все рас-
суждения шофера Олег. — Если бы без общежития... Зна-
чит, как посмотрят? Приезжий. Жить негде. Слишком та-
ких много.

— А с программой?

— Нагоняем как можем. В наших сельских школах со-
кращенный курс. Времени нет у учеников на учебу. Посев-
ная. Прополка и сбор хлопка. Кукурузы. Свеклы. Первый
сбор. Второй сбор. Последний... По тригонометрии, алгеб-
ре разделы выпадают. Догоняй на подготовительных кур-
сах или сам. Не хочется хуже других быть.

— И что за дураки такие есть? Вкалывать все лето,
чтобы поехать и провалиться еще раз! Жди спокойненько
своего часа. В армию призовут — получишь профессию,
вернешься радистом, механиком, шофером. Вон как я. И уж
не пропадешь нигде, днем с огнем искать будут. Вот хоть
бы как меня, — философствует шофер.

— А провалюсь — я уже решил, в лесники пойду.

— Не боишься? А ну как кокнут?

— То есть кто же это?

— Элементы. Браконьеры.

— Нет. У нас в роду все не боятся. У нас батька та-
кой. Страх его обходит. Слово его все это не касается:
ни угрозы, ни посулы. Всю жизнь инспектором. Припад-
ков боится, и мы боимся. После контузии с войны эпилеп-
сия у него развилась. А этих-то браконьеров — ну их, и в
чиннах и без чинов. Да, историй много было. Начнет рас-
сказывать — телевизор не включаем.

— У нас тоже не боятся. У нас, туркмен, не в роду,
а этническая черта.

— Молчи!

— А что? Не бывает разве так? Есть же разные исто-
рические сведения про викингов. Где другие пугаются, они
только в ярость входят. Так и у нас, туркмен. Реакция та-
кая этническая.

— Разбойник.

— Ну что ж, ну было... Зато у нас рабов не держали.
Все равные. И самых красивых женщин себе оставляли,
а дети от полонянок тоже полноправные считались, оттого
мы такие красивые все и способные. Думаешь, пустое сло-
во — джигит?

— Конец света! — ахнул заместитель начальника. —

В какую компанию я попал? Стальные характеры кругом. Вы что, взбадриваете себя разговорчиками перед темной? Храбрецы! А могильники копать боитесь. И джигита замутило.

— Мы не покойников боялись, мы заразы.

— Спирту запросили!

— Спирт — ну... это мы всегда готовы.

— Какая зараза? Три тысячи лет покойники лежали, вся зараза сдохла.

— А как не сдохла? В журнале читал: «Бациллы многих болезней — чумы, проказы — таят в себе много загадочного».

— Мы спирту против загадочного просили.

За моей спиной ведется беседа лирическая:

— Не знаешь разве? Маринка такая. Ну? Я думал, может, знакомы? Светленькая. Знаешь? С виду совсем девчонка-девчонкой, в красной шапочке и сапожки красные. Пляшет русского здорово...

— Ну так чего же ты, хорошая, значит?

— Хорошая. Но...

— Хорошая, но мало?

— Поехали?

— Поехали!

Весь смысл в том и заключался, с какой мужественной отрывистостью произносились эти слова. Да, в те часы я еще ухмылялась. В рукав свитера, конечно, не то разобиделась бы мои спутники.

...Родион был черен от скорби и озабоченности и, стараясь скрыть это, говорил тенором, с паузами, как если бы ставил точку после каждого слова.

— Надо идти. По следу. С фонарями.

— Милый, где ты видел, чтобы песок на ветру следы хранил? Романтика это, да если бы сохранились — не найдешь ведь их.

— Как не найдешь? Если надо?

— Поехали!

И мы снова ехали, пока Родион не забарабанил по крыше кабины:

— Стойте, что это там за свет в песках? Подозрительно, чему бы там светить?

— Трактор это.

— Я схожу узнаю.

— Как же вы ее все-таки бросили одну? — вздыхал Олег, обращаясь ко мне.

В темноте переговаривались не вслух, а шепотом, будто боялись разбудить — кого? Ветер, который и так не спал и пел на тысячи голосов? Землю, которая спала, несмотря на все беспокойства сынов своих? И разговор не вязался. И паузы были значительнее слов.

Подкараулив одну из них, в немыслимо черной высоте взорвалась ракета или сгорел метеор, окатив изумрудной волной наш мир, весь в странных зигзагах и острых углах.

— Это она! Она дает нам знать!

— Кто она-то? Звезда?

— Нэла-апа, она дает нам сигнал, и все со стороны Аяза!

— У нее даже спичек нет... — попыталась я вставить словцо.

— Ну и что же! Встретила каких-нибудь геологов.

— Ночью геологи спят.

— А смотрите-ка, куда это мы заехали? Ни огонька. И наш позади погас. И там в песках — погасло все. Родион не заблудился бы. Включай фары.

При свете фар стало спокойнее, и мы увидели, что Родион стоит возле машины. Не один.

— Языка привел?

— То-то что языка. Трещит всю дорогу «белады, белады»¹, а я понимаю? Пусть Шамурад переведет. Тракторист это.

Тракторист охотно, напористо говорил одни и те же фразы, переспрашивая и сочувствуя.

— Женщины живой, говорит, не видел, если бы видел, привез бы в лагерь. А верблюд у них пропал. Хороший верблюд, очень умный. Дали трактор верблюда искать. Инженер-верблюд. Ученый. Много ходил, молодой еще. Черный такой, коричневый. Ну... светлый.

— А-а! С проседью?

— Да, золото, не верблюд. В горах напали на след. К колодцу пошел, пить хотел...

Переводчик стал тщательнее переспрашивать тракториста, междометия и причмокивания посыпались градом. Мы вытягивали шеи, так как все понемножку понимали.

— Чего-чего? Веревку? Какую?

— Не хватило, говорит, веревки, вытащить не могли.

— Кого??? — пугалась русская часть спасателей.

— Верблюда вытащить не могли. Наверное, очень пить хотел, решил дотянуться до воды и вниз полез.

— Ничего себе — инженер!

¹ Белады — знает.

— Это он уже сверху упал. Она, значит, под ним лежит.

— Как лежит?

— Этого он сказать не может, вниз лицом упала, наверное, — это он так думает.

Камиль повернулся ко мне:

— В чем ноги были одеты у Нэлы-апа? Были в чем-нибудь одеты? Большие у нее ноги?

— Маленькие.

— Совпадает. Узкую подошву нашли женскую.

— Подошву?

— Не подошву — след на глине, отпечаток!

— Слушайте, давайте-ка по очереди. Ты не лезь, Камиль! Пусть Шамурад говорит.

— Ваша, говорит, женщина. Не наша. Откуда нашей там быть? Близо юрт нет. На буровой одни мужчины. У взрывников тоже. Ваша женщина. Пить захотела, пошла на колодец, наклонилась, упала, сверху верблюды, да.

— Как она в горы попала? Это у черта на куличках. Она и не знала про колодец.

— Может, подсказал кто?

— А не ты ли подсказал? — шагнул Родион к трактористу.

— Он женщины не видел. Он только след одной ноги видел. Каблучки были у нее? Это след с каблучком.

— Не было у нее каблучков.

— С каблучком, говоришь? Лазь в кузов. Ребята, вы пока его не бейте очень-то.

Ошарашенный тракторист примолк, лицо его трудно было разглядеть. По-моему, оно было красивое и обиженное, а может, это казалось так от лунного света. Потому что луна уже взошла. Очень ненадолго в ту ночь.

Мы вырулили на такыр и приблизились к Аязу. Как будто нечаянно заехали на сцену или на склад декораций с картонными зубчатыми замками к сказочной опере. Наверное, надо, чтобы сейчас кто-то пел.

«Ночь тепла-а, ночь тиха-а», — мурлыкнулось у меня.

— Вы что, с ума сошли? Врете же на полтона. Эй, куда? — пронзительно высвистнул ребятам Родион. — Давайте к вагонке подъедем.

Не доезжая вагонки, остановились снова, выключили мотор. От вагонки бросилась к нам со счастливым лаем мохнатая собачина. Но что-то насторожило ее: радостный лай сменился на тревожный, предупреждающий, на

злобный. И вдруг взорвался визгом: псина скоком лизнула Олега в щеку и завертелась у его ног.

— Ишь, узнала, стерва, работал же я тут по соседству весной.

Из вагонки никто не вышел.

— Уберите собаку, — скомандовал Родион.

— Да что она тебе, мешает? Идите, я ее подержу.

— Может, не в этой вагонке, в следующей живут-то?

— Не-ет, та давно пустует.

— Эй, кто там, отворите! — Камиль постучал, налег на дверь.

— Постой, дай я, — Шамурад дернул дверь так, что она чуть не выскочила из обоймы.

Вагонка стояла на цоколе, перед дверью был небольшой тамбур, в котором с трудом умещались наши ребята.

— Полундра! — прогудело где-то в глубине, и из-за двери стали выскакивать полуодетые фигуры.

— Выходи весь отсек! Какого черта, ну? Чего душишь нашего шофера? Буровики, что ли? Чья машина?

— Да не буровики мы. Мы ищем женщину.

— Ах, женщину?!

Оставались секунды до драки, и тут меня осенило: как в деревне бабы кидаются наперерез драке, я повисла на груди какого-то взрывника.

— Стой же! Конец света! Боюсь я этого Родиона, — скороговоркой охлаждал ребят заместитель, — он в ярости себя не помнит. Убьет без дураков. Ох, что ж это будет?

— Да стойте же, стой, Родион! — я визгом перерезаю весь гвалт, потому что вспомнила, как днем мимо нашего лагеря проезжала машина, в которой сидели женщины, громко пели и кричали, видно, навеселе. Еще нам помахали. Только сюда и могли они ехать...

— Ну какое вам дело, кто им эти женщины? — надрылась я. — Жены, любовницы или сестры?

— Милосердия, — согласился Олег.

— Что, не будет драки? — разочарованно спросил тощий.

— Айда, ребята, по домам.

— Братцы, а тракторист-то сбежал!

— Зачем сбежал? Не хотел вмешаться. Убийством пахло. Артем вас не пустил бы и женщин не дал бы. Артема все знают, — спокойно заговорил по-русски наш пленник.

— Что ж ты, тракторист, не объяснил?

— А почему я знаю, что вы за народ? Может, обманули меня, а у самих другое на уме?

— Жаль все-таки, что я тебя не стукнул, — вздохнул Родион.

— Еще не поздно, — предложил шофер.

— А ты не суйся, зарабатываешь. Эй, алкаши, извините за беспокойство!

— А вы гады, — проорал тощий парень, — если женщина от вас сбежала, гады вы хорошие. От порядочных женщины не бегают.

— Только время зря теряем. Зачем нам в гору? — пыталась я уговорить все еще не остывших мужчин.

Но мы поехали в гору, не зная дороги, зарываясь в пыль по дифер. Хорошая собака носилась вокруг с бешеным лаем, подбадривая и указывая путь, как делала она это с баранами. Мы оказались бестолковей, машина совсем села и задним ходом вынуждена была сползать вниз. Собака смутилась и расстроилась и еще долго провожала нас по пустыне в опасении: не собьемся ли мы снова с пути?

Я испугалась, когда мы вернулись с машиной в лагерь. Нэлы все еще не было. Я-то была уверена, что она давным-давно пришла, чаю напилась и, растянувшись в спальном мешке, хихикает над нами.

Близилась полночь. Юрий спал. Это всех удивило. Его будили. Он не понимал, зачем. Потом — кричал. Потом кричала я, он поддакивал.

— У кого есть, возьмите фонарики.

— Да. И свечи тоже. Пошли.

— Спички не забудьте.

— Да. Пошли. И термосы захватите. И что еще? И соль.

— Зачем соль?

— Да, не надо соль. Пошли. Вы что, не берете соль?

— Никто не берет.

— А я думал, взяли. И веревки тоже. Или веревки тоже не надо?

Голос его то падал до шепота, то вдруг взвизывался.

— А вот надо было дом копать. Какой дом-то интересный! И оссуарий там... — И снова шепотом: — Ведь этого могло бы не случиться. И чего вас понесло Аяз-калу смотреть? Что теперь делать? Билет заказан ей на Москву. На самолет.

— Не теряйте время. Разобьемся на пары. Прочешем все пески.

— Да-да. Через два часа луна зайдет.

Оттяжки и якоря палаток хватали людей за ноги. Яркие четкие огни Коктау и далекие, размытые Бричкоша метались, как стая взбесившихся собак, звезды превратились в трассирующие пули, а молчаливые силуэты гор, вычерченные отсутствием звезд и огней, перебегали то под левую, то под правую руку. Палатка моя играла со мной в прятки. Ворвавшись в чужую и шаря на раскладушке ватник, я вцепилась в волосы кого-то спящего, и мы оба закричали с испуга. Родион вешал фонарь на топознак и сорвался под обрыв.

— Скорее, Юрий, скорее!

— А между прочим, почему это вы оказались со мной в паре?

— А вы почему?

— Чисто случайно. Прозевал, никого не осталось.

— Я тоже прозевала.

— А я решил, вы нарочно тревогу разыгрываете, чтобы от меня отделаться, чтобы я в пески ушел кричать. Я ваше хихиканье в кустах слышал.

— Это шакалы.

— Я и думал, что вы под шакалов. Еще уговаривал: «Женя, прекратите! Нэла, все равно не похоже...»

За три часа хождений мы уже не только голоса потеряли, но все внутренности выкричали.

— Может быть, вы с ней поссорились? — остановился вдруг Юрий.

— Нет, конечно. Мы расстались на барханчике в разговорах о партийных взносах.

— ???

— Господи, а почему нельзя говорить среди барханов пустыни о партийных взносах? Еще толковали, почему у Родиона в мастерской-комнатушке, где он спит и работает, среди разного инструментария и бутылок кефирных и «столичных», над токарным станком — везде висят Кранахи, с расчетом, чтобы хоть один попадал в поле зрения.

— Они там хорошо смотрятся среди стружек... Женщины в фижмах, ожерельях, перстнях...

— Да. Любимая натурщица Кранаха в каскаде золотых кудрей... Нэла ведь очень похожа на нее. Я показывала ей репродукцию — помните, «Куртизанка»? — перламутровая, с умными, грустными глазами. Бородатый ростовщик ее лапает за спину.

— Не просто лапает, он ее любит.

— Но она любит кого-то другого.

Нэла удивленно разглядывала репродукцию: «Похожа, пожалуй, выражением лица — в мои худшие минуты». — «Но похожа. Уверена, что и голос у нее был с серебряными колокольчиками». — «Но она уродина. И он как будто писал с нее и ведьм, и святых, и этих ню...»

— В общем, она сказала, что ей, как секретарю парт-организации, не очень удобно гордиться и быть похожей. Она смущалась.

— Гениальная вещь — «Куртизанка». Бессмертная! О господи!.. Нэ-э-э-э-э-ла!!! — взвыл Юрий в отчаянии, и где-то далеко-далеко за горизонтом откликнулся ему петух.

Почему петух? Откуда? Все неправильно! И заблудиться должна была я! А не она. Я отстала. Я не знала дороги. Я в этом районе впервые. У меня отвалилась подметка, меня бросили — с моего согласия: я не хотела задерживать Нэлу, решила искать кружной маршрут по такырам, а она пошла коротким через пески. Но это все — неубедительно перед лицом несчастья.

— А существуют ли в действительности законы логики? Только на очень больших дистанциях исторических чувствуешь силу этих законов, а судьба человеческая слишком коротка.

— Вы с вашими вселенскими обобщениями... — прошипел Юрий. — Для вас и смерть вашего товарища в песках — лишь умозрение. Черт вас дерн! Лучше смотрите под ноги... Дальше я не пойду. Все. Поворачивайте обратно.

И я почувствовала, что это правда: дальше он не пойдет. В последний раз провыл он «Нэ-э-э-э-э-э-э-э-ла!» особенно протяжно и сел на песок.

И именно на этот последний вопль — откуда-то из-за туч, из-за далеких гор и песков — до нас долетел слабый-слабый ответный звук. Мы боялись поверить. Заговорили, сдерживая дыхание, будто могли задуть этот голос — легонький, жалостный... Мы сразу заспорили: справа донесся звук или слева? И чуть не подрались: каждый тащил другого в свою сторону. Потом поменялись местами и... мнениями. И оба были правы. Один слышал живой голос, другой — эхо гор. Но это уже растолковала Нэла. Мы поспорили бы до утра, если бы она сама не вышла к нам. И так как с ходу она стала ругаться, мы наконец-то вздохнули: слава богу! Ничего плохого не случилось!!!

Она хромала на обе ноги, почернела, похудела, покрылась кровоточащими струпами, царапинами. И опять все

получилось неправильно: она, конечно, шла на могучий зов Родиона, а наткнулась на нас. Нам даже было неловко, будто мы сплутовали, но не могли мы убежать и спрятаться под куст и ждать, пока подойдет Родион... Неправильно она, захотев пить в пути, стала жевать какие-то сочные стебли — они сожгли ей гортань; и в надежде напиться пошла на огоньки культурной зоны — ей пришлось бы идти туда два дня; и стала менять световые ориентиры — лучший способ потерять голову; и гналась за трактором и кричала — на работающем тракторе голос не услышишь. Все было именно так неправильно, как бывает с настоящим живым человеком, который заблудился в пустыне. А для этого и требуется-то всего-навсего один только раз свернуть чуть-чуть не в ту сторону... Одно было очень правильным — что она нашлась. И у меня слезы потекли от облегчения. Теперь она в надежных руках, через пятнадцать минут залезет в свой спальный мешок... и останутся только воспоминания о пережитых страхах и бесчисленные царапины от колючек.

— Ну? Где наши звездочки, за которыми я просил вас присмотреть?

— Да вон они.. только...

— Что??? Может, это не они? Вы хорошо помните?

— Они-то они...

— Ну так в чем же дело?

— Странно! Очень хитро они перемигиваются. Вы обратили внимание?

— Да ну вас с вашими глупостями! Как только вы появляетесь, самые положительные люди становятся авантюристами. От барханов, ящериц, змей, звезд так и жди какой-нибудь пакости. Пошли скорей, тут ходу-то всего... Нэ-э-э... тьфу ты, черт, я уж голову потерял.

Другой раз я бы нашла, что ответить. Но и я тоже перемучилась от страха и охрипла от криков. Мне тоже хотелось поскорее в спальный мешок. Мы сконвоинировали пострадавшую, чтобы она опять не исчезла: я шла впереди, Юрий сзади. От носилок, веревок, ремней, переплетенных креслицем рук она отказалась: «Если шестнадцать часов ходила, еще пятнадцать минут как-нибудь пройду».

Ей легче, наверное, было бы, если бы она не так часто повторяла про эти пятнадцать минут, если бы думала о них поменьше.

Мне вредно сильно радоваться — привычная к бедам, от радости трясю голову.

Мы шли, да, мы шли втроем, мир хорошел с каждой минутой. Какая прекрасная, богатая, красочная тьма нас обступала! В меру светящаяся, в меру прозрачная. Великие колористы — испанцы, Рембрандт, Врубель — понимали ее силу. Она милосердна, она уравнивает людей в правах — на красоту, например. Она многое скрывает. Зато уж если что показывает! И вообще, все из нее и родилось. А какие интересные пространства во тьме. Я выдохнула «ах-х», вытянув вперед ногу и задержав ее на весу.

— Ну, что еще там? Что вы застыли, как балерина, с задранной ногой? Вас никто целовать не собирается.

Какие поцелуи? Я просто почувствовала, что ногу некуда опускать. Что уж там простиралось подо мной — бог знает. Может, край света все-таки существует? Была тьма, пустота... А что еще?

— Опять ваши фокусы? Что ж вы, спуститься не можете и посмотреть?

О, я могла спуститься! Мне всегда доставляло наслаждение ходить по краешку обрыва. Я с трудом оттаскивала себя от пропастей, сознавая, как опасны все возрастающий восторг и уверенность, что, если я прыгну, я же вниз не свалюсь, но полечу свободно, куда захочу...

А сейчас действовало и чувство долга: Нэла совершенно не переносит высоты. И я ринулась со смехом и частью пролетела, часть проскользила по прекрасной крутой осыпи, достаточно рыхлой, чтобы притормаживать, и достаточно твердой, чтобы не провалиться и не перекувыркнуться.

Как свистел ветер в ушах, как шуршали и позванивали камешки, присоединяясь к моему полету! И никакой предусмотрительности, которая всегда портит удовольствие. Это было истинное наслаждение, возвращавшее меня к годам юности, к слалому, скачкам на лошадях, прыжкам в воду. Жаль было только, что это кончится быстро! Я шлепнулась в какую-то яму.

— Ну как? — донесся до меня издали-извысока хрип Юрия.

— Как в сказке!! Не вздумайте только прыгать за мной!

— А что вы там делаете?.. ав-гав-гав... — доносилось до меня.

Теперь каждая фраза Юрия обретала «константную конструкцию» — подобно тому, как во французском есть вопросительная форма «Est-ce que?» — все начиналось с КАКОГО ЧЕРТА... вы нас? ...КАКОГО ЧЕРТА... до утра сидеть?.. Но это тоже входило в прекрасную гармонию

ночи... такой ночи, когда все живы!!! И я, откашлявшись немножко, кричала в ответ:

— Я ищу для вас маршруты полегче! Чтобы вы не сзёрнули шей!

И я действительно их искала. Я взлетала на скалы, пикировала в овраги и ущелья. И вся ночь у меня за плечами простиралась моими громадными крыльями. Чего же мне было бояться? Я кружила на этих крыльях вокруг моих бедных товарищей, жавшихся к скале. Не так-то легко найти безопасный маршрут в неизвестных горах — ощупью, в кромешной тьме.

В те редкие мгновения, когда вверху умолкало «Est-ce que» Юрия, снизу, словно из недр самой земли, доносился рокочущий, призывный оклик Родиона, сдвигаемый горами сразу во все стороны. Иногда еще появлялись багровые блуждающие огни — это бегали с соляркой наши джигиты, лишая нас последних надежд на что-то сориентироваться. И камлание Родиона приобретало значение совсем особое. Так земля призывает небо. Так тоскует душа о разобщенности мира, стремясь с ним слиться, и плачет, отринутая. На зов Родиона горы расступались, вырастали выше звезд, бросали нам под ноги белесые дороги, а потом перегораживали их каменными щитами. Или вдруг раскрывали перед нами ступени гигантских лестниц, не ведущих никуда. Или к тем двум звездочкам, которые выбрал Юрий в начале ночи и которые успели перекочевать на другую сторону небосвода, ибо и они всего лишь путники? Это было кружение земли, и я видела такое впервые.

— «Est-ce que» с вас никто до сих пор не содрал живьем шкуру у-у-у???

...Мы брели, не пытаясь разобраться куда, лишь бы не замерзнуть. Горы становились глуше, тьма — кромешнее. Потом мы как-то выбрались все же на равнину с огоньками. Нечаянно, конечно. Но равнина была не наша. Ноги проваливались в пухляк. А наша твердая, такыристая. Как-не-то останцы повстречались нам. Юрий ползал по ним на животе, чтобы опознать, и его руку оцарапал кусочек керамики.

— Нэ-э-э-эла, — прохрипел он, — пощупайте, по-моему, это поздние афригиды?

— Ну, знаете! На ощупь, по такой крохе? Хоть бы венчик...

— Потому что, если поздние афригиды, — это Сарыкала и нам до лагеря восемь километров. А если не поздние афригиды — это Янгикош, и надо в обратную сторону восемнадцать километров...

— Пусть уж лучше афригиды, — сказала Нэла безжизненным голосом, и крапаховскими пальчиками погладила черепок. И это действительно были афригиды.

В лагере не оставалось ни щепочки топлива, ни капли горючего. Бензиновый «НЗ» забрали взрывники. Прикатали всей командой на мощном вездеходе — помогать в поисках, но, протрезвев не до конца, забыли дома заправиться. Попутно пригнали к нам верблюда, вытащив его из колодца. И так как под верблюдом никого не выловили, решили протралить все прилежащие квадраты.

Родион, замотанный со всех концов, сидел возле кухонной палатки и пил дешевый ром... Когда он падал последний раз с топознака, откуда снимал погасший фонарь, щетина не спасла его от травм, он слишком далеко летел... Но, по-моему, не повязки это, а усталость свисала с него лохмотьями. Нашел ли он в эту ночь то, что искал?

ТЮЯ-КАЛА

(В верблюжьем царстве)

Дождь не всегда попадал за шиворот и на мерзнувшие руки, а временами капал лишь в свете фар. Зато все вокруг сразу запахло резче: дорога — кисловатой глиной, кузов — овчинами, старые колья — свежим деревом, мой спальный мешок — каким-то зверем, посуда — копотью, карманы — табаком, а тьма — верблюдами.

Я была настроена враждебно к новому месту, потому что на прежнем было очень интересно и — за десять дней — привычно.

— Конечно, перчатки мои вы потеряли?!

Я искала, к чему придраться, в морозящей тьме это было затруднительно, оставалось покориться участи и подбрасывать в костерчик какие-то высохшие кустики, находимые на ощупь по колючкам. Рабочие натянули палатку быстро, машину разгрузили и отправили в город на ремонт. Юрий вяло стоял у костра и почти не руководил, лишь ногами внося поправки в горение огня. Скрестив руки, съевшись, и всегда-то худой, к концу полевого сезона он становился как вырезанный из бумаги и сложенный пополам человек.

— Хорошо бы, ничего не случилось, — бормотал он.

Доводилось вам путешествовать по морю под умеренным ветром? Когда качка не велика и ничто не мешает наслаждаться зрелищем волн, почувствовать, сколько в них грозной силы, как они разнообразны и своевольны, эти вырастающие и оседающие бугры с белопенными гребнями, летящими под обрыв. Пытаешься уловить их ритм, сосредоточиваешься на ближней волне, а она сломалась, на соседней, а она уже под вами, на той, что подальше — ее полнее видишь, а за ней ищешь самую высоченную, и неизвестно, во что она еще превратится, как обрушится? Их живое свечение состоит из мириад цветовых капель, из бесконечных траекторий, узоров, ряби, всплесков, скольжения. И нет таких тонов и оттенков цвета, которые не находились бы в них. А все вместе составляет изумрудную синеву. И так велико единство волны, что сам становишься соучастником ее полета — всем телом, весом и невесомостью, замиранием сердца... И вдруг все бы замерло и окаменело.

Вот это было то самое, что нас ожидало с первыми лучами солнца на огромном пространстве порфиритовых холмов.

И как для Гвидонов возникают из морской пучины сказочные города, так же поднялись за ночь и наши останцы — цвета морской раковины. В них было все: кварталы с узкими улочками, профилированные стены, ворота и бойницы, торчали жерди, а на них сидели то вороны, то аисты. Стрелковые галереи сквозили проломами, и чьи-то могилы простирались у их подножия.

Все минуты, которые тратились не на горы, можно считать потерянными. Мы смотрели на них, когда ели и пили, когда умывались, перетаскивали ящики, отмеряли квадраты раскопов, когда вытаскивали из земли находки. И огорчались наступлением ночи.

Джевгаш, мой рабочий, в короткие передышки садился на край раскопа и пел протяжные песни, покачиваясь, как в лодке. Иногда пел так хорошо, что я ждала: не оживут ли каменные волны?

Казахи — эти итальянцы Средней Азии — певучий народ. Я люблю их мелодии за особую широту, привольность. И — задумчивость. За то, быть может, что она-то, задумчивость, оказывается превыше всех страстей.

Если я заводила разговор:

— Есть такой у вас поэт Сейфуллин, у него песенка про Саулэ... — он радостно кивал головой и запевал эту песню.

— Вот у вашего писателя Абая, который перевел наше «Письмо Татьяны»... — он запевал письмо Татьяны.

— Откуда ты все знаешь, Джевгаш?

— Вот тебе на! Это ты откуда знаешь? Я же казах.

— А плач по погибшему сыну знаешь?

— Это по-разному поется...

— А свадебные шутки, сказки?

— А ты про своего Пушкина слыхала?

— Понятно. А дальше ты не собираешься учиться?

Он брал лопату и уходил отбрасывать отвал. Он работал старательно. Конечно, он не мог одолеть, сколько могучий Родион, кидавший за два экскаватора, да никто этого и не требовал. Но иногда находил на него какой-то капризный стих и он делал все наоборот.

— Зачем ты против ветра бросаешь? Вся пыль на меня. Я разве не показала, куда бросать?

— Хочу, чтобы ты поговорила со мной, ты совсем забыла разговаривать.

— Хорош разговор, когда тебя ругают.

— Ты ругаешь, как моя мать. Она тоже самое ругательное скажет скорей-скорей, а все остальное время уговаривает, что мы уже хорошие и плохо делать не будем.

— Зачем же ты меня дразнишь?

— Разве я тебя дразню? — печально посмотрел он на меня.

В свободные часы Джевгаш никогда не подходил близко, но во всех моих прогулках по тугаям, по горам поодаль сопровождала меня льющая песня.

— Почему ты ходишь за мной?

Он улыбался и молчал. А один раз сказал:

— Не я хожу за тобой, песня ходит за тобой. Это такая охранительная песня. Вдруг в воду упадешь — она тебя удержит, вдруг коней спугнешь, на тебя побегут — она их остановит, вдруг плохой человек обидеть захочет — она тебя защитит...

И, подсев на край ямы, которую я зачищала, объяснил:

— Я сам первый раз песню сложил — чтобы не бояться. Страшно очень в темноте за скотиной ходить, меня отец посылал. Идти мимо кладбища, в пески, — я такую храбрую песню сочинил. Она ничего не боялась. И я перестал бояться... Песня отводит беду.

— Ох, если бы всякую беду можно было песней отвести...

— Можно, — улыбнулся Джевгаш.

— Но ведь твой отец умер?

— Умер.

— Значит, отчим?

— Мать сказала «отец», значит, отец, — как мать сказала.

— Это он отдал тебя в детский дом?

Джевгаш кивнул головой:

— А потом в интернат.

— А тебе там как было?

— Ой, там хорошо было, — он вздохнул, — там не били никого. Всему учили. А летом в пионерские лагеря ездили. Днем все сами делали, вечером у костра сидели. Кино привозили, и мы выступали. Гости к нам приезжали. Даже артисты.

— А братья есть у тебя?

— Есть. Братья и сестры, — он опять заулыбался. — Хорошие. Есть маленькие, есть побольше, в школу ходят. Я старший.

— А почему же ты не хочешь дальше учиться?

Он брал лопату, отходил в сторону и начинал старательно перекидывать отвал.

У него было какое-то искривление позвоночника — горб, незначительный, и шея вечно замотана платком. Мне всегда казалось, что я смотрю на него снизу вверх, даже когда я стояла рядом. Очень хороши были глаза — продолговатые, большие, с тяжелыми веками, которые не закрывались, а падали. Глаза с темным зеленым венчиком вокруг зрачка и медовыми брызгами по краю радужины. И оттого сразу печальные и веселые. А на голове — энергичные завитки, какие бывают в пустыне во время смерчей. Руки, большие, неторопливые, были взрослее и опытнее мальчишеского лица. Ходил он враскачку, отбрасывая ноги в стороны, прикрывая хромоту. И раньше всех начинал смеяться, если появлялся предлог. А без предлога обычно улыбался чему-то. Ребята пошутнее, любившие покомандовать, норовили сбавить на него дела позануднее. Если было жарко в походе, сбрасывали на него ватники и шапки или навешивали фляжки, а с раскопа вечно посылали за чайником. Но это скорее было хамство покровительственное — он ведь был самый младший в компании, — а не унижающее. Он так себя и держал: без возмущения, со снисходительным юмором, не переставая улыбаться. Он мог и скинуть с себя груз, если мальчишки слишком нагличали, и отшутиться без злости, как человек, который много умнее своих командиров.

Я так и знала, что все обещания Юрия: «Вот поедете, посмотрите, попишете» — пустые слова. «И нам поможет» — вот это единственные истинные. Мне приходится делать тысячу дел, и, конечно, я раскопщик, а заодно добытчик, учетчик. И ангел-примиритель,

Я уже не мечтаю о том, чтобы поработать, хоть бы нанести понятные лишь мне одной пятна из этих откровений колорита вокруг! Я освобождаюсь лишь на закате, в сумерках. Но зато какие это сумерки и какие закаты... Меня даже шокирует такая готовность природы позировать. От меня ничего не требуется: ни находить, ни открывать, ни фантазировать, а будто кто под локоть толкает: хватай, хватай, хватай.

Я и этого не успеваю. Неверно, что все запомнишь. Это только кажется. Одними междометиями живопись не создается. А останется — что останется? Общее ощущение восторга, сказочности, как после красивого цветного сна.

Вот и Родион каждую свободную минуту бродит по изумрудно-синим буграм и выискивает — злобный, взъерошенный — камни, плиты, сколы для своих инкрустаций и мозаик. Интересно, как он намерен доставлять их — на нашей дохлой машине? На себе он больше унесет.

Только в самые невезучие дни, когда все не ладилось, оплывшие останцы напоминали мне искаженные тела Сальватора Дали.

— Зачем расстраиваешься? — окликал меня Джевгаш. — Найдется.

— Кто найдется?!

— Стенка найдется, пол найдется, красивые черепки — поливные, с надписями!

— Хорошо, что у тебя всегда такое хорошее настроение.

— Если при моих калечествах я буду злобный и мрачный — какая будет моя жизнь?

Мой нож, искавший стенку, запнулся.

— Разве не правду сказал?

— Правду. Мудро даже. Но не все могут.

— Я знаю, — кивнул Джевгаш. — Мне мать говорила, когда провожала из дома: «Если будут дразнить — не обижайся. Они не злые. Они не понимают. А мы с тобой сильные, и мы понимаем. Мы с тобой такие сильные, что можем их простить».

— А еще что она говорила?

— Она много говорила. Про женскую долю говорила,

про новые законы говорила. Ее осуждали, что покоряется мужу. Что не разводится. А она засмеялась, говорит: «Новые законы — чтобы женщина выбирала свободно. А нет такого закона, чтобы она за свои ошибки не расплачивалась. Хоть женщина, хоть кто». Она всегда смеялась, чтобы не плакать...

Я проснулась от металлического побрякивания за палаткой и оттого, что мыло мое шлепнулось об землю. Неужели надо всегда орать, а нельзя по-хорошему? Распустились ребята. Хоть не сознаются, а шляются где-то по ночам. Конечно, устали, конец сезона. А ночи лунные, светлые...

— Почему это надо обязательно мыться из моего умывальника, когда столько других? Ну крайней мере доливайте воду!

Негодяйство! Опять звенит гвоздик. Я в гневе приотдернула входную штору. Какая-то гора придвинулась и загородила от меня крепость, и умывальник, и кладбище на склонах. Вершина ее сияла и пушилась, окруженная нимбом. Гора качнулась и поплыла, но недалеко. Огромный верблюд, казавшийся черным, допивал мою воду из умывальника.

— Брысь! Брысь сейчас же!

— Ну? В чем дело? — спросил он подергивающимся носом и губами, с которых скатывались капли, успевая сверкнуть на лету. — А для чего же еще такие кормушки с водой повешаны на каждом шагу? Я правильно делаю. Я пью. Это вы неизвестно зачем попусту разбрызгиваете воду...

— Подонок величественный. Канал же рядом, — сказала я уже потише: мне всегда нравились могучие брюнеты.

И, разгадав мои мысли, он шагнул к моим полотняным дверям и... опустил на колени, постоял так и вовсе улегся и протянул ко мне голову. Ждал, что я потреплю его африканские вихры? Я не решилась. И он ушел. А вокруг моей палатки расположилось верблюжье семейство с маленькой дочкой. Луна ли их тревожила, или так им полагалось, но время от времени они протяжно и нежно мычали. Их голоса звучали стеньяще, глубинно. Сказочно было засыпать под такое пенне, просыпаться и снова засыпать. И наконец-то улетела сова, которая каждую ночь отплясывала на столбе моей палатки, пронзительно хохотала, мяукала и лупила себя по животу крыльями, словно это был барабан.

— Ты, наверное, колдунья, — говорили ребята, — зверье всякое приходит к тебе разговаривать.

— Сова если смеется — это к добру, если плачет — к беде, — объясняли они.

— А ежики зачем к тебе идут?

— А змен?

— У меня транзистора нет, они радио не любят, я тоже.

— А заяц зачем приходил?

— От лисы прятался.

— А тушкан зачем на тебя бросился при всем народе на раскопе?

Да, такое было. И я испугалась больше, чем если бы это была кобра или какая-нибудь большая тварь, которой полагается бросаться. А тушканчик бежал себе, бежал да вдруг свернул с дороги и прыг мне на колени.

— Звери знают, кто их не обидит.

— У них подъем чувств. Они успевают с тобой обменяться информацией раньше, чем ты заметишь.

— Нет, Олега. Звери шумных не любят. Она тихая, они ее за равную считают.

— У тебя повадки, значит, зверячьи.

— И пахнешь нечеловечески.

— Ну, довольно. Жумыскашик!¹

— Если хоть одна змея пряталась и ей хорошо было, она всем другим обязательно расскажет... — переговариваются ребята и разбирают лопаты.

Наступил день, когда у нас кончились не только сухари, но и сухарные крошки, а наша машина из города все не шла. И потому я вызвалась идти пешком в Коктау — то самое, что виднелось на горизонте, — добыть в поселке хлеба. Никого не обманула моя самоотверженность. Все поняли, что я просто хочу посмотреть новые места, но все согласились. Потому что никого также не обманула самоотверженность поварихи: она тоже вызвалась идти пешком за хлебом в Коктау в надежде раздобыть там, без присмотра, еще кое-что. И никто не соглашался, зная, что кончится это тем, что мы останемся без поварихи, которую придется изгнать и которая уйдет тихо, покорно, никому не сделав ни одного упрека. Но до этого произойдет много тяжелых, безобразных сцен.

Издали мне показалось, что какие-то странные опять выросли после дождя на склонах. Но, подойдя поближе,

¹ Жумыскашик — выходи на работу.

я поняла — все в порядке. Стража охраняет выход из нашего моря. Тридцать три богатыря? Нет; больше, пожалуй, излишне много молодых плюшевых верблюдов, поштучно, парами, гроздьями. Они валялись по-домашнему, кто со брав головы и лапы в общий клубок, кто расстелив их по земле. Они и не помышляли встать, подвинуться. Лодыри, Невежи. Мешки набитые! Надо же как-то пробираться через этот лабиринт. Прикинув, где промежуток пошире, я шагнула и очутилась в лесу из гигантских гусиных шей. Они выросли как по команде. И энергично вертелись и вытягивались, согласно каждому моему движению. Все остальное — лапы, спины, горбы — оставалось в полной неподвижности... Какая мне разница: верблюды они или тигры? Полудикие твари могут в любую секунду меня растоптать. Такую готовность выражали обезьяньи морды этих оборотней и глаза — приколотые к мехам кабошоны-сапфиры. Но отступать еще опаснее! Я не шла. Я перетекала с ноги на ногу. Я убеждала их, что меня нет. Спина и руки повлажнели от напряжения. На всякий случай я таращилась на них так же, как они на меня. Чертовщинный лес. Кружишь, возвращаешься вспять. Неужто все-таки выбралась? Последний верблюд тянул за мной шею по земле. А вдруг она оторвется и поползет?

Отойдя немного, я обернулась. И увидела, что никаких верблюдов нет, а есть лишь легкий прибой, как и полагается на границе моря: шевеление невысоких волн-горбов, рыжеватых, оливково-бурых. Когда я обернулась еще раз, они уже окаменели, как и все вокруг.

Поселок разбросался на пустырях. Стандартные, словно чешуйчатые домики, выцветшие, припорошенные пылью, как и все вокруг. Ни резьбы, ни орнамента, даже вокруг окон не намалеваны белые завитки рогов. Только лоскутные одеяла да белье, развешанное на веревках, оживляли пейзаж, да яркие пятнышки платьев на ребятишках и женщинах. Далеко внизу, у самой реки, бледно зеленели полоски бахчей. Из подрулившей машины — будто так и надо — соскочила вдруг Аня.

На дверях магазина сиял огромный замок.

— Ништо, — успокоила Аня.

Да я и сама знала, что надежнее продавцов искать не за прилавком, а дома, что живут они где-нибудь поблизости и не премнут явиться с гремучими ключами, чтобы открыть торговлю в любое время — лучше, конечно, дня, но в крайнем случае — ночи, если очень попросишь...

— Иди сразу в пекарню — хлеба ищешь? — крикнула старуха, дремавшая среди тыкв, арбузов и дынь на приступочке магазина. — Там всегда есть. Здесь — джок. Разобрали. Экспедиция? — Она прикрывалась от солнца морщинами, исказив лицо, и разглядывала нас, лентясь поднять к глазам руку.

— Арбуз бери!

Соблазнительно, конечно.

— А почему?

Она заломила цену, неслыханную в здешних местах.

— Это за один арбуз?!

— Один арбуз. Красивый, смотри, кучкор!¹ Бери, — выкрикнула она, толкая меня в руку. — А тыквы, дыни без денег бери, сколько хочешь, бери, все бери.

Арбуз, высокий, крепкий, зелено-черный, с курчавистыми полосами, и правда был похож на предводителя стада, возвышаясь среди кротких серебристых дынь-яловочек и раздобревших янтарных тыкв, бокастых — вот-вот разродятся.

— Хитрушая, — усмехнулась Аня. — Сообразила, что много нам не забрать.

Мы все же отделили часть старухино стада, и оно откочевало в наши рюкзаки.

На большом столе, том самом, куда складывается свежая выпечка, обучала ходить младенца женщина в белом халате, магически приговаривая:

— Та-па, та-па, та-па, та!.. — на последнем «та» срывая его как бы в пропасть, подхватывая на лету и упоенно прижимая к сердцу. Младенец взвизгивал от восторга. На лавочке у окна сидела чинно девочка-казашка. Здесь окна были затенены приспущенными ставнями, и в комнате с белеными чистыми стенами освещение получалось как внутри снежного сугроба. Гигантское печное жерло, закрытое створками-воротами, напоминало мне сказочные печки колдуний, но будто не печка такая большая, а я стала маленькой и, как Гретель, меня могут засунуть в духовку. Я поздоровалась, спросила про хлеб.

— Нет хлеба, в поселок отдали, — ответила равнодушно женщина, даже не оборачиваясь: ребенок напустил лужицу, она подтирала за ним косынкой, снятой с головы. Я настаивала.

— Нет хлеба, — сказала женщина и обернулась. И я...

¹ Кучкор — главный баран, вожак стада.

тоже сорвалась в пропасть, подобно младенцу, прошагавшему весь стол. Ну и глазищи! Казалось, им самим тяжело быть такими огромными и вот-вот они пойдут на убыль, как все чересчур большое. Остальное лицо, а оно было красивым тоже, только изнуренным, и статная пышногрудая фигура, и изящные лодыжки — не имели значения. Остальное было только пьедесталом для двух сверкающих солнц. Так же как и вся комната с голубоватыми углами и печным черным жерлом и девочкой у окна в желтом платице, и я сама в тяжелых кирзовых сапогах с заплочным мешком. Она знала силу своих глаз.

— Чего испугались? — усмехнулась она с мимолетным торжеством и опустила веки. И тогда объявилась желтоватая смуглота казашки, мотыльковый нежный рот, круглый, отмеченный ямочкой подбородок, тени усталости и еще смягченные глазные впадины, которые скоро станут угловатыми.

— Да ты... да разве так-то надо разговаривать с людьми? Без хлеба останемся! — потянула меня за рукав Аня и выступила вперед. — Пузырь-то какой, — ринулась она к ребенку. — Нельзя, нельзя в штаны, нельзя! — и заворковала не по-казахски, не по-русски, но на языке, понятном для всех птичьих, зверячьих и человеческих детенышей, что-то очень важное. Задала вопрос по-казахски женщине, обе завздыхали и, вперебежку посмеиваясь, повели душевный разговор.

— Вот и муж мне командует: «Отключи фары», когда я смотрю долго, — по-русски встала казашка для меня, чтобы и я почувствовала, какой у нее муж грамотный, современный — шофер, что ли? — и как он неравнодушен к ее глазам.

Малыш выгибался и приплясывал у Ани на коленях, освобожденный от мокрых штанов, а казашка, обернувшись к печи, крикнула, приказала. Совсем из другой двери появился улыбающийся парень с ящиком хлебных буханок и, пересчитывая буханки и укладывая их в мой рюкзак, все заглядывался на казашку. Я, впрочем, тоже.

Слишком красивые люди вызывают у меня смешанное чувство печали, тревоги, радости. Ведь возможно такое чудо, гениальное произведение природы, и оно неповторимо хрупко, недолговечно — недолговечнее даже статуи или портрета, которые хранятся в храмах и музеях, — живое не всегда окружено художниками и поэтами... Зачем рождаются такие совершенно красивые люди? Для улучшения породы человеческой? По нечаянной щедрости природы? Или чтобы будить в окружающих неведомо какие сложные

чувства, стремления? Словно жизнь перед ней виновата своими несовершенствами и должна перемениться, чтобы течь вровень с такой красавицей.

Аня исчезла сразу, как мы вышли из пекарни. Я поджидала ее на перекрестке около сторожки; стоявшей особняком, впритык к скалам. При дороге на обесцвеченном пылью одеяле сидела, скруглившись, казашка рядом с большим чайником. Он был похож на нее — тоже пожилой, круглый, с оранжевым цветком во весь бок. Расторопная рука казашки приятельски обнимала его за плечики. Казашка мне что-то грозно проорала, выскочила на дорогу, тонкими мушиными ножками обогнала притормозивший самосвал, ругнулась с шофером, вернулась, опять за что-то накричала на меня и снова убежала на дорогу.

— Что не пьешь? Угощает тебя, хотя для виду отломи лепешки, — строго заметила русская женщина, сидевшая в тени дома. — Она привыкла кричать. Шумно очень. И русских слов мало знает, думает: громче, так понятнее.

— Учетчица? Строго-то как. Неужто камни эти можно сосчитать? Да и кому какой смысл воровать их?

Женщина слёгка повела бровью и, решив, что этого достаточно, промолчала.

— Как тут неуютно, голо.

— Камень, так и голо.

— А какие тут красивые есть...

— Небось Катерину-хлебницу видела?

— Почему Катерину?

— По-нашему Катерина, по-ихнему Бибигуль.

— Пе-ей, и-ии!¹ Чай мно-ого, принесем. Титан бар, плитка бар, — надрывалась учетчица, показывая в глубину дома. Голос ее не был приспособлен для крика, как и вся конституция — для быстрого беганья, но надо было — и она кричала, надо было — и она бегала.

— Бибигуль, эх, Бибигуль, — покачивала она головой и причмокивала. И я поняла, что она горячо жалеет ее и укоряет чем-то. Она рассказывала ее судьбу — нараспев, такими незатрудненными интонациями, что ясно было: не впервой. И я подумала: вот так возникает из рассказа о жизни песня, легенда...

Подошла наша Аня, тоже пила чай, согласно цокала:

— Ой, не родись красивой, родись счастливой. А кому ни красоты, ни счастья...

¹ И - и и — ешь.

Она успела пропустить глоток, и ее неудержимо тянуло продолжить. Раскрасневшееся лицо ее молодело, хорошело. И выражало крайние эмоции — гнев, вызов, слезливую жалость, безостановочно и слишком быстро сменявшиеся.

— И кто это придумал разделить людей на мужиков и баб? — грозила она в пространство. — Кабы все одинаковые, меньше б слез-то лилось. — И лицо ее было такое, будто сейчас же ей кто-то издала должен ответить и все исправить.

Я отодвинулась подальше, делая вид, что не замечаю Аниных маневров с поллитрой... Безучастный и уже бесформенный, как огромный обглоданный пенёк, торчал остаток античной крепости. Здесь, в башне, мы нашли когда-то остатки женской косы и колечко. Про крепость сохранилась легенда, будто в ней в заточении жила красавица, и так она тосковала, что дэвы, пролетающие мимо, пожалели ее и унесли с собой... Стало ли ей от этого лучше?

Огромные куски породы подпрыгивали со свирепым грохотом в кузовах самосвалов, пронесившихся на бешеной скорости. Они еще таили в себе страх и боль взрывов. Еще не остыли раны от дрелей, отбойных молотков. И они бились о железные стены кузова, вызывая к родному ущелью, а горы отвечали им далеким эхом. Отдельные глыбины на повороте подпрыгнули так высоко, что вывалились через борт на обочину и остались бесполезно лежать, как поверженные беглецы. Остальные безостановочно катились дальше, к чему-то новому, неведомому — превращаться в дороги, дамбы, мосты, облицовку зданий, а может, в скульптуры, монументы — кому что. Неужели всякие превращения и переломы судьбы должны быть драматичны?

Я хотела поскорее увести Аню из зоны магазинов, мы пошли пешком вниз, дорог раскидалось много, я выбрала путь неправильный, а подвыпившая Аня — правильный. Она всплескивала руками, божилась, а я зло наставляла на своем и заставляла ее протопать изрядный конец зря. Она с уговорами отнимала у меня тяжеленный рюкзак, а я молча не отдавала. И когда у истоков нашей настоящей дороги нас нагнала попутка, я велела ей не голосовать, а отойти в сторону, побаиваясь, что она напоят шофера. Поравнявшись, он притормозил выжидательно, потом проехал немного вперед и остановился.

— Я не человек, что ли? Давай мешки — садись. Денег не надо. Экспедиция? Почему утром не подождал? Я бы подвез. Что за народ такой недоверчивый?

Пришлось довериться.



Хлеб оказался сырой, плохо пропеченный, но Аня приспособилась выменивать его у ребятнишек кишлака на свежие лепешки. Она им насовала конфет, и после не было отбоя от гостей. Они тащили кастрюли с кумысом и сыр сушеный, копченых рыбин, тыкву, кукурузу. А потом сидели вокруг раскопов дотемна — на ишаках и спешась.

Верблюды здесь больше нянчились со своими детьми, чем люди.

Мои ночные посетители теперь бродили по лагерю и днем, откровенно любуясь дочкой. Когда к ней подбежал маленький приятель, приглашая поиграть, мама обонх строго остепенила:

— Смотри, деточка, вон стоит человек, чужой, не кинул бы по глупости палкой или камнем. Пусть папа вперед пройдет, — она помычала негромко папе, и быстрыми шагами нагнал верблюжат и отгородил их от меня папа с мохнатым гривастым передом и с поджарым задом человеческого старца...

— Ваши верблюды — глупый народ, трлько кажутся мудрыми. Не то что лошади. Вон, хлеба не берет.

— Он хлеба-то сроду не кушивал, — заахала Аня.

— Бер мен (дай мне), — попросил малыш. Он выступил перед верблюдом, задрал голову, откусил от буханки, преувеличенно зачавкал и снова протянул буханку верблюду. Тот, сторонясь ногами, вытянул всю шею и губы как мог, нюхнул, поморгал в сомнении и все же принял угощение. Его приятели подошли смелее и схватили хлеб без заминки. И одобрили. На нашу беду. Потом они зашли в столовую, по-свойски и не торопясь съели еще три буханки и изжеввали марлю,

Наш зыбучий океан омывает узкую полосу суши. И по тем же неведомым законам, обратившим его в камень, суша обращена в золото и серебро. Потому что осень: листва турангилов вся пожелтела и не думает осыпаться — листочки у них плотные, почти без рисунка, словно литые, и не утратили глянца. Потому что сухостой весь дымно-серебристый, а потрескавшаяся земля еще серебристее и нежнее по тону и густо, досуха унавожена — идешь будто по ковру с высоким ворсом. А изящные узкие листики джиды — как фамильное серебро в старинных шкафах. И, не успев на них наглядеться, вздрагиваешь изумленно перед тамарисками в строгих испанских вуалях с лиловой или рубиновой оторочкой. Тамариски ли это? Или... моя тоска по дому, память, такая преувеличенная и расцвеченная,

о северном скромном вереске? И не оживает ли забытый с детства страх-соблазн перед Змеем-Горынычем, когда поверх кустов и деревьев возникает на длинной изогнутой шее под львиной гривой немыслимая голова с человеческими глазами — не людская, не звериная — голова верблюда?

— Черт, ну черт же! Неужто такому добру пропадать? Тебе бы, парень, не землекопом, а музыкантом быть, певцом. Тебе этого никто не говорил?

— Говорили.

— В опере петь.

— Да. — Джевгаш взмахнул лопатой, как саблей. — Выйдет такой Тагир горбатый на сцену — зал как покажется. — Он показал и выходящего Тагира и покатывающийся зал.

— Фигура дело десятое, — смутился Родион.

— У нас много горластых и без меня.

— Хоть бы Юрий Витольдович организовал при музее филиал консерватории — при отделе народного искусства...

Джевгаш красиво и далеко отбрасывал лопатой землю.

— Я сам люблю петь, — согласился он, — и умнее делаюсь, когда пою. Меня в интернате всегда просили петь. И песни складывать люблю. Да разве это работа?

— И то не работа, — появилась Аня, покачиваясь на ногах и похихикивая. — Иди-ка мне рыбу почисть, раздобыла в кишлаке. Отпустите на десять минуток раньше? А уж горланить-то они здоровы, как заведут... — Она стала хохотать, закидывая голову и показывая, как это они заведут.

— Пусть идет. Родион откинет мне землю.

Я подумала, что иначе мы вовсе останемся без обеда.

— Прямо не знаю, что мне с этой Аней делать?

— Стукнуть хорошенько.

— Женщину, Родион?

— Я этих баб-алкашек насмотрелся во как, — он провел ладонью у горла. — Чем вы с ней гуманнее, тем она с вами распушеннее. Этого только вы не знаете.

— Знаю, — я вздохнула виновато, — другой-то нет.

— А не будь она алкашка, ее бы на вес золота, и не видать бы нам ее тоже. Дочь от нее уехала. И к внуку не пускает. Правильно делает.

— Может, при внуке-то она бы меньше пила... Все фотографию целует, за пазухой носит, не расстаётся.

— Она еще там пол-литра носит, тоже не растается. А дочка не в нее. Я же напротив них живу.

— Родион, а как будто ты сам никогда...

— Вы меня видели пьяным?

— Но слышала... былины про Ваську Буслаева.

— Былины — дело личное. Мне разрядка тоже нужна. Я по трое суток без сна работаю. Зачем? А где я время возьму? У меня отпечатков пальцев нет, стер. На последнем панно из ценных пород дерева. Вы еще не видели. Купят или нет — не знаю.

— Психи вы окаянные, один другого загадочнее.

— Еще подружка Анина, тоже алкашка, про меня говорит: «И как это ты, Аня, с Родионом ехать не боишься? Он же по ночам у второй горбольницы людей грабит». Девушке моей знакомой тоже говорила...

— Ты ее не стукнул, надеюсь?

— Еще стукну. Крест, что стукну. Что вам отбросить? Джевгаш вернулся на раскоп еще до перерыва, хмурый.

— Почистили? Что так быстро?

— Так.

— Она небось напоить пыталась, — чертыхнулся Родион.

— Да ну. Я же отказался! — И, чтобы замять дело, Джевгаш закричал, показывая на холмы: — Смотри, смотри!.. Вот этот верблюд хулиган! Видишь, как идет. С таким лучше не встречаться.

Верблюд ступал, оттопырив хвост и нос, вихляя всеми членами, словно марионетка, которую дергают за веревочки.

— А если он на раскоп пожалует?

— Других верблюдов звать надо. Они прогонят.

— Всыпать ему как следует, — предложил Родион.

— Ой нет, он себя не помнит, разъярится. Хуже будет.

Я рассказала, как страшно мне было в верблюжьем лесу, Джевгаш даже лопату отложил в сторону.

— Аувва! Страшно! Конечно, они испугались! Чего ты от них хочешь? Зачем подкрадываешься? Вместо того чтобы прогнать!

Вспомнила я и красавицу.

— Вот у тебя большие глаза, но не такие...

Джевгаш смутился:

— Нет, куда мне, у сестры моей средней — похоже...

— Я думала, у казахов обязательно узкие, а круглых не бывает.

— Очень бывает, редко. Поэты про них стихи пишут.

У Сакена Сейфуллина как раз есть. В народе «козьи глаза» называют.

— Ну-у, у козы глупые глаза. А это... два солнца на одном небе, даже страшно.

Он что-то запел, Родион отсвистывал ему из раскопа вариации, Джевгаш отвечал своими.

— Вы обратили внимание; как он вверх лезет — не нашему, у нас и звуков-то нет таких. Ждешь: вот-вот потеряется, а он опять на чистое ля сходит. Нет, я пас, — объявил Родион.

— Ты учился где-нибудь музыке, Джевгаш?

— В ауле учился, в кружке интернатском. Из города учительница приезжала. У меня в музыкальном училище все знакомые. Не понимаешь, о чем пою? Про два солнца на одном небе. И чтоб никогда они не закатывались. И чтоб миновали их тучи грозовые.

— Ты хорошо говоришь по-русски, Джевгаш.

— Ой, какое хорошо? Я по-русски песню не сложу. А некоторых слов совсем не понимаю... Что такое душа?

— Хм, — я испытывала затруднения, — ну... это, в общем, сущность, суть самая, тьфу ты... это вся жизнь, мысли и чувства человека, живого существа.

— А хорошо или плохо, когда душа?

— Как это?

— Родион сказал, что я с душой пою и меня надо в театре показывать. А Аня сказала, что сазан с душой и сазана на помойку надо...

Я попыталась объяснить разницу.

— А-а! У нас тоже есть душа, по-казахски. Но у меня иногда совсем души не бывает, — озабоченно сказал он. Отбросил накопившуюся землю и опять подсел поближе: — Можно тебя спросить еще?

— Попробуй.

— Чего ты все время ищешь?

— Ты же знаешь. Полы, стены, черепки, все следы прежней жизни, чтобы определить время, судьбу людей, которые здесь жили когда-то.

— А в горах? На такырах?

— Находки.

— А в тугаях, над арыком чего ищешь, в поселках?

— Гуляю...

— Гуляют по-другому. Вместе ходят, смеются, болтают. А ты... ищешь все чего-то? Я потому за тобой хожу, — глаза его таинственно зазеленели, — хочу видеть, что ты найдешь? Может, и мне пригодится. — Он засмеялся, и глаза его стали желтыми и веселыми.

Мне надо составить хотя бы грубую схему водоснабжения нашей крепости, которое частично совпадает с нынешним. Я пошла с ним знакомиться.

Ловкий и прямой канал-протока, и все краски осени, отраженные неподвижной водой... Сейчас он уже перекрыт, обмелел. Вдоль берегов обнажилось дно двойной каймой: посуху светлой, как рядно, и бархатисто-коричневой по влажному. И не поймешь, то ли этот канал — продолжение ковровых дорожек, которые мы храним в нашем музее? То ли дорожки когда-то ткались женщинами как продолжение этих спокойных, эпических каналов.

Я долго искала выхода на высокий берег, злилась и чертыхалась, продираясь сквозь колючки джангила,¹ кое-где обтянутые жестким узколистым выюнком. Даже песня Джевгаша до меня не достигала. И я выбралась на дорогу очень далеко от лагеря.

Быстро наступал вечер. Бредовая красота набросилась на меня из-за поворота, когда расступились тугаи. Ближние холмы были темны, дальше яснили до прозрачности аквамарины. Там, на половине высоты гор, золотились башни, зубчатые стены города. Казалось, он накренился, взбегая на ближние валы и готовясь взлететь на самые крутые и грозные — они нависали. Над ними горела полоска заката тех же цветов, что и наш город, но раскаленное. А выше громоздились темно-сизые тучи, тяжелее и глуше каменных гор.

Чересчур красиво, если бы не дикость! Азия — в каждом мазке. В жестких, решительных отсветах. В грубых сколах камня, в категоричности каждого силуэта.

Задерживая шаг, я смотрела, как от предстоящей разлуки с солнцем меняется крепость, блекнет. И вдруг, когда солнце зашло, начинается новая жизнь цвета, но уже вдо-вья — последняя попытка бороться с наступающей ночью. Сумерки липнут к глазам. А крепость приспосабливается и к ним: разваливается, но отдельные останцы перестраиваются в странные фигуры магов, склонившихся у алтарей, воннов, ставших на страже. Тайная мечта крепостей и башен стать людьми.

В проломе стены, где-то в синеве, еще не забывшей о солнце, загорается звезда.

Тайная мечта человека — стать звездой.

Тайная мечта гор...

— Бэ-э-э-э-э, — треугольное бесшечное лицо Мефистофеля таращится из пролома сумасшедшими глазами,

¹ Джангил — кустарник,

бегущими к вискам. Разведенные рога кольнули звезду, она налипает на левый рог. Откуда принесло к нам черного козла? Его блеянье под бряканье бубенца отдает дурацким злобным хохотом.

— Аминь, рассыпсья, — я поднимаю руку для крестного знаменья.

Он мекает коротко своему гарему, четырем разнопегим женам, те враз пускают струйки на древние стены, шараяются и с разбойным топотом все исчезают.

...Позже проходят мимо моей палатки Родион и Джевгаш, продолжая какой-то свой спор.

— Нельзя, всех не пережалеешь. И вредно людям, чтобы их жалели, — расслабляются, понимаешь, коленные суставы. И себя надо в кулаке держать, и другим спуску не давать. Не то съедят со всеми потрохами. Вот так, понял?

— Нет, Родик. Песня должна быть доброй. Злые песни — я их тоже знаю — плохие песни.

— Песня пусть доброй остается, я ничего против песен. Песня пусть. Понял?

— Песни не растут на деревьях, их складывают люди.

— Песней гору не раздобишь, молотом надежнее. Понял? Не обижайся.

— Есть у русских пословица: горбатого могила исправит, — смеется Джевгаш. — Спокойной ночи... Пока, завтра рано вставать...

— Евгения Васильевна! Только не пугайтесь, пожалуйста.

Я с трудом вырывалась из сна. Голос звучал над самым ухом. Приподнялась. В палатке никого нет.

— Евгения Васильевна, что-то случилось, только, умоляю, спокойно...

Единственный, кто мог «умолять», конечно, Родион. Однако таким странным голосом, что я не узнала. Он стоял снаружи палатки, у самого моего изголовья.

— Что там?

— Сам не понимаю. Солнце всходит не с той стороны.

Уезжая в город, Юрий сказал: «Ну, с вами Родион, беспокоиться не о чем».

— Родион! Где ты достал спирт?

Бутыль стояла у меня под раскладушкой.

— Евгения Васильевна, да я... Выйдите, пожалуйста, из палатки, завернитесь в простыню.

— Я и не собираюсь выскакивать голой. Сейчас оденусь, раз уж утро.

В палатке было светло.

— Да никакое не утро, а ночь, вечер. В том-то и дело. Вы очень рано уснули. А был вечер и сумерки, закат очень хороший, солнце село на западе.

— А потом встало?

— Да. Только село — и сразу стало вставать. Обратно. Сколько же он выпил? И как с ним теперь справиться?

— А что ты, собственно, волнуешься?

— Вы понимаете, что это значит?

— Конечно. Земля завращалась в другую сторону. Ей надоело всегда в одну.

— Люблю веселых людей. А по-моему, не смешно. Я бежал, еще поварихи не добудился.

Родион действительно был совершенно трезв. Пьяным оказалось небо, рассветающее на западе, багровеющее все ярче. Оно окрашивало тучи, и бурую землю городища, и горы зловещими отблесками. И четырех призраков в белых саванах, выстроившихся около рабочей палатки и наблюдавших молча странное зрелище.

— Повариха наклюкалась, ее не поднять, не знаю, как с ней быть, — доложил пятый призрак в белой простыне, сам Родион. — Так. От самого эпицентра мы защищены холмом городища, — распоряжался он. — Ну-ка, ребята, вы лучше не выскакивайте, палатка хлипкая, но все-таки защищена. А я пойду на крепость влезу, с высоты посмотрю, как это выглядит.

Странное малиновое свечение становилось все напряженнее, было светло, как в ранние часы утра.

— А разговаривать можно? — спросил один из призраков у рабочей палатки.

— Это не солнце, Родион. Неровный свет очень.

— На гриб похоже?

— Сначала было на гриб.

— Да не было, не сочиняй!

— Конус был.

— И спираль.

— Дракон был, Олега, с семью головами. И лапки, как у ящери.

— Что далеко, то далеко, это верно.

— Второй конец мира за один сезон, братцы!

— На крепость надо влезть.

— Не смейте снимать вкладыши, — рявкнул Родион. — Ну, дети же, дети, что за народ!

— Да мы и во вкладышах добежим.

— Доскачем.

Призраки, семена и прискакивая, направились через дорогу, через кладбище к крепостным стенам.

— Ой, ой, ой, что же это делается-то? — Аня, в одной рубашке, с распущенной косой, держась за створки палатки, покачивалась и прыскала со смеху. — Вы посмотрите на них, перепились, что ли, все? И Родион! И вы! Евгения Васильевна?! Ой, не могу! Да вкладыши-то зачем по камням дерете? За них деньги плачены.

— Прекратите дурацкий хохот! Евгения Васильевна, ну скажите же ей.

— Аня, перестаньте.

— Не буду, не буду. Когда беда у людей — нельзя смеяться. Ну нам-то зачем панику подымать? Мы им все равно не поможем. Далеко это. Очень далеко. За Дарьей. И еще дальше.

— А что это такое по-вашему, Аня?

— Да я ж ему сказала, Родиону, газ горит. Бывает, что зачем-то надо так, ну, это, видать, ЧП. Видала я и такое, когда у них работала. Ох, как страшно! Как трудно газ тушить или нефть... Несколько дней бушует. Ох ты... Ну, сходите на крепость, посмотрите сами.

Ребята о чем-то переговаривались и, когда мы с Родионом подошли к башне, смолкли. Они сидели, приткнувшись друг к другу, дрожа от холода.

— Благодарим за бдительность, Родион. Нас, дураков, учить еще и учить...

— Смени бобину, Олега, не смешно.

— Есть сменить бобину! И не смешно, и газа сколько пропало. А может, и людей кого накрыло.

— А мы, Евгения Васильевна, спугнули тут каких-то, топали так...

— Наверно, козла и его свиту. Ладно. Отправляйтесь-ка спать.

— Я еще посижу, — попросил Джевгаш.

— И я тоже, — сказал Родион.

— Евгения Васильевна, солнце правильно всходит, жаль будить, но вас тут очень спрашивают.

— Кто, Родион?

— Какие-то.

— Сейчас.

На дороге за столовой палаткой стояла закрытая машина с красным крестом. Двое мужчин в белом деликатно поздоровались:

— Вы начальник экспедиции?

- Ну, сейчас я.
- Кто у вас тут больные? Кто покойники? — спросил один.
- Да. И где ваши покойники? — подтвердил второй.
- Покойников мы упаковали, а больных у нас нет.
- Как это именно — упаковали?
- Куда?
- В ящики.
- В гробы, так сказать?
- Так сказать, в ящики от консервов.
- Двое переглянулись.
- Без справки?
- У нас есть открытый лист.
- Какой такой открытый лист? Документ нужен. Свидетельство.
- Это и есть наш документ. Вряд ли вас интересуют наши покойники. Они ведь очень старые.
- Нам все равно, старые или молодые.
- Нет, не все равно. Тут какое-то недоразумение. Мы вскрываем погребения пятисотлетней давности и тысячелетней. Они не инфекционны — так считает наука. Современных мы не трогаем. Здесь на склонах есть современное кладбище. Можете проверить.
- Нас это не интересует.
- Нас экспедиция интересует. У вас в экспедиции никто не умирал?
- И не болел?
- Нет.
- Вы точно знаете?
- Вы уверены?
- Ну!
- К нам поступили такие сведения. Душевнобольных не имеете?
- Откуда у вас такие сведения?
- От населения.
- Вы не обижайтесь. Всякое бывает. Скрывать не надо.
- Вы все-таки объяснили бы...
- Хорошо, мы объясним.
- Кто у вас по ночам пляшет над могилами в белых саванах? И с какой целью?
- Такие факты наблюдались?
- Ах, вот оно что!.. Я попыталась объяснить, что происходило. Рабочие, уже вставшие, обступили нас и хором подтверждали мой рассказ.
- Приехавшие покивали головами:

— Да. Знаем. Газ горел. До утра. Взрыв был. Говорят, крановщик виноват. Но пока выясняется. Крановщик без глаз остался. Жив будет — неизвестно.

Я обернулась к рабочим:

— Вот видите?

Они молчали, помрачневшие.

Джевгаш понуро стоял, опустив голову. Мне показалось, что он очень бледен.

— Фамилию не помните крановщика, ну, который обвиняемый? — спросил он.

— Нет.

— Может, позавтракаете с нами?

— Не позавтракаем. Спешим очень. Если что понадобится, вызывайте. Приедем. Через каменоломни вызывайте.

На следующее утро подошел ко мне Родион:

— Евгения Васильевна, я сегодня отдежурю за Джевгаша, отпустите его в поселок.

— Последнее же воскресенье, мы хотели по горам побродить.

— Не убегут горы. А вы идите себе на башню, вы давно хотели.

— Да, пойду...

Башня эта находилась на полдороге к поселку, в стороне.

Всю дорогу я сгибалась, отшатывалась, увертывалась, будто на меня наезжал невидимый трамвай. Ну и ветрище! Зато без всяких усилий с моей стороны была я вознесена на гору — высшую точку в наших краях со средневековой башней и новым топонимом. Ветер изгрыз всю западную стену башни, превратив ее в ступени. И все же я не буду подыматься по ним — там, наверху, не удержись. Все сипит, гудит и постанывает. И скалы... О, здесь, как в настоящую бурю, они бешеных цветов, взвихренных, перекрученных. Пронзительно синие, зеленые до черноты и густо, ворохами, засыпаны сколом, щебнем, пластинами — каменными брызгами. И резче прорывы в капустно-нежную зелень. И одичалей контрасты с белопенными гребнями. Все бушующее, громадное, грозное.

Отсюда открывается множество миров, для меня разрозненно и непонятно. Я вижу только, что земля создавалась по образу и подобию верблюда. Бурые глинистые пространства всех оттенков верблюжьей шерсти, и сероватые днища пересохших озер, и криволинейные просторы песков, связанные, словно караваны, лиловой постройкой

реки. И надо всем этим умбрийские синие дали, как у Леонардо за окнами тайной вечери, за спинами печальных и веселых мадонн. Но это гармоническая традиция. Я же, современный негативист, вижу в овражистых тенях — извилины мозга, похожего на человеческий! Научимся ли мы когда-нибудь понимать мысли наших гор, нашей земли? Ведь может быть, они — о нас же? А те, самые далекие горы, похожие на птиц с полураскрытыми крыльями — черносиние вороны? Белоголовые грифы? Выше них лишь угадываешь трезубцы, повторяющиеся на разных высотах. Триоли со сдвинутыми акцентами? Из presto Патетической?.. Ерунда! Все не так. Сколько ни смотрю на эти горы, ничего я в них не понимаю. Уж если хочешь разобраться, не поленись подобрать камень — в ладонях лучше разглядишь... Я стаскиваю перчатку с заколодевших пальцев, пригибаюсь к земле отщепить пласт розовой породы у подножия башни и слышу всхлипывания и частое шмыганье носом.

— Ух ты, я-то думала, это ветер так! Может, хватит уже?

— Мои слезы землю не прожгут.

— Обидел тебя кто?

— Это я так...

— Ну, раз так, то хватит.

— Кому-нибудь всегда приходится плакать, чтобы другие не плакали... Почему ты ни о чем не спрашиваешь?

— Я догадываюсь.

— Ты поняла, что это моя мать?

— Да.

— А еще что поняла?

— Я только один раз в жизни встретила такие глаза, как у твоей матери... — я вздохнула набрала полные легкие ветра, но выдыхала очень долго.

— Понимаю. Хорошо, теперь я подумаю, а потом расскажу тебе, как я убежал из дому. Я бы не вернулся. Поступил бы в пединститут... Теперь им надо помогать: их пятеро, она шестая. Калекой он будет еще злее. Она все равно его примет. Она даже рада: «Куда такой пойдет? Кому кроме меня нужен?» Раньше он много зарабатывал. И пусть пьет, теперь он все равно не сможет драться. Даже если у них опять родятся дети. И пусть они все учатся — и старые дети, и новые. Они меня любят. Им одеть нечего бывает — все пропивает. Я в забое могу работать. Мы с Родионом договорились вместе на рудники. Мне у вас нравилось, а там больше платят... Разве так ее надо любить? Она ушла за ним из кишлака. Там у нас все было. Люди

ее ругали за это. И здесь жалеют. Когда он других женщин заводил. А она сказала: «Лучше мучиться, да любить». Гордая, не жалеет, что ушла. Там бы ее тоже выдали замуж.

.. Мне хорошо было в интернате, но я очень переживал. Все письма ее по ночам нюхал: мукой, хлебом пахли. А я ей два письма в день писал, но домой не просился. Сначала печатными буквами, все слова вместе. И после каждого слова точку, чтобы больше уместилось. Потом... самый грамотный был в классе.

— Что ж он, красивый очень?

— Раньше был.

— За что она так любит?

— Добрая. Мать сказала: «Он тебя отослал не потому, что лишний рот и не работник. А потому, что зла своего видеть не хочет — совестно. А ты знай свое, все умеи делать». В первый раз он стал мать бить, а я защитить хотел, бросился — тогда все и случилось. Потому что родился я как все. Об этом только мы трое знаем. Ты тоже забудь, пожалуйста. Когда я подрос, ездил к ним помогать по хозяйству. Но при нем она со мной другая. Отдала бы всех в интернат, им бы лучше, — ни за что не отдаст. Он такой, если одного Родиона на второго Родиона поставить — получится мой отец.

— Ого!

— Он нарочно меня отдал подальше в другой город, чтобы мать не отвлекалась. А она приезжала. Ни у кого такой красивой матери — все признавали. Смотреть на нее специально приходили. И когда я болел в больнице, и она при мне сидела... Днем мы стеснялись людей, только смотрели друг на друга. А по ночам говорили. Самые добрые слова, какие могли придумать. Какие есть хорошие слова на свете! Если есть кому сказать. Я старался не спать совсем, чтобы быть с ней подольше. А она сказала: «Ты все равно спи, я тебя за руку держать буду». Я тогда умереть хотел, чтобы не просыпаться, когда ее нет. А она сказала: «Нельзя умирать ни тебе, ни мне. Еще дети растут, помогать им надо». Но сама она тогда несколько не спала. Кашляют, стонут вокруг, для других мучения, тоска — а для меня все это самое дорогое... Никто уже меня так любить не будет... Девушки такого не полюбят.

— Как знать! Я думаю, найдется такая одна, что полюбит.

— Ты так думаешь?

— Да! Вот смотри-ка. Вот эти пересохшие земли — как мышиные шкурки серые — что это?

— Будущие поля, сначала люцерны, потом хлопка... Через год распашем.

— А вон те — потемнее, кротовые шкурки?

— Там вязко сейчас, нельзя пахать — травы нарастут, скот будет ходить, ну, потом тоже распашем.

— А туда что?

— Колхоз.

— А дальше?

— Река, горы.

— А там что?

— Где это?

— За той синей полосой?

— Еще горы.

— А за ними?

— Не знаю, не был. Наверное, реки, долины, кишлаки, города. Откуда мне знать? Их много.

— И ты думаешь, если их так много, они пожалеют для тебя одной-единственной девушки? А для чего ж тогда земле и быть такой большой?

— У тебя подъем чувств.

— Чего-чего?

— Говорят, если у человека подъем чувств — он дальше видит, как это... практически неограниченно. (Я почувствовала цитату из Олега.) А хорошо бы... Но такие бывают в сказках чудеса.

— Э, не-ет. Чудеса совершенно не такие. Чудеса — знаешь когда? Когда, несмотря на всю огромность земли со всеми ее городами, селами, долинами, облаками, океанами, единственную девушку находят в своем кишлаке. Да. Потому что свой кишлак — это ведь тоже самые дальние дали. Да-да. Если смотреть с острова Мадагаскара, например.

— Я очень знаю остров Мадагаскар, — почему-то ужасно обрадовался Джевгаш. — Баб-эль-мандебский пролив...

И шмыгнул носом. Он застеснялся.

— Я не слышал, как ты подошла. Я давно ждал. Настоящие мужчины не плачут, и еще так, чтобы знали.

— Нет. Настоящие мужчины тоже плачут. И — шагают дальше.

— Тогда пойдем, а то... — он улыбнулся, — Родион забеспокоится.

— Пойдем. Теперь я уже знаю: тайная мечта гор — стать плодородной землей.

Когда мы приблизились к лагерю, у столовой палатки увидели силуэт машины, ура — нашей!

Юрий сидел на корточках возле груды черепков, он хватал какие-то, плевал на них и растирал рукавом или о грудь.

— Тринадцатый — четырнадцатый века, монголы, — шептал он, — вот видите... вот видите. Какая прелесть, благодать...

Черепки были серые, лощеные, с узорами, напоминавшими резьбу по дереву, были и сверкающие поливой, с птицами, цветами, надписями. А главное, их было навалом — на многие-многие бессонные ночи.

— Будем грузиться, уф... Хорошо бы, ничего не случилось.

А что же еще могло случиться, о чем так беспокоился Юрий, когда все уже случилось: земля создала такие горы, а мы их увидели.

ИЛАН-КАЛА

(В змеином царстве)

Этот памятник считался у нас северным. Понятно, север не настоящий, южный. И мы, не раздумывая долго, отправились туда в октябре. И задал же он нам!

Не переставая, не ослабевая, дул пронзительный холодный ветер. Низкое серое небо нависало беспокойно бегущими лохмами. Потом вдруг произошла заминка в небесах, ветер упал.

— Смотрите-ка, тучи совсем как снеговые. Не собирается ли снежок выпасть? — острили мы.

И ночью он выпал. С нежнейшим шорохом — без жесткого царапанья песчинок — забил клапаны и шторы палаток. Но потом, спохватившись, что все-таки не дома, на севере, он подтаял. Ветер возобновился. И такыры превратились в огромный — до горизонта — ледовитый стадион. По утрам мы долго оттаивали воду, чтобы умыться. По ночам было невозможно уснуть, потому что никак не согреться. Самый страшный холод на исходе ночи шел от земли. Он вылезал и без лишних слов хватал когтями ребра, плечи, югн.

Существуют вспомогательные способы обогрева.

Позже вставать. Не вставать совсем. Прыгать, плясать. Мы все перепробовали. Позже вставали. Пили обжигающий кофе. Разжигали костры рядом с раскопами. Плясали

чечетку вокруг них. Выжить-то мы могли, но надо было еще работать.

И мы стали потихоньку роптать. А кое-кто вслух.

— Господи, хоть бы один тушканчик, пусть с чумными блохами, — спят, скоты, в теплых норках.

— В теплых шубках!

— Хоть бы один скорпиончик!

Скрюченные, мы стояли за щелявой глинобитной стеной погребального сооружения, стараясь укрыться от ветра или хоть защитить наш утлый костерчик.

— Хоть бы один зменный заморышек...

Все жадно смотрели на костер, надеясь, что если не реальное тепло, то хоть вид пламени согреет нас немножко... И никто не заметил, какую хитрую физиономию соорудила Судьба, выглянув из стенного пролома.

— Вроде ветер крутит, — только и сказали мы...

Пламя взвилось, как корона, а потом стало кланяться на все стороны света.

— Братцы, а ведь небо-то проясняется, — кто-то отважился высунуться из-за стены. — Неужто потеплеет?

— Неужели вообще где-нибудь когда-нибудь бывает тепло?

В перерыв мы раздевались к обеду: размотали косынки, вылезли из ватников, скинули по несколько пар брюк каждый, а кое-кто — были такие счастливики — и полушубки. Ветер дул, палатки, присев на лапы, словно готовились к прыжку и скулили. Но это был свой, южный ветер.

Ну вот и кончилась великая мистика холода.

Какая уж тут мистика! Вбежав во главе оравы в палатку и намереваясь рухнуть на два часа сладчайшего теплого сна, я сиганула к выходу рекордным прыжком — задом наперед. На развернутом тулупе, рукав которого свисал до земли, в самой гуще ворса, свернувшись колечками, лежала змея. Нет, это не шутка добрых товарищей, которые для выражения симпатии иногда подбрасывают на кровать свернутый шланг. Это была в буквальном смысле змея, да еще недовольная, что ее тревожат. Верхнее кольцо из мягкого стало напряженным, словно налилось металлом, а изящная головка под острым углом нацелилась в мою сторону.

— Тс, тс, — полуобернувшись я к товарищам. Они старались втолкнуть меня обратно — я загораживала им вход.

— Тс, там спят; змея на тулупе Юрия.

— Ты с ума сошла? Змея шерсти овечьей боится.

— Значит, это она сошла с ума, а не я. Осторожно.

У нее шея, плечи и щеки. То есть челюсти, она ядовитая. Надо ее как-то попросить покинуть нас.

Я не убила ни одной змеи за всю жизнь. Из глубокого уважения! За то, быть может, что они меня ни разу не цапнули. Даже когда я на них наступала. Я против того, чтобы их убивали. Мы же их не едим. А если они кусают других животных, пусть сами животные и разбираются. Но никто не захотел вникать в мои соображения о равновесии мудрой природы. Мужчины, вооружившись лопатами, прикончили гостью. По-моему, это неэтично. Я предпочитаю уважать змей на расстоянии, не ищу с ними встреч. Но эту мне было жаль. Она пришла к человеку, чтобы согреться, живое к живому... Взобралась по рукаву, преодолевая отращивание к запахам мужского пота, масляных красок, олифы... Лучше бы ее отпустили с миром.

Все, что происходило дальше, тоже было не мистическим, однако выглядело сказочно. Вся двухэтажная усыпальница вдруг ощерилась, зашуршала: змеи ползли, вытекали, выбрасывались из щелей и дырочек, которых накопилось предостаточно за два с половиной тысячелетия. Грандиозное зрелище! Но работать невозможно.

— Ничего, это быстро кончится, справимся за какой-нибудь день.

И пошло великое побоище...

На второй, третий, четвертый день продолжалось то же самое...

— Ведь они же сами уползут!

Но я никого не могла переспорить.

— Можете набить свой спальный мешок хоть доверху в конце работ, если останетесь с глазу на глаз с ними, — заявил Юрий Витольдович, — а сейчас кругом люди.

— Скорей всего, у них — миграция?

— Они, наверное, собрались зимовать тут?

— А не сошлись ли они на свадьбу общую? А холод их застучал.

— Конечно, не можете вы обойтись без секса, — напустился на меня Юрий Витольдович. — Общеизвестно: свадьбы весной. По всей Средней Азии...

— Вот еще! По всей Средней Азии свадьбы играют преимущественно осенью, по Ташкенту грузовые машины с музыкантами разъезжают, пируют... неделями.

— Не сеите нездоровых настроений.

Я больше не сеяла.

А змей валом валили. То и дело раздавались боевые клики, удары оружия, и мужчины, зачем-то подняв высоко в воздух, волокли очередную жертву. За что я и недолюб-

ливаю мужчин: с виду само добродушие, а поскреби — и вылезет рыболов или охотник. Сначала наши мужчины охотились с азартом, потом с раздражением: надоело бить, колоть, рвать головы.

Повара пытались выкуривать змей дымом, и все топливо, с таким трудом собранное по лысым такырам для кухни, пошло на костры, разложенные кольцами вокруг памятников. Мы питались всухомятку. А подогретые змеи поползли активнее. Шофер насprinцевал клизмой бензин в щели и поджег. Памятник покрылся черными разводами. Машина осталась без горючего. А змеи ползли. Реставраторы промазывали щели безэфом, чтобы змеи приклеивались. А они, не выжидая, пока подсохнет безэф, выбрасывались. Родион советовал заложить динамит, а Рыболов — замуровать все щели, если не цементом, то хотя бы пахсой. Но легче сложить заново несколько таких памятников, к тому же наше дело не замазывать и замуровывать, а как раз раскапывать и размуровывать.

Травили змей дустом. Доктор делал тысячетным стенам какие-то таинственные уколы шприцем новых средств: ядов, вакцин. Воздействовали на змей шумом, пустили в ход тазы, ведра, кастрюли, крышки, транзисторы, несколько охотничьих ружей, завели машину, — это, видимо, разбудило самых сонных и ленивых.

Я наблюдала всю эту возню проницательно. Куда дешевле и эффективней было бы соорудить попросту Медного Змея. И — современной!

— И ведь они еще никого не укусили?! Несмотря на все меры...

— Так что же — ждать, пока это случится?

Маленький Утек, работавший со мной, стойко не раскрывал глаз. Что бы я ему ни говорила, ко мне обращались лишь голубоватые пленочки век. Так же стойко сохранял он внешность беспризорника двадцатых годов, сколько мы его ни мыли, ни экипировали. Он любил разбойничьи пошвысты и вышиб передний зуб, чтобы артистичнее сплевывать. Прибрать его к рукам не легче, чем барханного кота. И, подобно барханному коту, он прирожденный охотник, быстрый, прыгучий, с неслышными движениями, способный так же часами подстергать и выслеживать дичь. Но мне надо было от него другое — чтобы он бросал лопатой землю.

Второй мой рабочий неполных восемнадцати лет был вполне сложившийся могучий батыр. Кулаки его были

крупнее головы, а пухлое ребячье лицо, полное любопытства, казалось лишь по чистой случайности приставленным к этому гиганту. Звали его Туркмен-йомуд-аувва¹ — так сам он представлялся, троекратно рывкая, круговым движением ударял себя кулаком в грудь и выбрасывал его высоко над головой. Он был спокойный, басистый, неутомимый и неустрашимый. Боялся он только черепов и горько плакал, когда его ушанку Утек надел на свежевыкопанный затылок какого-то аппаснака², застрявшего в кострище. Мне пришлось снять с себя красную лыжную шапочку, натянуть ее на тот же череп и завязать бантик под зубастой челюстью.

От избытка чувств батыр только руку к сердцу прижал и склонил голову, не найдя подходящих слов — он плохо знал русский, — но ребячья мордочка его просияла...

Он был еще слишком обижен на Утека и протестовал, когда тот, хитро поводя склеенными веками, предложил, что, мол, он, Утек, будет стоять на часах и бить всех змей, а мы с батыром — спокойно работать.

— Джок, мы и так работать будем. Бери лопату, кидай отвал. Аувва!

— ...Где больше змей, я там встану, — предложил Туркмен-йомуд-аувва, решительно поддернув штаны.

— А, черт, вон опять ползет, — я отпрыгнула, чуть не наступила на вторую и взлетела на отвал, там меня встретили сразу две.

— Ты наплюнь на них, апа, — посоветовал Туркмен-йомуд-аувва, сдвигая шапку на затылок, — он больше не снимал ее, как бы ни припекало.

— Советчик нашелся. Наплевать! Они же ядовитые, не понимаешь?

— Очень плохо кусают, понимаю. Они не будут ползать больше. Ты не... — он искал подходящего слова, — ...ты не в мыслях, ты плювай так. — И с полным ртом белоснежных зубов без всяких прицелов он плюнул метра на два вверх и угодил на морду змен.

— Охо, — прошептал Утек, в первый раз глаза его раскрылись и оказались большими-пребольшими. Змея как-то дернулась и запала на бок, местами показывая осветленное брюхо. Она не шевелилась больше.

— Что это с ней? — спросил Утек.

— Помрал, — спокойно сказал Туркмен-йомуд-аувва.

— Как помрал? Совсем?

¹ Йомуд — туркменское племя. Аувва — да.

² Аппаснаки — название племени, предположительно населявшего эти места в древности.

— Конечки.

Утек с опаской пошевелил змею концом лома. Она болталась, как тряпичная.

— А она не оживет?

— Если мою шапку еще тронешь — живой будет. Куда ни зарой — встанет. Ночью придет. Далеко уйдешь — твой кишлак, твой город, твой дом найдет.

Но Утек с дохлой змеей на лопате неся уже от раскопа к раскопу, выкрикивая новость.

На всех это произвело сильное впечатление, но доктора сразило. Молодой биолог, новичок, явившийся в пустыню «в порядке знакомства с жизнью», не спросивший, сколько мы будем платить ему. Он примчался ко мне на раскоп! Он потребовал проверки чистоты эксперимента. Дохлую змею запихал в стеклянную банку. Банку завязал марлей. Чтобы змея могла прийти в чувство. Она не пришла в чувство. И доктор констатировал летальный исход. Он сам был близок к летальному исходу, ибо решил лично проверить эксперимент. Сколько ни подлавливали ему змей, ущемляя их лопатами, — близорукий интеллигентный москвич не мог плюнуть змее прямо в лицо. Говорят, он их облизывал и целовал. Не знаю, так ли? Но я видела собственными глазами, как, стоя на четвереньках и распластав по земле бороду, он запихивал себе в рот какие-то препараты, чтобы усилить слюноотделение. А ребята-рабочие давали ему советы:

— Ты глаз-то прищурь.

— Мазила, опять мимо.

— О, в восьмерку уже.

— Кучность попадания. Это самое главное, чтобы кучность...

— Зачем на животе ползает? Приманить хочет? Змею не обманешь, джок, змея всей кожей понимает, видит, — наблюдал издали Туркмен-йомуд-аувва.

— Ты лучше пойдя да помоги человеку.

— Помочь? Хазар¹, — он поднялся, пошвырял ногами крупные комья завала, а когда что-то блеснуло, присел, поводит сомкнутыми пальцами влево, вправо и движением, каким ловят моль, извлек за шею роскошную змею и как бы отряхнул ее от пыли.

— На, доктор, на, бери.

— Она же сдохла, ты ей позвонки растянул.

— Пускай на дохлой учится. Живая кусает. Нехорошо,

¹ Х а з а р — сейчас.

если лицо кусает, глаз кусает. Они сейчас не очень убивают. Весной хуже.

Еще одним движением, словно из брючного кармана, выхватил другую змею. Она бешено извивалась.

— Пусть живую плюет. Я держать буду.

Доктор оплевал моего парня с головы до ног. Но как оба они ни старались, ничего не выходило. Пока кто-то не придумал: плюнуть на колонковую кисточку (мою!) и перенести ферменты на лицо змеи. Змея сдохла. А Туркмен-йомуд-аувва подмигнул мне. По-моему, он просто придумал ее двумя пальцами, наскучив стоять оплеванным.

— Ты что, змеелов? Или в семье у тебя змееловы?

— У нас в семье змеелова нет, змей — да, много. Бывает, змея в дом приходит. У нас все умеют плевать. Я думал, вы тоже знаете. Это что вы стенам уколы делали, костры жгли, я думал — для археологии так надо.

Он еще кое-что рассказал мне. Сначала произнес по-туркменски слово, которое я не могла ни повторить, ни записать со своими русскими ушами.

— Не понимаешь? Раис¹ есть, знаешь? Раис раисов.

— Ничего не понимаю.

— Шах, знаешь?

— Царь?

— Аувва. У их женщина-царь, самый умный, старый, все дороги знает, учила.

— А-а! Королева змей?

— Аувва, королева змей. Если королева змей ушел, все за ним пойдут... Он путь показывал. Как гуси, как журавли свой раис есть. Все слушают.

— Ну, а если ее убьют?

— Новую выбирают. Спорят. Ищут, очень беспокоятся. Я вчера гулял, смотрел.

— Выбрали?

— Аувва. Теперь все уйдут.

— А твою королеву змей как отличать? Что у нее, корона на голове?

— Я не знаю отличать. Бабушка знает. Теперь плохо будет. Сколько тушкан будет!! Ох-хо... Чума бы не пришла. Когда тушкан много... — Он ушел, покачивая сокрушенно головой.

Но об этом разговоре я помалкивала.

И без того у нас хватало споров.

— Змея не человек — обижается и погибает от психической травмы.

¹ Раис — председатель.

— Ее слюна заклеивает, ей дышать нечем.

Теперь змей не только убивали, а еще предварительно мучили. Обмазывали головы компотами, супами, отварами, чаем и кофе, сгущенным молоком — оно более всего понравилось змеям. Но убивала их только человеческая слюна. И вдруг как-то все успокоились. Или змей стало меньше, или они поумнели и навсегда решили покинуть роковой для них памятник, и... прав был Туркмен-Йомуд-аувва? В то время пошли во множестве археологические находки и вытеснили интерес к змеям.

Я вернулась к этой проблеме, приехав из экспедиции. Пошла к очень ученым змееведам. Я думала, я им буду задавать вопросы. А вышло наоборот.

— Кто вы по профессии?

— Ну... художник.

— И у вас, конечно, художественное воображение?

— Из тридцати человек только двое были художники.

— А остальные двадцать восемь просто с живым воображением?

Я пожала плечами: наверное, это все-таки лучше, чем никакого.

— Опишите видовые признаки.

— Что-то вроде щитомордников. Те, что я видела.

— На картинках?

— Да. (Я сама их рисовала — эти картинки.) Да и в экспозициях, в зоосаде и в натуре.

— Так признаки все-таки?

— Бурые, с темными пятнами, брюхо посветлее, шея выражена менее резко, чем у гюрзы. Плечи покatee. Длина около метра.

— А как выглядел доктор, ваш биолог?

— Тоже видовые признаки? Рыжеватый, с бородкой, в очках, губы пухлые, розовые, кожа бледная, плохо воспринимающая загар, руки холеные, белые, плечи покatee, чем обычно у мужчин, быстро пьянеет, очень много спит, легко возбудим, плохо переносит резкие смены температуры и продолжительные песчаные бураны. Любит стихи акмеистов и разговоры о левой живописи, собирает русские иконы, увлекается телекинезом.

— Достаточно. Вот видите, сколько вы знаете про доктора.

Я разозлилась. Я пришла домой, достала с полки книгу, «некогда сочиненную магистром Алькофрибасом, извлекаемым квинтэссенции — «Повесть о преужасной жизни великого Гаргантюа, отца Пантагрюэля». И «Книгу героических деяний и сказаний Доброго Пантагрюэля» — четвертую,

подписанную без псевдонимов доктором медицины Франсуа Рабле, напечатанную впервые в 1552 году... Мне что-то помнилось...

Глава 63, «О том, как Пантагрюэль вздремнул близ острова Ханефа (Ханжей), а равно и о вопросах, заданных ему после его пробуждения». Среди прочих Панург задал вопрос, актуальный для всех времен и широт: «Есть ли средство от злости?» А Эвсфен (Крепыш) спросил: «Почему слюна голодного человека — яд для всех ядовитых змей и животных?»

Откуда почерпнул эти сведения Рабле — полиглот, энциклопедист?

А-а! Приветик! Наш старый друг, Абу Али ал Хусейн ибн Абдаллах ибн ал Хасан ибн Али Сина, короче — Ибн-Сина, иначе Авиценна, величайший ученый средневекового Востока, по происхождению таджик из селения Афсан, близ Бухары (980—1037 гг.).

Эпоха Саманидов. В государство их входили области Хорезма, нынешнего Узбекистана... и Туркмении, и Таджикистана. Крупнейшие города: Бухара, Самарканд, Кеш, Несеф (знаменитая Ниса — гордость археологов), Бинкет (на месте современного Ташкента), Мерв, Нишапур, Герат, Балх, Кят. В городе Кяте родился великий современник и друг Авиценны, хорезмийский ученый Бируни. Известно, что они состояли в переписке, часть ее сохранилась.

Среди подданных Саманидов были таджики, хорезмийцы и тюркские племена: тюркешы, карлуки, огузы.

Заглянула я в сочинения Ибн-Сины. Его «Канон врачебной науки» — медицинская энциклопедия, которой пользовались не только современники, но врачи многих стран в течение веков.

Книга вторая, «О простых лекарствах». Сорок восьмой раздел: «Инсан» — «Человек». Пункт 142-а — не вопрос, а утверждение: «Слюна человека, взятая натошак, убивает скорпионов и змей». Ибн-Сина был еще врачом-практиком и экспериментатором. К некоторым сведениям он сам относится с сомнением, но не к пункту 142-а. Источники «Простых лекарств» обширны. Одни лекарства заимствованы у античных авторов, другие еще древнее, некоторые помечены как «лекарства тюрков». Полукочевые и кочевые народы сталкивались со змеями чаще земледельческих. В «Канонах» приводятся чаще именно тюркские способы лечения от укуса змеи. Что из всего этого следует?

Во-первых, что... нам надо сменить хозяйственников, которые держали отряд впроголодь.

Во-вторых, знаменитый фокус заклинателей змей в Ин-

дин и Египте — когда человек на какой-то миг языком прижимается к голове змеи — вовсе даже не фокус. Змея ощущает внезапную смертельную угрозу, замирает от страха, а потом приходит в бешенство (когда человек отделился). При частом повторении змея привыкает к ситуации и может изменить свое поведение. Потому заклинатели предпочитали менять своих партнерш почаще. По этой же причине избегал летального исхода наш доктор, который целовался со змеями по близорукости и чисто личным мотивам (интерес к науке).

Не все читают Ибн-Сину и Бируни в кишлаке, откуда пришел к нам Туркмен-йомуд-аувва. Но кто знает, какими путями доходят традиции — вернее с о х р а н я ю т с я — в народе тысячелетиями! Быть может, это самое интересное!

В селении Афсан, на родине Авиценны, мы останавливались часто проездом, нас еще угощали там мантами. А в Кяте (Шаббазе), ныне переименованном в город Бируни, в рыбобарке... Извините, змеи, рот мой наполняется слюной. Хотя вопрос мой, как и Панурга, остался без ответа...

КАМЫШИ ОСЕННИЕ

Мы примчались с поля — в открытой машине, исхлестанные дождем и ветром. И хотя дорога была прекрасна, как декорации к Шекспиру, и Родион острил: «Главное — это привыкнуть», — мы всерьез опасались плевритов. Ни жарко натопленные комнаты административного домика, ни кипящий чай не оттаяли нас. И тогда мы позвонили в баню.

- Общая только для мужчин.
- А номера есть? Для двух женщин?
- Приходите сейчас.
- А через полчаса? Мы из песков.
- Заказывайте.

Мы очень благодарили кассиршу.

В баню бежали бегом. Мальвина в темноте поскользнулась, шлепнулась в бархатистую грязь обезвоженного арыка.

Кассирша ушла. Молоденькие каракалпакские мамы подсушивали ребятишек перед выходом на холодный ветер. Подвыпивший инвалид-банщик отражал непониманием русского языка атаки граждан — крупных, ухоженных, в фуражках серого каракуля. Возглавляла их алебастровая дамочка повышенной наполненности. Ее хорошенькому глупенькому личику свойственно было выражать лишь два

состояния души: «мне надо» и «какие нахалы». Объяснить что-либо ненужное ей самой в сию секунду было немыслимо.

— Никаких номеров вам не будет. Мы ждем целый час, — объявила она.

Это их «Волга» стояла на дороге с неостывшим мотором. Муж дамы выглядел умнее и молчал с затрушенным видом, какой бывает у людей, когда у них слишком много предпримчивых родственников.

— Какой экспедиции, говорите? — спросил самый крупный мужчина.

— Археологической. От Музея искусств.

Надо было сказать — нефтяников? Или газовщиков? Постеснялись бы общих знакомых?

— Ваш номер ждет, тур, тур, мархамят, — неожиданно произнес банщик.

— Как это? — вскочила дама.

— Вам же все толкуют: мы из песков. Кассирша предупредила...

— Вот и видно, что из песков, одичали там в своих песках. Что их слушать, дикарей-то... Вот выйдете на темную улицу, посмотрим, что с вами будет, — страшила она.

— На свою голову не накличете темную улицу, — со зловещей расстановкой объявила Мальвина и, отстранив претендентов-мужчин, вошла в номер. Он не запирался.

— Нахалки! Толкайте их, толкайте, — науськивала дамочка.

Мужчины потянули дверь.

— Не держите, Женя, пусть лезут, — крикнула Мальвина и с мрачной яростью стала сбрасывать с себя одежду. Смерчем взвились косынки, ватники, штаны, свитера, сапоги и, описав круги в воздухе, опустились на кафельные плиты у ее ног. Каракулевые фуражки отступили.

— Я сама их вытащу, — кричала Алебастровая издали.

— И скажите вашей супруге, я все дезинфицирую кипятком, как бы нечаянно...

Мужчины захлопнули дверь и навалились на нее со стороны коридора.

— Ну вот, Женя, уф, — медленно остывала Мальвина. — Вы тут в предбаннике посидите. Я стесняюсь вдвоем мыться. Я мигом.

Утром мы снова столкнулись. На почтамте, возле окошечка для посылок.

— Пропустите, у нас международная, — требовала Алебастровая.

— У нас тоже, — сказал Юрий.

— Ну я же говорю — заграничная...

— У нас из Парижа.

— Видали? Парижане! Может, вы по-французски умеете?

Юрий, заговаривавший по-французски в песках, в горах, на пастбищах, на этот раз промолчал.

— Я выдавала из Канады — и никто не шумел, — удивилась раздатчица.

Юрий отодвинулся:

— Пропустите, это особый народ: караколлар¹.

Вокруг заулыбались. Хохот поднялся, когда дама, вскрыв посылку, вытащила три поношенных плаща и стала записывать в авоську.

— Помнешь смотри, завтра базар.

Мальвина взвалила на плечо полученный нами рулон и чертыхнулась:

— А Уфимцева ругали за схематизм, за листы с нэпманшами! Как же таких алебастровых изображать?

— Еще и изображать? Вы одержали блистательную победу вчера...

Мальвина насупилась.

— Поехали лучше вместе к Якубу Дурдыеву.

— Не могу. Плакаты делаю. К празднику. Проводить могу.

«...задерживается... рейс тридцать три... будет объявлено особо».

— Ступайте домой, Мальвина. Неизвестно, сколько раз еще посадку отменят.

— А я не из каких-нибудь чувств к вам пришла.

— Кто вас подозревает в чувствах?

Она посмеялась одним носом, не разжимая губ:

— Я люблю сюда приходить. На Туркмению похоже, — выгнула наизнанку альбом и пристроила на колене.

...Тополя такие, словно их рвет и лохматит сильный ветер. А ветра нет. Они идут друг за другом ровной чередой. Там подальше выстроились в кружок. Черно под карагачами, и зеркало хауза² по-старинному бронзовое. В буйной зелени ботсада пещерами зияют аллеи. Канны на высоких древках — как стрелы с алыми наконечниками. Низкие кустики роз очень пахучих сортов. Кипящий красный из чаш проливается на черенки и листья. Все цвета, с чего бы ни начинались, ударяются в черноту. Даже изнуренная голубизна неба опускается мрачными каймами у горизонта. И нарастающий и не утихающий до конца гром летнего поля.

¹ Каракол — мелкий хищник семейства кошачьих.

² Хауз — пруд.

— Мне все кажется, если я оглянусь — увижу горы, настоящие, многоярусные, — сказала Мальвина.

Репродуктор объявил посадку.

Я задернула иллюминатор, провела рукой по занавеске, и рука стала черной, а занавеска осталась белой — чудеса цвета. Сколько раз, пролетая тут, видела я синеву моря, и она, будто вырываясь с земли, поднималась к самолету. Сверкающая, легкая — подобную я видела на крыльях тропических бабочек. Физическое ощущение крылатости синевы может вызвать только море, живое море... Так ведь и есть. Оно поднимается в раскаленное небо и обращается в облака и охлаждает брюхо самолета. А пустыни, как горячие утюги, надвигаются, давят на него со всех сторон, высушивают кромку...

Больше всего я любила лететь над береговой линией. Когда снижаешься, порфириновая громада под тобой оживает, начинает шевелиться, дышать. Ударять прибоем в берег, и откатываться с белой пеной, и рождать черные точки, превращать их в зыркающие рыбацьи лодки с такими же юркими тенями на просвечивающем рыжевatom дне. А при подъеме все постепенно застывает и море становится изваянием. Да где движение-то? А оно в глубине цвета.

Юрий был прав: «Некоторые города растут, как щенята, — лапы огромные, а разъезжаются, ухо одно торчит, другое заваливается. У этого городка лапы крепкие, вымахает в сенбернара».

То я брела вдоль глухих дувалов, то вплотную к асфальту подходили хлопковые поля — неважные, потому что грунтовые воды поднялись и засолонили почву. Вдруг возникали длинные кишки — ряды цистерн, огороженные сторожами на вышках и колючей проволокой; потом выпадал отрезок организованного города с учреждениями и панцирями шлакоблоков, и все обрывалось — шли пустыри. И неизвестно откуда выскакивал заводик с энергично дымящей трубой — ухо стоящее, и кирпичная баня, труба которой безмолвствовала, — ухо западающее. А надо всем этим кто-то штриховал черным пером, как бы в рассеянии, всякие закорючки, елочки, зигзаги, клеточки, пучки, приглушая слишком яркую синеву неба, — столько техники устремлялось ввысь: кранов, антенн, высоковольтных линий.

Полдня искала я Узбекистанскую улицу.

— А кого вам надо-то? — догадалась спросить казашка в изумрудной болонье. — Дурдыева-а? — взвился ее голос. — Туркмена?

— Охотника? — спросил старик в желтом тулупе с зе-

леными и красными аппликациями — такими, что я забыла, кого ищу.

— Дурдыева — учителя? — выкрикнул мальчишка в серой куртке, с портфелем, сидящий на заборе и высвистывающий штрафные. — Это в Старом городе, базар знаешь? Тетенька, подожди, мы сейчас тайм закончим, проводим тебя. — Мальчишка сунул старику свисток, махнул мне: — Пошли быстрее, он своим присуживать будет... Вон арык, видишь? Мост видишь? Направо свернешь, лужа будет — большая, утонуть можно. Перейдешь — собаки залают, — там он и живет.

Лучше через лужу, чем по нависающему берегу канала, который подмыл уже старую иву. Половина корней ее обнажилась, половина уходила под дувал усадьбы. Ива думала о спасении берега, хозяева усадьбы — о квартире со всеми удобствами в новом микрорайоне.

Лужа заворачивала за угол. Ад собачьего лая обрушился на меня. Сколько же их? По щелям забора высывались лохматые лапы и носы. Хлопнула дверь, голоса, женский и мужской, урезонивали собак. Лапы по щелям забора сгруппировались в три пары. А носы исчезли. Рослый, подвижный, выскочил хозяин. Он энергично жестикулировал, возможно, что-то говорил, я видела, что он открывает рот.

Их оказалось всего трое — спаниелей. Лорд в черной паре и белом жабо, с отвисшими веками добрых стариковских глаз, вежливо улыбался. Хвостик его шевелился, как концы фрака в легком поклоне. Супруга суетилась. Дочку, как черную ракету, со страшным шумом подбрасывало к самому носу хозяина.

— Уймись, Рета. Угостите их. Ловите кусок пирога.

Мне больше всего хотелось самой откусить кусочек. Но я протянула Лорду. Он деликатно пропустил дам вперед.

— Он такой, я сам его стесняюсь. И на охоту не беру. А эту дуреху первый раз вывез в камыши, нарвалась на кабана. Трясучка на нее напала. Мы с женой забаловали ее.

— Вот о камышах. Я как раз хотела проехаться...

— Знаю, знаю.

...Хорошо, не я вела мотоциклетку. Я бы свернула шею: за полями риса, за серыми буграми каналов — кто это? Ох, как они полыхали, волновались, кланялись, рвались навстречу. Они первые узнали меня, не я их! Мои камыши? Я не могла откашляться — першило в горле от их пушистости, нежности. Я не могла привыкнуть. Я помнила их молочно-зелеными. И сквозящее фиолетовое поблескивание воды. Как я могла ждать тех же камышей? Старых дорог

не бывает. Дороги всегда новые, для кого первые, для кого последние...

Охры, охры... Розовые, малиновые, сиреневые подцветки. Охры приглушенные и яркие, оранжевые. Ожившие пастели, они при нас компоновались, перестраивались. Немодные масляные, а пастели старых мастеров, пигмент которых шероховат и бархатист, как пыльца на цветах. Листы с вытянутыми по горизонтали композициями на сером паспарту неба — охры и немного мела, угля и простого карандаша для серебристых метелок. Вдруг они расступаются для яркого изумрудного пятна. Кто-то выбегает к самой дороге, кланяется до земли и отшатывается. Я не была готова к тому, что они будут так хороши. И растерялась. Нет ли тут предательства? Слишком много жизни, людей, событий осталось у тех зеленых камышей... А когда много лет назад я стояла на берегу, вглядываясь в шевелящуюся массу откуда-то прибитых камышинок, — это были они же! Аспидные. С этого начались мои маршруты. Никаких особенных истин я не открывала. Рембрандт белилами достигал золотистости колорита. Все дело в том, сколько и где их положить. Каждый раз истина оказывалась новой по цвету и прежней по смыслу. И шевеление прибитых к берегу камышинок вспоминалось мне каждое утро и вечер — в часы пик около метро, когда люди спешат на работу или с работы... А такие элегичные по краскам камыши, вылетающие с курьерской скоростью, — это наше сегодня...

— И все это кабаньи уголья? Никогда бы не подумала, что у свиней такой изощренный вкус!

— И слух тоже, — остерег Якуб, выключив мотор. — Все. Дальше пешком.

Якуб исчезал и возникал вдруг, как бы раздвигая портьеры. Двери оказывались повсюду именно там, куда он входил, и смыкались, пока он шел через них.

— У охотников своя вера. Я знаю, что в мире животных выживает не самый сильный. Выживают самые смысленные, талантливые. На моей памяти здешние фазаны перестали взлетать после выстрела охотника, бегут, как дрофы, по земле. С собаками редко кто охотится, это единственный их шанс спастись. Наши зайцы выскакивают теперь из светового коридора перед фарой машины. Никогда не поверю, что птицы просто по привычке огибают доисторические моря. Вижу, дважды в год, как они приноравливаются к исчезновениям и появлениям озер, рек, каналов... Высылают разведчиков, оставляют посты. Волнуется и обсуждает новости вся стая... А что доисторические моря влияют на карты воздуха до сих пор — это возможно. У птиц — самые точные

люции. Кто первый понял, что земля круглая? Птицы. Великие путешественники и метеорологи.

— То, что вы рассказываете, красиво, но требует доказательств.

— Доказано. Тем, что они существуют, перелетая половину земного шара — дважды в год — на хрупких крыльшках.

...В застывшей, седой от соли земле следы сохранялись, как на севере, — в намерзшей грязи. О, сколько их было! Я узнавала только джейраньи, заячьи и лисьи... Я словно попала в библиотеку с книгами на неизвестных мне языках. Я догадывалась, что это — эпические поэмы, а это — трагедии, а это — любовная лирика... Но перевести не могла.

И охватывала запоздалая досада: сколько же неслышанных, неузнанных прошло, пролетело — на крыльях, на мягких лапах, на копытцах — твоих братьев, которые не всегда просили о помощи, но и сами могли помочь, научить чему-то важному, и, о чем бы ни заходили речь, все начинали с призыва: «Мы с вами одной родины — Земли».

...Когда мы возвращались к концу дня, краны, развернутые по ветру, издали казались мне толпой фанатиков с воздетыми руками. Получив от Якуба в подарок кабаньи клыки, я ощутила меру первобытной опасности, подстерегающей в камышах. Но я думала, что и те, железные, могут стать так же опасны для человека, если он чего-то недоумает, недорассчитает.

Я привозила глаза полные цвета и уши — птичьего гомона и шелеста камышей в дурдыевский дом, где все ладилось, а еда была по-семейному вкусна.

— Теперь и кормить некого, — вздыхала Надя. — Дочери в Ашхабаде. Учатся.

И я заметила, что половицам не хватает легких молодых шагов. Может, потому тянуло хозяев вспоминать свою молодость.

— ...На охоте застудился. Лечили парафиновыми ваннами и после — иглоукалыванием. Зачем на такой процедуре сестре присутствовать? Что, меня держать надо?

— Научиться хотела, — улыбается одними глазами Надя.

— Хоть бы уродина или карга старая. Нет, тоненькая, глазастая украинка... Врач вату со спиртом взял, обтер, бросил; еще тампон — бросил, третий взял — бросил, чертыхнулся: «Что, джигит, в баню никогда не ходишь?» Не знаю, куда провалиться: «Я учитель школьный. Рисую». — «Художник? Внутренний культур — очень хорошо. Ну, внешний культур — тоже нужен...» Не помню, как ушел. Пол-

дороги прошел — осенило меня! Нет!!! Так не оставляю! Обратно — бежал. Без очереди влез. «Сестрица, кричу, парафин это! Школьный учитель я». — «Успокойтесь, больной». Вижу: не верит. «Я люблю мыться. Мочалкой. Отец у меня — просветитель известный в Туркмении. Первые школы еще до революции открывал. Про него в энциклопедии... А мать русская, заслуженный врач... Лучшего скакуна-текинца продали, чтобы побег устроить. Про их любовь песни поют. А парафин неаккуратно соскоблили!» И домой проводил, все доказывал...

Из работ Якуба для музея я отобрала выполненные в рельефе и мелкие поделки. Это было особое искусство на стыке скульптуры и резьбы по дереву. Оно рождалось из прекрасных традиций туркменского орнамента. И виртуозная выделка поверхности дерева, и вся архитектурника — оттуда, из ковров. Я думаю, такому сильному, ловкому человеку преодолеть сопротивление дерева доставляло особое удовольствие.

Хитрец, неуловимый кабан Хромуша, глазки поблескивают торжеством, вот-вот улыбнется саблями-клыками. Шакалы на закате, поющие гимны наступающей охотничьей ночи. Не прихлебатели, а выносливые умные звери, знающие свои возможности и возможности мира. Заяц-философ. Ворчливые лисы, ревматики-пенсионеры, недовольные погодой и молодежью. Верблюжонок с прекрасными человеческими смущенными глазами, весь из отдельных пирамидок, сам себе удивляющийся, своей способности гнуться и складываться. Маски я видела еще у Всесвятского и удивлялась им. Теперь я поняла, кто это. И почему на полосатом фоне. Это же тролли камышей, загадочные, одержимые буйной стихией веселья. Они так же легко исчезают, как и возникают, — ведь они порождения ветра.

— А что же вы своих спаниелей не отразили нигде?

— Успеют... Был у нас до этих совсем другой пес. Ничего мы о нем не знали. Откуда пришел? Кто его бросил? Или сам сбежал? Мохнатый, из овчарок — переросток. Злобный, оголодавший. Жена давай его кормить, он и вселился к нам прочно. Но чтобы погладить, руку протянуть — не смей! Жену мою за служанку держал. Есть выноси да поскорей убирайся. И хвостом не вильнет.

— И неправда. Виллял разок-другой.

— Показалось тебе. Я как-то зайчонка привез — он его с крючка сорвал. Я хотел отобрать — он на меня.

— Ой, — поморщилась Надя.

— Что ж делать? На хозяина бросился, я его за ноги и об забор.

— Чуть не до смерти.

— Пришлось. Мы же не со щенков его растили. Я и ворота настужь: не хочешь жить по-нашему — уходи. И сел к нему спиной на крылечке покурить. Он лежит и рычит что-то коротко, чертыхается и вздыхает — размышляет. Слышу: подходит. Забрал пальцы мои в пасть, зубами стиснул, не кусает, а не выпускает. «Решил остаться, — говорит. — Я бы давно ушел, если бы захотел. Мне твоя калитка — тьфу, и на тебя бросился для острастки. В серьезных случаях мы за горло хватаем. Ты сам мужик горячий, должны мы друг друга понять. Воровать не буду. Но и ты зря у меня еды не вырывай, еда дело серьезное. Поди закрой ворота — люди мимо ходят, заглядывают, нехорошо это...»

Я ворота закрыл, он тогда мне виль хвостом и пошел, лег на свое место. С тех пор мысли мои, не то что слова понимал, но ни тени подхалимства. И фамильярности не любил. Если гладили, терпел. «Ну, кончили?» — и уходил подальше.

Жили мы, не гадали... И тут откуда-то хозяин ему объявился. Смотрю поутру — стоит у нашего забора человек, во двор заглядывает. А пес не то чтоб прогнать, залаять — сидит понуро и спиной выражает и носом дисциплину. Нас не зовет. Что за чудеса? Видать, человек не здешний — из песков. И не нахал. «Здравствуйте! — говорит. — Пришел за помощником своим. Мой пес это». — «Как же вы прознали?» — «Люди на базаре сказали. Все приметы сходятся. Решил сам проверить. Мой, Хайдар». Пес повернул голову с готовностью встать.

«Мы его не украли, сам пришел. Что ж вы, не кормили его? Или жену пришел искать?»

«Есть у нас все: и жена, и еда. И не бил его никто».

«Зря собаки не бегают».

«Болеет он. Зад у него отнялся. Ветеринар сказал: не поправится. А нам перекочевывать, овцы пастбище объели. Его очень жалели все. И решили пристрелить. Чтобы зря не мучился. Поволок я его подальше за бархан. Лепешку под нос положил. Ружье с плеча снимаю, а он все понял, как заплачет. Я сам чуть не заплакал. Опустил ружье. Он утих, смотрит на меня и ко мне на двух лапах ползет, зад волочит. Не от меня, а ко мне. Третье ружье вскидывал, три раза плакал он, просил: «Не убивай». Я не выстрелил. Ругал себя потом: мучиться оставил».

«Без воды?»

«Озера там рядом, а еды — одна лепешка, и волки, и шакалы... Не надеялся, что жив будет. Ха-айда-ар... Хороший пес. И овец понимает, Ошейник я с него снял».

«Сукин ты сын, — подумали мы с женой, — пожалел куска кожи». Ошейники — с шипами наружу, чтобы зверь за глотку схватить не мог, ошейник крутится и пасть колет. «Ошейник снял, — говорит, — а то бы не поверили наши, что застрелил». Выходило — отдавать надо. Деньги предлагали. «Друга за деньги не продают». Мы с женой, чтобы канители не разводить, — в дом, а пастух накинул веревку на пса, и ушли они. Пусто во дворе стало. Недели не прошло — вернулся пес. Худой, угрюмый. Издалека видать. Улегся на свое место под навес и лапы вылизывает. А мы подстилку не убрали еще. Жена ему поесть принесла. Дня три отлеживался да отсыпался. Прошло сколько-то, и опять хозяин за ним явился. Нас не застал, а пса увел, соседей просил передать, чтобы мы не беспокоились. Долго мы его место не разбирали, поглядывали: не прибежит ли еще? Потом ждать перестали, солому выгребли, в печке сожгли. И как-то раз ночью вой во дворе. Смотрим в окно: луна светит, тень поперек двора, не поймешь... И не тень вовсе, а то, что от него осталось. Стоит перед своей бывшей лежкой и воет, что дом его разорили и негде ему голову приклонить. И решили мы: не отдадим больше. Я того хозяина встретил как-то в городе.

«У вас?» — спрашивает.

«У нас. Забирать хочешь?»

«А точно, что у вас?»

«А что, не веришь?»

«Далеко очень увозили».

«Колючек у него в шерсти, заноз в лапах — жена месяц целый выбирала. Гладить не позволял, а иглой в пальцах ковырять — пожалуйста, кряхтел только и вздрагивал».

«Добежал, значит. Пусть живет у вас, если согласны. Очень я радуюсь, что живой он. Я его сына воспитываю. Тоже Хайдаром звать буду».

Я повеселел:

«Ты заходи в гости, посидим».

Он зашел. А пес на порог лег и меня с женой в дом не пускает, за пятки хватает, поворачивает: «Не уходите, не то опять уведут. Я устал бегать». Это значит — так он понял: раз в дом уходим, вроде отрекаемся, отдаем его прежнему хозяину.

Зря придумали, что лев — царь зверей, а царь зверей — собака и есть! — сказал Якуб.

Лучшие работы нашей годовой выставки — «Хайдар» Дурдыева и «Автопортрет» Мальвины Шведе. Это признают и специалисты. И публика, которая, не сговариваясь, толпится более всего именно около этих работ. Хайдар вырезан

из маслобойки. Он похож на льва, очень мощный, легкий и очень добрый.

— Грудь-то как у матроса, — толкуют зрители.

— А морда! Неудобно мордой называть.

Мне очень нравятся лапы. Одна задняя — перевитая мышцами — чего стоит... Хайдар — воплощение действительности в покое и с огромным чувством достоинства. Может, Якуб чересчур его сделал умным? Но морщинки, собранные высоко на лбу, у собак бывают.

В замысле Якуба что-то было общее с настроением «Автопортрета» Мальвины.

— Только уж очень вы себя под туркмена сделали. Не под туркменку. Я говорила когда-то, что вы лицом на Блока похожи...

— Ё-моё, а вы наденьте на Блока тюльпек.

Она набросала на краю листа портрет Блока и приделала высокую курчавую шапку.

— Нарисовать можно что угодно.

— В нем что-то туркменское есть. Недаром он коней любил. Кони, кони у него в стихах — чистокровные ахалтекинцы.

А ты, художник, свято веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай,
Тебе дано всесильной мерой
Отобразить, что видишь ты...

Повесть, которую вы только что прочитали, — вымысел. Но, как всякому автору, мне хотелось, чтобы читатель верил в реальность событий, атмосферы, самих героев. Как всякий автор, я люблю своих героев, они мои близкие друзья. И мы очень много знаем друг о друге. Они давно почувствовали, что более всего меня волнует природа творчества, и всячески старались помочь мне разобраться в ней. Ведь каждый человек талантлив, у каждого — своя поэзия, а жизнь общая, значит, и природа творчества общая, хотя и проявляется неповторимо, по-своему, будь то песня, сочиненная мальчиком, тоскующим по матери, или шутка-прибаутка бывалого человека. Искусство рождается из жизни и возвращается в жизнь. А как же все-таки это происходит? Вот этот-то вопрос и стоял все время передо мной, когда я писала книгу «Точка на меридиане».

В поисках ответа на этот же вопрос я предлагаю вниманию читателя книгу очерков «Время в песках». Она напи-

сана на двадцать лет раньше, она — первая моя книга. Она документальная — с именами собственными и датами. Между прочим, это биография «Точки на меридиане» и еще одной моей книги — «Мастер Гранатовой Чайханы», и тех книг, которые еще пишутся, не вошедших в это издание. Есть такая закономерность: человек с годами накапливает знания, опыт, многое уясняет, переоценивает, подытоживает и сам не замечает, как память его сдвигает и редактирует пережитое. И потому: никакая память не заменит подлинность непосредственных первых впечатлений с печатью времени — произвольной — в смысле хода истории и в смысле «личной молодости», тоже произвольной.

Это очерки о крупнейшем советском ученом Сергее Павловиче Толстове (1907 — 1976). С течением времени фигура его — первооткрывателя, археолога, этнографа, историка, общественного деятеля, руководителя Института этнографии Академии наук — только вырастает. Это гордость нашей отечественной науки. Лучшие книги о нем — его собственные. Хотя писал он, конечно, не о себе, а о проблемах, которыми занимался. Но стоит раскрыть страницы, и они зазвенят, засверкают, захватят поэзией науки, красотой мысли, почувствуешь в полную меру обаяние этой замечательной личности.

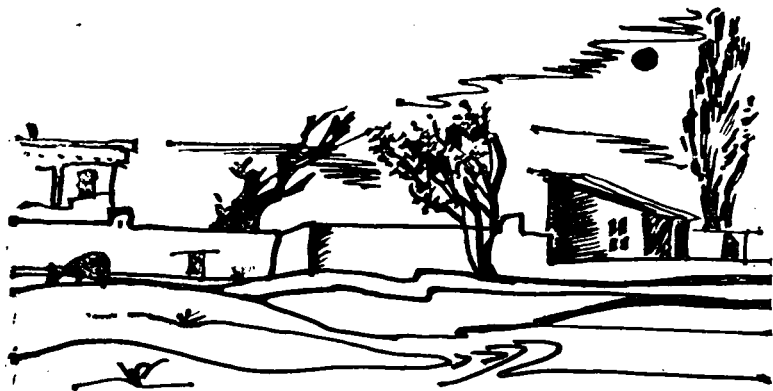
А тогда — он же был рядом с нами (может быть, правильное сказать — мы рядом с ним). Взрывчатый, неожиданный, зажигательный, во все вникающий — наш Сергей Павлович, наш «шеф».

— Вы пытаетесь написать обо мне? Вот вы напишете, предположим, что «...когда Толстов поднялся на башню-развалюху и увидел в лучах заходящего солнца проступающую планировку античного города, ему пришла в голову мысль...» А она мне пришла в голову как раз, когда я спустился и пил кофе из термоса и рассказывал анекдоты. И я обижусь. Не просите — обижусь. Написали вы, что у меня «совсем седая голова». Протестую! Девушки любить не будут. А она у меня не-сов-сем седая. Вы только связываете себя по рукам и ногам, и меня — тоже. Дохлое дело — следовать фактам. Правда вымысла всегда точнее документальности. Ну как же не приврать, когда рассказываешь, ну хоть чтобы поверили.

Я соглашалась с ним, конечно. Я тоже так думала. И все-таки очерки «Время в песках» — следовали фактам.



ВРЕМЯ В ПЕСКАХ



Ч А С Т Ь П Е Р В А Я

«НАЧИНАЮЩИЙ ПОЭТ»

Меня в Среднюю Азию тянуло по многим причинам: потому что Средняя Азия вернула меня к жизни после ленинградской блокады, потому что в Средней Азии я провела тяжелые военные годы. Всегда я чувствовала себя в неоплатном долгу перед нею и знала, что вернусь в Среднюю Азию, чтобы расплатиться с нею по мере сил. Честно говоря, я сама еще не представляла, как это будет осуществляться, но верила: надо только очень захотеть, и жизнь подскажет. Поэтому в 1952 году я и приехала в Москву — проситься на работу в археолого-этнографическую экспедицию Сергея Павловича Толстова. Я знала этого ученого еще студенткой, занимаясь историей Средней Азии. Знала и по слухам, немного похожим на легенды, и по его работам и книгам, в которых, кроме научных достоинств, было еще много настоящей, живой поэзии. Некоторые страницы мне запомнились почти наизусть.

«...После тяжелого перехода через пески я со своими спутниками... вышел на пространства анка-калинских такыров... У ног наших верблюдов, у подножия песчаных холмов, расстилалась гладкая глиняная равнина, покрытая багряной россыпью античной керамики... На западе, за тяжелой грядой пройденных нами песков, в багряное море вари врезались черные силуэты бесчисленных башен, домов, замков... Но мертвая тишина пустыни, предгрозовое молчание песков окружали меня. Этот созданный некогда тру-

дом человека мир был мертв... Казалось, мы затеряны в каком-то заколдованном царстве, в мире миража, ставшего трехмерным и материальным. Но сказку надо было сделать историей, надо было прочесть книгу мертвого Хорезма» («Древний Хорезм»).

В институте ждали Толстова впервые после долгой болезни. Он вошел в комнату, торопливо и тяжеловато стуча бурками, — седеющий человек, одетый в синий, наглухо застегнутый китель. Лицо его казалось сердитым и обиженным, но оно было просто усталым, характерное энергичное лицо¹ с откровенными морщинами и тенями. Ничего незаконченного, невыраженного. Словно вырезанная из корневища голова. Волосы на ней росли щедро, буйно. От нависающих усов и бровей лицо суровело. Не вязалось с такой внешностью представление о пыльных фолиантах, тихих кабинетах и прочей «академичности».

Заговорил он с некоторым усилием, преодолевая какую-то слабость и на нее же раздражаясь. А через минуту протягивал кому-то руку широчайшим размахом от плеча, как кузнец ударяет молотом. Выражал по какому-то поводу удивление, разводя руками и даже плечами, и смеялся самозабвенно, с озорным блеском глаз, откидывая голову. За всем этим чувствовался человек живой, увлекающийся, горячий, привыкший действовать стремительно и категорически.

Я приготовилась произнести обстоятельную речь о своей любви к Средней Азии, о своей специализации по средневековому изобразительному искусству, о проблемах, которые... Но все это вкратце сделал за меня накануне мой бывший профессор, ленинградский востоковед и археолог М. М. Дьяконов, друг Сергея Павловича. Меня остановили на полуслове:

— А что вы умеете делать?

— Ничего.

— Когда-нибудь копали? Знакомы с топографией? Чертить умеете? Рисовать? Фотографировать? Ну, может быть, хоть языки знаете? А что же вы сами-то хотите от экспедиции?

— Писать... стихи о пустыне.

Толстов посмотрел на меня с некоторым любопытством

— Хо! Но в штате Академии наук почему-то не предусмотрено такой единицы для «начинающего поэта»!

Оценив всю безнадежность своего положения, я только вздохнула:

— Но мне все-таки очень хочется с вами поехать.

— Ну, пусть пишет заявление, — вдруг благодушно

отмахнулся он, — посмотрим на месте, попробуем поставить на раскоп, — и перешел к следующему делу.

Через неделю я лежала рядом с верблюдницей на берегу Аму-Дарьи, спасаясь от ливня и пронизывающего ветра: это было самое уютное место на всей пристани, ничем не защищенной и не прикрытой. При малейшем моем движении верблюдница скалила длинные желтые зубы и воинственно рычала. Около другого верблюда, лохматого и эпически спокойного, отогревался мой спутник, экспедиционный художник Игорь Витальевич Савицкий. Мы ждали парома, а верблюды просто отдыхали на лысом аму-дарьинском пляже. Похоже, что ливню не будет конца и не было начала и что все здесь — и река, и берег, и кустики — проржавело от этой сырости.

Ливень левобережья сменился на правом берегу песчаным бураном. И мы пожалели о ливне: ливень можно переждать, от него можно спрятаться, буран можно только терпеть.

Художник, своей хлипкостью совсем не похожий на «покорителя пустыни», уверенно пробирался сквозь живые, зыбучие стены песка. Спортивным, тренированным шагом я едва поспевала за его семенящей походочкой.

Сквозь тучи песка и пыли проступали какие-то очертания: людей, животных, барханов, останцов, — кто их знает?

Мы шли достаточно долго, я подумывала уже, что мы заблудились... Но Савицкий внезапно остановился, хотя решительно ничего не изменилось вокруг, и сбросил тюк на землю.

— Вот мы и дома. Отдыхайте.

Вместо «дома» я увидела веревки, привязанные к якорям, забитым в землю, да мощный, вроде телеграфного, столб посреди якорей. Верхушка его исчезала в неведомом.

Вдруг что-то загрохотало, забурлило, захлопало, и на мгновение нас облепили бурые брезентовые стены и потолок. Но сейчас же исчезли, взвившись ввысь.

В следующий «налет» мы поймали наш «дом» в воздухе за подол. И, навалившись всей тяжестью тела на его край, придавили к земле. Брезент грохотал, как кровельное железо. Скоро к этому грохоту присоединился какой-то подозрительный треск. Я хотела спросить, надо ли ждать, пока палатку разорвет надвое, или отпустить сразу, но во рту образовалась песчаная пробка. Тут из клубящейся мглы вынырнули люди, похожие на астронавтов в скафандрах, с топорами в руках. Они кричали, махали руками, забивали что-то, повисали на веревках, снова кричали, и в конце концов над нами натянулся парус палатки, так что мы очути-

лись под некоторой, преимущественно «моральной», защитой от песка и ветра.

«Астронавты» поснимали скафандры, оказавшиеся всего лишь конструкцией из разнообразных косыночек и шоферских очков, и обнаружились миловидные, большей частью женские головки. Я уже видела их в Москве, во время беседы с Толстовым.

Сотрудники тихонько переговаривались и вслушивались так напряженно, будто и в самом деле сквозь весь этот вой и рев бурана можно было уловить рокот самолета: ждали Сергея Павловича.

— Неужели летчик рискнет приземлиться?

— Так с ним же Сергей Павлович. Летчик-то, может, и не рискнет...

Сотрудники высказывали надежду, что Толстов не прилетит, но не переставая кипятили чайник, готовясь к встрече. Самолет все-таки приземлился...

— Хозчасть — ко мне. Бухгалтера — ко мне, — долетели до нас вместе с хлопьями песка отрывистые слова.

Палатка Сергея Павловича размещалась рядом с нашей. Там зажгли лампу, и палатка стала просвечивать, как игрушечный домик, какими украшают новогодние елки...

От этого еще мрачнее, враждебнее показалась бушующая вокруг пустыня. Сотрудники разбрелись по палаткам, застегнулись на все петельки и забились в спальные мешки.

Но и в спальном мешке нелегко было отогреться. Поговаривали, что не везде еще в пустыне стоял снег...

Буран не унимался. Нашу коптилочку потушило порывом ветра. Оставалось только лежать и слушать, как ревет на все голоса ветер да поскрипывают в грунте железные кольца.

По народным поверьям, в каждом смерче, вздымающемся над пустыней, прячется джинн. Если в смерч бросить ножом, на лезвии появится кровь... Очень понятно это стремление древнего человека одухотворить всеокрушающую, неуправляемую силу природы.

Наша палатка почти легла под натиском бурана. Рывок. Еще рывок...

— И без дуррраков, пожалуйста, — прогремел буран над нашими головами голосом Сергея Павловича и промчался дальше по лагерю.

К ночи буран выдулся. Слышно было, как вздыхают и ворочаются в отдаленных концах лагеря. Но вот в тишину ворвался страстный человеческий голос:

— Да, да, товарищи, это не доказательство... — голос напал, обличал безжалостно и язвительно,

Что это? Я лихорадочно высвобождаюсь от ватника, вкладышей, клапанов спального мешка.

— Вы новичок? Не пугайтесь. Это Сергей Павлович слегка полемизирует со своими противниками во сне.

А утром, мелодично позванивая колечками, раздвинулись брезентовые створки входа и «скадрировали» кусок ослепительного, сияющего мира. Этот мир был совсем не похожий на действительность, но для сна чересчур яркий, а для театра слишком фантастический: на сцене всегда придерживаются правдоподобия.

Может быть, ожила страничка любимой с детства книги про необитаемые, неведомые земли, где столько же чудес, сколько сокровищ, а больше всего — таинственности.

Такой бы нарисовал картинку маленький мальчик: небо очень-очень синее, пески очень-очень желтые, крепость совсем розовая. Крепость древняя, оплывшая, со множеством трещин, рытвин. Сквозь бойницы просвечивает небо узенькой черточкой. Но там оно гуще, синее.

По крепости в глубокой задумчивости бродит «пират» и что-то выискивает. И марля на голове у него повязана по-пиратски, узлом сбоку, и выражение лица грозное. И напевает он что-то моряцкое, а точнее: «На рейде морском...».

Вот теперь уже можно вдоволь насмотреться на пустыню. На землю не похоже. Под ногами что-то вроде торцовой мостовой или каменного плиточного пола. Таким панцирем скованы огромные пространства пустыни. Это такыр — глиняный отвердевший слой, отполированный песками и ливнями. Серый, белесый, расколотый во всех направлениях трещинами, он нестерпимо блестит. Барханы, в одиночку и толпами, теснятся до самого горизонта. На барханах — белые скелетики саксаулов, еще не зазеленевших. Это они так пронзительно свистели во время бурана.

Непривычна во всем этом зрелище — безнадежная, последовательная плоскостность. Какая-то гигантская лепешка, одинаково ровная во все стороны. И еще непривычнее — ошеломляющая светоносность пустыни. Земля, пески, воздух, изумительно прозрачный, и стены древних крепостей, издали похожих на розовые коробочки, — все здесь светится. А какая она сейчас тихая, умиротворенная — пустыня, будто никогда и не бывает по-другому. Экзотически звучат в этой сказочной обстановке стук умывальников, звяканье посуды на кухне.

Я подхожу к крепости, о которой знаю пока только, что называется она Кой-крылган и что название это — позднее. «Пират» превращается в Сергея Павловича Толстова, а рядом с ним появляется сотрудник очень городского, даже

«библиотечного» вида, вежливый, внимательный, с малахитовыми глазами. Это начальник объекта Юрий Александрович Раппопорт.

— Где-то здесь должно быть окошечко, — Сергей Павлович отстегивает от пояса нож и, опустившись на одно колено, пристально всматривается в бугристую поверхность крепостной стены. Нож вошел в стену по рукоятку. С шорохом покатались сухие комья пахсы. Из-под ножа, из щели вытекла блестящая черная капля и, извиваясь, поползла в сторону.

— Первая гадючка в сезоне. Поздравляю, товарищи, с наступлением весны. Вот и окошечко, о котором мы вчера говорили, — кстати почистим.

Заметив меня, Сергей Павлович скороговоркой здоровается и сразу же атакует:

— Обратите внимание, каким строгим геометрическим кругом опоясывает всю крепость внешняя стена, укрепленная девятью башнями! Здесь, за стеной, окружая цитадель, размещались хозяйственные жилые помещения, вероятно — рабов. Вопрос — где въезд в крепость? Пойдите приглядитесь. Может быть, свежим глазом...

Я пошла. Ни великолепной геометрической стены, ни башен, ни планировки внутренних помещений не увидела. Надо мной, до высоты почти пяти метров, тянулись крутые глинистые склоны холма, затопленного барханами. Поверхность его напоминала морщинистую кожуру гигантского печеного яблока. Ноги вязли в песке, солнце пекло, и бугор городища казался бесконечным. Не пройдя и половины пути, я забралась на плоскую площадку вершины, под останец стрелковой галереи. Стена бросала косой треугольник тени, прорезанной просветами бойниц. Внизу, оттесняя пески, закольцевавшие весь бугор, темнели углубления начатых раскопов. В них, словно намеченные пунктиром, проступали линии стен.

Хрупкими и случайными выглядели наши палаточки среди бесконечных барханов пустыни.

...Работать ножом оказалось очень трудно. Задание ясное: выявить границы помещения. Подражая Сергею Павловичу, я широким, размашистым движением отколупнула огромный кусок глины, затем еще один и еще. «Поддается!» — обрадовалась я и услышала жалобный голос своего помощника, «чернорабочего» Амеда:

— Ой, апа, зачем так скоро стенку ломаем? Лишнюю глину уберем, стенку, пахсу оставлять будем.

Но пахса — та же глина, с примесью мелкорубленной соломы (самана). В завале, который примыкает к стенам, —

обрушенные куски тех же стен. И все это тысячелетиями перебивали дожди, пропекало солнце. Попробуй разберись!

— А вы зачистите поверхность стены, вот же кирпичики кладки, — советуют сотрудники, — сразу вылезут границы комнаты.

Я скребу поверхность ножом, стирая пальцы в кровь, разметаю щетками и кисточками и раздуваю пыль. Но передо мной совершенно однородная масса, покрытая паутиной однородных трещинок. Может, выдумывают археологи эти неуловимые кирпичики? Но почему же все, кто подходит помочь, видят их одинаково, не сговариваясь? Да и есть ли, в самом деле, эти призрачные комнаты для рабов, кладовые и службы, размещенные между цитаделью и крепостной стеной? Стены у меня никуда не идут, ничего не образуют.

Несколько дней тянется утомительное ковырянье. И никто на меня внимания не обращает. Или мне так кажется? Несколько замечаний, самых необходимых, сделал начальник раскопа. Почти не задерживаясь, перешагивает через мою комнату Сергей Павлович. Впрочем, один раз остановился, заметив, что я орудую ломом.

— Стеночку рубите? Новаторскими методами? Вот один артиллерист предлагал в раскопы динамит закладывать и взрывать. А археологи отказались. И почему отказались — не понимаю! — и отошел к следующему раскопу.

Теперь из-под моего ножа отлетают уже не кусочки, а жалкие крошки. Жарко, пыльно, скучно. Бросить бы все и уйти побродить по пустыне...

К концу недели в моей комнате расчистился угол. Стены вышли неровные, истыканные (Амед не успевал затирать следы моего ножа!). Проглянул и кусочек пола — упругий, заботливо обмазанный глиной. В углу кучка обожженных костей. Первая находка.

Этот день не показался мне длинным и жарким.

А к вечеру, в тот час, когда крепость из желтой становится оранжевой, а тени из синих превращаются в сиреневые, в бойнице верхнего этажа появилась голова Сергея Павловича и мы услышали команду:

— Прекратить работу, смотреть на журавлей!

Высоко-высоко в загустевшей синеве пролетали над нами самые первые журавли. Торопясь и перебивая друг друга, прокричали они нам привет от дальних африканских пустынь.

Весна бушевала, гремела и всячески неистовствовала. Цвели не только тамариски, саксаулы, акации, но и самые колючие колючки. Просыпаясь по утрам, мы посматри-

Мы сошлись как на праздник,
чтоб начать изученье истории,
Затаившейся в хрониках и черепках,
Но она ворвалась к нам — иною,
нежданной!
Низким воющим небом в ночной темноте,
Мертвым стуком о плиты
человеческих тел,
Едким запахом извести
рухнувших зданий.
Нам никто не отметил — хоть где-нибудь в скобках —
На зачетных листах
с указанием памятных дат,
Как был долг и страшен наш опыт раскопок
Разоренных кварталов
в родных городах.
Но, лопатой измерив всю тяжесть родимой земли,
Гулкой мерзлой земли
могил несчитанных братских, —
Мы не можем с той памятью страшной расстаться.
Не расстанемся,
если бы даже могли.

...Свет копилки слабеет.

Спеша, чтоб совсем не потух,
Мать крупинки отсчитывает иголкой,
Чтобы плавало в каждой тарелке одиннадцать штук,
И уже не сидит у стола, а лежит

«археолог».
Мы еще не привыкли, что нас только трое.
Только женщины:

мама, соседка и я.
Кто не помнит тех слов:

«Честь и слава героям...»
А за стол так недавно садилась большая семья.
Я учила слова

бесзвучных древнейших наречий
Под негромкие вздохи
бессловесных

блокадных очередей,
Чтоб в себе сохранить
достоинство человежье,

Чтобы только не думать
о хлебе и о еде.

На загад открывала страницу.
Себе. Больше не о ком.

И глядит на меня

Помню, я рассмеялась,

Но в глазах, на меня обращенных,

Я потом догадалась:

Просто-напросто с голода помешалась.

и такое случалось нередко.

После долгой бомбежки

В ОДНОМ ИЗ ДВОРОВ,

Одеялом прикрыв,

укачивала соседка

Вместо дочери чурку березовых дров.

Это все, что отрыли мы в груди развалин.

А потом привели ее к нам —

ленинградскую мать!

Из участия?

Из страха?

Не стоит названий искать.

В языке человеческом нет подходящих названий.

Не затем, чтоб «спасать».

И какое могло быть — «спасание»?

Может, просто, чтоб в чистое обернуть, —

Когда срок подойдет, уложить как родную на сани.

И еще раз проделать

истоптанный за зиму путь.

Этих саночек детских со скорбной поклажей

В Ленинграде

несметное было число.

Слов'но стали они

неотъемлемой частью пейзажа

Вместе с Зимним.

Авророй,

Адмиралтейской иглой.

Вот и я их тещу.

Может, бросить, оставить в сугробе?

Но еще один шаг совершен.

Пережит.

Мы почти что уже одинаковы обе —

Та, что тащит,

и та, что лежит.

Временами казалось:

весь город,

в морозном тумане

Неотступно и молча ползущий за мной, —

Не к моим ли плечам припряженные накрепко сани,

Миллионами мертвых

нагруженные войной?

Все равно — я дойду.

Я уже не могу надорваться,

Слишком многих страдание и горе вобрав.

Есть какая-то грань,

за которой неведомы страх

И печаль...

Вот они — эти рвы.

И ряды — ленинградцев.

Это те лишь, которых не закопали

(Хоть работают заступы ночи и дни напролет!),

Аккуратно уложенные,

как шпалы

Той дороги,

что к жизни

от смерти ведет.

Я вернулась домой.

И больше мне не подняться.

Натянуть одеяло — и то не могу.

И скрипучий, и лающий голос срывается с губ:

«Завтра...

Завтра минуло б мне восемнадцать...»

Мертвый глиняный город далеких времён,

Не сложить мне стихов

о твоём поэтичнейшем тлене.

Где такой человек, что меня не поймет?

Не такие развалины

знало мое поколение.

Нет, не вырву я все-таки из дневника

Ни одной из исписанных мною страничек.

Мне недаром достался начальством в песках

Академик —

такой неакадемичный.

Он не шел в своей жизни дорогой другой.

Не от пыльных томов

голова человека седая.

До сих пор, у костров,

он во сне повторяет:

«Огоны!

Батарея, огонь!

Наступаем!»

СЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Благо вам, страны!
Воды в каналах да текут без помехи
К посевам с крупным зерном,
К травам с мелкими семенами,
Ко всему сущему в мире.

Авеста

Прошло семь лет. Я снова стою на верхней площадке Кой-крылгана — теперь уже не в качестве новичка и «начинающего поэта», а как полноправный сотрудник экспедиции — археолог.

Семь лет — ничтожный срок по сравнению с пятью веками жизни этого своеобразного памятника и шестнадцатью столетиями, которые он простоял мертвым, погребенным песками пустыни. Но за эти семь лет все изменилось: и пустыня и люди. Семь лет назад у самого горизонта еле различимые темнели полосы культурных земель. А сейчас все ближе к нам подступают хлопковые поля, посевы люцерны, юные сады семилетки. Пчелы с колхозных пасек залетают в наши палатки, по утру нам будит петушинный крик. «Бабарбан мира» — как называла его Авеста.

У самой крепости плещется мелководное пресное озеро. Белоснежное крыло чайки сверкает среди песков.

Наши друзья и соседи-колхозники: туркмены, казахи, узбеки, каракалпаки — ведут наступление на пустыню. Возвращаются к жизни земли, мертвевшие два тысячелетия!

Брезентовый городок экспедиции тоже разросся, стал многолюдным, шумным. Архитекторы-археологи с ажиотажем планировали его кварталы. Даже конкурс объявили. Появились у нас и «общественные здания»: столовая-клуб, склад, чертежная, реставрационная. Выстроили древнейшим способом, из сырцового кирпича, полуземлянки — кухню, погреб, лабораторию.

Вокруг памятника — горы выброшенного из раскопов грунта. Похожие на ихтиозавров, притаились среди них транспортеры. Последний этап раскопок. Через несколько дней бульдозеры сомнут кольцо «отвалов». Это наша линия обороны — вал, сооружаемый археологами, чтобы защитить

раскопанную и расчищенную крепость от злейших врагов: песка и ветра.

Каждый год над нами кружил самолет. Проводилась аэрофотосъемка памятника. На первом снимке, опубликованном еще в 1949 году, Кырган похож на космический пейзаж. Лунным кратером, с краями, размытыми тенью, вырисовывается цитадель крепости среди волнообразных песчаных гряд. На следующих фотографиях появляются черные ячейки раскопов. Они едва заметны, но с каждым годом их все больше.

Теперь на фотографиях памятник выглядит как срез ствола фантастического дерева. Темной сердцевиной кажется массивная башня-храм, годовыми кольцами — линии нескольких стен, широким поясом коры — наши выбросы — отвалы. Между кольцами стен — сеть помещений.

Мне с трудом припоминается тот оплывший бугор, на который я взбиралась семь лет назад — в отчаянии, что «ничего не вижу».

Сейчас квадратные кирпичики стен, бойницы, ступеньки* лестниц, своды, арки такие явственные, четкие, как будто здание только что построено.

Кладка из сырцового кирпича, невредимо простоявшая тысячелетия под ливнями, буранами, жгучим солнцем пустынь. На некоторых кирпичиках сохранились полосы, проведенные пальцами, или петельки с хвостиками — знаки (тамги) родовых групп, принимавших участие в строительстве. Отпечатались на кирпичах и совсем случайные следы, трогательные своей обыкновенностью, жизненностью: маленькая ребячья ступня и собачьи лапки. Две тысячи лет назад лежали сформованные кирпичики и сохли на солнышке. А какой-то ребяенок-хорезмиец прибежал вместе со своей собачонкой, может, к отцу — кирпичному мастеру.

Строго спланированный двухэтажный дворец — башня (диаметром сорок два метра) — подавляет мрачной торжественностью. В длинный центральный зал со второго этажа из стрелковой галереи ведут с противоположных концов попарно расположенные лестницы. Из центрального зала арочные проходы — в смежные комнаты. Массивность стен, сводчатые перекрытия, слабая освещенность делают похожими помещения дворца на подземелье.

В пору возведения цитадели ее окружал частично застроенный двор, обнесенный крепостной стеной и рвом. Позже всю площадь двора заняли жилые помещения, много раз перестраивавшиеся. Оборонительные стены тоже были перестроены и переукреплены.

Для того чтобы судить о назначении памятника, о про-

должительности его существования, о людях, обитавших в нем, недостаточно восстановить его внешний облик. Надо еще изучить все найденные в нем следы жизни — «вещественные улики».

С Кой-крылгана после каждого сезона раскопок археологи отправляли в Москву сотни ящиков с находками: кости, дерево, алебастр, уголь, керамика. В обработке материала принимают участие не только археологи, но и антропологи, биологи, химики. Толстов не замыкается в своих «трех стенах» — этнография, археология, история, но использует для решения проблем и смежные и далекие области науки. Их современные достижения, и... будущие.

За многие годы скопился целый склад ящиков с костями различных животных, обнаруженных в раскопках.

Хозяйственники жаловались Сергею Павловичу: от «ваших» костей ни вздохнуть, ни повернуться. Какой смысл их хранить? Все, что можно, установлено: вид, род, семейство — все, что требуется для определения фауны.

— Вы уверены? Все, что можно? А я не уверен — все ли. Наука не стоит на месте, придумают что-нибудь еще, — упрямо повторял Сергей Павлович — и не ошибся.

Украинский палеонтолог И. Г. Пидопличко разработал метод определения возраста костей путем прокаливания. Этим методом воспользовались и археологи.

Химики производят опыты с углем, определяя, сколько времени назад огонь превратил дерево в уголь. Анализ собранного на Крылгане угля подтвердил археологическую датировку памятника.

Целые, неповрежденные сосуды — большая редкость на раскопках. Обычно груды черепков разбросаны по полу, свалены в мусорные ямы. Черепки сортируют по видам посуды. Комнаты хранилищ покрываются пестрой мозаикой. Иногда из кусков склеиваются сосуды полностью, иногда только их части, по которым уже можно дополнить форму и размер гипсом. Исследование керамики помогает датировать памятник, определить назначение помещений. Огромного труда требует изучение терракотовых (из обожженной глины) скульптур, рельефов, украшений на сосудах. Они знакомят нас с одеждой, оружием, хозяйством, бытом хорезмийцев, с их внешним обликом и религиозными верованиями.

Среди кой-крылганской терракоты — излюбленная хорезмийцами Анахита, богиня воды и плодородия.

Бог, близкий Дионису, держит в одной руке виноградную кисть, в другой — садовый нож.

Образ женщины, кормящей ребенка грудью, встречается

и в пластике, и в рельефах. Извечная жизнеутверждающая тема материнства — «Хорезмийская мадонна».

Все эти божества — олицетворяющие материнство, симболизирующие созидательные силы природы, божества-покровители урожаев и земного плодородия — были свойственны древнейшим религиям земледельческих народов. Поклонники Анахиты в гимнах прославляют ее весьма земную красоту — «прекрасная девушка, сильная, рослая» — и просят даровать им такую страну:

...Где много варят пищи, получают большие куски,
Где фыркают кони, звенят колеса,
Где часто взмáхивают плетью (погонщики),
Где много жуют,
Где припрятаны ароматные яства в кладовых
И по желанию хранят в изобилии все,
что надо для спокойной жизни.

«Одно дерево, выращенное в пустыне, стоит больше, чем многолетнее отшельничество и истязание плоти в пустыне», — гласят древние священные тексты Авесты.

Очевидно, обитатели нашего Крылгана усердно молились Анахите, и «много жевали» (судя по количеству костей животных, по остаткам семян, многочисленным зернотеркам, разнообразным сосудам), и много вырастили деревьев в округе, и часто взмахивали плетью за плугом...

Однако всем этим еще не исчерпывается назначение памятника.

По особенностям керамики (тесто, технология, форма сосудов) удалось установить, что жизнь в самой цитадели — возведенной в IV—III веках до нашей эры — протекала недолго. А в сооружениях, окружавших цитадель, — в позднейших застройках двора — продолжалась до первых веков нашей эры.

Что же было в это время во дворце? Почему его не заселяли и не перестраивали?

Во всех дворцовых помещениях на одном уровне вскрыт слой пожара. Однако цитадель не настолько была разрушена пожаром, чтобы нельзя было ее использовать под жильё.

Может, владелец или владельцы дворца были погребены в нем и, согласно древним верованиям, дворец был сожжен вместе с погребениями, а потом стал почитаемым «святым» местом?

В самой цитадели следов погребения сохранилось немного. Но мы обнаружили явный грабительский лаз. И тоже древний. Это печальное обстоятельство хорошо знакомо всем археологам, копавшим могильные курганы, египетские

пирамиды... Зато раскопанный нами во внешнем кольце здания зеленоватый терракотовый нос — очевидно, был осколком погребальной маски.

А в окрестностях нашей крепости — какие замечательные находки ждали нас!

...Погребальная терракотовая маска в натуральную величину.

Небольшая, поместившаяся на ладони скульптурная «голова старухи». Можно ничего не знать о загадочном пожаре мрачного дворца, об обычае украшать оссуарии — «гробики», в которых хоронили кости умершего, — скульптурой, но, глядя на эту голову старухи, нельзя не почувствовать дыхания смерти. Резкие складки лба, плотно сомкнутые веки, проступившие скулы. Скорбной, чуть иронической улыбкой тронуты губы. Тяжесть пережитого, неотвратимость смерти, горькое всезнание и мудрость.

— Кто бы здесь ни жил... а художники здесь жили гениальные, — бормотал Савицкий, подобравший эту скульптуру на такыре.

Рядом с Крылганом в песках нашли мы и глиняный оссуарий с изображением — почти в естественный рост — сидящего мужчины в узком перепоюсанном кафтане.

Миндалевидный разрез глаз, широкий лоб, резко очерченные губы, тяжеловатый подбородок, крупный прямой нос. Хорезмиец носил маленькие щегольские усики и традиционную подбритую бороду. По художественным достоинствам скульптура не уступает лучшим образцам Древнего Востока — изваянным из камня портретам: иранским, вавилонским, египетским.

Не только замечательными ваятелями, архитекторами были древние хорезмийцы, но и музыкантами. На Крылгане мы откопали терракотовые статуэтки музыкантов в нарядных халатах, с инструментами, напоминающими современную лютню.

Им очень обрадовался Рюрик Садоков, наш заслуженный аккордеонист и композитор, автор экспедиционных песен. Садоков занимается историей музыки Хорезма.

Очень много нашли на Кой-крылгане изображений животных. Собаки, верблюды, бараны, быки, — в Хорезме, где процветало скотоводство, они считались священными.

Терракотовый ежик оказался типично среднеазиатским — на длинных лапках, остроморденький. Родной прадедушка тех самых воришек, которые стащили у Сергея Павловича его новую статью. Ежики, по древним верованиям, причислялись к «добрым собакам».

Но откуда попала на Кой-крылган обезьянка с детены-

шем? Обезьяны не водятся и никогда не водились в Хорезме. По глине и по выработке фигурка отличается от хорезмийских. После долгих поисков выяснилось, что подобные изображения в ту пору создавались... в Индии.

Еще загадка: на ручках некоторых кувшинов помещались налепы в виде львиной головы. Прикусив венчик кувшина и обхватив его лапами, лев «охранял» содержимое сосуда. Львов тоже не было в Хорезме.

Снова начинались розыски. Родные сестры царя зверей, оберегавшего сосуда в кладовых Кой-крылгана, нашлись в Египте. Хорезмийские налепы оказались очень похожими на скульптурные изображения богини Сехмет (с телом женщины и с львиной головой).

По преданию, бог солнца Ра послал любимую дочь Сехмет наказать непокорных ему людей. Грозной львицей носилась она по земле. Истребление приняло ужасающие размеры. Сам Ра не в силах остановить разъяренную дочь. Чтобы спасти немногих уцелевших, боги придумывают хитрость: окрашивают в цвет крови ячменное пиво и льют по пути Сехмет. Она пьянеет и забывает о своем решении уничтожить все живое. Во имя милосердия богини Ра повелевает ежегодно устраивать праздники и приносить в жертву Сехмет кувшины с пивом. Смысл праздника — возрождение природы, обилие будущих урожаев. Миф о Сехмет был широко распространен в южных провинциях Египта, в Элефантине. Но Элефантина и Кой-крылган — на противоположных концах известного в ту эпоху мира. За Элефантиной у истоков Нила необитаемые земли с непроходимыми озерами и дикими лесами. А Хорезм граничил со скифской пустыней и со страной полуполюгендарных амазонок, дальше которой, по словам Геродота, — края вечного холода.

В документах судебного архива древней Элефантины отыскалось упоминание о хорезмийце Драгомане, солдате городского гарнизона. Очевидно, в Египте бывали и другие хорезмийцы. Культ дочери солнца Сехмет был близок хорезмийским праздникам плодородия в честь Мины и Анахиты. Может, кто-то из служилых людей, возвращаясь на родину, привез культовый кувшин Сехмет, послуживший образцом для подобных же хорезмийских. Но хорезмийские ремесленники никогда не видели львов. Знали только по сказкам. Потому-то львиноголовые сосуды вырабатывались недолго. Под руками местных гончаров лев постепенно превращается в диковинное чудовище. Но существовал обычай украшать посуду головками животных, самых привычных и необходимых в хозяйстве хорезмийцев (бык, баран).

Терракотовые «иностраницы»: обезьянка, львы — в соче-

тании с остальными статуэтками Крылгана — очень ценные находки. Они убеждают нас в том, что Древний Хорезм — государство, связанное с цивилизациями Индии, Египта и других стран, хотя культура Хорезма, искусство, техника развивались самобытно, самостоятельно.

ЗВЕЗДНЫЙ ВСАДНИК

Кой-крылган-кала в переводе означает «Крепость пропавших баранов». Название позднее. Так окрестили эти неведомые развалины туркменские племена, кочевавшие в окрестностях. Никаких следов пропавших баранов мы, конечно, не обнаружили. В шутку мы переименовали памятник в «Крепость найденных коней». Изображений коней мы нашли очень много. Оседланные кони, крылатые кони, конские головы. А на одном из сосудов обнаружили процарапанную надпись — древнейшую из всех известных пока в Средней Азии. Толстов расшифровал ее и перевел как «Аспабарак» — «едущий на коне», «сидящий на коне», «всадник».

Эти находки привели Сергея Павловича к мысли, что центральное круглое здание Крылгана — храм, связанный со сложным астральным культом, в котором переплетались и древнейшие верования, и современная памятнику «государственная» религия «зороастризм». Астральный культ обожествлял солнце и небесные светила. Сведения об этом дошли до нас в текстах Авесты — в самых древнейших частях этой «библии зороастризма».

О времени и о месте создания Авесты, даже о языке, на котором она написана, — мнения ученых расходятся. Спорят о ней по сей день, начиная с 1771 года — с тех пор, как французский ученый и путешественник Анкетиль-Дюперрон при помощи индийских жрецов парсов — современной секты огнепоклонников — впервые перевел Авесту на французский язык. Содержание ее оказалось настолько неожиданным, что ученого попросту высмеяли, объявив его жертвой грубого обмана. Однако перевод его был довольно близким к подлиннику.

В основе зороастризма — дуалистическое представление о мире как о борьбе двух начал — доброго и злого, воплощенных в двух братьях-близнецах Ормузде и Аримане. Ормузд — бог жизни, света, чистоты. Ариман — бог смерти, тьмы, скверны. Считалось, что эти два начала неизбежно присущи всем явлениям жизни, заключены в самой природе вещей. Примирить их невозможно. Только в результате

длительной борьбы, путем многих жертв, после конца мира и страшного суда, наступит полное торжество Ормузда. Однако зороастрийская религия проповедовала деятельную созидательную жизнь, а не уход от жизни и не смирение перед нею.

Все, связанное со смертью, считается в зороастризме нечистым. Чистые стихии: земля, воздух, огонь, вода — не должны оскверняться прикосновением смерти.

Этим и объясняются захоронения в оссуариях костей человека. Тело человека не позволялось закапывать в землю, сжигать на огне. Умерших сначала предоставляли на «обработку» хищникам, чаще птицам. А потом уже чистые косточки собирались в оссуарии.

Как и Библия и Коран, Авеста слагалась в разные времена, в разных исторических условиях многими народами.

Происхождение древнейших «пластов» Авесты ученые относят еще ко второму тысячелетию до нашей эры.

Один из героев Авесты — Небесный Всадник Сиавуш.

Ученые считают, что в глубочайшей древности Сиавуш был «умирающим и воскресающим богом» земледельцев. Анахита считалась его парой. От них зависят и разливы рек, и весеннее обновление земли, и будущие урожан. Ему, «Едущему на коне», подвластны судьбы народов и государств.

Позднее изображение Всадника чеканится на монетах хорезмийских царей. Хорезмшахская династия, просуществовавшая до X века нашей эры, возводит свою родословную к Сиавушу. На основании анализа письменных источников, нумизматических, археологических, Сергей Павлович Толстов, как и ряд других ученых, считает Хорезм местом создания Авесты, родиной мифа о Сиавуше. Та страна, куда прибыл (согласно авестийским легендам) первый человек, и есть Хорезм, землю которого он застроил, заселил и обводнил каналом. А в горах зажег первый священный огонь. При таком отождествлении многие сведения из Авесты относятся к Хорезму.

Эта идея находит подтверждение и в материалах Кой-крылгана.

Теперь мне хочется вернуться к первому моему знакомству с пустыней, к тому самому окошечку, из которого выползла змея, открыв «шестые весны».

Когда расчистили продолговатое отверстие — нишу, уходящую куда-то вглубь, и называли ее «окошком центрального здания», мне показалось это чистой фантастикой.

К чему бы выкладывать узкую наклонную кишку в семи-метровой толще стены? Но таких окон обнаружилось семь, открывающихся в разные стороны. Дневной свет в них рассеивался, терялся. Только чуть брезжил во мраке комнат. Бойницами они тоже не могли служить: сквозь них землю не увидишь.

Но однажды случилось...

Сергей Павлович задерживался в маршруте. На него не похоже! Мы ждали целый день, к ночи, не сговариваясь, пошли на крепость дежурить. Во-первых, потому, что нам всем «просто не хотелось спать», во-вторых, мигающий световой сигнал издали виднее. А для этого надо, чтобы кто-нибудь периодически прикрывал фонарь чертежным планшетом или шапкой. В-третьих, по опыту знаем: возвращаться домой ночью по пустыне куда веселее, если тебя встречают. Поэтому мы и пошли на крепость. Тревоги, высказанные вслух, всегда опаснее. Это мы тоже знаем по опыту...

Космическая тишина ночной пустыни, тысячелетние стены, излучающие дневное тепло, по-южному сверкающее небо околдовывали. Где-то над нами в бесконечных пространствах скакал Звездный Всадник Снавуш. В глубине дворца молились зороастрийские жрецы, седобородые маги в белых плащах и островерхих капюшонах...

— Кстати, маги брились и очень интересовались политикой, — заметила одна из сотрудниц.

На чиркнутую спичку словно выскочили из мрака останцы стен с провалами бойниц. Прозрачный коврик света лег на первых ступеньках лестницы. Мы спустились по этим ступенькам и уперлись, как в стену, в черноту зала... Только дуги входных арок, ведущих в боковые комнаты, угадывались по слабым отблескам, неизвестно откуда падающим. Я пробралась в одну из комнат и чуть не вскрикнула. В черной прорези устремленного к небу окна сияла звезда. Одна-единственная, ослепительная, оторванная от неба и созвездий — неожиданная хозяйка таинственной комнаты.

Кто-то тронул меня за рукав:

— Подойди на минутку.

В соседнем помещении, только сдвинутая ниже по оконному проему, тоже жила звезда. Свет ее был не серебристый, а нежно-розовый.

— Венера? .. — прошептали над моим ухом.

В узких оконных рамах движение звезд было особенно четко. Мы долго следили за светилами, пока оба они не покинули «своих комнат» — почти одновременно. Мы открыли смысл загадочных кой-крылганских окошек! Двадцать три

века назад здесь велись астрономические наблюдения. Жрецы с точностью до нескольких секунд могли определить время храмовых праздников, совпадающих с началом полевых работ, разливами Аму-Дарьи. По сочетаниям звезд, наблюдаемых в окнах, предсказывались и судьбы людей, сражений, государственных дел.

— Очередь за астрономами! Только их и не хватало Хорезмской экспедиции. Рассчитаем поле зрения, угол наклона этих окошек-«телескопов» и узнаем, какие созвездия интересовали хорезмийских жрецов.

— Но с поправкой звездной карты на два тысячелетия.

За разговорами не заметили, как посерело небо. Потянуло предутренним холодком. Сергей Павлович не приехал. Теперь мы караулили, чтобы с ходу затащить его в «обсерваторию». Но наше открытие не состоялось. Утром мне в палатку просунули рукопись подготовленного Сергеем Павловичем отчета. Красным были обведены строки: «...на существование школы древнехорезмийских жрецов-астрономов еще в IV—V веках до нашей эры... указывает уникальное произведение хорезмийской архитектуры — круглый храм Кой-крылган-кала... Пять наклонных окон-ниш в центральной башне, открывающихся в небо, позволяют предполагать, что памятник был... также и местом астрономических наблюдений».¹

В те далекие времена наука была неотделима от религии. А мечта человеческая обретала облик сказочный, мифический. Но уже тогда жила очень наивная и очень дерзкая мечта о звездолетном герое — Небесном Всаднике Сиавуше, потомками которого считали себя хорезмийцы.

Я убеждена, что Сергей Павлович не раз спускался ночью в «комнаты наблюдений», следя в одиночестве за медленным ходом звездных часов...

¹ Дальнейшие исследования археологов с участием астрономов привели их к выводу, что среди общих метеoaстрономических наблюдений особые наблюдения велись за звездой первой величины Фомальгаут, игравшей важную роль в древнем астрономическом календаре. (См. статьи Воробьевой М. Г., Рожацкой М. М. в книге «Койкрылганкала», М., 1967). Ю. А. Раппопорт предложил концепцию, согласно которой Кой-крылган сооружался как место трупосожжения и погребения — раздельного — двух царственных особ, возможно супругов, в начале царницы, позже царя, отождествляемых после смерти с божествами Анахитой и Сиавушем (см. там же). Учеными уточнены датировки. Первый период жизни памятника — «укрепленного храма-гробницы, где проводились астрономические наблюдения», — IV—III вв. до н. э. Во внешнем кольце обитали служители культа. Затем — период запустения — I—II вв. н. э., связанный с передвижением степных племен. Вторичное — бытовое — освоение памятника — с I по III—IV вв. н. э.

Законы движения небесных светил были необъяснимы и, как всякая тайна, действовали ошеломляюще. Поэтому и поклонялись Небесному Всаднику хорезмийцы, верили в его всемогущество, соизмеряя свои судьбы с велением звезд.

Время существования Кой-крылган-калы было тяжелым, смутным для среднеазиатских народов. Войска Александра Македонского огнем и мечом прошли по цветущим оазисам. Большая часть среднеазиатских государств — Согд, Бактрия, Маргиана — были разорены. С жестокостью, достойной богини Сехмет, Александр подавлял вспыхивающие восстания. Хорезм, по данным древних историков, описавших походы Александра, оставался самостоятельным. Зимой 329—328 года до нашей эры ставку македонских войск в Бактрии посетил хорезмийский царь Фараэман во главе большого отряда конных воинов. Александр заключил с царем «дружбу и военный союз». Но Хорезм, как доказано Толстовым, оставался центром антигреческих движений.

В Хорезме скрывался вождь народных восстаний согдиец Спитамен, неутомимый борец за свободу родины. Может быть, он нашел убежище здесь, в окрестностях Кой-крылгана, и служители храма исцеляли его раны. Может быть, в одну из зимних ночей 329 года до нашей эры он в последний раз проехал мимо этих башен, обдумывая дерзкий план нового похода против Александра, несмотря на то что звезды в семи окошках храма предрекли ему предательство и смерть.

Но... это уже фантазия. Нелегко восстанавливаются «страницы потерянной книги» — летописи судеб могущественного Хорезма, одного из древнейших государств на территории Советского Союза. Кой-крылган-кала — всего лишь один листок этой книги, вырванный, унесенный ветрами в пустыню.

ПУТЬ ВОДЫ

В любом конце пустыни, на севере и на юге, в Кызыл-кумах и Кара-кумах, в песках или в солончаках, на мертвых плато Устьурта или в разноцветных горах Султан-Уиздага — повсюду, где только сохранились остатки человеческого жилья: пещеры, крепости, замки, первобытные стоянки, смотровые башни, караван-сарай, — возникает изначальный вопрос у неискушенного новичка так же, как у опытного археолога: «А вода?» Откуда люди брали воду, без которой живая земля становится пустыней?

Поэтому во всех маршрутах, разведках, во всех стационарных, «копающих», отрядах наступает момент, когда перед Сергеем Павловичем Толстовым на походном столике, или на баулах, или просто на земле на брезенте раскладываются покоробленные, как сухарики, планшеты аэрофотосъемки. В палатке душно. Ветер не приносит облегчения. Ветер здесь приносит только песок и всепроникающую пыль. Борис Васильевич Андрианов, наш главный топограф, бережно обдувает свои чертежи и аэрофото, но они словно шерстью обрастают... Я делаю вид, что помогаю дуть, а сама заглядываю через плечо Андрианова, — помоему, на фотографии куски проселочной дороги, распутица, бесконечные колен. Мелкие и глубокие, пересекают друг друга, сплетаются, разъезжаются...

Для археолога все это остатки или уже только следы каналов, обводнявших древние земли, ныне погребенные песками пустыни.

Каналы — основа жизни Средней Азии. С самых древних времен человеку приходилось вести здесь непрерывную борьбу за воду. Какой огромный труд, какое количество рабочих рук потребовалось для сооружения каналов — гигантов архаического и античного Хорезма. Ширина их достигает шестидесяти метров, и тянутся они на многие десятки верст... И сейчас, спустя тысячелетия, сохранились древние русла, а по берегам высятся гряды отвалов, выброшенных руками безымянных строителей.

Далеких современников поражала грандиозность ирригационных сооружений Хорезма.

«Отец истории» Геродот, путешествовавший в V веке до нашей эры по Востоку, наравне с рассказами о различных чудесах — о золоте, которое в Индии выносят на поверхность земли злые муравьи «величиною почти с собаку, но больше лисицы», о благовонных смолах, которые находят аравийцы в бородах козлов, — говорит, что на землях, принадлежащих «хорасмиям», царь Ирана построил шлюзы, запиравшие пять рукавов большой реки. Вода, замкнутая в горах, превратила долину в озеро, а пять народов, живущих на равнине, гонимые великой жаждой, приходят с женами своими, становятся у дверей царского замка и «рыдают с воплями». Царь велит открыть шлюзы, взяв за это «сверх обычной дани большие деньги».

Много веков спустя средневековый путешественник ученый Ал-Макдиси записал легенду о том, что царь Востока в далекие времена провел для хорезмийцев канал из Аму-Дарьи и они, хорезмийцы, построили свои города.

Вот что рассказывается в письменных источниках об

истории орошения Хорезма. Остальное собрано археологами, топографами.

Толстову удалось установить, что археологическая ирригационная система создана еще в VII—VI веках до нашей эры, задолго до завоевательных походов персов и прочих «царей Востока». Возводить колоссальные гидросооружения могло лишь государство с крепкой централизованной властью, обладавшее тысячами рабов и применявшее малоизвестный тогда металл — железо.

Таким могущественным государством в ту пору и был Хорезм, которому подчинялись многие среднеазиатские земли.

Архаические системы орошения — самый выразительный памятник труду древних земледельцев Хорезма, далеких предков его современного населения.

Прошло тысячелетие. Как резко изменилась картина орошения! Протяженность каналов меньше. Ширина сократилась чуть ли не вчетверо. Каналы становятся глубже. Строятся и используются с меньшей затратой сил. На смену рабовладельческому строю — деспотии — приходит новый строй — феодальный.

Все эти изменения — социальные и политические — отражены археологической картой. Карты раскрывают существо многих событий, о которых сохранились лишь легенды. Карты подтверждают письменные исторические сведения. По этим картам, как по страницам книги, читается история страны: расцветы, кризисы, нашествия иноземцев, междоусобные войны.

Каждый раз, встречаясь с черным всепокрывающим слоем пожара в крепостях, обмеряя каналы, бродя по заброшенным поселениям, наблюдая с самолета следы занесенных песками полей, археологи неизбежно вспоминают высказывание Маркса о том, что «одна опустошительная война оказывалась способной обезлюдить страну на целые столетия и лишить ее всей ее цивилизации»¹.

Первая археологическая карта земель древнего орошения Хорезма была составлена Толстовым еще в 1948 году для монографии «Древний Хорезм». Позже, благодаря материалам экспедиции, была написана «История орошения Хорезма» Яхья Гулямовичем Гулямовым — соратником и другом Сергея Павловича. В доме Яхья Гулямовича в годы Великой Отечественной войны работал Сергей Павлович над своим «Первым опытом историко-археологического исследования», посвященным древнехорезмийской цивилиза-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 9, с. 132.

цин. Работал, только что выписавшись из госпиталя после ранения. Работал, когда в памяти были еще свежи картины боя, окружения, из которого вышли лишь немногие, когда так остра была горечь отступления, когда после тревожной сводки последних известий хотелось бросить все и вернуться на фронт. А врачи не пускали. . .

Не хватало всего! Покоя, привычной рабочей обстановки, элементарной налаженности быта, книг, карт, московских библиотек и музеев, коллекций, полевых материалов. Как вспоминают сотрудники, «писал наизусть, по памяти».

Борис Васильевич Андрианов разложил наконец снимки всего участка и приступает к докладу о только что проведенном исследовании.

Четырнадцать лет из года в год ведет Андрианов топографическую съемку районов древнего орошения. Археолого-этнографический отряд экспедиции — и не маршрутный, и не стационарный, так — цыганский. Сегодня верх палатки белеет на чинке (обрыве) Устьурта, через пару дней табор Андрианова перекочевывает к заброшенным колодцам в пески. Палатка Бориса Васильевича самая добротная и ту же всех натянутая. В ней никогда ничего не забывается, не упускается из виду. Я однажды пыталась потерять у топографов лопнувшую бутылочку чернил, но она неизменно преследовала меня через пустыни, горы и моря, на самолетах, верблюдах, машинах, пока не была торжественно возвращена по принадлежности. . . в Москве. Правда, уже без чернил, зато аккуратно обвязанная ниточками.

Борис Васильевич любит «комфорт» и уменьшительные суффиксы, которые произносит нараспев. Облику его свойственна некая округлость, начиная с фетрового колпачка на голове и кончая литературными оборотами речи. И все это отлично сочетается у Андрианова с беспокойнейшей профессией топографа, с жизнью, полной опасности и лишений.

Как будто никаких сенсационных находок, никаких подвигов. Дни работы одинаковы, как мешочки с образцами керамики, собранной на точках съемки, занесенных трехзначными номерами на план. Изо дня в день засекая направления оросительных каналов, отводных арыков, замеры водонапорные сооружения, бассейны, пруды-хаки, шагая по бороздам полей, топографы месяцами не видят. . . воды. Ее привозят за двадцать, тридцать, пятьдесят километров, солоноватую воду пустыни, нагретую во время пути, с привкусом железа.

— Светланочка, — командует Борис Васильевич помощнице, — отметьте точку на западном конце канальчика, на углу усадьбы, где начинается садик. — И шагает по песчаным буграм, по опаленным колючкам. Объектив дальномера забивается песком, сквозь знойное марево трудно отличить черточки рейки от полосок на блузе помощницы. . .

Привезенный Борисом Васильевичем чертеж напоминает головоломную загадку из журнального раздела «часы досуга». Угадайте, какие картины знаменитых художников нарисованы здесь одна на другой?

Но глаз археолога видит, как сменяли одна другую оросительные системы, как размещались поселки. Собранные в маршруте кости животных помогают определить, какой скот разводило население. Изучив остатки мастерских на берегах каналов — гончарных, стекольных, железоплавильных, — многое можно узнать о ремесленном производстве. По размерам площади обработанных земель устанавливается примерное число жителей оазиса.

Все это важнейшие хозяйственные основы прошлой жизни, без которых нет истории.

Познакомившись по аэрофотокартам и по наземной топографической съемке в отряде Андрианова с мощными ирригационными сооружениями средневековья и античности, хочется задать вопрос: когда же люди научились командовать водой, уводить ее так далеко в пустыню на свои поля? И кто были эти люди?

ВОЛШЕБНЫЙ ГОРШОК

Отряд экспедиции обследовал окрестности сухого русла Акча-Дарья. Когда-то по этим протокам неслись к Аралу воды Аму-Дарьи.

А сейчас здесь неглубокие, словно выровненные под гребенку, пески, поросшие мелким кустарником; поблескивающий на солнце, как мостовая-брусчатка, такыр. На горизонте тучей темнеет гора Кокча (восточный отрог Султан-Уиздага).

Кто-то заметил одиноко стоящий на такыре глиняный горшок.

Может, волшебный? Вблизи нет ни караванной тропы, ни кострищ-ночлегов. Может, вчера забытый замечтавшимся табунщиком?

Вчера? Даже с первого взгляда Марианна Александровна Итина, археолог-«первобытник», определила, что это

«вчера» отодвинулось от сегодня более чем на три тысячи лет.

Когда попытались высвободить из глины заплывшее днище горшка, нашли человеческие кости. Клочок грунта с костями еле отличался по окраске от остального такыра. Но таких пятен, расположенных без особого порядка, насчитали более сотни. Кое-где на поверхности земли проступали венчики горшков, украшенные каймой узоров из глубоко прочерченных линий.

Расчистка костяков, пролежавших тысячи лет в плотном глинистом грунте, — сложная хирургическая операция. Целый день сидишь в яме наедине со скелетом или лежишь на животе рядом с ним и расчищаешь скальпелем сустав за суставчиком. Над раскопками одуряющий запах базарной парикмахерской... Хрупкие косточки, особенно черепные, необходимо закреплять жидким клеем из синтетических смол. В разгар работ не хватило спирта. Но изобретательные хозяйственники срочно раздобыли ящик одеколона и «пустили в ход».

— Я уже стал дантистом, — сокрушается Савицкий, — ковыряюсь в зубах бедного красавца и никак не могу...

— Савицкий, что вы, это женщина!

— В самом деле? Не заметил. И кажется, не очень бедная? Подвиньте, пожалуйста, мне «Камелию», а «Шипр» возьмите. Он недостаточно тонкий...

Массивные бронзовые браслеты сохранились на костях рук первобытной красавицы, пара изящных бронзовых подвесок лежит около черепа, пастовые и сердоликовые бусы рассыпались под ребрами и около шеи.

В могилах попадались не только бронзовые украшения, но и наконечники стрел, проколки-шилья. В головах каждого погребенного стоял горшок или два, в которых хранилась жертвенная пища.

— Почему все они хоронились в скорченном положении? — спрашивает наш неизменный рабочий Амед. — Удобней, что ли, лежать?

— Некоторые ученые объясняют именно так, — откликается Сергей Павлович. — Для первобытных народов смертный сон — тоже сон. А это наиболее естественная поза спящего. Но другие ученые считают, что, по древнейшим верованиям, человек должен уходить из жизни в том же положении, в котором явился на свет... Предполагают еще, что, может, их связывали после смерти в такой позе. Умерших почитали, приписывали им сверхъестественную силу, но их и побаивались. Как бы почитаемый покойничек не выскочил из могилы неожиданно-негаданно и не натворил бы

бед! Пока нам достоверно известно только, что многие первобытные народы хоронили умерших в согнутом положении.

Большинство захоронений оказались парными. Мужчины справа, женщина слева лежали на боку, лицом к лицу, обратив друг к другу руки. Любящие супруги унесли свою любовь в загробный мир?

— Как-то даже неловко, — вздохнул Игорь Витальевич, — будто подсмотрел чужую тайну.

Некоторые археологи подобные погребения объясняли мрачным ритуальным обрядом. Когда умирал муж — глава семьи, убивали его жену и хоронили их вместе.

Никаких признаков насильственной смерти в кокчинских захоронениях нет. Явные следы вторичных перекопов, один из скелетов сдвинут в сторону. Сергей Павлович Толстов считает, что погребения были разновременными. Тот, кто умирал позже, просто хоронился рядом со своей парой в одной могиле. Попадались захоронения, где лежал только один из супругов, так и не дождавшись своего «жизненного спутника». Вторая половина могилы, подготовленная заранее, осталась пустой.¹

При таком количестве костяков ученые-специалисты сумели бесспорно восстановить антропологический тип кокчинца, нашлись у него по явному сходству и родственники среди дравидов — самых древнейших племен, населявших Индию. Давно уже ученые-филологи интересовались загадочной близостью древнейших языков Индии и Урала. Изучение первобытной истории Хорезма дало новый ключ к разрешению этой загадки. Средняя Азия, «древняя область великих озер», была центром крупных передвижений, расселений, скрещений первобытных племен.

В лаборатории Михаила Михайловича Герасимова, работы которого над восстановлением лица по костям черепа известны всему миру, создан скульптурный портрет обитателя Кокчи. Большой покатый лоб, крупный, с горбинкой, нос, тяжелый подбородок. Таким был охотник, скотовод и первый земледелец древних побережий Акча-Дарьи.

Недалеко от могильника нашлись следы поселения и первобытной ирригации. Русло бокового протока Акча-Дарьи было ограничено миниатюрной дамбой, вдоль которой размещались квадратики крошечных полей — четыре квад-

¹ Парные захоронения — для историков аргументация в пользу выделения парной семьи. Разновременность парных захоронений, подхоранивание трупа — исключаящее насильственное умерщвление женщины, — обоснование для суждений о формах общественной и семейной организации общества. (См. статьи Итиной М. А. в книге «История степных племен южного Приаралья», М., 1977).

ратных метра, окаймленные глиняными валиками. При паводках излишки воды в протоке задерживались дамбой и выпускались на поля. С веками эта система усложнялась. В век железа поля достигали уже гектара. Каналы протягивались на десятки метров. От каналов к полям вели сложные ответвления арыков. Из битвы с природой человек вышел победителем. Земля Хорезма получила воду, без которой невозможно земледелие в сухом и жарком климате Средней Азии. А земледелие, зачинателями которого были племена кокчинцев, составило основу могучего рабовладельческого государства.

Одинокий горшок, стоявший в пустыне, и в самом деле оказался волшебным. Он открыл перед нами страничку из жизни древнейших обитателей Хорезма, названных Толстым по имени ближайшего современного канала — таза-багъябцами.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Верблюды, самолеты, грузовики, катера, но главный вид транспорта в наших путешествиях — это машина, не числящаяся в хозяйственных списках. «Пока», как непременно добавил бы Толстов, не признающий принципиально ничего невозможного для науки.

— Ни бензина, ни фуража, ни запаха, ни мух, ни «профилактики» и никаких хозяйственников — вот за это я ее особенно люблю, — мечтательно произносит Сергей Павлович, — нашу машину времени.

От космических скоростей с непривычки укачивает. Вчера — на некрополе бронзового века. Сегодня — то есть через тысячелетие — на архаических полях в гостях у Андрианова. На холме, в городе, сооруженном еще во времена Кира или Дария (V век до нашей эры).

Внизу тропа, которой Андрианов гордится так, будто топтал ее сам, а не верблюды, тысячу лет назад проходившие тут в Иран с грузом темно-синего камня-самоцвета, которым отделывались стены царского дворца в Сузах. Об этом добросовестно сообщают надписи дворцовых стен.

По этой же тропе караваны проносили выюки со слитками золота в счет трехсот таланов, которые Дарий ежегодно собирал с Хорезма и других стран, входивших в 16-й округ — сатрапию Царства Персидского.

Вздывая курчавые дымки пыли загнутыми носками мягких башмаков, по этой тропе двигались воины. В такой пылище трудно разглядеть их лица. Видны только резкие бро-

ви, густые, по-особому расчесанные бороды, остроконечные скифские колпаки или башлыки, застегнутые под подбородком, узкие штаны, кафтаны без воротов, отороченные мехом или каймой. У солдат на поясах кинжалы, через плечо тростниковые луки, колчаны подвязаны сбоку. А в руках тонкие копья. Целый лес копий.

— Андрианов! Где-то ведь мы их уже встречали, этих людей?

Борис Васильевич безупречен:

— На барельефчике гробницы Дария.

— По-моему, еще на глиняных налечах-украшениях, — вставляет Раппопорт.

— В Малой Азии, — увлеченно подхватывает Сергей Павлович. — В Ассирии, в Египте! В знаменитом Фермопильском сражении! В битвах при Саламине, при Платеях!.. Здесь у ворот крепости только начинается поход. Они идут, чтобы слиться с войсками Ксеркса. Они выносливы и мужественны и будут сражаться в пехоте против почти неведомых им греков, афинян и спартанцев, на далеком Балканском полуострове, в другой части света. Они идут... Они еще не знают, что их ждет! Они побегут, разбитые греками, побегут вместе с остатками прославленного иранского войска — через Македонию, Фракию и Византию, «потерявши многих людей изрубленных, изнемогших от голода и усталости». Кто-нибудь из них осядет на чужбине, создавая истинную славу родине не мечом, а замечательным искусством гончарства, потому что их родина Хорезм — длинное «глиняное царство» и хорезмийские гончары знамениты на многие страны. Кто-нибудь найдет себе опять место солдата-наемника в другой иноземной войске. Но немногие вернутся на родину к запущенному хозяйству из этого грандиозного по масштабам, блестящего, но бессмысленного похода...

— Сергей Павлович, но машина времени несовершенна! Смотрите! Они уходят. Мы не можем остановить этих пехотинцев, этих солдат. Хотя знаем наперед все, что с ними будет! Не можем вернуть хотя бы часть из них, пока не поздно.

Сергей Павлович хмуро смотрит на тропу, еле обозначенную в серой, сухой как порох земле.

... Уж по ночам от заморозков первых
Пустыня серебрилась в южной тьме,
Уже перекачывали фермы
В загоны, утепленные к зиме,
И змеи сонные не успевали
От наших шин хрипящих уползти.

Весь мир, ронившийся вокруг развалин,
Рассеялся, попрятался, затих.
Лишь ветер вслед летящей паутине
Швыряет перекаати-поле вскок
Да север дальний гонит на восток
Седые тучи над седой пустыней.
С безмолвной откровенною печалью
Нас города погибшие встречают.
Как будто для того они, мертвея,
Не рассыпались пеплом и золой,
Чтоб, разобравшись в славе их былой,
Мы стали прозорливей и мудрее.
Чтоб, подобрав кремнем пробитый череп,
Мы помнили, бег времени измерив
От каменного к атомному веку, —
В чем наш ответ за судьбы человека.

ДВАЖДЫ ПОКИНУТЫЙ ДВОРЕЦ

В начале первого тысячелетия нашей эры Кой-крылган уже превратился в руины. В приспособленных под жилье каморках доживали последние обитатели. Что было потом?

Изучая монеты, собранные экспедицией, Толстов заметил, что на монетах Кушан — династии, объединившей в огромную рабовладельческую империю народы Средней Азии и Индии, появляются надчеканки — тамги хорезмийских царей, а к началу III века — и первые монеты с хорезмийскими надписями. Значит, к этому времени Хорезм стал самостоятельной страной? Но где же новая столица хорезмшахов? Где центр нового государства? Поиски привели к замечательным открытиям на городище Топрак-кала.

Для экспедиции раскопки Топрака — уже «история». В отчетах перед фамилиями знакомых нам раскопщиков стоит «звание» — студент. Студентка Вактурская, студент Раппопорт. Работа на Топраке — годы юности для Раппопорта, Вактурской и многих других «коренных хорезмийцев», и рассказ Сергея Павловича в его книге «По следам древнехорезмийской цивилизации» о первых разведках на этом памятнике сейчас звучит как легенда: «...Черно-серая неровная поверхность солончаковой корки скрывала рыхлый слой разъединенной солью почвы, в которой ноги верблюдов проваливались по шиколотку, оставляя крупные, неровные пятна следов... Солнце садилось, когда мы подошли к северной стене крепости... Вблизи вздымающаяся на двадцатиметровую высоту серая громада трехбашенного замка производила подавляющее впечатление. Мы вскараб-

кались вверх по осыпи. Справа от нас, в южном срезе северо-восточной башни, зиял ряд раскрытых сводчатых помещений... Могучие полуразрушенные арки угрожающе нависали над головой...

И вдруг, в косых лучах заходящего солнца, на серой поверхности городища четко выступил рисунок древней планировки: от ворот в южной стене протянулась узкая темная полоса главной улицы, в стороны от нее разошлись симметричные переулки, очертившие четким контуром огромные дома-кварталы, распадающиеся на бесчисленные прямоугольники комнат.

...Мы вышли через южные ворота и вдоль рва восточной стены двинулись в лагерь. Стена рисовалась величественным черным контуром, зазубренным временем, на заходящем закатном небе. На башнях, как тени часовых, перекликались сычи...»

Самые интересные находки с Топрака выставлены в залах Государственного Эрмитажа и Ленинградского музея антропологии и этнографии.

Цитадель Топрака, выстроенная в два-три этажа площадью в одиннадцать тысяч квадратных метров, возвышается, как на скале, на искусственном цоколе и производит впечатление «каменности». На самом деле весь дворец — глиняный, и цоколь, по выражению Толстова, «бархан, укрепленный глиной». Между мощными стенами-перегородками кирпичи, засыпанные песком. «Постройка на песке» — не в пример известной поговорке — в условиях Средней Азии самая прочная конструкция, предохраняющая от разрушительного действия почвенной влаги и солей. К этому «изобретению» пришли еще первобытные «архитекторы», соорудившие свои жилища на барханах. Если измерить расстояние от земли до верхушки башен Топрака, то получится высота десятиэтажного дома. Мощностъ шахской цитадели противопоставляется всему остальному городу, расположенному значительно ниже. Каждый городской квартал вмещает до ста — ста пятидесяти тесных клетушек, в которых ютились «рядовые» хорезмийцы. Это ярчайшая картина социальных отношений в рабовладельческой восточной деспотии.

Раскопщики расчистили более ста помещений дворца, воскресив деятельную разнообразную жизнь шахской резиденции.

На кухнях дымились очаги, в кладовых скрипели зернотерки, откупоривались огромные глиняные сосуды с вином, в тишине отдаленных комнат писцы подсчитывали поступление доходов, податей и переписывали шахские приказы.

В гареме шахские жены примеряли драгоценности, в тронном зале происходили торжественные приемы, решались государственные дела, и молчаливые черные стражи стояли на часах; в богато украшенном зале справлялись многочисленные шумные праздники с музыкой и танцами.

А в крошечных каморках теснились прислужники-рабы. И в полутемных низких помещениях мастерали оружие: гнули луки, обстругивали стрелы.

Тысячи предметов, собранных археологами, — от золотых украшений до зернышек проса и персиковых косточек — раскрывают самые различные стороны хозяйства, быта, религии, обычаев жителей древней хорезмийской столицы.

Сейчас дворцовые покои, чисто выметенные ветрами и обмытые ливнями, тишиной и торжественностью напоминают музей.

Но стоит заехать туда какому-нибудь отряду экспедиции — и посыпятся восклицания:

— В этом углу я, не разгибаясь, просидела два года, разбирая обломки кирпичей. И к концу второго года нашла наконец «стоящие» вещи — обломок глиняного меча, кусок скульптуры.

— А я здесь, в коридорчике, выживала буквально по чешуйкам знаменитых «красных рыбок». Они упали вместе со штукатуркой стены и лежали «мордой вниз». Нельзя было пропустить ни одного комочка.

— А помните, как мы счищали со статуй налипшую пахсу?

И меня гложет мрачная ревность: я чувствую себя ограбленной оттого, что не пришлось мне копать Топрак.

Среди черной мрачной пустыни мертвые стены дворца хранили сверкавшую красками живопись и скульптуру. Сцены охоты, труда, портреты живых людей, мужчин и женщин, обилие сюжетов и разнообразие орнаментов не только раскрывают жизнь древних хорезмийцев, но и утверждают красоту всего материального мира. Археологам достались лишь обрывки этой живописи и осколки статуй. Но так содержательно и богато было искусство древних хорезмийцев, что и по этим обрывкам мы узнаем очень многое.

В этих настенных росписях все, что несет с собой земля, воздух, солнце: птицы, рыба, плоды, цветы; и все, что несет с собой человеческая мудрость, творчество, — потому что человек частица этого радостного мира и его средоточие. Перед нами юноша со свитком рукописей, музыканты и танцовщицы, воины, сборщики фруктов, охотники, жрецы и цари. Археологи нашли «буквальное» подтверждение прав-

дивости топракской живописи и скульптуры. Лук в настенном изображении охотника — это именно тот самый лук, который откопали в арсенале. Глиняный воин, облаченный в доспехи, словно обронил железную пластину своего панциря, которую подобрали сотрудники в раскопе. Но если бы и не было этих находок, никто не усомнился бы в портретности статуй — слишком индивидуальны их лица; в подлинности музыкального инструмента, на котором играет арфистка.

Главное не в реализме деталей. Он был свойствен и средневековому искусству. Главное в мировосприятии художника. Это все — о человеке и ради человека, с его страстями, с его материальной красотой и духовным богатством.

В девяти комнатах дворца были найдены остатки глиняных скульптур. Толстов назвал Топрак «античной портретной галереей». На возвышении вдоль стен «тронного» зала в нишах стояли группы статуй. Это — скульптурная история хорезмийских царей династии Сиявушидов. Найденная в завале глиняная корона в виде белого орла была известна по изображениям на ранних (III века нашей эры) монетах, чеканенных одним из первых хорезмийских царей — Вазамаром. Так археологи смогли определить «время жизни» дворца.

В комнатах «арсенала» в завале рухнувших стен археологам попались небольшие дощечки-бирки с какими-то записями тушью.

Строчки ровные, буквы каллиграфические, четкие; нанесены опытной рукой профессионала.

Еще через год в уголке комнаты нашли полуопрокинутый глиняный сосуд. На дне его лежали кожаные свитки-рукописи. Такие же рукописи — в настенных росписях на «портрете писца». Юноша в простой одежде красноватых тонов, в красном головном уборе с тамгой Сиявушидов держит перед собой коротконогий столик, похожий на поднос. На столике горка свитков.

Около ста сорока документов собрано в южной части дворца. Но почему рукописи попали в «арсенал»? Рядом с «арсеналом» сотрудники откопали две лестницы, ведущие на второй (разрушенный) этаж. Возможно, в верхних помещениях и хранился дворцовый архив. Часть его упала при обвале стен и потолочных перекрытий.

Большинство документов на коже — в очень плохом состоянии. Кожа истлела, и строчки лишь слабо отпечатались на глине завала. Восемь «кожаных» текстов и все восемнадцать, написанных на дереве, «могут быть сравнительно легко прочитаны», как сообщал в отчете Толстов. Но что

значит «легко», когда имеешь дело с языком, давно уже исчезнувшим? Ведь неизвестны значения знаков, грамматический строй, нет хотя бы самого минимального запаса слов.

Оживить мертвые буквы, заставить их заговорить, разгадать их тайну, как была разгадана тайна египетских иероглифов, древней письменности племен майя и урартинской клинописи — захватывающая, но очень сложная работа.

«Сравнительно легкое» чтение потребовало нескольких лет кропотливых исследований.

Как пишет С. П. Толстов в книге «По древним дельтам Окса и Яксарта» (М., 1962), «архив документов из Топрак-калы довольно определенно делится на две группы: а) Тексты на дереве... видимо, реестры лиц, подлежащих налоговому обложению или повинностям. б) Тексты на коже... сводные хозяйственные документы...»

Два текста на коже представляли собой «реестр поступлений». После имен были проставлены цифры, подведен общий итог. Толстов предполагал, что это «предписание» должностным лицам о выделении людей для военной или трудовой повинности, причем для каждого поименованного лица строго установлено количество требуемых людей — десять, пятнадцать или двадцать пять.

Одна из строк «реестра» начинается: «В год двести двадцать второй...»

Датированных записей в архиве сохранилось три.

Документы подтвердили правильность выводов, подсказанных археологическим материалом.

В переводе на наше летосчисление записи произведены в период между 285 и 309 годами нашей эры. Последняя из них составлена уже во время падения дома Сиавушидов, когда основатель новой династии, грозный царь Африг, захватил власть и основал в 305 году нашей эры столицу в городе Кят, а дворец Топрак-калы пришел в запустение.¹

¹ За истекшие годы было раскопано городище Топрак-калы (руководитель Е. Е. Неразик, см. ее кн. «Городище Топрак-калы», М., 1981 г.), а также северный комплекс у подножия трехбашенной цитадели и проведены дополнительные раскопки на самой цитадели (руководитель Раппопорт Ю. А., — книга об этом материале готовится к печати).

Ю. А. Раппопорт предложил концепцию, согласно которой цитадель-дворец Топрак-калы являлся не местом обитания хорезмшаха, но особым сооружением для свершения сложных зороастрийских культов. Величественные, богато декорированные постройки Северного комплекса, очевидно, синхронны дворцу и входили в единую архитектурно-планировочную систему античной Топрак-калы. Жизнь в городе, где Е. Е. Неразик раскопаны жилые постройки и обширный храмовый комплекс, продолжалась в IV—VI веках н. э., захватив переходную кушано-афригдскую эпоху.

Научившись пользоваться машиной времени, я постаралась прибавить к своей жизни два-три тысячелетия.

В песках мне иногда представлялось Время с лицом той старческой маски из терракоты, которую подобрал Савицкий около Кой-крылгана. С лицом скорбным и мудрым, с иронической, горькой и загадочной улыбкой. Она вызвала у меня не страх, не робость, но все же некий грустный вздох, пока в одном из залов мертвого дворца над мертвой землей, о которых время давно объявило: «Это мое!» — пока я не увидела там танцующих ножек. Они самозабвенно резвились, поглощенные друг другом, — эти глиняные танцоры. Не оглядываясь на грозных хорезмшахов Вазамаров, Афригов, полчища арабов Кутейбы, монгольские орды Чингисхана и наступающие вслед за ними пески пустынь, всеразьедающую соль. Они были заняты: они плясали, хорошенькие ножки, под палящим зноем и под свирепыми зимними бурями, радуясь жизни. Не переставая плясать, перешагнули полтора тысячелетия. И время — сдалось! Как сдалась когда-то Смерть, завидуя земной девичьей любви в сказке Горького. Я не сомневаюсь, что ироническая улыбка времени, когда оно заглядывало сюда, сменялась на терракотовой маске откровенной ухмылкой до ушей.

Археологи нашли в завалах скульптурную голову одного танцора: узколицый тонконосый человек с черной «ассирийской» бородкой. А к шапочке его были приделаны козлиные уши. Нашлись в зале и обломки масок: какие-то черные фантастические рожи, хохочущие, с вытаращенными глазами.

Маски козлоухие, козлобородые надевались в Греции во время «Дионисий» — празднеств в честь виноделия и урожая. «...Так проходил он по всему свету, — рассказывает греческая легенда про бога Диониса, — насаждая растениями земли. И нет ни одного из греков или из варваров, кто бы не чувствовал его благодетельный».

Культ божества, родственного Дионису, существовал в Хорезме издревле. Археологи находили его изображения в терракотовых фигурках и на флягах. В зале «танцующих ножек» справлялись шумные хмельные праздники во славу осенних даров земли, во славу земледелия и обилия урожая, во славу молодого веселья и молодого вина, хранившего аромат полей и солнца. Во славу вечного обновления жизни.

Жаль расставаться с Топраком. Вздравшись на башню, так хорошо слушать ветер, сосредоточенно и значительно шуршащий в щелеватой пахсе, и смотреть, как удлиняются прозрачные фиолетевые тени, смягчая и пряча следы разру-

шенности. От этого Топрак становится еще одухотвореннее и таинственнее. Четче обозначаются рельефы стен, ниши, ступеньки лестниц, сводчатые перекрытия, арки, миниатюрные бассейны во двориках, троны зала царей, настенные медальоны гарема, глиняные фигуры зала побед. Бродить бы здесь... да рискованно! Вдруг заметит дворцовая стража, схватит и бросит в тюрьму: огромную глубокую яму с отвесными стенами, куда сталкивали всех непокорных и дерзких, неугодных хорезмшаху. И хорошо, если не засунут живьем в мешок с красными пчелами, а просто отрубят голову. Но вряд ли: помилуют — и отправят вместе с другими рабами чистить каналы. От Аму-Дарьи до Топрака протянулись каналы на сорок километров, и еще дальше на север тянутся они к обширным усадьбам Аяза.

Аяз-кала — современница Топрака, хотя и старше его на столетие — II век нашей эры.

В нашем XX веке Аяз-кала — фантастична и неожиданна, как сновидение. Каждый из нас, побывавших на Аязе, вспоминает его по-своему. Сергей Павлович Толстов рассказывает о дикости и суровости пейзажа, о красно-бурых изломах скал. Другие утверждают, что место это производит мрачное впечатление благодаря блеклым, оливковым, зеленовато-серым краскам. Говорят и о постоянных миражах на зеркальных аяз-калиньских такырах, настолько отчетливых, что в возникающих озерах отражаются чинк, крепость и даже машины, идущие впереди на расстоянии тридцати — сорока метров. И все мы помним: над Аязом — беспокойные облака, несвойственные небу пустыни.

На высоте шестидесятиметрового крутого обрыва, словно выросшая из скалы, парит верхняя крепость Аяза. Вдвигавшийся, как вулкан, бугор в половину высоты чинка несет над своим кратером Средний замок причудливой овальной конфигурации, построенный в V—VII веках нашей эры. У подножия бугра раскинулось обширное поселение с огромными площадями пустых дворов. Когда-то в них были сады, виноградники. Крепость на скале занимал гарнизон имперской армии. Оборона земель считалась делом общегосударственным — в античности.

С Аяза тоже не хочется уходить...

Но и весь этот район пустыни (правобережья Аму-Дарьи) — богатейший археологический заповедник. Куда ни взглянешь — везде остатки самых разнообразных сооружений различных эпох. Горы в древности тоже были обитаемы. В горах хорезмийцы добывали бирюзу, разноцветный мрамор, тальк.

Но вот там, на западе, в стране заходящего солнца, чер-

неет зловещий трезубец вершины. Он сразу привлекает внимание своим необычайным силуэтом черной короны. Мы побывали и на этой горе. К ней можно приблизиться на машине по старице русла, петляющего среди оливковых, голубоватых овражистых суглинков. Потом пробираться пешком. Черно-серые горы. Тишина «вечности». Таинственное эхо. Гнездовья орлов. Полуметровые черепахи с сердитым шипением карабкаются по камням. По Авесте, черепаха — «злая собака», творение бога тьмы Аримана. Почему злая, нам до сих пор непонятно. Но прутья у этих длинноногих горных черепах и общительность — самые собачьи.

Наш сотрудник Глеб Павлович Снесарев, первым добравшись до вершины, вскрикнул и схватился за сердце.

Мы много лет знаем Глеба Павловича как человека академически сдержанного, солидного. И вдруг? Глеб Павлович пустился в пляс... Здесь, на самой вершине черной трехзубчатой короны, он открыл огромное оссуарное кладбище. А ведь Глеб Павлович — этнограф, специалист по погребальным культам, по пережиткам зороастризма.

Орлиный клетот и тени огромных крыльев над нами приобрели зловещий смысл. Мы подозрительно косились на пернатых потомков тех древних орлов, которые совершали мрачный ритуал очищения косточек. Орлиный век втрое длиннее человеческого. А вдруг птицы не забыли старых обычаев? Что-то уж очень упорно кружат они над нами.

Возможно, где-то здесь в горах покоится и прах обитателей Топрак-калы.

Но Авеста запрещает чрезмерно предаваться скорби, слишком долго оплакивать покойников — дабы не отвращаться от жизни.

Последуем этому мудрому совету.

СТРАНА ТЫСЯЧИ ЗАМКОВ

О Митра, обладающий широкими пастбищами!
Быстрых коней наших, о Митра, враги уводят.
Наши сильные руки ножами, о Митра, лишают мощи,
Нас повергают ниц...

Авеста

Чтобы почувствовать ход истории, чтобы понять, какие сложные события привели к исчезновению жизни в Топрак-калинском дворце, а позже — в городе и во всей округе, надо проехать километров шестьдесят на юго-восток от Топ-

рака к мертвому оазису Беркут-кала, в современный район Кырк-кыза.

В очень ясные дни с башен Топрака даже можно разглядеть эту «страну тысячи замков».

От города Кята — «новой» столицы Хорезма — мало что сохранилось до наших дней. Зато в Беркут-калинском оазисе не осмотреть и за неделю всех крепостей, крупных и мелких замков, укрепленных усадеб. На протяжении семнадцати километров в длину, шириной в два-три километра, протянулась вдоль древнего арыка эта когда-то густо заселенная сельская округа.

После гигантского единого города Топрака, после обширных открытых усадеб Аяза, защита которых возлагалась на гарнизон специальной крепости в горах, — на Кырк-кызе поражает обособленность и воинственность каждого сооружения. Не только крупные замки, но и самые мелкие усадьбы — самостоятельные крепости. Грозные башни-донжоны, мощные оборонительные глинобитные стены. За такими стенами люди жили в постоянном страхе, каждую минуту готовые к нападению врага. Но почему они готовились к обороне не сообща, всем государством, а каждый сам по себе? Должно быть, больше, чем иноземцев, люди боялись друг друга, защищаться им приходилось от соседей, от внутреннего врага.

На серебряной монете беркут-калинского времени — знакомый нам хорезмийский всадник и тамга Сиавушидов; на другой стороне — хищный горбоносый профиль человека с жиденькой бородкой и ожесточенно вытарашенными глазами и подпись: царь Африг. Жестокий, кровавый царь, о котором великий ученый Бируни через несколько столетий скажет: «...И заслужил он дурную славу».

А что показывает андриановская карта?

Замки покрупнее расположены на узлах каналов. Мелкие усадьбы — на охвостье арыков. В любой момент владелец замка мог «запереть воду». А без воды — голодная смерть. Понятно, что бывшие до сих пор свободными земледельцы, члены общины, не мирились с новым порядком. И с оружием в руках отстаивали свое право на жизнь.

Борис Васильевич, сам того не замечая, впадает в печальную задумчивость, разглядывая карты. Его канальчики, садики, огородики заносятся песками. До сих пор он вымерял непрерывный рост каналов. Люди наступали на пустыню. Теперь — пустыня наступает на людей. Вода не доходит уже до Аяза, — гибнут сады, сгорают виноградники, разбегаются люди. Вода не достигает Топрака! И последние обитатели покидают родной город. Нет воды и на Кой-крыл»

гане. Угасла вся античная ирригация на левобережье Аму-Дарьи. Некому поддерживать каналы. Людям не до того! И Аму-Дарья жестоко мстит за это, отворачиваясь от людей. Плодороднейшие поля покрываются панцирем такыров. Ползут из глубины пустынь жадные барханы. Черные смерчи и раскаленные бураны разгуливают над мертвой землей. Дэв Апаоша — злобный дух засухи, голода и мора — теснит гордого Хорезмийского Всадника.

Дэв Апаоша — «черная лошадь»!

...Лысый, с лысыми ушами,
Лысый, с лысой шеей,
Лысый, с лысым хвостом,
Тощий, безобразный, страшный...

Авеста

И так происходит по всей Средней Азии. Разваливается, раздираемое противоречиями, рабовладельческое общество Востока. В обстановке кровавых гражданских войн, усобиц, хозяйственной разрухи, набегов иноземцев рождается новый — феодальный строй. Ничем не брезгует знать — лишь бы удержать власть, подавить антифеодальные выступления хорезмийцев. Чтобы расправиться с мятежником Хурзадом, хорезмшах предает свой родной народ, вступая в сговор с Ибн-Кутейбой — военачальником арабов.

Четыре тысячи пленных умертвил Кутейба, залил кровью хорезмийские земли.

В 712 году арабы полностью захватывают Хорезм.

«И всеми способами рассеял и уничтожил Кутейба всех, кто знал письменность хорезмийцев, кто хранил их предания, всех ученых, что были среди них, — так что покрылось все это мраком, и нет истинных знаний о том, что было известно из их истории во время пришествия к ним ислама» (Бируни).

Двенадцать веков мертвели земли Беркута. Грозные замки феодалов и усадьбы земледельцев стали приютом шакалов, ящерниц, сов. В пахсовых трещинах скопились птичьи перья, сухие прозрачные змеиные выползины...

Мертвенно-голубоватая корка такыра. В оплывшей бойнице саксауловый куст, обвитый полусонной змеей... Красноречивый эпилог многих человеческих трагедий, судеб народных, борьбы и страстей.

Но в проломе молчаливо-скорбной крепостной стены сияет живыми красками хлопковое поле! Красноватым, темно-зеленым, бурым, пронизанным белыми вспышками бьет оно в осеннюю пору. Комбайн с полными бункерами

и ярко-желтое платье водительницы, в обрамлении блекло-охристых древних стен, — пейзаж XX века! Сейчас машина развернется, и мы увидим молодое улыбающееся лицо Гюльзадэ Баяновой. Нет, она не улыбается. Лицо ее торжественное и серьезное, в мелких росинках пота, у нее царственная осанка женщин Востока. Не будем ее окликать, чтобы не мешать ей. Это поле вспахивала она сама. И засеивала сама — первая трактористка колхоза. И сейчас один день ее труда заменяет полмесяца работы колхозника, собирающего хлопок вручную. На другом «берегу» поля ей машет рукой бабушка. Она притащила ребятенка Гюльзадэ. Значит, скоро уже обед.

Комбайны и Гюльзадэ — это тоже история.

Когда впервые в 1937 году Толстов приехал на Кырк-кыз с отрядом археологов, его встретила пустыня во всей кызыл-кумской дикости. Сквозь тяжелые пески на верблюдах пробивалась экспедиция к развалинам крепостей и замков.

В 1941 году начали колхозники в этом районе наступление на пустыню. А в 1950—1953 годах специальный этнографический отряд Хорезмской экспедиции под руководством Татьяны Александровны Жданко приехал сюда для изучения быта и жизни новоселов. Потому что здесь уже сложилась новая жизнь с новым бытом, новым укладом, новыми, родившимися тут же, на Кырк-кызе, традициями.

Недавних кочевников рода Кетё — казахов с урочищ Аяз-калы, знавших только охоту да пастбища, на Кырк-кызе впервые обучали земледелию узбеки. И поначалу обрабатывали для казахов землю. Казахи делились с узбеками своим многовековым опытом скотоводства на пастбищах пустынь.

Старожилы до сих пор вспоминают, как потекла первая струя воды на Кырк-кыз, как запрягали первого верблюда в плуг, когда не хватало тягловой силы. Как люди с лопатами в руках, стоя на барханных гребнях, подкарауливали буран и подбрасывали песок, чтобы ветер развеивал его и уносил. Жили тогда в землянках. Воду привозили на арбах. Иногда не хватало ее и для питья, особенно в зимнее время. На арбах же вывозили песок, расчищая участки для вспашки. А как упорно, терпеливо сажал Матъякуб Ергуланов самые первые сады! Как прижились вдоль арыков первые тополиные саженцы и весной протянули к солнцу свои робкие листочки... Нелегко давались первые шаги кырк-кызцам. И время было тяжелое — война!

После войны на помощь колхозникам пришла техника. Высокое белое здание, которое видно со всех древних останцов, — это не дворец, а Кырк-кызская РТС! Новое поколение урожденных кырк-кызцев — трактористы, комбайнеры, экскаваторщики. «Старая» трактористка Гюльзаде (1936 года рождения) готовит молодежь — двадцать девушек-механизаторов!

В этнографических опросниках есть такой параграф — «родоплеменной состав населения». Обычно этот вопрос задают старикам. Но я не этнограф, спрашиваю паренька-казаха, заливающего бензин в трактор:

— Из какого рода?

— Эртээсовский, — ухмыляется парень.

— А из какого племени?

— Третьей бригады коммунистического труда.

Так отвечает новое коренное поколение кырк-кызцев.

Мы, собственно, на Кырк-кызе свои. И колхозники часто вспоминают, как Татьяна Александровна Жданко помогла им воевать за лучший проект жилого дома. Как Сергей Павлович Толстов хлопотал вместе с ними о дополнительной селитре для полей. А Елену Евдокимовну Неразик, много лет руководящую раскопками Беркута, знали здесь еще совсем юной, только что кончившей университет — белокурой застенчивой тоненькой Леночкой.

В здании правления колхоза — экспозиция Хорезмской экспедиции. История края с древнейших времен до сегодняшнего дня. И даже — до завтрашнего, предусмотренного семилетним планом. Карты, планы, витрины с нашими находками, чертежи, фотографии. Первый в Средней Азии краеведческий колхозный музей. Андриановская карта земель древнего орошения. И карта современных угодий колхоза. Вода уже приближается к Аязу. То, для чего требовались многие века, совершается на глазах.

ЗОЛОТЫЕ ЗОРИ УРГЕНЧА

У меня есть любимое место паломничества.

Я всегда стараюсь хоть на один день попасть в Куня-Ургенч. Проезжаешь Старый Ургенч, современный райцентр Туркменской ССР, сворачиваешь к югу. Сады, арыки, хлопковые поля расступаются, и сразу попадаешь во власть трагического. Трагического на заре и в полдень, в сумерках и ночью — во власть древнего города Ургенча, города, которого нет... который под твоими ногами.

На тех памятниках, что мне приходилось видеть в глубине пустыни, — смягчающий налет времени. Пахсовые бойницы потрескались, башни оплыли, барханы нахлынули, прикрывая проломы стен, такырная корка милосердно за-растила зияющие раны, превратив их в швы или вовсе выровняв.

Гипсовая белизна костей, пустынный загар на каменных плитах, сама грандиозность песчаных пространств, их необычность, сказочность — «обобщающее» действие пустыни. И недаром пустыня, тонкая художница, на крепостной останец сажает могучего орла или кидает вам под ноги в портале замка перетрусившего зайчика.

А обветшалые мазары (мавзолеи) в степи — материализованные куски одиночества и грусти, но их кирпичи теплы и пахнут полынью. И постоянно, попав в пустыню, прислушиваешься...

Потому что здесь слышишь «ход времени».

Вся пустыня с монотонным шорохом пересыпается из бархана в бархан, как гигантские песочные часы — часы вечности.

И еще: среди мертвых песков крепости и могильники — памятники жизни. Но среди хлопковых полей бесконечное черное городище Ургенча — памятник гибели, разрушения, смерти. И на городище — это даже не археологические бугры... Просто весь погибший город, люди, грешно жившие и тяжело умиравшие, хотят и не могут подняться из своих могил, но от их усилий вздыбилась и перекосилась земля.

Здесь не кажутся смешными поверья местных стариков, будто в полночь, приложив ухо к земле, можно услышать проклятья, рыдания, звон сабель и конский топот. Да была б эта земля только голой, черной и пустынной, но она еще сверкает на все лады не хуже звездного неба — осколками яркой, многоцветной поливы, бирюзовой, синей с позолотой, ярко-желтой. Подберешь черепок — а на нем нарисован тонкими штрихами персик — символ здоровья и благоденствия, другой подберешь — изящной прописью — пожелание успеха и долголетия!

Бархатная зелень тамарисков и современное кладбище, захватившее часть городища, своей обычностью смягчают впечатление. Но торчащий, как указующий перст, минарет на голой земле (он виден даже из отдаленных пустынь), два превосходных средневековых мазара с чертами благородной былой красоты — только усиливают трагизм своей откровенной вдовьей заброшенностью.

Может, от всего этого и действует так сильно «светлое чудо» искусства, мавзолей Тюрабек-ханым, созданный в

XIV столетии, на который не поднялась рука даже у карателей Тимура.

Однако к этому чуду ведет далекий путь истории...

В VII веке нашей эры в письменных источниках про Ургенч говорится: «...И только здесь есть воли с телегами. Торговые употребляют их в путешествиях по разным владениям». Уже и в это время Ургенч был торговым городом между кочевой степью и культурной полосой.

В начале VIII века Хорезм завоеван арабами. На его землях образовалось два государства: Южное — со столицей в городе Кяте, с царем прежней Афригидской династии и Северное — во главе с ургенчским эмиром, подчиненным багдадскому халифу.

Блестящий расцвет Ургенча в X веке связан с общим экономическим подъемом Хорезма.

Арабский путешественник Макдиси называет уже тридцать два значительных города в этих землях. Рост городов — это значит рост торговли, ремесел.

Археологи подтверждают сведения рукописей «материальными уликами»: сохранившимися по всему Хорезму развалинами по-новому спланированных городов, новой техникой строительства, обилием монет из далеких стран, великолепным разнообразием щедро декорированной керамики.

В том же X веке на дальних подступах к северо-западу земли Хорезма укрепляются системой крепостей и сигнальных башен, сохранившихся над обрывами по всему Устьурту. Это — против полукочевых племен, огузов, угрожающих главным торговым путям Хорезма в Поволжье.

Исследования рукописей привели Сергея Павловича Толстова к интересным выводам.

В русской летописи за 986 год — в «Пытании о вере» — рассказывается о том, как старались обратить киевского князя Владимира в мусульманство. По мнению Сергея Павловича, это не художественный прием, не литературная традиция, но отражение истинных фактов.

В Лондоне хранится арабский манускрипт, в котором врач Марвази упоминает о посольстве, отправленном Владимиром в Булгар (нижняя Волга) для «обучения законам ислама».

Как известно, Владимир отверг эту веру, но через Булгар хорезмийцы вступили в непосредственное сношение с русскими. Зато Хорезму удалось обратить в ислам печенегов, истари воевавших то на стороне русских, то против них.

На Устьурте над Аральским морем экспедиция обнаружила великолепную средневековую дорогу со многими колодцами по пути и караван-сараями.

Это «царская дорога» на Южную Эмбу — начало пути в Поволжье.

Один из караван-сараев (современное название — Белиули) выложен из желтоватого туфа с четырьмя колодцами и водопойнями, с многочисленными хуждарами — гостиничными «номерами». Над высоким сводчатым входом караван-сарая высечены изображения львов.

Монеты чекана хорезмшахов находят по всему великому волжскому пути. Каспийское море издавна называли Хвалиским — Хорезмским морем. А в глухой уральской деревеньке Бартым, за многие сотни верст от Хорезма, обнаружено несколько серебряных, мастерски украшенных чаш. На чашах надписи на древнехорезмийском языке.

Торговые караваны из Ургенча тянулись не только на север, но и в Бухару и Самарканд, в Хорасан и в Северную Персию, в Индию, Монголию.

Рукописи средневековых авторов сообщают про Ургенч: «Он самый большой город в Хорезме после столицы его Кята, является местом торговли...»

«Он каждый день увеличивается. У ворот Хаджаджа стоит дворец, построенный Ал Мамуном. У дворца — ворота. Во всем Хорасане нет более удивительных (по красоте), чем они. Сын его построил другой дворец впереди его дворца. У ворот дворца находится площадь, подобная площади в Бухаре, и на ней продают баранов».

Ургенч недолго уступал городу Кяту. В 995 году властитель Кята — последний царь древней Афригидской династии Хорезма — был взят в плен и убит ургенчским эмиром Мамуном. Объединились северный и южный Хорезм, и эмир провозгласил себя хорезмшахом. Блеск столицы, пышность сооружений, многоязычная толпа народа, разнообразие богатых товаров, иноземные гости и хорезмийские купцы-путешественники, добравшиеся во все концы мира, войско и свита шаха — это еще не все, чем славился Ургенч. Здесь, в «Академии Мамуна», собрался цвет научной и философской мысли того времени.

Гениальный ученый-энциклопедист Бируни, привлеченный хорезмшахом к государственному управлению; великий Ибн-Сина (Авиценна), выдающийся философ, врач, естествоиспытатель и поэт; Абу-Сахль — философ. К этой эпохе относится деятельность ученого Мухаммеда Ибн-Муса-ал-Хорезми, астронома, географа, историка, основателя так называемой «арабской» математики. От названия

одного из трактатов ученого — «Алджебр вал мукаббала» (учение о перестановках, отношениях и решениях) — произошло слово «алгебра». Через арабов хорезмийская (как ее было бы правильнее именовать) математическая наука стала достоянием всего культурного мира.

Библиотека Ургенча считалась одним из богатейших собраний в Средней Азии.

В правление воинственного Мухаммеда II, провозгласившего себя «Вторым Александром Македонским», в городе Ургенче двадцать семь побежденных властителей-заточников или их сыновья каждое утро бьют зорю на барабанах из чистого золота — знаменитую «золотую зорю».

Это время наивысшего расцвета Хорезма. Недаром его называют «хорезмийским ренессансом».

Обширность земель «государства» хорезмшахов детально прослежена экспедицией по остаткам средневековой ирригации.

В XII веке на семьдесят километров в глубину пустыни протягивается канал Чермен-яб, обстроенный крепостями и сельскими усадьбами. В конце канала величественные развалины крепости Шахсенем. Когда-то здесь был богатый обширный город и сельская округа. К югу от города огромный парк с двумя павильонами. По соседству с городом — остатки стеклодувных мастерских. На земле сохранились скопления звящего голубоватого, зеленого стекла.

Здесь вырабатывались оконные диски, вставлявшиеся в алебастровые решетки, выдувались изящные кувшины и чаши из прозрачной стеклянной массы.

Во время разведок на Узбое был обнаружен в Заунгузских Кара-кумах средневековый караван-сарай Талайхан-Ата. До ближайших колодцев отсюда километров десять — двенадцать.

Откуда же брали воду путешественники в этой пустынной гостинице? А их скапливалось тут немало, судя по многочисленным комнаткам для ночлега и обширному двору, куда заводили верблюдов, лошадей. Хозяева гостиницы очень остроумно использовали запасы дождевых вод. Для сбора их служила ровная глинистая площадка, откуда по двум желобам, проложенным с учетом малейших изменений рельефа, вода стекала в глубокую, вмещавшую полтора кубов цистерну.

Начальник раскопок Ольга Александровна Вишневская сделала забавное открытие — стена длинного коридора, ведущего во внутренний дворик, оказалась исчерченной знаками и надписями. Эта своеобразная «книга посетителей» содержала имена проезжих гостей. Почти 900 лет назад

вырезал надпись безвестный купец «Саид сын Юсуфа сына Мухаммеда», остановившийся в караван-сараях в 1079 году и пожелавший увековечить это событие.

Охваченная пламенем пожаров, рушилась империя хорезмшахов под ударами монголов.

Известный арабский путешественник-историограф Якут, побывавший в Хорезме в 1219 году, пишет: «Не думаю, чтобы в мире были где-нибудь обширнее земли, шире хорезмийских и более заселенные, при том что жители приучены к трудной жизни и довольству немногим. Большинство селений Хорезма — города, имеющие рынки, жизненные припасы и лавки. Как редкость бывают селения, в которых нет рынка. Все это при общей безопасности и полной безмятежности». «Не думаю, — говорит он в другом месте, — чтобы в мире был город, подобный главному городу Хорезма по обилию богатства и величине столицы, большому количеству населения».

А в апреле 1221 года, после шести месяцев осады, полчища Чингисхана захватывают город.

Современник этих событий Ибн-ал-Асир рассказывает: «Потом они (татары) открыли плотину, вода вышла и затопила весь город. Все постройки были разрушены, и их место заняла вода. Не спасся из жителей города никто совсем, тогда как были города, где некоторым удалось спастись... Кто скрылся, или кто убежал, или кто улегся среди убитых и (этим) спасся. В Ургенче кто спрятался от татар, того или затопила вода, или убили развалины. Все пришло в состояние разрушения...»

Ученые-историки до недавнего времени считали такое изложение событий «сильным преувеличением», ссылаясь, между прочим, на якобы уцелевший до XIX века хорезмшахский минарет.

В 1952 году мы вскрыли основание минарета и убедились, что Чингисхан разрушил и минарет и мечеть, находившуюся рядом. От мечети остались лишь кирпичные полы и пирамидальные базы колонн. От минарета — основание, опоясанное мраморным кольцом.

Груды человеческих костей, пробитые черепа, обломанные клинки — выразительные следы страшной резни, которой завершилась героическая оборона Ургенча.

Однако уничтожить, стереть с лица земли Ургенч, большой торговый центр на перекрестке караванных путей, было не так-то легко.

Четырнадцатый век — и Ургенч снова город «самый

большой, самый красивый. У него есть красивые базары, и широкие улицы, и многочисленные постройки... Он велик скоплением народа, и днем пройти там нельзя...»

Год 1333 — Тимур осадил и взял Ургенч, предав город грабежу и разрушению.

Год 1379 — «и приказал Тимур город Ургенч, совершенно разрушив, засеять ячменем...»

XVI век — Джаны Махмуд Гиджувани упоминает развалины разрушенной монголами «старой крепости» и места мазаров правоверных, «где иногда показывались тени мертвых...».

Такова судьба города. Можно еще добавить, что, по сведениям рукописей, правитель Ургенча XIV века «Кутулуг-Тимур и его замечательная жена Тюрабек-ханым» застроили город чудесными зданиями; что пять походов Тимура — карательных и грабительских — были проведены в связи с попыткой Хорезма обособиться; что Тимур вывозил не только ценности из Ургенча, но и людей, могущих послужить украшению его столицы — Самарканда: ученых, строителей, ремесленников. Раскопанные экспедицией городские кварталы воссоздают картину общего упадка культуры Хорезма XV—XVII веков.

Очень убедительны и трогательны все эти жилые дома, лавчонки, мастерские ремесленников, баня, столовая; возле столовой прямо на улице стоят котлы для приготовления пищи и рыбобарки. На перекрестке — чайхана, множество чайников и припрятанная «денежная касса» хозяина, мешочек с мелкими монетами. Но постройки эти сложены из старого кирпича сооружений XIV—XV веков. И резьба по алебастру бедна рисунком.

В XVII веке жители Старого Ургенча переселены ханом Абульгази в расположенный около Хивы Новый Ургенч.

ТЮРАБЕК-ХАНЫМ

— Это, кажется, у Льва Николаевича Толстого сказано, что, глядя на смеющееся лицо молодой красивой женщины, чувствуешь себя молодым и красивым? — спросил вдруг Савицкий, когда мы подходили к мавзолею. — Вот когда я смотрю на этот купол, у меня становится как-то очень светло на душе и как будто я сам становлюсь красивее. Я не знал, что мавзолей возведен над могилой любимой жены Кутулуг-Тимура.

— Неизвестно еще, — прошелестел голос Нины Николаевны Вактурской, проскользнувшей в прохладную глубину

мавзолея, — может, его построили еще при жизни Тюрабек как ханакá, странноприимный дом. И может, как раз здесь беседовала Тюрабек с арабским путешественником Ибн-Батутой. Он с восторгом вспоминал в своих записках об этой замечательной женщине, о ее беседах и о ее ханакá.

Мы перешагнули порог с испытанным уже много раз, но не утратившим остроты ожиданием чуда. Шумный, изнурительно знойный, обесцвеченный и плоский в лучах полдня мир остался позади, и начиналось волшебство.

— Все-таки в настоящем искусстве всегда кусочек тайны, и никто ее до конца не разгадает, — мечтательно произнес Савицкий.

— А стоит ли ее разгадывать? Лучше просто смотреть, — откликнулась Ольга Александровна Вишневская, медлившая у входа. — Нет здесь никакой тайны. Это разговор, не нуждающийся в переводчиках. Иначе и не нужны мозаики, если все можно «передать» словами.

— Вы, искусствовед, могли бы их описать? — Савицкий посмотрел в мою сторону. — Конечно, вы бы развели...

И заученно казенным голосом он затараторил:

— Мавзолей этот, товарищи, небольших размеров шестигранник, внутри двенадцатигранник, увенчанный барабаном и куполом и снабженный высоким входом-порталом со стрельчатой аркой. В нишах и в барабане во всю высоту узкие окна, и от этого в здании много света. Полированный кирпич теплого розовато-желтого тона чередуется с изящными мозаичными панно. Изумительно чист цвет бирюзового купола снаружи, от которого сохранился лишь... ошметок, то есть фрагмент. А внутренний мозаичный купол, товарищи, решен плетением белых шестиугольников на синем фоне. Однако любой кусочек этого синего фона заполнен самостоятельным узором. Там и сям сочетания красного, коричневого, зеленого, черного, желтого, золота, бирюзы, да еще в нескольких оттенках каждого цвета. И ученые до сих пор не сосчитали, сколько же там, в этой чертовине, извиняюсь, в куполе, различных вариантов (единиц) орнамента? Обратите внимание на то, что, при величайшей простоте и математической точности, художники, ни разу не повторившись, достигли совершенного, как вы сами понимаете, единства, эмоционального аккорда и...

— Хватит, Игорь, — взмолилась Вишневская, — от такого «искусствоведческого» описания можно умереть со скуки.

После чудесных античных фресок Топрака, «столь полно выражавших красоту материального мира», последовали долгие годы средневековья. Не историка — обыкновенного неподготовленного зрителя — трудно убедить на произведе-

ниях изобразительного искусства, что феодализм был шагом вперед, а не назад в развитии человеческого общества и культуры. Зритель не захочет отрываться от топрачных фресок и статуй, с наслаждением возьмет в руки античный черепок и отвернется от грубо вылепленных глиняных уродцев средневековья, с недоумением пожмет плечами, разглядывая плоских, с ватными ногами, головастиков-человечков с выписанными волосками бороды на страницах восточных рукописей, равнодушно пройдет мимо серых, тусклых, то слишком вытянутых, то слишком приземистых сосудов средневековья. И никак не поверит, что это «шаг вперед» по сравнению с понятным искусством античности.

А ведь все это очень сложно и очень интересно!

Догмы ислама, запрещавшие изображать живое существо, единый невидимый всемогущий бог, господство «духа» над плотью, изгнание плотских многочисленных божеств зороастризма — самый «порядок жизни» при феодализме толкнул искусство к новым путям и поискам.

Считалось, что художник, как и всякий смертный, не должен посягать на право бога-творца. Художник способен создать видимость, внешнюю оболочку существа, но не в силах вложить в него живую душу.

В день страшного суда такие творения явятся к художнику и потребуют от него свои души. Что ответит он тогда? — гласит мусульманская догма. Конечно, живая жизнь опрокидывала все запреты, побеждала убожество религиозного догматизма. Запрещение это нарушалось откровенно или хитроумно обходилось окольными путями.

Самым греховным считалось — создавать подобие человека и особенно подобие объемное, от которого падает тень. В ответ на это родился теневой театр. Вырезанные из бумаги силуэты никогда никому не показывались. А тени — бесплотны! И не придерешься!

Но, помимо всяких «нарушений», «обходов», художники научились «вкладывать живую душу» со всеми человеческими страстями и печалью и радостями в орнамент, геометрический или растительный узор. Конечно, его использовали и в античности. Но никогда и нигде не расцветало искусство орнамента так, как на средневековом Востоке. Изгнанная из портретов, фресок, статуй, «живая душа» рождалась заново в произведениях мозаичистов, ювелиров, гончаров, ткачей. Сложная, богатейшая, тонкая и благородная, чуткая была эта душа, требующая для своего выражения все новых художественных средств, приемов, открытий.

Для того чтобы почувствовать «шаг вперед» во времени и в искусстве, надо сравнивать не статуи Топрака с малень-

кими глиняными уродцами, а надо смотреть после топрачной живописи изумительные образцы орнаментов в прикладном искусстве: в мозаике, резном ганче, дереве, бронзе, в росписях многокрасочной поливной керамики.

Еще лучше привести зрителя сразу в мавзолей Тюрабекханым.

В куполе Тюрабек — тайн много, изученных, постигнутых, накопленных художниками за многие века.

Новое понимание строительной техники, конструкции, экономное и расчетливое использование строительного материала, технология красок. Невозможно это все было без расцвета науки, без гениальных ученых «Академии Мамуна», экспериментаторов, математиков, физиков. Невозможно было бы это чудо искусства без достижений «восточного ренессанса» XII века.

Мозаики купола должны быть отнесены к декоративно-монументальному, прикладному искусству, выполняющему «служебную роль», украшающему архитектурное сооружение, существующему «несамостоятельно»? Конечно, мозаики украшают купол и стены. Но мозаики Тюрабек, созданные гениальными художниками, перерастают «служебную роль». И тут очень много секретов. Орнамент почти геометрический. Растительные узоры, которые вплетаются в него, не сразу и разглядишь. Никогда не забудешь этот купол, однажды его увидев. Забудутся его детали, но останется в памяти «образ». Мы привыкли говорить «образ», и сразу хочется добавить «чего». А как объяснить, что выражает купол? Какие вызывает представления?

Идея мироздания? Ощущение звездного неба и его беспредельности? Но небо не изображено, не изображены звезды — «небесные светила», а ощущение «звездности» рождается. Памятник неумирающей любви к женщине? Может быть. Но эта любовь всеобъемлюща и овеяна светлой грустью. Идея экстаза, слияния с миром? Еще возможнее. Состояние вдохновения, озарения? Да! И какого-то просветленного, очень гармоничного. Свободный полет человеческого духа? Все это высокие слова. Хотя все это правда. Но здесь ведь нет никакой «сюжетной программы», которую мы постигаем в европейской тематической живописи. Здесь само понятие «сюжета», «программы» совсем иное. Но здесь есть свои законы. Своя диалектика единства и бесконечного разнообразия, контрастов, есть процесс развития, движения, смены ритмов. А по богатству красочных сочетаний — тонкости, смелости, неожиданности колорита — мозаики Тюрабек не уступают лучшим открытиям мастеров Возрождения.

Старик сторож, который сидит здесь целыми днями,

знаете что рассказывает? «Идут люди к мавзолею, машут руками, смеются, разговаривают. Порог перешагнут — умоляют. И — кто сразу, кто не сразу — обязательно вздыхают. Люди разные, а за тридцать лет не видел такого, кто бы не вздохнул глубоко!»

Законы! Секреты! Искусство — это ремесло! Настоящий художник никогда не боится признаться в этом. Ведь и мозаики Тюрабек создавались многими руками ремесленников, а не одной парой рук. Хотя кажется, что купол родился сам, в один миг.

Слишком явный ритм, повторяемость скучны, но без них и картина «не держится», не смотрится. А в орнаментах этого купола нарушение симметрии и повторяемости доведено до виртуозности. С каждого места, с каждой точки зрения открывается новая красота, и каждый раз она неповторима. Есть тут еще один секрет — собственный — восточного средневекового искусства. Купол запоминается с первого взгляда. Но если сто раз приезжать сюда и часами разглядывать его — все время будешь открывать что-то новое. Он и был рассчитан на такое разглядывание. Именно для этого он так неповторимо разнообразен. Огромное наслаждение дает этот бесконечный процесс познания, непрерывная радость открытия. Он завладевает зрителем, утоляет жажду и будит новую. Отвечает на вопросы и задает другие и еще другие, и так без конца. Потому что, оглядев весь купол, начинаешь смотреть сначала и опять видишь что-то неожиданное, еще неусмотренное.

Так своеобразно эти мозаики опровергают общезвестную истину, что изобразительное искусство «одномоментно». Но ведь орнамент очень часто «действует» как кинолента. Он течет, развивается, только роль киноаппарата выполняет сам человек.

Наверху реяли голуби, розовеющие в лучах солнца. Купол резонировал, и весь мавзолей заполнило реяние крыльев, как будто здесь их были мириады...

В искусстве отрицание и разрушение старых норм, закономерностей — как и в науке — происходит во имя установления новых, более сложных закономерностей. От плотской объемной реалистической живописи Топрака до шедевра «беспредметной» живописи Тюрабек — потому что это, конечно, живопись! — поиски новых закономерностей! Об этом стоит поразмышлять. О поисках новых законов — и о возрождении старых народных традиций, о новых открытиях, которые очень старые.

Мы проходили по кладбищу и видели орнаментальную надпись: «Все создано из праха, все станет прахом». Тут бы

нужно совсем другую, слова Горького: «Все создано из крови сердца и нежной ткани души человеческой» — и потому бессмертно.

МАШИНЫ ИДУТ БЕЗ ДОРОГ

Окс и Яксарт — древнейшие имена двух великих рек, двух сестер, Аму-Дарья и Сыр-Дарья, — двух хозяек над жизнью и смертью всего живущего в обширном среднеазиатском Междуречье.

Цифры, которые приводят геологи и гидрологи, грандиозны. Только Аму-Дарья выносит ежегодно более сорока восьми миллиардов кубометров воды.

И ежегодно воды Аму-Дарья несут с собой сто двадцать миллионов кубометров отложений: песка, ила. Река загораживает сама себе дорогу, забивая русло осадками и меняя свое направление. История этих рек насчитывает шестьсот тысячелетий. Из них только одна сотая связана с историей человечества, но и эта сотая часть огромна — почти шестьдесят веков!

На всем протяжении пустынь обнаруживаются следы речных русел. Одно из них, самое знаменитое, — загадочный Узбой — тянется от Сарыкамышской впадины к Каспию на протяжении пятисот километров через пустыню Кара-кум. Русло Узбоя сказочно красиво, фантастично своей необычностью. То оно прорывается узким каньоном сквозь розоватые скалы, то тянется крутыми, ступенчатыми террасами, то раскидывается среди монотонных серо-желтых равнин. Местами на дне его синеют узкие длинные озера. Чаше сверкают мощные отложения соли. Заканчивается Узбой у берегов Каспия несколькими пересохшими протоками, ныне превратившимися в зыбучие шоры (солончаки). Нензмненно создается впечатление, что совсем недавно Узбой был могучей, полноводной рекой.

Другие древнейшие русла сильно смыты, развеяны. Или вовсе стерты с лица земли.

Путешествуя по земле, не всегда и отличишь их от окрестных такыров и песков.

Но стоит подняться над пустыней в самолете или вертолете — и очертания протоков постепенно проступают, как на фотографии, опущенной в проявитель.

Иногда ученые восстанавливают древнейшие пути рек минералогическими анализами. Состав песков на месте этих русел совпадает с составом современных отложений Аму-и Сыр-Дарьи.

Эти реки капризны, непостоянны и жестоки. Сотрудники экспедиции помнят тенистые улочки Старого Турт-куля, где им часто приходилось останавливаться. Вымощенные кирпичом тротуары, людный базар, уютная гостиница с роскошной «домашней» баней. Теперь на месте Старого Турт-куля беснуется Аму-Дарья. Горóдок пришлось перенести, выстроить заново в семнадцати километрах от прежнего места.

Великий ученый средневековья хорезмиец Бируни рассказывает, как в X веке в ранне-средневековой столице Хорезма в городе Кят Аму-Дарья смыла грозный замок царя Африга, простоявший шестьсот лет. (На месте древнего города Кята, где родился Бируни, — современный город, районный центр, носящий имя великого ученого.) Страшное бедствие — «дегиш»! Течение, меняющее русло.

Берега Аму меняются не по дням, а по часам.

Приходят машины к переправе. На берегу маленький импровизированный «порт». Людно, шумно. Грузят баржи. Переругиваясь, суетятся около складов, пахнущих рогожей, бензином, фруктами... Штабеля досок, бочки, тюки, корзины, ящики... Утлый ишачишка жметя к колесу арбы, которое в два раза выше него. Величественно шествует верблюд, навьюченный новенькими велосипедами. Грузовые и легковые машины послушно выстраиваются в очередь. Чайханщик «сообразил» чайхану и рыбожарку — под походным шатром. Вокруг котла, как белые голубки, воркуют чайники. Попивая себе чай, слушай разговоры, пока бедняга буксир на середине розово-ржавой реки сражается с водоворотами, тянет баржу.

Через неделю свежие еще колени приведут к обрыву. Пусто на берегу. И весь берег «обкусанный». В заводи торчит одинокая свая — вчерашний причал. На отмели, предупреждая об опасности, покачивается бакен. Переправа отступила вверх или вниз по течению. Но надолго ли?

В нашем стационарном лагере появились новые люди — маленький отряд Александры Семеновны Кесь — сотрудника Института географии Академии наук. Детально уточняется наш маршрут. Высчитываются километры, дни, крестиками обозначаются на картах колодцы. Выверяются списки сотрудников, рабочих — участников маршрута, высчитывается вес багажа. Ничего нельзя забыть — машины пойдут без дорог. Ничего нельзя взять лишнего — тоже потому, что машины пойдут без дорог.

Нелегка жизнь маршрутчиков, но все с нетерпением ждут, когда наконец машины будут задраены фанерой, а из палатки выйдет Сергей Павлович Толстов в лихо залом-

ленной папахе, в тулупе, с биноклем, полевой сумкой через плечо и командует: «По коням, товарищи!»

... Меня подбрасывает, как крышку на кипящем чайнике. Белые клубы солончаковой пыли окутывают кузов, мотор глухо булькает от перегрева. Я спасаюсь наверху, на брезентовом тенте, от тесноты кузова, от баулов, сползающих на ноги, от запаха бензина, а более всего от мух и слепней, которые сопровождают экспедиционные машины в пустыне так же неотвязно, как и верблюдов.

Впереди, то сжимаясь, то растягиваясь гармошкой, ползет по земле облачко. Это машина Сергея Павловича прокладывает путь к «разгадке Узбоя».

Пустыня цветет второй раз — по-осеннему лихорадочно и вызывающе ярко. Лазоревые, багровые, малиновые, лиловато-бордовые кустики солянок пламенеют на пепельных солончаках. Там, где равнина гуще заросла кустарником, земля словно подернута лиловым облачком с золотисторыжей каемкой. Но беркуты кружат над пустыней не для того, чтобы украшать осенний пейзаж. В зарослях прячутся суслики, змен, водится множество дичи, пасутся джейраны, шныряют лисы.

Мы «идем» по Сарыкамышской впадине. Чаше всего нам приходится пробираться через сусличьи города, по ступицы зарываясь в их многокомнатные квартиры. На каком-нибудь бугорке обязательно поджидает нас дежурный суслик — как дворник в белом переднике на брюшке, важный и уса́тый. Он строго посматривает по сторонам и, вдруг рассыпав по всей пустыне отчаянную свистящую трель, ныряет под землю.

Застигнутые сумерками, мы останавливаемся на ночлег у подножия чинка Устьурта. Здесь на дне долинки — кладбище. Щербатые столбы-памятники, позолоченные загаром пустыни; плиты иногда с арабскими надписями, иногда с орнаментами и рисунками, не по-могильному красочными. В основании чинка вырублены две пещеры. В одной могила «святого», другая — обжитая, закоптелая — для паломников. На полу разбитый казан, остатки дров. В стенной нише — покоробленный старинный Коран. Листы его вдруг зашевелились, приподнялись, из-под них выскользнула вертикальная ящеричка. Изящная закладка для книги, но неудобная, очень скользкая.

Стемнело. Из-за мазарчика, приютившегося на мысу, выглянул месяц. Похоже, что он вылутился из купола. Вот он уже отчалил от мазара и пустился своим путем, странно преображая мир. Теперь все подробности исчезли. От мо-

гильных столбов тянутся длинные тени, переламываясь на светлых ступенчатых плитах.

Завтра с рассветом все это будет для нас уже не кладбищем, а «объектом» археолого-этнографического обследования. Будем копировать надписи. В альбомах появятся акварельные зарисовки орнаментов.

ПОДВОДНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Пастбище среди каменных надгробий.

Надписи успели износиться.

Но чабан читал, усердно сгорбясь,

По-арабски или по-персидски —

Все о том, как даже прах исчезнет,

Жизнь угаснет поздно или рано,

Не останется ни пластыря, ни раны,

Ни лекарств не будет, ни болезней.

«Чтите вечность»...

И на древний камень,

Вдруг запахший молоком овечьим,

Он нанес веселыми руками:

«Друг, земная жизнь прекрасней вечной».

— Итак, мы погрузились уже метров на восемь — десять.

— А где же акваланги? Скафандры?

Белесое низкое небо. Акваланги не помешали бы — так хочется вдохнуть свежего воздуха. И с ластами было бы легче двигаться в этой залитой вязким зноем котловине.

Бренча лопатами, рабочие уходят на шурфовку. С ними Александра Семеновна Кесь. Статная, высокая, с целой пагодой черных волос на голове, с чуть-чуть насмешливым спокойным лицом, какие бывают у наблюдательных, умных людей, слишком умных, чтобы как-нибудь это выражать. Она всегда подтянута, выдержанна, по-мужски деловита и по-женски элегантна даже в условиях пустыни. И ее внешности очень соответствуют неизменные профессиональные атрибуты — планшет с аэрофотокартой и компас.

Шурф готов. Александра Семеновна, как волшебница на сцене, «проваливается сквозь землю». Только верх белой кавказской шапки шевелится над свежавырытым окопчиком. Географ читает слон. Но как странно они чередуются! Слой илистых отложений, принесенных потоком реки, сменяется слоем озерных осадков. А что обозначает эта узкая серо-желтая полоска песка? Огромное озеро мелело, заболачивалось, покрывалось коркой солончака. Ветер приносил из пустынь песок.

А дальше опять полоска илистых отложений реки. Так происходило несколько раз. Вот почему под нашими ногами все время похрустывают мелкие солоноводные и речные ракушки, вот почему по краям котловины тянутся гряды гравия, намытого волной, а берега нашего озера — серебристые радужные обрывы — вблизи оказываются слоистым трухлявым известняком, подивеченным то розовыми, то шоколадно-рыжими, то бирюзовыми примесями.

На сто сорок километров с юга на север протянулась Сарыкамышская впадина. Плоские, однообразные солончаки, изредка прерываются они песками. Вдруг засверкает маленькое озерцо, но подойдешь ближе — обман! Ложбинка затянута коркой соли. Мы медленно продвигаемся, «прощупывая дно», погружаясь все глубже и глубже. Теперь мы на максимальной глубине — сорок пять метров ниже уровня моря. Если бы и сейчас озеро достигало своего наивысшего уровня, над нами была бы девяностометровая толща воды.

— Ты умеешь плавать? — спрашиваю я рабочего Амеда. Он на всякий случай улыбается, но не понимает, к чему разговор.

— А что, если река прорвется и снова затопит озеро? Лицо Амеда меняется мгновенно:

— Не надо шутить так, апа! Я маленький был, видел, река ломала дом. . . Крыша плыла. . . На ней голуби. Люди бежали и плакали: «Дегигиш унес наш дом».

Отвернувшись от меня, Амед несколько раз очень серьезно произносит фразу, много веков звучавшую и во дворцах шахов на торжественных молениях, и в домах бедных хлеборобов Хорезма: «Да будет Дарья многоводной, да течет она в собственном русле».

Чем же притягивают солончаки Сарыкамыша Хорезмскую экспедицию?

Вот уже с сорок седьмого года машины обязательно пробиваются сюда — к берегам бывшего озера.

Здесь, на дне и на берегах Хыз-Тенгизи — «Девичьего моря», как называли в средневековье Сарыкамыш, скрыто решение тайны Узбоа. Ведь для того чтобы Дарья текла по Узбоа, ей необходимо заполнить Сарыкамышскую котловину до самого верха, до отметки в пятьдесят—пятьдесят два метра над уровнем моря, и «вылиться» в русло Узбоа, которое и начинается у южных границ Сарыкамыша.

Более двух с половиной тысяч лет спорят ученые об истории возникновения и обводнения этой «реки», об истории заселения ее берегов.

Сотни ученых, историков и географов, начиная с Геродота и кончая, а может быть и не кончая, нашей Александрой Семеновной Кесь, высказывают свои предположения, догадки, гипотезы, соглашаясь и не соглашаясь друг с другом.

На Узбое и Сарыкамыше издавна известны развалины крепостей, ирригационных сооружений, скопления кремневых орудий.

Но среди ученых, путешественников, историков, географов, занимавшихся разгадкой Узбоя, не было археологов.

Широкая полдса Прикаспия, Сарыкамыш, Узбой, — в древности места расселения «массагетских племен», в состав которых входили «хорасмины». Без изучения этих пограничных областей невозможно решить многие вопросы истории Хорезмского государства.

Так и возникло содружество на колесах: географы, археологи, этнографы.

— Смотри-ка, апа, что там нашли? — кричит мне Амед.

У небольшой гряды песков собрались сотрудники и о чем-то спорят. От строя машин отрывается газик Сергея Павловича Толстова и летит в сторону гряды. Мы спешим туда же. Почти у самой цели я спотыкаюсь, проваливаясь в какую-то... колею. Нет, это не колея. Ровик! Еще один и еще. Ровные полосы полей, занесенных песком. Сергей Павлович и Борис Васильевич Андрианов бродят по оплывшим буграм — остаткам какого-то строения. Жилая усадьба? Черепки, дорогие сердцу археолога, и...

— Сергей Павлович, кажется, монета!

И черепки и монета датируются XV веком. Значит, жители пользовались водой озера, отводя ее на поля, еще в XV веке.

— Еще одна усадьба! — говорит Сергей Павлович подоспевшей Кесь. — Вот и определяется время ваших «озерных отложений».

— Всех сразу? Здесь ведь несколько озерных слоев.

— Ну, не всех, — соглашается Сергей Павлович. — Посмотрим еще, что покажет Зенги-баба. Но уже бесспорно, что в пятнадцатом — шестнадцатом веках здесь было живое, полноводное озеро.

ПОТЕРЯВШАЯСЯ РЕКА

С виду неказиста эта крепость на юго-востоке котловины, долженствующая разрешить столько сложных вопросов. Небольшой плосковерхий бугор, заброшенный глыбами

ракушечника. Известняковые надгробные плиты, полузасыпанные галькой. На топографических картах так и числилась Зенги-баба — кладбищем. Однако бугор таил в себе остатки мощного укрепления. В глубине холма уцелели массивные крепостные стены из тесаных плит. Сооруженная в XII веке — в эпоху расцвета государства хорезмшахов — Зенги-баба служила форпостом сложной оборонительной системы, укреплявшей границы Хорезма. Гарнизон оставался в крепости недолго. При монголах она была разрушена. Долгое время пустовала. Лет через двести крепость опять была заселена. И снова покинута.

И вот тут-то археологов ждал сюрприз. Последний по времени обитаемый земляной пол оказался покрытым ракушками, засыпан намытой галькой. Корни растений забили в щели каменной кладки, курчавились между обрушенными плитами. Расчищенная археологами крепость походила на остов старого корабля, выброшенного на сушу. Сомнений не оставалось. Сооружение было затоплено Сарыкамышским озером. Воды его в XV веке подымались до отметки пятьдесят метров, а глубина достигала девяноста метров. После неоднократного жестокого разгрома Хорезма полчищами Тимура на рубеже XIV—XV веков, в те самые годы, когда был разрушен, распахан и засеян ячменем город Куня-Ургенч, Аму-Дарья, не сдерживаемая больше плотинами, прорвалась к Сарыкамышской впадине и затопила ее. Но значительного прорыва воды в русло Узбой не произошло. Средневековых памятников, кроме караван-сараев, вдоль русла Узбоя нет. Следы ирригации XVII века, обследованные Толстовым в 1947 году, располагались по дну русла. Очевидно, воду здесь разбирали из немногочисленных озер. Водопровод, открытый в районе Узбоя еще Обручевым, расположен с наклоном в сторону русла. По этому водопроводу к караван-сараям, стоящим около Узбоя, доставлялась вода из искусственных бассейнов, собиравших влагу дождей и тающих снегов.

Но текла ли вода по Узбою в античные времена, на что настойчиво указывают письменные источники и легенды?

К лоткам с образцами почвы, к находкам археологов: каменным жерновам-зернотеркам, бусинам, черепкам, монетам — добавились выписки из античных и средневековых авторов.

Почему в геодезическом трактате Бируни, посвященном истории течения Аму-Дарьи, Сарыкамыш именуется по-тюркски Хыз-Тенгизи — «Девичье море»? Напротив, все ос-

тальные географические имена и названия — арабские или иранские. Может быть, потому, что арабы, завоевавшие Хорезм в начале VIII века, уже не застали озера? И нечему было давать название?

А племена, говорившие на тюркских языках, появились здесь в IV веке. Они-то и окрестили Сарыкамыш Хыз-Тенгизи — «Девичьим морем». Значит, озеро существовало очень недолго?

Но это еще нужно подтвердить археологическими данными.

... Высоко на отвесных серо-бурых скалах каньона Узбоя, над самым обрывом угнездилась каменная крепость. Ров, вырубленный в массиве скал, башни из песчаниковых плит, беспорядочные груды обвалившегося камня, разрушенные бойницы. Особенности архитектуры, найденная керамика датируют крепость IV—V веками нашей эры. Вокруг ни поселений, ни древних полей, ни ирригации. Да и на всем Узбое никаких следов обитания людей в античную эпоху нет! Даже ближайшие караванные тропы были удалены от крепости на километры.

Одинокая, грозная, неприступная крепость над Узбоем. Для чего ее воздвигли?

Она могла только стеречь водный путь по Узбою. Этим водным путем пользовались воинственные могущественные враги Хорезма — сассаниды. Очевидно, для подтягивания военных обозов, так как путь по воде против течения был долог.

IV—V века — время, когда опустел дворец Топраккала, столица хорезмшахов. Время тяжелых социальных потрясений, кризиса рабовладельческого общества. Междоусобицы, социальные перевороты, смена династий — рождение нового феодального строя. Приход к власти грозного царя Африга. Новая столица — город Кят.

В эту переломную эпоху, когда запустевали земли, забрасывались ирригационные сооружения, нарушилось и вековое регулирование вод Аму-Дарьи. Предоставленная сама себе, река вышла из подчинения человеку, покинула обжитые земли и свернула по своему древнейшему пути на запад в сторону Сарыкамыша. Она затопила всю впадину и, превысив критический уровень в пятьдесят два метра, ринулась в Узбой.

Ей не пришлось долго течь по Узбою. Как только окрепло новое государство, люди очень скоро вернули реку на свои поля и виноградники.

Но когда же Узбой был постоянной, полноводной, полноправной рекой?

Когда превратился он в мертвое русло?

Застал ли эту реку на земле «хомо сапиенс» — «мыслящий человек»?

Александра Семеновна Кесь доказала простым расчетом, что Узбой не мог быть единственным путем Дарьи. Или даже основным. Его русло попросту не вместило бы всю воду такой могучей реки. Значит, одновременно с Узбоем действовало другое древнее русло. Оно ветвится «мертвыми» протоками в предгорьях Султан-Уиздага. Это древняя дельта Акча-Дарьи, около которой «прятался» три тысячи лет «волшебный горшок».

Вопрос о времени течения этих древних рек разрешили археологи.

На берегах Узбоя, на берегах озер, образуемых его разливами, экспедиция нашла многочисленные скопления кремневых орудий.

Все эти места сейчас — труднопроходимые пески, солончаки, такыры, тяжелые даже для верблюдов. Беспощадный зной до звона в ушах, редкие солоноводные колодцы — самое сердце или самое пекло пустыни — полновластной, дикой, разящей своими масштабами, где воду считаешь и даже «мыслишь» каплями, не иначе! Где самые ценные качества предметов — их тени! За исключением, конечно, баклажки с водой, которая на Узбое — и не предмет вовсе, а живое существо, друг — даже с утра. Но к полудню уже и не существо, а «божество», если в ней осталась хоть капля.

И вдруг несколько серых невзрачных кремешков, рассмотренных под ногами, преображают весь мир. Вместо угнетающе плоских, полированных такыров, грузных, раскаленных песков теснятся непроходимые заросли тугаев с влажной густой тенью, смыкаются гигантские камыши, раскидываются полноводные прохладные озера, в которых оживленно всплескивает рыба. Стан диких уток, чайки, цапли, изящные, немножко манерные фламинго. Лебеди с неуклюжими лебедятами и огромные важные пеликаны покачиваются на воде. Тяжело хлюпает по мелководью кабанье семейство. А на другом берегу — подозрительное шевеление в камышах. Тигр! Высматривает себе на завтрак олененка. Это не мираж.

Таковыми были берега Узбоя, когда селился на них первобытный рыболов и охотник каменного века.

Остатки первого жилища той эпохи экспедиция открыла еще в 1939 году, но не на Узбое, а на Акча-Дарье в пред-

горьих Султан-Уиздага (около крепости Джанбас). Овальная хижина — до пятнадцати метров в диаметре, около десяти метров высоты. Сохранились даже ямки от оснований столбов, на которых покоилась крыша. В таком «доме» ютилось не менее сотни человек. Посреди «дома» горел общий неугасимый огонь. Маленькие костерчики и очажки были разбросаны по всему помещению. На них готовили пищу, около них согревались в холодные ночи. Слева от входа археологи обнаружили «танцплощадку» — место для свершения общинных обрядов, ритуальных плясок. Разнообразная посуда, остатки каменных и костяных орудий, украшения, следы трапез превратили неведомую первобытную общину почти в наших знакомцев. Сергей Павлович Толстов окрестил их кельтеминарцами, по имени ближайшего современного канала. Мы даже знаем о том, что чаще они ели рыбу, но лакомились и кабаниной, олениной и дичью.

Связи этого первобытного шалаша с миром оказались неожиданно обширными. Бусины из раковин не редкость для археолога. Но раковины попали в шалаш из разных и очень далеких морей. Один вид ракушек водился только в Индийском океане, другой — в Красном море, третий — в Аравийском заливе, четвертый — в Персидском заливе.

Узнали мы и о трагической судьбе кельтеминарского дома. Он пострадал от пожара, потом его затопило наводнением — очевидно, в один из паводков Акча-Дарьи, текшей здесь многочисленными протоками к Аралу, в то время как часть вод Дарьи по Узбою стекала в Каспий.

Это и был период полноправного существования реки Узбой в эру человека. С четвертого по второе тысячелетие до нашего летосчисления.

В следующий по времени бронзовый век берега Узбая были заселены значительно реже. Стоянок еще более позднего — железного — века совсем мало. Жизнь в это время сосредоточивается на обильно обводненных протоках Акча-Дарьи. Путь к Аралу становится основным течением реки. В античные времена жизнь на Узбое угасает почти полностью, потому что в нем уже нет воды. Только незначительное течение продолжалось еще в сторону Сарыкамыша.

В каменном веке человек подчинялся реке. Она текла как хотела, и он брел по ее следам. В бронзовом веке он вступил с ней в борьбу. Начиная с античности, человек побеждает реку, и она течет там, куда он ее направляет. Вся дальнейшая судьба реки в руках человека. Повороты и прорывы Аму-Дарьи в древнее русло происходят

в результате тяжелых социальных катастроф, разорительных войн, когда человек выпускает реку из своих рук. В эпоху цивилизации география земли подчиняется не только законам природы, но и законам человека, законам развития человеческого общества.

Узбой в истории экспедиции — любимая страница воспоминаний.

— Нигде так не любят ломаться машины, как на Узбое, — клянется бессменный шофер Сергея Павловича Коля Горин — заслуженный балагур и насмешник экспедиции, неоднократно доказывавший на опыте, что еще важнее воды в пустыне чувство юмора.

Веки Колькины с родинками счастливого, а голубые глаза с прыжью.

— Глаза у меня тоже на Узбое выгорели, — скромно замечает он, — раньше темно-синие были. Как васильки! Точно на седьмой гряде и выгорели, где мы в пятьдесят первом году сломались, — в конце, можно сказать, пути от самого Каспия. Да как же им и не выгореть? Такие гряды, попросту — горы песчаные. И было их семь. А машин всего только три. Шесть гряд — взяли! На седьмой гряде одну машину пришлось оставить. Вторую в Нукус отправили за помощью. Третья... дальше пошла. На какой из трех был Сергей Павлович — ясно. А я там же, где и Сергей Павлович. Вопросов нет? Вода оставалась... в бочке изпод постного масла. Хлопкового. Это не то что льняное или кукурузное, которые без запаха. А вот с едой получилось туговато. Ни хлеба, ни сухарей. Сухарные крошки ребятам на седьмой отдали. Пусть поклевывают. Сами решили обойтись лопатой. Маңка у нас была и лопата. На барханчиках я вывеску прилаживал: «Хлебопекарня имени Горина» и на лопате пек из манки лепешки. В жизни ничего вкуснее не едал. И выгодно! С утра откусишь кусочек и жуешь до самого вечера, еще и на завтра останется дожевывать.

— Ты хоть не загивай, Колька! Все же ведь свой.

— Ну, разве что свой, — с грустью соглашается Горин. — А что я задом наперед всю пустыню проехал, этому верите?

— Верим. Только это в другой раз было.

— Но все равно на Узбое. Передний мост сломался. А в тот раз хуже было. Настоящий переполох поднялся в Нукусе, когда машина туда добралась из трех — одна. «Как так? Бросили Толстова в глубине пустыни?! Он там

без продуктов сидит?! Без бензина!..» — «Да он не сидит. Он дальше поехал, а мы только лишние едоки». — «Куда поехал? За водой?» — «Вообще-то на водопровод. По нему, правда, вода в последний раз восемьсот лет тому назад текла. Ак-яйлинский водопровод, знаете, очень интересный...» Через пять минут вылетают из Нукуса к интересному водопроводу два самолета с носилками, с противоземной сывороткой, с градусниками — санитарные!.. «Все Кара-кумы облететь, а Толстова разыскать и оказать ему срочную помощь». Ладно. Вылетели.

Колька с умыслом затягивает паузу.

— Ну и что?

— Ну и оказали, понятно, срочную помощь. Сергей Павлович на этих санитарных самолетах с носилками, градусниками и противоземной сывороткой такую классную аэрофотосъемку провел! И Узбой, и водопровод снял, и все караванные сараи! А то какая же еще может быть помощь Толстову? И нельзя допускать, чтобы государственные деньги и бензин зря расходовались.

КОСТРЫ И КОЛОДЦЫ

Куда снаряжился ты на этой земле,
Где столько путей,
Которая кругла,
Пределы которой не близки?

Авеста

Тайна Узбоя разгадана. Обследованы раннеантичные крепости на Присарыкамышской дельте. Возвращены потерянные имена мертвым городам позднего средневековья, поднявшимся на рулах Дарьялыка и ДAUDANA при последнем значительном прорыве Аму-Дарьи к Сарыкамышу, который произошел после карательных походов Тимура.

Города Адак, Шемаха, Вазир.

Подъезжая к таким городам, ждешь, что тебе навстречу выйдет торжественная процессия во главе с владетельным феодалом, а если удастся незаметно проскользнуть мимо стражи за городские стены, сейчас же обступят тебя бойкие торговцы, менялы, ремесленники. Станут предлагать товары, расспрашивать: кто такой, откуда, зачем пожаловал?

Но городские площади пусты. Улицы горбатятся от засыпанных землей обломков. Высятся неровные бугры, и зияют воронки на месте бывших домов. Кирпичный развал, разноцветные россыпи поливы, облупившиеся

бирюзовые куполки уцелевших мечетей и мазаров. И тишина многозначительная, беспристрастная тишина пустыни.

Русла Даудана и Дарьялыка заросли когтистыми кустарниками. Сквозь них и не продерешься без топора. Эта живая щетка турангила, гребенщика, — «воспоминание» пустыни о воде, которая текла здесь триста лет назад. Самые недавние по времени — «земли древнего орошения».

О всех встречах, неожиданностях, открытиях в пустыне и не расскажешь. За долгие годы пустыня стала нам домом. Пустыня, изнемогающая под знойным тусклым небом и свирепеющая от буранов и смерчей, пустыня кроткая, смягченная фиолетовыми тенями в прохладные утренние часы. Пустыня под ливнями и грозами; с буйной нежностью цветущая весной и обжигаяще ярко осенью. Пустыня злобная в лиловато-багровых отблесках закатов, когда барханы лежат, как окровавленные туши на гигантской бойне; пустыня ржаво-блеклая под низкими облаками «северного» неба. Пустыня под снегом, подо льдом, со снежинками, тающими на роскошных, как у кинозвезд, верблюжьих ресницах.

Но мы люди! Нас больше всего привлекает и интересует в пустыне то, что не пустыня.

Пустыня — это днем! А ночью уж где-нибудь да светится крапинка костра. Геологи, или геодезисты, или сейсмологи. Может, чабаны, а то и бурильщики колодцев. Колодцев и самонзливающихся скважин с каждым годом все больше на наших бездорожных путях.

Огромными лавинами проползают по пустыне овечьи отары. И долго не оседает пыль над их следами. Пустыне очень не хочется забывать, что ее коснулся кто-то живой.

У колодца наши машины послушно выстраиваются в очередь за вереницей верблюдов. Даже Коля Горин не пытается препираться с верблюжьими жоками. «Шину, может, и не прокусят, да хуже — оплюют!»

Осень. Стада переселяются в утепленные загоны. Население спешно готовится к перекочевке. Но вместо традиционных верблюдов чабаны ловко завьючивают ГАЗ-АА, ГАЗ-63, ГАЗ-51. Быстрее и удобнее. Конечно, стада перекочевывают пешим ходом. Но в кузов машины усадили и одного верблюда. Ему что-то нездоровилось последние дни.

Технику в пустыне освоили не только верблюды, но и миражи. Нам случалось «догонять» караваны машин, которые сначала, как и мы, благопристойно катили по та-

кырам. Но потом поднимались над горизонтом и медленно растаивали в воздухе.

Там, где чинк Устьурта разламывается на голубоватые террасы и крутыми ступенями сбегает на дно долины, там на одной из тесных площадочек прилепился вдруг странный цветок с раскрывшейся многолепестковой чашечкой.

Мы знаем, что в действительности не существует растений таких размеров; понимаем, что не бывает цветов из глины, а главное, что здесь давно ничего не растет. Озера мертвы, и русла — тоже.

Поэтому мы не верим своим глазам, а сразу догадываемся: никакой это не цветок, а замок Ай-Бугир с оплывшими, расчлененными стенами, как обычно без кровли, с просвечивающими бойницами и с башенками по углам. Мы замеряем крепость рулетками, зачерчиваем, описываем, а сами все время прислушиваемся. Некоторые наивные люди, новички в пустыне и археологии, считают, будто это ветер шуршит в щелеватых пахсовых стенах.

Но мы-то знаем: это шепчется сама с собой хорезмийская крепость. Как у многих стариков, у нее развилась привычка думать вслух. Если бы это было не так, мы бы никогда не узнали, о чем она горевала. А мы все расслышали.

Это общая дума, общая тоска всей огромной, и сложной, и разнообразной пустыни: тоска о воде и жизни.

Подъехав к другому чинку Устьурта, попадаем в чудесную «долину бриллиантов». Не сюда ли забросила однажды птица Рок Синдбада-мереплавателя? Вся поверхность чинка снизу доверху выкристаллизовалась гипсовыми друзьями, кристаллическими сгустками, сверкающими тысячью огней. Правда, в белесом небе над нами кружился всего лишь обыкновенный беркут, а не таинственный Рок. Зато другое чудо, которого не смог бы придумать никакой сказочник, увидали мы здесь. Над «долиной бриллиантов», над угрюмыми древними кладбищами, оплывшими замками и крепостями вздрагивала под ветром, словно живая, обыкновенная деревянная геодезическая вышка. Она звенела и гудела, на своем языке исполняя радостную молодую песнь. Рыхлые бугристые породы, в которые были забиты ее столбы, хранили многочисленные оттиски разнокалиберных шин, тракторных гусениц. Много же побывало у нее гостей!

По пути на Аджайб, южный проток Нижнего Узбоя, нас встретили фантастические горы Балханы и современные чудеса пустыни — новорожденные города нефтяников Кум-Даг и Небит-Даг.

Мы подъехали к Небит-Дагу ночью. После перевозанной тьмы и тишины пустыни — залитые электричеством улицы, протяжные гудки «живых» паровозов были для нас самым счастливым открытием. В дебрях отошедших тысячелетий здорово же мы соскучились по своему двадцатому веку.

Кум-Дага не было еще на карте, а мы праздновали в нем годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. По белым улочкам новорожденного города вихрились алые флаги. Во главе колонны демонстрантов вышагивал могучий патриарх с развевающейся по ветру бородой. Одет он был в желтый крашеный тулуп до пят, расшитый цветными аппликациями. Стоило посмотреть, с каким огромным достоинством, гордо и бережно этот старик нес, прижимая к своей груди, портрет Ленина.

Западнее Каракуля только одна наша машина сумела пробиться сквозь пески к одиноким юртам.

Охотники откочевали вместе с семьями и верблюдами — «поближе к дичи». Около юрт копошились черноглазые ребятишки, полуголые, несмотря на холод и свирепый ветер. Зато туркменские борзые, похожие на гибкие пружинки на проволочках-ножках, возлежали заботливо одетые в ватные «кафтанчики».

Дети здешние вырастают на привозной воде, так никогда и не увидав ни ручейка, ни порядочного дерева. Но один из малышей притащил нам показать самодельную игрушку — вылепленный из глины кораблик. Он отважно плыл по песчаным волнам, таким же бурным и опасным, как и океанские.

Последние годы машины экспедиции сворачивают не на юг, а на север. К многочисленным мертвым протокам Северной Акча-Дарьи, к загадочным городам приаральских скифов. Туда, где переплелись древние русла Окса и Яксарта — Аму- и Сыр-Дарьи.

Там Сергей Павлович Толстов «открыл новый Хорезм» — так для краткости определяют археологи научную значимость и масштаб проблем, исследуемых на севере Хорезма. Но об этом нужно писать новую книгу.

И только ли об этом?

Название Хорезмской экспедиции пишется через черточку: «археолого-этнографическая».

— Я не археолог, я — этнограф, — уточняет Толстов. — Археологией мы занимаемся потому, что это — прошлое современных народов. А история современных народов —

это и сегодняшний наш день, и путь в завтрашний. И это самая главная часть нашей работы.

В глубочайшей древности Аму-Дарья пропилила сквозь горы Султан-Уиздага русло, по которому вырвалась с пеной и ревом и устремилась к Аралу. Очень точно и образно окрестили древние хорезмийцы эту теснину — «Пасть льва».

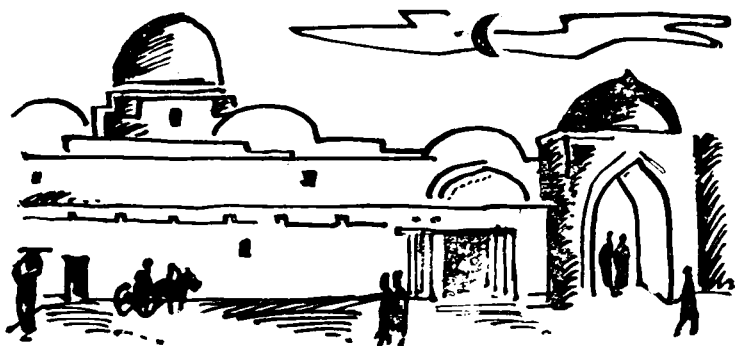
Мусульманская легенда переименовала ее в «Дуль-Дуль-атлаган». По легенде, пророк Алий на волшебном коне Дуль-Дуле перепрыгнул тут Аму-Дарью с берега на берег. Он очень спешил.

Это история прошлого, мифология.

А сейчас — как назовут эту теснину люди, если Газлинский газопровод запросто перешагивает здесь реку? Это уже история сегодняшнего дня. Об этом расскажут этнографы.

В священных текстах Авесты среди звездных, космических, земледельческих, скотоводческих и прочих хозяйственных богов упоминается Анам-Напат.

Анам-Напат живет глубоко под землею и командует подземными источниками. Анам-Напат — «создатель всех живых существ». Анам-Напат — это «огонь в воде» — божество нефти. От нехороших людей он прячется, не дается им. К хорошим людям выходит сам. Это тоже главы древнейшей истории, мифология. Но Анам-Напат больше не прячется. Он пришел к людям, когда его позвали. Должно быть, люди ему понравились. А это уже не мифология. Установлено, что запасы нефти в Каракалпакии значительны. Превращение самой окраинной, захудалой колонии царской России в мощную промышленную республику Советского Союза — вот это-то и есть история сегодняшнего и завтрашнего дня, которой мы занимаемся и ради которой изучаем прошлое.



Ч А С Т Ь В Т О Р А Я

ПОЛЕВОЙ ДНЕВНИК

Теперь я работаю с этнографами. А когда этнографические маршруты заканчиваются, я еще продолжаю путешествовать — как журналист. Полевые записи, сделанные иногда в спешке, «на ходу», каждый вечер приходится расшифровывать и «переводить».

В средневековых восточных рукописях каллиграфы иногда записывали на одной и той же странице по два текста. Например, в серединке листа горизонтальными строчками писалась поэма «Меджнун и Лейли», а в виде обрамления из диагональных строк поэма об Искандере (Александре Македонском). Раскроешь книгу: хочешь — читай о любви, которая сильнее смерти; хочешь — об утопической стране, куда прибыл после долгих странствий Искандер, где все равны, все трудятся и нет ни войн, ни насилий. Может, я подсознательно подражаю этим рукописным образцам — в своих полевых дневниках? Строгие цифры (площадь орошенных земель, глубина запашки, строимость трудодня), записанные аккуратно горизонтальными строчками в середине странички, у меня почему-то обрамляются летящими вкось вверх строчками стихов.

Я попала в пески в сорок третьем году.

Нет земли с еще большею болью.

Мне и звезды казались

в тифозном бреду

Проступившею на небе липкою солью.

А потом,

в кишлаке,

на эвакуправах,

В жизни все навсегда перестало «казаться».

Знала точно, что если останусь жива,

То за это спасибо

скажу по-казахски.

Есть, я верю,

такие следы на песке,

Что ни ливням не смыть,

ни буранам не сдунуть,—

Если их оставляла

голодная трудная юность,

Прошагавшая здесь

с кетменем непривычным в руке.

Жизнь по сводкам,

по письмам с далеких фронтов

От родных.

А родных-то

все меньше и меньше.

Каждый день,

побелев, с перекошенным ртом,

Возвращается с почты

какая-нибудь из женщин.

Редко плакали вслух.

Чаще — врозь. По ночам.

Убегали куда-то —

отплакаться и поостынуть.

И шуршали пески, принимая живую печаль,

С величавой, как вечность,

но мертвой печалью пустыни.

То песком напрямик,

то верблюжьей дремучею тропкой,

Ни колючек не чувствуя, ни жары,

Я бежала в обеденный перерыв

До почтамта,

как бегают стометровку.

Что там?

Память случайная ли?

Судьба ли?

Может, больше, чем в маленьком письмеце,

Было можно прочесть на моем запыленном лице.

Только люди вокруг
 почему-то, взглянув на меня, улыбались.
 Треугольником сложенный наспех
 военный конверт
 Как веселый,
 приплывший из детства бумажный кораблик.
 А не сразу откроешь.
 И пальцы как будто ослабли...
 «Если хочешь дожидаться, люби меня крепче и верь!»
 Как я верила
 сквозь разлуку, скитанья...
 Потому что — любила.
 И еще потому,
 Что не все же снаряды и бомбы
 ему одному.
 Потому что он был уже, был
 и контужен, и ранен.
 На каком-то перроне, зашарпанном, как половик,
 Я в то время считала:
 вся жизнь состоит из вокзалов!
 У кноски с пайками,
 не думая о любви,
 Я — ее,
 или она — меня
 отыскала.
 Может, очень уж долго
 никто меня не жалел?
 Я сама всех жалела.
 Я знала, как всем это нужно:
 Затопить ли буржуйку — от шкафа нарезанной
 стружкой,
 Принести ли в постель к умиравшим —
 их завтрашний хлеб.
 Что ж, мне легче.
 Я все-таки помоложе...
 Голод. Темень. Бомбежки. Лютующая зима.
 И не скрою:
 никто от моих утешений не ожил.
 Но иначе
 я просто не выдержала бы сама.
 Ни цветов, ни нарядов, ни поздравлений,
 Но на плечи принявшая
 груз величайшей из битв,
 О суровая молодость моего поколения,
 До чего же ты крепко и нежно умела любить.

И расстались — как встретились,
 так же внезапно и скоро.
И едва-то успели мешок вещевой уложить.
Говорят, что бывают на свете
 страдания ревности, ссоры.
Об одном я страдала:
 остался бы жив.

Стали письма мои
 возвращаться все чаще.
И какую ненужную, неподходящей
В этот год начиналась в пустыне весна,
Самовольно решив,
 что кому-то зачем-то нужна.
Слишком пыльное небо обдула до синевы.
И, на скудной земле
 ничего не выискав лучше,
Зацвела на костлявой верблюжьей колючке,
Чтоб и тот улыбнулся,
 кто улыбаться отвык.

Старики, побросав у дороги халаты,
Запрягали впервые верблюдицу в плуг.
Вдоль арыков восторженные тополята
Протянули впервые ладони к теплу.

В день такой
и почта
не казался мне страшен.
Ведь не всем же несчастьям случаться со мной.
Шелковица цветок уронила в окно.
И пакет с извещением мне протянула почтарша.
— Уберите! Не мне это! —
С почерком незнакомым, косым.
...За окошком все так же цвела шелковица...
Я молчала:
какой замечательный сын
У меня никогда не родится.

Кетмени отдыхают в тени тополиной.
Кирпичом прокаленным стала хрупкая глина.
Где шуршали пески,
тополя зеленеют все ярче.

Только пыль на дорогах осталась такой же горячей.
Только разве расскажешь про всю незабытую боль,
Что давно перестала быть болью,
но стала судьбой.

УРГА

Мы много времени странствовали по пескам пустыни. а в них всегда тесно, хотя от горизонта до горизонта, кроме нас, ни единой живой души. Мы много дней вязли в пухлых солончаках, карабкались по щебеннистым плато. А они белесые не от избытка соли и извести, но оттого, что раскаляются добела! Для нас и фляжка воды — целое богатство. Что же сказать о море, когда оно разом открывается с высоты Устьурта? Об Аральском море, самом синем и самым неожиданным, даже если едешь именно к нему уже полтора месяца. Вот мы ничего и не говорим. Только смотрим и смеемся. Потом мы немножко привыкаем и разгадываем, как загадочную картинку, это живое, пестрое, сиреневое, рыжее, зеленое великолепие. Сиреневое и рыжее от мелководья. Зеленое от камышей. В этом море камышей больше, чем воды. Дельта. Но все-таки море. И оно вмешивается во все и все переиначивает по-своему. Море забралось легкими чайками на древнюю смотровую башню, низкими успокоительными отблесками легло на самолет, который в смерчах пыли выбросился вдруг из-за башни под обрыв и пошел на Муйнак. Чайки больше не шаркаются от него, приняли за своего — узнали.

Татьяна Александровна не торопит нас. Она смотрит вместе с нами. И нечаянно обозначаются на ее щеках ямочки, а глаза становятся синее самого Арала, как известно занимающего (в соответствии со шкалой Фореля) третье место в мире по интенсивности цвета. Татьяна Александровна Жданко — начальник отряда, ученый, этнограф, специалист по истории Каракалпакии. Удивительно, как умеет она управляться с такими разными людьми, как мы. Все получается очень здорово и само собой.

Татьяна Александровна чистит картошку и намечает задания: географические условия, этнический состав, история расселения, хозяйство, строительство, взаимоотношения национальных групп, семья, общественная жизнь, прикладное искусство. Если перелистать наши вопросники, станет ясно, что нет таких областей жизни, которых не охватывала бы этнография.

Сверху, когда глядишь с самой стрелки мыса Урга, бесчисленные глиняные постройки, огороженные крохотные усадьбы рыбацкого поселка напоминают осинные соты,

Если бы мы верили, что бог создавал землю, то мыс Ургу приняли бы за предварительный эскиз. Голы и незавершенны эти плоские полосатые перламутровые горы с оборочками карнизов, с пещерами, высверленными ветром.

Мы хорошо знаем, как борются люди с пустыней за каждый клочок живой земли. На Урге открывается этот труд по-новому. Здесь тесно и горам и морю. И нет такой площадочки или уступчика, которые не были бы завоеваны человеком. Под нависшими каменными складками, на искусственных плитняковых насыпях, на покатых, словно облизанных склонах оврагов, припертые к морю, ютятся рыбацьи хоромы. В поселке есть даже главная улица и маленькая площадь перед рыбозаводом, там, где клуб и кинотеатр. Вдоль всего берега черная кайма причаленных лодок. Запах подгнивающего камыша. Это заготовки: плавающими горами они покачиваются на воде. Тень паруса, словно указка, скользнула по снастям, бочкам, якорям, виселицам для разделки рыбных туш. Тарахтенье моторок, удары топоров,— все время где-то строят, чинят, что-то грузят; латают сети; энергично переговариваясь, выкидывают на деревянные помосты белопузый улов. Воздух, глиняные дувалы, камни и разгоряченная дорожная пыль — с привкусом рыбы. Проходит газик, груженный глыбами обмусоренного замаскированного льда. И сквозь стену пыли можно, как сквозь закопченное стекло, разглядывать солнце. Но пыль оседает, припорошивая все вокруг, а яркость не убывает. Пестрые платья казашек; юрты, нарядные как невесты; крашенные резные наличники, коньки крыш; белизна оштукатуренных стен; необычные разноцветные скалы — все это, удесятеренное силой солнечного света, да еще отраженного морем, обжигает глаз.

Поселок почти полностью казахский.

Хозяйки угощают нас свежим молоком со льда. Коров тоже кормит море. Скотина, которой тут неожиданно много, получает дома рубленый камыш. А днем ее выгоняют для моциона пастись «на тени». Камыш идет на строительство домов, используется как топливо. Море кормит, обогревает, обогрывает рыбаков. Но море не поит. Оно слишком соленое. Пресную воду привозят с островов. И если среди пахово-известняковых усадеб упрямые подсолнушки поднимают свои золотистые головы, если вдобавок на зеленом пятачке поспевают кукуруза и несколько тыквин — ими гордятся.

Описывать юрту сложно. Резные дверцы, по обеим сторонам входа орнаментированная ткань; узорчатые дорожки, сплетаясь, перепоясывают всю юрту снаружи и вну-

три; тканая тесьма связывает деревянные решетки остова; коврики, шерстяные кисти над входом и над тором — почетным местом; полосатые алаши, ковровые сумки-складенки, мозаичные паласы, инкрустированные сундуки. Веками отбиралось для юрты все самое удобное, целесообразное. В горячих красках, в потоке орнаментов каждый завиток имеет свою историю и свое имя. В них весь добрый мир, окружающий человека; тут и стада нагуленных баранов, тонконогие жеребята, степные вороны и домашние гуси, коробочки хлопка, и река, и рыба.

Они рассказывают об одежде и украшениях невест, о воде и солнце.

Татьяна Александровна, давно изучающая народное прикладное искусство, каждый год открывает новые образцы чудесного творчества. Все эти шедевры создаются руками хозяек между тысячей других дел.

Отошли те времена, когда в юрте теснились люди вместе со скотиной и глаза их слезились от едкого дыма, уходящего сквозь отверстие в крыше. От очага было больше грязи и копоти, чем тепла.

Сейчас юрты располагаются во дворах, рядом с просторным глинобитным домом, светлым и теплым. Юрта теперь в роли летнего коттеджа. В ней прохладно даже в самую жаркую пору. Часто семья выделяет юрту для молодоженов. В ней никелированные кровати с кружевными крахмальными подзорами. Под абажуром — электрическая лампочка. Прикрытая ворсовым ковриком швейная машина. Книжные полки. Над куполом юрты — радиоантенна. Мы записываем, зарисовываем, фотографируем.

Татьяна Александровна радуется, когда на архитектурно точные зарисовки усадьбы, куда-нибудь на электропровода залетит с Арала чайка или за усадьбой выглянет мачта покосившегося бакена — частица вездесущей поэзии моря; когда на фотографии, «фиксирующей» старинное запястье, остается рука труженицы, тонкой мастерицы-художницы, мужественной рыбачки. По такому документу можно прочесть историю Востока за целые века.

— Вы, кажется, считали, что этнографы вроде старьевщиков или статистиков, — мимоходом напоминает мне Татьяна Александровна. — А к какому, например, параграфу отнести вот эти вертлявые головы, торчащие из-за дувалов?

В казахских, каракалпакских круглых шапочках с нашитыми пучками перьев и монетками, в родительских тюльпеках, просто вихрастые и бритые, с челочками и хвостиками на макушках, они давно выслеживают нас. Их

предводитель в зеленых лыжных штанах очень предприимчивый человек. Все-таки одного мы захватили в плен:

— В кого такой белобрысый?

— В дедушку.

А дедушка с дремучей бородой, в неопоясанной рубаше, на берегу шпаклюет лодку. Дедушка — из уральцев, переселившихся в Каракалпакию еще в семидесятых годах прошлого столетия. Они до сих пор сохранили свой говор, одежду, деревянную посуду, даже старинные казачьи песни. И в одном хозяйстве тут тебе и казахская юрта, и каракалпакский тандыр, и туркменский коврик, и русская печка.

Смолу в чане варит совсем другой дедушка. Города у него тоненькими сосульками растет от шен.

— Какая национальная принадлежность? У нас в артели рыба паспортов не смотрит. — Уральский дедушка топтит улыбку в волнах бородищи.

У казахского дедушки улыбка склеивает веки. Смолокурной щепочкой он вычерчивает на земле дельту, какой она была сорок лет назад, тридцать, десять. Но когда мы расспрашиваем его про традиционные народные «заманы» рыбы (заклятья, приговоры), он сердится:

— Исправная техника и хорошая организация — вот и весь «заман». А про сказки — внуков надо спрашивать. Они много знают.

Белобрысый, довольный нашим вниманием, без запинки рассказывает про единоборство тигрицы и сомхи, утащившей на водопое тигриного детеныша.

Татьяна Александровна давно уже записала это предание, в котором, по ее мнению, отразились древнейшие представления народов о животных как о родоначальниках различных племен.

...Татьяна Александровна оживленно переговаривается по-каракалпакски с рыбаками. По сведениям путешественников прошлого века, по данным наших авиаразведок, на мысе Урга находятся развалины древней крепости.

Мальчишка в зеленых штанах больше не выдерживает конспирации и врывается в толпу:

— Я знаю старую кала, пойдем покажу!

Вся ребятня поселка кинулась с нами на поиски. В широких рубахах-балахонах ребята напоминают пингвинят. Самых маленьких братишки и сестренки тащат на закорках. Все они отчаянно сопят, но не отстают от нас ни на шаг. И когда Зеленые Штаны достигают верхней террасы, у подножия еще подтягиваются резервы.

Малыши мигом натаскали Татьяне Александровне горы

черепков (наш подъемный материал). Крепость оказалась средневековой, как и сторожевая башня, — эпохи расцвета Ургенча (X век). Это остатки мощных оборонительных укреплений северо-западной окраины Хорезма — против кочевых племен огузов.

Такие башни расположены вдоль всей долины нижней Аму-Дарьи на расстоянии двадцати километров друг от друга — над обрывом Устьурта. Наша башня самая отдаленная. В случае тревоги на вершине ее стража зажигала костер. Одна за другой башни подхватывали сигнал, и за полчаса тревожная весть достигала столицы великого Хорезма — города Ургенча.

Мы закончили обмеры, отправили наших помощников спать и тронулись в лагерь, и вдруг раздался отчаянный вопль. Тревога? Набег кочевников?.. Нет, Зеленые Штаны отыскиали на крепости каменный жернов и подкатывали его к нам.

...Возвращаемся мы в темноте. В лагере вокруг наших машин струится белесый рой духов. Они будут трепетать над нами всю ночь. И лишь с восходом солнца превратятся в марлевые пологи с инвентарными номерами. А сейчас время волшебства. Поселок под обрывом исчез. А море осталось. И подошло к нам.

Но волшебнее всего — эмалированный таз с жареными сазанами. Наш полог пропах рыбой. Не иначе Иришка, дочь Татьяны Александровны, этим пологом соскребала макрофауну со дна Арала. Сама Иришка невинно сидит рядом и сочиняет письмо Ксане, своей старшей — на полчаса — сестре на Кавказ: «...У меня — травма. Последнего тигра уже убили. Зато остались комары. Они гораздо хищнее тигров...»

— Как вы думаете, если послать в письме кусочек кожи, облупившейся с носа, — дойдет?

Иришкин нос курносый, любопытный и для двадцатилетнего гидробиолога предательски девчоночий.

Возвращается Ходжа Ахмед. Всегда позже всех. Беседовал со стариками. И напрасно мы оставляли ему ужин. Нет такого дома на Востоке, где бы гостя отпустили без угощения. А по Ходже Ахмеду к тому же очень удобно изучать «родоплеменную структуру». Везде он обнаруживает родственников по такой сложной системе, в которой под силу разобраться только этнографам, да еще местным старикам. Молодежь выражает свое родство проще: «из одного колхоза», а не из одного племени. Аспирант Татьяны Александровны, самый веселый человек в нашем отряде, Ходжа Ахмед изучает погребальный обряд кара-

калпаков. В погребальных обрядах часто сохраняются пережитки более древних верований — доисламских. Первоначальный смысл их, давно утраченный, восстанавливают этнографы, изучающие вопросы религии.

Иришка сочувственно интересуется:

— Не бывает страшно, когда обследуют кладбища? Ходжа Ахмед поднимает дервишские глаза:

— Бывает! Как выскочит из машины десять человек, ка-ак набросятся на могилы — с рулетками, фотоаппаратами, планшетами, циркулями, записными книжками!

Но Ирке не до смеха.

— Что это?

Из темноты со стороны кладбища доносится зловещее бряцание, похожее на стук костей.

— Это? Марат упражняется с гантелями.

Марат — наш переводчик, каракалпак, аспирант-экономист, как и все, кто попадает в Хорезмскую экспедицию, заболевший этнографией. Чем преданнее Марат окружает заботами Иришку, тем независимее задирается ее нос.

— А зачем он как светофор? Каждый час меняет рубашки...

Мама откликается не сразу:

— Наверное, потому, что уже выросли мои маленькие девочки.

А потом вспоминает:

— В моей жизни не было такого времени, когда бы я не работала, даже когда дочки родились. Детство их прошло в военные годы. Отец ушел на фронт. Девочек эвакуировали в Самарканд. Привезли слабенькими. Шейки прозрачные, еле головы держатся. Знаете, что такое быть матерью двойняшек, — возьмешься за ножницы: стрижешь, стрижешь... Сорок пальчиков!

Сотрудники помнят, как приходилось Татьяне Александровне девочек выхаживать, в музее работать, в командировки ездить, собирать материал для выставок. И еще выстаивать очереди в столовой за черепашьим супом. Один раз попалась девочкам в тарелке лапа черепахи — реву было. Они же всегда ревели вместе.

Совсем незаметно подросли они и окрепли. И уже из Москвы сами писали маме письма в экспедицию. «Пол мы вымыли, книги все перетерли. Бабушка покупает нам мороженое и разогревает в кастрюльке, чтобы не простудились...» Кто не был подолгу оторван от дома, тот не поймет, что такое письма!

— Во что это они играют? — удивлялась бабушка,

когда девочки, навязав множество узлов и пакетов, усаживались на диван с решительными лицами.

— В «экспедицию», — догадывалась мать.

Так и выросли путешественницами. Одна стала географом, другая биологом. О том, что они вовсе взрослые, возвестил телефон:

— ...Ксаны нет дома. А кто спрашивает?

— Ее брат.

— А я ее мама. Но у меня, кажется, не было сыновей. Трубку повесили...

— Что тебе такое подарить на свадьбу? — спросил Ксану отец. — Самое необходимое в хозяйстве?

Невеста засмушалась:

— Мне бы очень нужно... Если это не слишком дорого... Ружье. Лучше двустволку.

По каракалпакскому обычаю, подарили молодым и дом. Правда, не юрту, а серебристую прорезиненную палатку, которую легко носить за спиной и натягивать при помощи двух ледорубов на скалах и ледниках высокогорья. Ксанин муж тоже географ. Такая уж семья у Татьяны Александровны: всегда кого-нибудь провожают или встречают. И хозяйка печет пироги.

Вот Иришка собирается в плаванье по северным морям. У нее есть одна мечта, о которой она помалкивает: найти бутылку с письмом со «Святой Анны».

...В 1912 году из Мурманска в арктическую экспедицию вышел бриг «Святая Анна». Его затерло льдами. Пришлось зимовать в Ледовитом океане. Часть экипажа после первой зимовки пыталась пробиться на материк пешим ходом и на каюках. До земли добрались только двое. Какая участь постигла оставшихся во льдах — на вторую зимовку, никто не знает. Вместе с капитаном брига и одиннадцатью матросами где-то в Ледовитом океане погибла и Ерминия Александровна Жданко — первая русская женщина-полярница, двадцати трех лет от роду. У Татьяны Александровны хранятся письма старшей сестры, отправленные перед отплытием «Святой Анны» из Мурманска¹.

— Теперь бы, конечно, не дали погибнуть, — вздыхает Ирка.

Из поколения в поколение странствующие, плавающие, путешествующие. Не тревожно ли это — когда одна дочь уходит в горы, а другая — в море? А когда мама уезжает в пустыню?

¹ Недавно один из мысов Земли Франца Иосифа называли именем Ерминии Жданко. Но судьба «Святой Анны» по-прежнему не выяснена.

Серо-зеленые заболоченные равнины солончаков на южных подступах к Аралу изрезаны протоками аму-дарьинской дельты.

Чем ближе к Аралу, тем непроходимей болота, тем гуще заросли тучного камыша... Птичьи вскрики, рыбы всплески, синева воды, сквозящая в камышах, влажное дыхание моря. А небо, повитое облаками, оглашенное птичьим гомоном, всегда бывает выше, просторнее. Здесь оно совсем не похоже на то мертвое, белесое, равнодушное, что осталось позади нас над песками.

Об аральских каракалпаках в народе говорят: «На свадьбу ездят верхом на шуке».

В самом деле, рыболовецкие поселки дельты — настоящая камышовая Венеция, потому что все здесь из камыша: дома и загоны для скота, стенки юрт, «набережные» и бесконечные плетни. Весь поселок шуршит, когда поднимается ветер.

По улицам-протокам неслышно скользят на лодках-каюках косоглазые, смуглые «гондольеры». А чаще — «гондольерши» в ярких платьях — красных, желтых, зеленых — и бархатных жилетах.

На головах у них расшитые тюбетейки или бахромчатые шелковые платки.

Эта частица Средней Азии — без верблюдов! Зато с лодками, парусами, катерами, а зимой — с санями-розвальнями. Без хлопота! Зато с рыбой, сушеной, вяленой, копченой, соленой.

Колхоз «Кзыл-Аскер» («Красный воин») вытянулся по обоим берегам Казах-Дарьи.

Еще недавно Казах-Дарья была живым аму-дарьинским протоком. Но в пятидесятых годах уровень Арала значительно повысился. Воды его хлынули в проток и столкнулись с течением Казах-Дарьи. Началось наводнение. Чтобы спасти от затопления многолюдные рыбацкие поселки, прилепившиеся к берегам Казах-Дарьи, пришлось ее наглухо перекрыть выше по течению. Аму-Дарья стала обходить этот рукав. Зато воды Арала прочно завоевали это русло, превратив бывшую реку Казах-Дарью в узкий, извилистый залив Арала. А главное — окончательно ее засолили. Соленость Арала в три раза меньше, чем Каспия, и в шесть раз меньше океанской. Однако ее оказалось вполне достаточно, чтобы лишить людей питьевой воды и оголить землю. Все население живет на привозной воде. Только худосочные кошки да лохматые бобики заходят по

брюхо в проток и, брезгливо морщась, лакают соленую воду.

Зато раздолье здесь птицам. Дикие утки и гуси безмятежно спускаются на воду посреди поселка.

Какая-то старушка, сгорбившись над водой, чистит большую рыбину, отбиваясь от воронов. Они садятся ей на плечи, на голову, склевывают чешую с ее волос, высматривают добычу — рыбы потроха. Но добыча достается более спортивным и ловким чайкам и бакланам. Они подхватывают ее на лету, ныряют за ней в воду и с дракой утаскивают на другой берег. Их множество — этих черных воронов и белоснежных чаек — вьется над поселком.

Мы пытаемся пройти узкой кромкой берега. Коварное аму-дарьинское течение уже основательно его подточило. С казах-дарьинскими миниатюрными «дегишами» рыбаки борются, закрепляя берега камышовыми плетнями и опутывая их старыми сетями.

Новые сети просушиваются на заборах, на крышах, на дымовых трубах, на стенках домов рядом с распластанными для вяления кусками рыбы. Старые сети, уже негодные для ловли, продолжают свою службу. Ими чинят дыры в плетнях, натягивают на оконные рамы, устраивают из них птичники. Весь поселок словно опутан гигантской паутиной. Пухлые, скрипучие камышовые набережные загружены опрокинутыми каюками, баграми, рулевыми лопастями.

Возле каждого дома, уткнувшись носом в берег, тихо покачивается каюк. А во дворах, в усадьбах, огороженных так аккуратно плетнями, пусто, все завалено грудami камыша. Редко у кого есть огороды. Еще реже увидишь деревца с вялыми, желтоватыми листочками: все это поливное и слишком дорого стоит.

Пуск пресной воды из Аму-Дарьи — сложнейшая проблема. Она должна быть решена в ближайшее время.

Нам рассказывают, что и раньше, когда в досталь было пресной воды, жители не занимались земледелием. Только рыбачили. Сейчас им отведено небольшое количество земли для посевов в верховьях, около Кенеса. Немногочисленное кзыл-аскеровское стадо пасется на ближних пастбищах. Детеныши этого стада топчутся дома, невесело пожевывая все тот же камыш, только помоложе, позеленее.

Рассказывали рыбаки, что теперь колхоз обзаводится коллективным стадом. Пока оно еще маленькое. Но построенная недавно обширная ферма и заготовительные ямы для силоса рассчитаны на быстрое пополнение.

Показали нам, как строятся удивительные камышовые дома. На деревянном каркасе закрепляют пучки камыша и обмазывают глиной. Такой дом хорошо держит тепло, а строится он очень быстро и стоит дешево.

Самые значительные постройки колхоза — клуб и больница, вокруг которой есть даже садик с деревьями.

Юрт в поселке не меньше, чем домов. С непривычки звучит странно: «рыбачья юрта». Но в юртах рыбаки живут охотно, особенно летом.

Заправляет всеми делами здесь очень энергичная женщина — председатель колхоза Биби-Гюль.

Все это сегодняшний день Каракалпакии.

Но здесь, на территории «Кзыл-Аскера», сохранились остатки старой крепости Ерназар-кала. Сейчас ее и разглядеть-то нелегко — смыло водой. Но в народе жива память о Ерназаре, воздвигшем эту крепость в середине XIX века. «Рожденный львом», «рожденный героем» — именуют каракалпакские народные поэты Ерназара Алагёза, возглавившего восстание каракалпаков против хивинских ханов в 1855—1856 годах.

«В силу своего безрассудства и исключительной зловредности своей натуры...» — писали про него хивинские придворные историки.

Но в народных преданиях говорится: «...Ерназар обычно отнимал у хивинских сборщиков налога собранные деньги и раздавал их народу... Если обнаруживался спор бедного с богатым, он тут же вмешивался в это дело и решал спор в пользу бедного... Ерназар — батыр, побеждавший в единоборстве, в состязаниях всех хивинских и всех туркменских палванов (борцов)».

«Смутьянами» и «разбойниками» называли приверженцев Ерназара хивинские придворные.

А каракалпакский народный поэт Ажинияз так рассказывает о судьбе каракалпаков, поработанных Хивой:

Продающему себя за деньги,
Удобряющему землю людьми,
Правителю народа — хану
Каждый день войны нужны.
А бедному простому народу,
Всегда стремящемуся к свободе,
Не переносящему непосильных налогов,
Нужна счастливая и свободная эпоха.

Крепость Ерназара просуществовала недолго. Самого Ерназара убили предательским выстрелом в спину. Восстание было жестоко подавлено.

Обо всех этих событиях можно подробно узнать в трудах молодого каракалпакского ученого-этнографа Сабыра Камаловича Камалова.

Он тоже бывший «хорезмиец» — ученик Жданко и Толстова, возглавляющий Каракалпакский филиал Узбекской Академии наук в городе Нукусе. Сабыр Камалович обязательно придет к нам в гости — потолковать о разных делах, как только мы вернемся в Нукус.

...Сквозь легкие кисейные пологи в наши крепкие сны ворвался многоголосый птичий щебет.

Он несся с реки, с Казах-Дарьи, вместе с утренней свежестью и терпкими запахами моря. Мы поспешно повскакали и ринулись к Казах-Дарье. Русло реки заполнили изрядные каюки: и большие, и поменьше, и совсем маленькие. Этот парад казах-дарьинского каючного флота неуклонно двигался в сторону Кенеса. Ловкие флотоводцы с баграми в руках — все без исключения малолетние. Их оживленные, звонкие голоса и разбудили нас.

Поучительное зрелище для этнографа. Это не праздник рамазана или байрама. Это 1 сентября, первый день школьников, давно уже превратившийся в общий большой праздник. У каждого «гондольеренка» под мышкой, или через плечо, или просто на носу каюка — лоскутная узорчатая сумочка с книгами, тетрадками и калямом (пером).

Нам приходилось наблюдать этот первый школьный день и в пустынных далеких колхозах, где от юрт бегут табунами ослики, обвешанные ребятишками, торжественными и серьезными в этот самый важный ребячий день!

ОСТРОВ КАРАДЖАР¹

Придумал же какой-то шутник морские пути называть «тропами»: «Зменная тропа», «Долгая тропа», тропа «Пойдешь — не вернешься». Какие могут быть тропы на воде? Однако мы уже два часа пробираемся на моторках узкими и извилистыми коридорами сzybучими стенами из пятиметровых камышей. Солнце бродит по их верхушкам. Редко над нами светится узкая полоска неба, чаще смыкаются зеленые своды. А под нами бархатисто-бурое, заросшее

¹ В связи со снижением уровня Аральского моря бригады рыболовецких колхозов мыса Урги, острова Караджара были переселены в другие местности. Сейчас район Урги — озеро Судочье — снабжается возвратной водой и превращен в заповедник.

дно. Водяные змейки тычутся в борта, цапли, стайки диких уток залетают в камышовый тоннель и равнодушно обгоняют нас. Татьяна Александровна сидит около мотора, от которого оглохли уже фотограф и два переводчика, и заполняет полевой дневник.

— Воздух!!!

Мы кидаемся на дно лодки и распластываемся. Осклизлые, надломленные камышины исполосовывают нас, как плети.

Тропа суживается до того, что всякая уважающая себя рыба поворачивает вспять. Наверное, когда в одном конце такой тропы подрубают камыши, в другом — уже отрастают новые.

— Раньше так было, — отзывается моторист-рыбак. — Теперь чешки режут.

Мы ломаем головы над переводом этого каракалпакского термина. Может быть, какой-нибудь архаизм. Даже Ходжа Ахмед в затруднении. Ведь рыбацьи традиции каракалпаков восходят к глубокой древности, к первым векам до нашей эры, когда предки нынешнего населения жили на «болотных городищах» — огромных, укрепленных стенами возвышенностях (открытых и раскопанных нашей же Хорезмской экспедицией) — и занимались земледелием, скотоводством и рыболовством.

— Посмотрите-ка на этот «архаизм», — смеется Татьяна Александровна, указывая на берег острова Караджара, где стоят камышerezные машины с маркой чехословацких заводов.

Нас встречают как желанных гостей, а мы стыдливо выгружаем автомобильные камеры, заботливо накаченные для нас шоферами — на всякий случай. Никто над нами не смеется. Местным жителям и в головы не приходит, что эти шины «спасательные». Еще бы, здесь потомственные рыбаки, раньше, чем выучиваются ходить, уже управляют баграми и веслами плоскодонок.

Мы выясняем, к каким родовым и племенным группам относятся местные жители — каракалпаки. Особенно интересует нас племя муйтен — одно из древнейших каракалпакских племен, издавна населявших северные земли амударьинской дельты. По преданию, муйтены ведут свой род от необыкновенной женщины Ак-Шолпан — «Белая (Полярная) звезда». Имя ее было боевым кличем муйтенов. Среди муйтенов записан каракалпакский эпос — «Кырк-кыз» («Сорок девушек»), повествующий о мудрой красавице Гулаим, которая с сорока подругами поселилась на пустынном острове, превратив его бесплодные земли в цветущие поля,

и совершила много подвигов, достойных батыра. Во главе дружины девушек-воительниц она сумела освободить родину от поработителей.

Нет батыра — без народа,
Нет батыра — без отчизны, —

говорит Гулаим.

В исследованиях Татьяны Александровны Жданко устанавливается, что некоторые сюжеты поэмы сложились еще в глубокой древности, среди полукочевых племен, населявших Приаралье в первых веках до нашей эры. Эти племена, разумеется, не единственные предки каракалпаков. Вопросы происхождения, расселения, хозяйственных и бытовых особенностей каракалпаков чрезвычайно сложны. Только после революции каракалпаки из отдельных родоплеменных групп, рассеянных по Средней Азии, объединились и выделились в подлинную нацию. До этого времени никто всерьез и не интересовался историей так называемых «малых народов». Особенно скудны были сведения о каракалпаках, живших на окраинных землях среди недоступных болот и тугаев.

Поездки Татьяны Александровны в Среднюю Азию начались в те годы, когда на городских площадях всенародно сжигали паранджи, а по окраинным дорогам опасно было ездить — постреливали из-за угла остатки басмаческих банд. С первых же шагов советские этнографы помогали решать острейшие проблемы современности: борьба с религиозными пережитками, национальное размежевание земель.

Теперь наш путь к Шуманаяу.

Степь звенит, цветет, а более всего — пахнет. Потребованные нашими машинами, выпархивают изумрудные свистульки — птички — и пропадают в густых зарослях, понизу пронизанных алыми искорками верблюжьей колючки. Вдоль обочин лиловые соцветия обдают медом. И вся степь словно бугрится малиново-белыми взрывами, потому что расцвели тамариски. Дорога выкарабкивается из тряских стариц русла и бежит по упругим мостикам, через свежепрокопанные арыки. Бумажный шелест джугары и кукурузы. Темные готические аллен тополей и серебряные ветлы. Татьяна Александровна ведет наш маршрут по тем местам, где пятнадцать лет назад начинала свою работу с первым этнографическим отрядом Хорезмской экспедиции. Не было у отряда двух машин, а всего

лишь одна лошадь с телегой. Да и вокруг все было по-другому.

Теперь уже из книг Татьяны Александровны мы узнаем, что шуманайские урожайные хлопковые поля в те годы только-только распахивались. А вместо нынешних тенистых усадеб у шуманайцев были наскоро слепленные землянки. Для нас такие перемены не новость.

Сейчас на наших глазах в степи рождается рисоводческий корейский совхоз Раушан. За год вырос целый городок. В каждом доме, кроме европейской, непременно корейская комната с традиционным каном, низким столиком, вышитыми подушками.

А на затопленных полях, рядом с работниками, выравнивающими нежные ростки риса, разгуливает важный анст — традиционная фигура любого корейского пейзажа.

И везде: на полевом стане, в пастушеском коше, в рыбацкой юрте — этнографов встречают как своих.

Беседы с местными жителями продолжаются за полночь. Много мы узнаем интересного о прошлом. Но больше о настоящем и будущем. Вместе с нами обсуждаются последние методы уборки хлопка, целесообразность посевов люцерны, новости с опытных полей. Ведутся разговоры о детях, о новых школах и больницах, об освоении пустынь и болот, о новостройках семилетнего плана. Такие разнообразные и богатые впечатлениями, встречами, наши маршруты на этнографических картах сжимаются в пунктирные линии и цветную штриховку «районов сплошного этнографического обследования». А за ними неизменно встает распаханная, обводненная новыми каналами, строящаяся многонациональная трудовая Азия.

В нукусской гостинице не прохладнее, чем в степи. Под окнами, на ветках акации, покачиваются, как связки длинных колбасок, прошлогодние стручки акаций. От них — такой непрекращающийся деревянный треск и шорох. Наконец-то отдохнем и отоспимся! В номере Жданко — как в гастрономическом магазине под праздник — беспрерывно хлопают двери. Посетители! Ученый-агроном выясняет у Татьяны Александровны, когда появились у каракалпков золотистые каракулевые овцы. Ученый-кулинар спрашивает про национальную кухню. Ковроделы советуют насчет орнаментов. Музейщики атакуют по поводу расширения музея. По коридору бродит, дожидаясь очереди, каракалпак — этнограф из Комитета по охране памятников с черновиками сметы и требований на лошадей и

верблюдов. Художник Савицкий принес Татьяне Александровне собранные им образцы чеканного серебра с сердоликами. Местные археологи и этнографы — бывшие воспитанники Хорезмской экспедиции, среди них и ученики Татьяны Александровны, ныне самостоятельные ученые, работающие в вузах; музыканты, газетчики, фольклористы — все осаждают Жданко со своими вопросами, работами, заботами, а иногда... и с малышами — надо же их показать Татьяне Александровне.

МУЙНАК

В аэропорту парнишка в форменке горняка загородил мне дорогу.

— Это вы опоздали на рейсовый в Муйнак? Превосходно!

Я не находила в этом ничего хорошего. Но паренек строил из пальцев рогульку и помахал диспетчеру.

— Нашел! Двое есть. Подойдет третий — улетим.

Я прогуливалась по садику Нукусского аэропорта и вспоминала...

В пятьдесят втором году тут не было таких царственных тополей, уверенно роняющих листья. А в том складе (специальной камеры хранения, разумеется, не существовало), дожидаясь своей очереди, я от усталости уснула на лавочке. Кладовщик пожалел меня будить и так и не разбудил бы, да на ночь полагалось склад запирасть. Уже темнело, когда мы ловили попутную до города, и кладовщик все рассказывал мне, как строили этот аэродром и сколько было в его жизни аэродромов, которые строились. Он беспокоился, что мне не найдется места в гостинице. Места, конечно, не нашлось, но какая-то незнакомая женщина уступила мне полпостели. Кладовщик заглянул еще раз поздно вечером проведать: устроилась ли я? Он вовсе не обязан был заботиться обо мне, и эта незнакомая женщина тоже.

В те годы по Нукусу можно было разгуливать в грязных «полевых» комбинезонах или в запесоченных тулупах, и никто не обращал на это внимания. А теперь город вырос и приобрел солидность. Вместо пустырей сады или жилые кварталы. Двухэтажные сверкающие белизной дома. Отливает синевой асфальтовая гладь улиц. Их поливают щегольские автомашины, и деревья остаются весь день свежими. Раньше к полудню листва их превращалась в войлочные клочки... В квартирах сейчас — благоденствие

хозяек — газовые плиты! Публика по Нукусу ходит нарядная, отутюженная; дамы под цветными зонтиками. Разрытые улицы, строительные леса, штабеля кирпичей откочевывают все дальше к окраинам. Роскошные алые канны в сквере перед зданием Совета Министров и густые аллеи, смыкающиеся как зеленые зыбучие своды над улицами, определяют лицо Нукуса. И сколько новых тополей околдовывают своей печалью город...

— Для меня вы все равно всегда останетесь детьми, — это я сказала тихонько самому горделивому тополию и удалилась.

— Ну куда же вы уходите? — раздался нетерпеливый юношеский голос.

Я оглянулась.

Паренек в форменке тянул за рукав девушку якобы для того, чтобы она не убежала. Девушка была хорошенькая. С длинными бровями, которые пушатся у переносицы. Мне такие брови тоже нравятся. Она упиралась, потому что это к ней шло и потому что возраст ее был тот самый, когда важнее всего отстаивать свою независимость и гордо отвергать всякую опеку. Они продолжали спорить.

— Конечно, люблю Муйнак! И родилась там, и выросла...

— Чего же там любить-то?

— И пески люблю, и чешую, и ветер, и запах рыбный. И домики с геранью на окошечках в городе.

— Какой уж город?

— Я вам сейчас докажу, — девушка разворошила авоську. — Читайте! — и подняла, как знамя, консервную банку с ярко-голубой рыбой на желтом фоне этикетки. — «Рыбконсервзавод г. Муйнак». Го-ро-да! — проскандировала она. — Муйнака.

Паренек смастерил скептическую улыбку.

— А что заливает его иногда, — продолжала наступление девушка, — что ж? В штормовую погоду, в туман и Москва самолеты не принимает. А у нас дамбу строят. Кому достается — это нашим метеорологам. Их больше всех затапливает, но они не хнычут.

— А вы вот тоже не хнычете, — начал уже злиться паренек, — а сами сбежали!

— Я учусь, — презрительно пояснила девушка.

Ее волосы, клетчатое пальто были наполнены свежим ветром и увяны золотом общегородской тополиной грусти.

— Учусь на ветеринара. Не сиднем же сидеть.

В аэропорту объявили посадку.

На Муйнак — это значит на северо-запад от Нукуса —

над Шуманайской степью, над Кунградом — будущим центром каракалпакской промышленности, над дельтой, над плоским безжизненным плато Устьурт, над знакомыми уже Ургой и Казах-Дарьей.

С самолета дельта представляется безграничной бело-зеленой степью с синими прогалинами Арала.

Подковообразный песчаный полуостров, как будто гигантский бархан, торчит из воды.

Уже в аэропорту, в столовой, — как эмблема города — красуются копченые туши жирных сазанов. И больше не забываешь ни на секунду о присутствии моря. Уже в аэропорту ноги вязнут в рыхлом песке с примесью рыбьей чешуи и мелких ракушек. И больше не протестуешь против песчаных пустырей, против мусоринок, попадающих под веки. И не удивляешься, что все жители этого острова или рыбаки, или их родственники.

Центр рыбной промышленности Каракалпакии. Длинная улица — дорога — тянется вдоль берега до самого аэропорта, словно выведенная по лекалу. А все, что не эта улица, называется в городе «верх».

Автобус, идущий от рыбокомбината, переполнен. Уже возвращаются с работы. Рыбокомбинат — первое в Каракалпакии предприятие, перешедшее на семичасовой рабочий день. Я перелистываю этнографические опросники — мне не хватает «параграфов».

Суровость, прямота, решительность муйнакцев — это их черты профессиональные. Муйнакцы выковываются морем и трудом.

Люди здесь так же ярки, определены, как синева моря, охристость суши и марлевая белизна строящейся известняковой дамбы.

Сейчас в море оживленнее, чем в городе. Разгар осенней путины. Усач, жерех, шип, сазан «валят».

Рыболовные сейнеры и мотофелюги пяти рыбозаводов и девяти рыболовецких колхозов, груженные уловом, пришвартовываются к приемочным пунктам. На ближний лов уходят на сутки-двое, на дальний — на месяц-полтора. За рыболовными транспортерами, как заботливые жены, следуют плавлавки.

Мы в гостях у заместителя председателя колхоза «Срок лет Октября», объединившего тысячу четыреста хозяйств. Собственно, мы на территории вошедших в новый укрупненный колхоз переселенцев.

За три года рыбаки основательно отстроились. Клуб, радиоточка, свой магазин, баня, школа-семилетка. Многие ребята доучиваются в десятилетках Муйнака — заочно.

Александр Львович Шаповников, коренастый человек с крупным лбом и небольшими светлыми глазами, рассказывает нам об этом, стараясь стереть с лица следы недовольства. Его оторвали от более насущных дел.

— Вы только про достижения интересуетесь, а забот наших не касаетесь? — Он оглядывает нас со вздохом сожаления, обозначающим: «Все равно ведь не поможете».

Говорит он медленно, веско, короткими фразами-вопросами, как человек, привыкший часто объяснять таким же немногословным людям. Его открытое, широкое лицо выражает озабоченность и множество сложных чувств.

— Заботы или проблемы, как хотите называйте. Что только от нас зависит — наладим. Это маленькие заботы. Забота большая у нас, у всех рыбаков, одна. Кого хотите, спросите.

— Мы спрашивали.

— Значит, знаете. Воспроизводство рыбного стада. Опрашиваем всех ученых и практиков... Леща в этом году совсем было мало. Рыбные запасы сокращаются. Ну, расширим запретные зоны. Укрепим работу рыбоохраны. Это точно: у берегов совсем не надо ловить. А на нерестилищах — заморные участки! Камышом зарастают, заболачиваются, засолоняются. Проходные рыбы по реке поднимаются на нерест. А остальным как же? Создание рыбных баз в Нукусе, например, хорошее дело. Но нам бы лучше опреснить весь залив в районе Муйнака и исконную рыбу вотчину — озеро Судочье. Вернуть рыбам озеро Судочье! Работают ихтиологи, мелиораторы, — мы их поругиваем, они нас. Исследуют. Проекты составляют, летом, толковали, не хватает обоснований для проектов. А средства уже запланированы. Про Казах-Дарью уже слышали? Опреснили ее.

— Молодцы! — я нечаянно перебила председателя и скороговоркой извиняюсь. — Это же наши старые друзья. Мы там год назад были, еще на соленой воде. Камышовая Венеция. И разговоры велись такие же. И даже с теми же интонациями.

Лицо Шаповникова смягчается предвестием улыбки.

— Насчет Венеции не знаю, — уже добрее, но так и не улыбнувшись, продолжает он, — а колхоз там сейчас самый сильный в Каракалпакки. А мы пока что спорим, судим, рядим. Дарью сильно разбирают. Рыба беднеет. Вот, ждем! Ждем специального постановления. Заблаговременно думать стараемся. Вот так, братцы, — он посмотрел мимоходом на мою юбку, сообразив, что я не братец, а сестрица, но поправляться не стал.

На острове Караджаре мы были прошлым летом, в 1959 году. Встречал нас директор зверофермы с забинтованной рукой. Боевое ранение. Лисы искушали.

— Лучше их сейчас не смотреть, — объяснил он нам, — на всю жизнь уважение потеряете к пушному зверю. Лыняют.

Мы послушались и не видали этих новожилов острова. Но мы их обоняли, проплывая вдоль берега и еще некоторое время, уже отчалив от острова.

Мы получили цифры. Но что такое голые цифры?

Теперь на полуострове Муйнаке звероводы охотно проводили нас в питомник, поскольку «подшерсток уже оформился». «Шеды» — это коридор из клеток под крышей. Сразу попадаешь под перекрестный огонь нацеленных злобных глаз. Сколько хищности, затаенности в подогнутых лапах и опущенных, настороженных головах. А чего они, собственно, выжидают и нацеливаются? Сетка сеткой, а про себя решаешь: «Хорошо, что родился не курицей». Лисы думают иначе; разнюхавши человечину, разочарованно отходят и продолжают прерванный концерт.

Вот они, эти самые «цифры», уже не голые, а в роскошном черном опушении, отливающим сединой. Цифры — с подшерстком, мяукающие, кудахтающие, твякающие, вертящие лапами круглые металлические кормушки, вмонтированные в типовые клетки. От этого не прекращается аритмичный перезвон в шедах. Под этот аккомпанемент происходят лисьи пританцовывания, в каждой клетке на свой лад, но с неизменной непристойностью. Все это немножко напоминает рок-н-ролл, но тут больше разнообразия. В одной клетке лис со злобным твяканьем кидается на сетку, воображая, что на нас! В другой — обидчиво уходит и прячется в деревянный домик. Еще дальше — с самозабвением подлинного артиста — лиска летает со стены на стену. Тут чувствуешь всю красоту лисьего хвоста. А напротив нее — лиса-акробатка. Распластав туловище вертикально по стенке, выгнув голову, стоит на передних лапах, чуть подергивая кончиком хвоста. Но вот единственный на всю компанию печальный ласковый лис с параличом задних ног. Одетый в такую же королевскую шубу, как и все. Его берут на руки и гладят. Глаза у него собачьи.

— Тут еще есть у нас один больной, — говорит бригадир, показывая на роскошного молодого лиса, который хмуро топчется и, отворачиваясь, прячет глаза. — Нет, вы зайдите с другой стороны.

С другой стороны — в полбока — голое мясо.

— Самопогрызание: ест сам себя. Бывает, лапы также грызут. Мы уж и кормили его по-разному, и режим меняли. Не знаем, чем ему помочь. Вот новый зоотехник, может, придумает.

— Кстати, как у вас с кадрами?

— Кадры на кухне — кормахи.

Но кадры оказались во дворе: из соседних шедов сбежала норка.

Теперь эту норку ловили, как бабочку, сачками. Она выпархивала из-под груды стройматериалов, кружилась около чьих-нибудь ног и снова ныряла под доски.

Норка цапнула кормаху за палец и еще долго «обводила» целую толпу звероводов. Зверек этот — олицетворение хищности. Нападая на курицу, норка только прокусывает ей горло и высасывает кровь.

А какое изящное, ласковое на вид существо! Кормаха, побелевшая от боли, разглядывает палец, прокушенный писквозь.

Вагонетки с пронзительным скрежетом и скрипом совершают воздушный рейс от кухни до звериных кормушек. В кухне пирамиды ондатровых туш, остро пахнущих рыбой, — суточная порция питомника. Работницы в черных халатах загружают корм. Потому их и называют кормахами.

— Теперь кормахи нет, — поправляет директор зверофермы, — а все мы называемся звероводами.

Здесь нет нужды разыскивать для получения информации седобородых стариков. Звероводство — совершенно новая отрасль хозяйства в Каракалпакии. И аму-дарьинский звероводческий совхоз начал свое существование только с сорок второго года, когда с озера Балхаш привезли пробную партию ондатры — водяной крысы — и выпустили в аральские камыши. Забавные зверьки ростом с небольшую кошку, покрытые рыже-коричневой блестящей короткой шерстью с голубоватым подшерстком. Кормятся побегами камыша. Хвост уплощен, как и подобает доброй рулевой лопасти. Ондатра отстраивает на Судочьем озере «купки» — камышовые кочки с хатками, в которых имеются индивидуальные комнаты для ондатровых стариков, папы и мамы, детская, столовая и даже туалет.

Отлов начался в сорок шестом году. Звероловы забивали до двух-трех тысяч голов. Ловили осенью, выезжая группами по два-три человека. Часто семьями. Там же на месте снимали шкурки, а мясо выбрасывали. Доход от ондатры, идущей главным образом на экспорт, превзошел ожидания. А в пятьдесят шестом году из-под Ленинграда,

из Рощина, вывезли на остров Караджар пятьдесят черно-серебристых лис — пробных. Скептики опасались, что такой северный зверь не выдержит летних месяцев, когда температура на Арале поднимается до пятидесяти градусов. Энтузиасты возражали: «Но ведь местные рыжие лисы выдерживают!» Черно-серебристые их родственники легко справились и с ветрами, и со зноем. И через год в их клетках пищали лисенята, на этот раз урожденные аральцы.

Теперь у ондатрового промысла не стало отходов. Охотники сдавали крысиное мясо и жир на корм лисам.

Звероводы решили разнообразить население питомника. Из Ейска привезли партию песцов и норок. На Муйнаке открыли отделение зверофермы, и на мысе Урга, на террасах Устьурта стоят уже клетки. Ждут гостей с Алтая, из Куйбышева, из Саратова. Планируется открытие звероводческой фермы на озере Кара-Терень. Звероводы намерены обзавестись соболем. Поговаривают о создании большого заповедника, где звери будут находиться в естественных условиях, об экспериментальном скрещении местных пород с северными.

Но это дело будущего. А пока кладовщик водит нас по своему хозяйству и показывает постройки.

— Замусорились, — извиняется он, — оттого что строимся. Вам нравится? А нам нет. Пустырь же! Ноги вязнут. Ни проезда, ни прохода. Мы здесь в будущую весну высадим несколько тысяч деревьев. Парк отдыха устроим и базу отдыха для работников. Сейчас две бригады работают, а будет пять. Лабораторию, медпункт для зверя заведем...

В гостиницу я возвращаюсь по прибрежной дороге-улице. На рейде скопилось множество судов. Наверное, вечером они засветятся уютными огоньками, и в море обозначится даль с золотистыми дорожками, не будет за моим окном холодной черноты. Женщины все чаще выходят на берег, рассматривают на море из-под ладони.

Я любопытствую:

— Это что же, к воскресенью суда собрались?

Прохожие на меня оглядываются.

— Это, миленькая, к погоде, а не к воскресенью, — злобиво поучает старушка в клеенчатом фартуке и в резиновых сапогах, обгоняет нас и сворачивает в переулок. — Был бы у тебя хозяин-рыбак, и ты бы на берег бегала, — говорит она уже со двора, подхватывает моток бечевки и исчезает в доме, оглушительно хлопая дверью. Нет, это не старушка, а ветер хлопнул дверью.

Развешанные на веревках рубахи трагически взмахивают рукавами.

Ветер напоминает, что вокруг пустыня. Город окутывается пыльной мглой. А море лиловет.

...Сижу у моря и жду погоды. Четвертый день нет самолета. Слушаю разговоры о том, что будет, если залет посадочную площадку. Соседская собака, прогуливаясь по дамбе, припадает на лапы, чтобы ветер не сорвал ее. Она сползает ко мне пожаловаться на жизнь: «Самый разгар охоты на уток, а хозяин застрял в море». Подбирается поближе, вопросительно обнюхивает. И сердито гавкает: «Чужая!» От меня не пахнет ни морем, ни рыбой. Но напрасно она ругается. Я не чужая.

ЛЕПРОЗОРИИ

Глаза шефа сузились и блеснули как лезвия:

— Если узнаю, что торчали в лепрозории, — из экспедиции выгоню!! Поэтому... — грозовая пауза, — потрудитесь, чтобы я не узнал.

И вот я сижу над морем и жду... когда позовут обедать. Море безмятежно синее, со сквозными куртинами камышей, уже тронутых позолотой. На море осень. Захватывает мужественная, простая красота. Над таким морем хорошо размышлять. Опять слоистые скалы цвета сурового полотна, с которыми я знакома не первый год. Я сижу на высоком бугре, выступающем, как розетка с известняковыми лепестками. Внизу выбита автомобильная дорога. Стерильно белые домики поселка вытянулись вдоль берега. На море паруса, и чайки, и сгустками синевы дальние острова, и мысы. Но вот за тем обрывистым бугром — что же там?

Я думала, жизнь покажется мне другой, когда я попаду сюда, — сожмусь, растеряюсь. О многих тяготах жизни я знаю понаслышке. Часто употребляю междометие «ах!» Но сейчас мне не хочется употреблять никаких междометий. Только нет-нет да оглянусь на тот обрывистый бугор, из-за которого полчаса назад вернулась, сняв белый халат и шапочку.

Иногда человеческие страдания слишком тяжелы, чтобы их описывать.

За обрывистым бугром — территория «больного» двора лепрозории. Там тоже улочка стерильно белых домов, где живут семьи больных; плавучие горы камыша, усадьбы. На возвышенности здание госпиталя, где помещаются тяжелобольные.

Ну да, я знала о проказе — по Джеку Лондону, по Вальтеру Скотту. Позже познакомилась с историей этой болезни.

Целые страницы Библии посвящены «диагностике» проказы. В Среднюю Азию проказа попала еще в глубокой древности, по всей вероятности из Ирана и Индии. О проказе в Персии в V веке рассказывает Геродот. Впрочем, слово «махау», обозначающее в Средней Азии лепру, не иранского и не тюркского происхождения, а — урарту, так считают ученые. Изоляция прокаженных осуществлялась во времена Тамерлана в специальных махау-ханах. Кишлаки-махау встречались по всей Средней Азии. По описаниям путешественников, это участки земли, обнесенные глиняными дувалами, где ютятся лачужки с земляным полом, которые «трудно назвать человеческим жильем» (Остроумов, 1900 г.). Они обычно располагались за пределами селений и городов, но вблизи больших дорог, подобно средневековым лепрозориям Европы. Больные жили подаяниями. А передвигаться на большие расстояния не могли. Лишить их возможности выпрашивать милостыню — значило обречь на голодную смерть. Мусульманские властители во искупление своих грехов жертвовали средства на содержание прокаженных. Однако меру своей греховности устанавливали сами. Нищенство было надежнее. И больные скитались по базарным площадям городов и сел, пугая и разжалобливая население. Существовал обычай: узнав, что где-нибудь объявился новый лепрозный больной, обитатели махау-ханы являлись к нему гурьбой и требовали, чтобы он ушел с ними. Богатый мог откупиться на время. До следующего посещения. Срок устанавливался произвольно и зависел главным образом от предприимчивости больных. Девушки и женщины откупаться не могли. Их уводили сразу.

В Каракалпакии до революции никакой изоляции больных не существовало. Они продолжали жить в семьях. В редчайших случаях их поселяли в отдельных землянках. Прокаженных очень боялись, но считалось грехом и преступлением выдавать их местным властям и врачам.

Возбудитель проказы — палочка Ганзена — был открыт в семидесятых годах прошлого столетия. Но врачи искали причины распространения лепры и в своеобразии климатических, географических условий. Особенно предрасполагающими к этой болезни считали устья больших рек с влажным климатом. Сама проказа опровергала эти теории, забираясь в пустыни Сирии, тропические леса Индии и Бразилии, в высокогорья Ливана, на острова Океании, в фьорды Исландии, в снежные просторы тундры. Как и другие инфекцион-

ные болезни, лепра более всего распространялась среди беднейшего населения, живущего скученно, без соблюдения санитарных условий, изнуренного голодом и нуждой.

Нам она досталась как страшное наследие прошлого.

...В море над камышами вспархивают белые облачка. Кто-то стреляет лысух, маленьких черных уток с белой полоской по клюву и лбу. Сейчас отличная охота, особенно если забраться в камыши на моторке! Никто не сделал бы мне упрека, если бы я воздержалась от поездки в лепрозорий. Пользы от меня никакой. Вместо страха испытываю неловкость: совестно здесь быть не бойцом, не помощником.

Велюровая зеленая шляпа и светлый плащ не всегда признак пижонства. В этом я убедилась, встретившись в гостинице ближайшего города с главврачом лепрозория — Сергеем Петросовым. Он сидел около телефона в дежурке и обдумывал шахматную партию, насвистывая Шумана. Время от времени телефон соединял его с различными учреждениями, городами, больницами Каракалпакии, откуда он вызывал к себе очень ровным, неторопливым голосом гостей: помощников, врачей-специалистов. Но к кому же из специалистов обращается он, называя их пискунами? Ага! Это его собственные сыновья, которые вырвали у матери трубку и делятся по очереди своими новостями. Сыновьям труднее всего объяснить, что он задерживается по делам и не прилетит, хоть обещал. Ну да, он срочно транспортировал пострадавшего в автомобильной катастрофе шофера, придется дежурить около него в больнице, а затем снова лететь в лепрозорий.

Петросову лет тридцать — тридцать пять. Это усталый, невыспавшийся, замкнутый, но очень живой человек с невозмутимым чувством юмора, который вырабатывается у людей, слишком хорошо знающих меру человеческих страданий.

Мне рекомендовали его еще в Нукусе как врача-коммуниста, фронтовика.

Он совсем не инфекционист, а рентгенолог. А быть главврачом — это значит заниматься еще очень многими вопросами, кроме медицины: хозяйством, строительством, топливом, медикаментами, кадрами. Научная работа для рентгенолога в области лепры? Влияние лепры на изменение костей. Почему он поехал сюда работать? Кто-нибудь должен здесь работать. «Почему не я?»

Я спрашиваю бухгалтера Павла Батмаева:

— А как вы сюда попали?

Батмаев — калмык, по-русски говорит медленно. Выра-

жение лица опережает его речь. Сначала он смеется и заговорщицки переглядывается с Петросовым.

— Отчего не рассказать? Был я журналистом. Захотел написать про эту болезнь. Поехал на месте знакомиться с материалом. Перед отъездом зашел к врачам. Они меня посмотрели и говорят: «Вам не стоит уезжать из этих краев». «Не стоит» — это у врачей такая форма гуманизма.

Я понимаю, что это издевка надо мной, и невозмутимо возражаю:

— Слишком что-то скоро, а как же инкубационный период?

— Обывательское представление, — корректирует Петросов. — Инкубационный период длится чаще всего три-четыре года. Известны случаи и очень быстрой инкубации — двухнедельной и затянувшейся — до тридцати двух лет. Вот мы на вас это лишний раз и проверим.

Я называю имя известного писателя Грэма Грина. Герой его нового романа во всем изверился и разочаровался, эта разочарованность приводит его к прокаженным...

Петросов отрывается от шахматной доски и изучает меня с насмешливым изумлением.

— Я своим сыновьям объяснил бы так: когда нам трудно — мы говорим «долг». Иногда мы не можем сказать «долг», говорим «обуза». «Обуза» — если не хватает или вовсе нет «во имя чего», тогда это гнет, страх и очень неуютно. Кто идет работать к прокаженным в погоне за большим рублем, тот корчится от страха и быстренько сбегаёт. Это еще можно понять! Но «разочарованный»...

Очень подвижные брови и глаза Петросова досказывают его мысль. Он смеется негромко, слегка в нос.

— Ну хорошо, хоть этот «герой» не наш сотрудник! Здоровые его стали бы избегать, а больные выперли бы! Возненавидели бы лютой ненавистью. Он приходил бы жаловаться ко мне. Но я не сыграл бы с ним ни одной партии. — Углы губ Петросова опускаются, и веселость тает. — Хивинские ханы тоже вспоминали о прокаженных, когда «разочаровывались». Между прочим, степенью распространения проказы мы обязаны тем же ханам. Никто более, чем лепрозные больные, не имеет «прав» на разочарованность и опустошенность. А они живут и работают. Ехать в лепрозорий можно только с единственной целью — лечить, помогать больным. Видите ли, это слишком очевидно, наглядно. Так же очевидно, к примеру, как и то, что не должны падать атомные бомбы...

Он возвращается к своему невозмутимо-насмешливому тону:

— Если кому нужно пощекотать нервы «романтикой обреченности» или «человеческими безднами», то в любом вытрезвителе материала найдется больше. Никакого потустороннего мира у нас нет и быть не может. Экзотики мы не потребляем. И обреченных не признаем. Больные предпочитают работать — все, кто в состоянии. Хотя они на полном государственном обеспечении и могли бы заниматься исключительно самоанализом. Мы не можем гарантировать полную ликвидацию лепры. Потому что имеются больные с очень застарелой, тяжелой формой. Остановим течение болезни, но не вернем им руки и ноги. Но мы добьемся, что не будет новых больных. Больных с ранней стадией. У нас хорошая библиотека, вы почитайте... Включи-ка радио, Павел. Это Вагнер, я не поклонник, пошарь что-нибудь еще! Люблю музыку. В нашем учреждении все слушают радио. Выключаем только к общему отбою. И каждый день крутим новую кинокартину.

Он рассказал мне о том, что лепра перестала быть страшным бичом человечества. В сороковые годы в Южной Америке были открыты препараты сульфонового ряда, лечащие лепру. Наиболее успешно — на ранних стадиях. Труднее бороться с застарелыми, тяжелыми формами болезни. Теперь больных все чаще переводят на амбулаторное лечение. Совершенно исцеляют. Возвращают к полноценной жизни, к труду. Опасности для здоровых они уже не представляют. Прежние панические представления о заразности лепры давно развеяны.

...Лихо перекликаются петухи «здорового» двора с петухами «больного» двора. Ребятишки с криком штурмуют обрыв. Здесь много детей обслуживающего персонала. Здесь и дети лепрозных больных, рожденные в лепрозории, но совершенно здоровые, живущие в специальном интернате. Когда придет время учиться, их будут возить каждый день в ближайший поселок в школу.

Но те дети, которые живут пока на «больном» дворе? Они тоже учатся в специальной школе. Их будущее — среди мира здоровых. Их вылечат еще раньше, чем они окончат школу.

Весельная лодка причаливает к берегу на «здоровый» двор. Из нее торопливо выскакивают мужчина и молодая женщина с кашляющим ребенком.

Вчера вечером тоже кто-то причаливал. Это с островов, вне расписания, посетители к врачу Шамшеддинову. Со всем не по поводу лепры. Просто Шамшеддинова знают как хорошего, серьезного врача и отзывчивого человека. А ведь судьба Шамшеддинова, молодого врача-каракалпака, —

это целая книга. Бывший прокаженный, пациент и ученик крупнейшего советского лепролога Торсуева.

Торсуев не только вылечил Шамшеддинова, но помог своему пациенту еще в лепрозории серьезно заняться медициной, потом получить высшее медицинское образование и стать специалистом-лепрологом.

Книга! Разве не нужна такая книга — об отряде добровольцев, борющихся на переднем крае под огнем невидимого врага. С полным сознанием возможных роковых случайностей, с пониманием того, что «а вдруг, именно сейчас, или через секунду, или уже давно» этот враг проникает в твою кровь, творит разрушение. Палочка Ганзена в 0,14 микрона (0,00014 мм) легко обнаруживается под микроскопом, когда человек уже заражен. Книга о людях! О поварихе, которая так убедительно ругает всех мужчин на свете, но сама поселилась здесь, потому что муж ее заболел, «а если бросить его, что с ним стало бы?»

Она проработала много лет с лепрозными больными, хотя давно могла бы уехать — после смерти мужа. Ей захотелось только один разок побывать на родине, повидать родню. И после ее отъезда сотрудники гадали — вернется или не вернется? Мало ли, что пообещала. Но она вернулась в назначенный день и привезла с собой в узелке из Сибири... земли. Ссыпала в кадку, посадила зернышко лимона и устроила себе сад.

Три лоснящиеся белые кошки трутся спинами о кадку с лимоном и, миролюбиво мурлыча, выслушивают поварихину воркотню.

Написать бы о заведующей детского дома, приехавшей в Каракалпакцию еще в тридцатые годы по комсомольской путевке. Ей хотелось необыкновенного, самого трудного, чтобы не бесполезно и не скучно прожить жизнь. Она и старшую дочь уговорила работать здесь медсестрой. И муж ее работает здесь аптекарем.

О праздничных днях лепрозории, когда выписывают выздоровевших больных и провожают их...

И еще об одном вечере... Можно было бы, конечно, слушать концерт Рихтера и не среди прокаженных. Но здесь, в пустыне, над замершим городком, это было больше чем искусство — откровение о всем сущем, поэма о человеческих страданиях и борьбе жизни со смертью, о благородстве и широте душевной, о великом самоотречении и великом мужестве — неугасимой человечности.

После концерта Петросов долго еще сидел не шевелясь. — Это, право... Знаете... так — будто всех выписали.

Работа этнографа чрезвычайно разнообразна. Чтобы охватить жизнь изучаемого народа во всей полноте, этнографу приходится заглядывать и в самые глухие закоулки быта, психологии, вылавливать клочки мрака, навсегда ушедшего или уходящего из нашей действительности.

Это очень кропотливая, тонкая работа, требующая от этнографа, кроме научной подготовки, большой душевной чуткости, человеческого такта, а главное — подлинной любви к людям.

В 1932 году С. П. Толстов, тогда еще совсем молодой ученый, опубликовал интересную работу — исследование о Коране.

Впервые с марксистских позиций анализировался свод религиозных догматов ислама как исторический документ, помогающий вскрыть современную ему социальную историю арабского государства с ее классовыми противоречиями, приведшими к разложению рабовладельческого строя и рождению феодального.

В те годы С. П. Толстов отдал много сил изучению древней и современной религии народов Средней Азии.

Продолжается эта работа и сейчас. Специальный отряд этнографов исследует религиозные пережитки.

В Хорезмской экспедиции эти исследования проводил Глеб Павлович Снесарев. Глеб Павлович — человек очень серьезный, самоуглубленный и «таинственный». Одну его тайну я уже выдала, рассказав, как он отплясывал на вершине Черной горы, обнаружив там древние оссуарные захоронения. Выдам и вторую: за внешней холодностью, иногда даже мрачностью Глеба Павловича скрывается тайное доброжелательство и мягкость, врожденная деликатность. Но третьего, самого главного, секрета выдать, к сожалению, не могу! Хотя его-то Глеб Павлович ничуть и не скрывает. Глеб Павлович владеет тайной проникновения в человеческие сердца. Не всякому, даже опытному, этнографу старики доверяют подробности магического обряда взывания к предкам, не всякому расскажут, как надо выдернуть волосок из головы паря (джинна), чтобы получить над ним власть, или как надо бить черными кошками больного, чтобы выгнать из него болезнь, и что при этом приговаривать.

Грозно сведенные брови шефа добра не предвещали.
— Вечно вы мне осложняете жизнь. Конец работ!

Отпустить с раскопа? А дневник небось не написан, чертежи не сделаны...

— Сделано. Я отработаю все выходные.

— Что за нечистая сила вас за Снесаревым тянет?

— Нечистая. Омывальщики трупов.

Шеф развел руками:

— Ничем не могу помочь. Я-то вас отпускаю. А Глеб Павлович отказывается брать. Чему обрадовались?

— Что вы отпустили.

Глеб Павлович и ежился, и морщился!

— С вашей жизнерадостностью вы мне всех шейхов распугаете. Это лично мой маршрут, а не шефский. И больше не просите.

— И не собираюсь.

Глеб Павлович, очевидно, хотел смягчить свой отказ, когда пришел на раскоп попрощаться со всеми. «А где начинающий поэт?» Но меня там не нашел. И не мог найти. В это время шофер, загружавший машину для снесаревского маршрута, укрывал меня в кузове на полу брезентами, задвигал мешками с макаронами.

— Так не задохнешься?.. Не показывайся раньше, чем он пообедает. И помни: я ничего не знаю, ничего не видел.

Задохнуться и сгореть заживо можно было с успехом. Шофер выпускал меня только в Хиве, когда мыл машину, загнав ее в воду, а Глеб Павлович ходил в райком отмечать командировку.

К середине маршрута я уже наострилась дремать, к концу — сладко спала. Проснулась от шарканья в кузове, шофер выгружал вещи, приговаривая:

— А чего ж вы начинающего поэта не взяли? Ей так хотелось...

— Да можно было, конечно, — благодушно протянул Глеб Павлович.

Ага, пообедал! Тут я и вылезла. Снесарев онемел на время, а потом зашипел с яростью:

— Юбку! Юбку!! Сейчас же надевайте юбку. Пока никто не видел. Здесь в брючках женщины не ходят.

...Так удалось мне приобщиться к замечательно тонким, глубинным исследованиям Глеба Павловича Снесарева.

Вернувшись, я не стала распространяться о том, как мне удалось уломать Глеба Павловича. Иногда на меня нападала скромность. Но я слышала собственными ушами, как Снесарев, приехавший позже, докладывал все подробности шефу. Момент был неподходящий, напряженный, перед самым выездом в шефский маршрут на Сарыкамыш. Я там уже добывала, он меня не волновал. Завьюченные

машины и люди ждали команды шефа, и он мог взорваться от любой помехи. Нетерпеливо выслушал Снесарева, метнул в мою сторону огненный взгляд и крикнул:

— Товарищи, проверьте еще раз баулы, мешки, ящики, — не спрятался ли там начинающий поэт. И полевые сумки и карманы — тоже! По машинам!!

В городе Ханки живут наиболее близкие, прямые потомки древних обитателей Хорезма — хорезмские узбеки.

Город очень давний, возник много веков назад.

Вокзал, парк, клуб, кинотеатр, хлопкоочистительный завод, автобаза — все это самое обычное, сегодняшнее в Ханках.

Но старый город сохранил в своем облике что-то от средневековья: плосковерхий, тесный глиняный лабиринт тупиков, поворотов, узких улочек, обнесенных мощными глухими дувалами. Деревянные ворота, мостики, брошенные посреди улиц арбы до того пересохли, пропылились, потрескались, что кажутся тоже глиняными. Иногда случается, блуждая по этому лабиринту, натолкнуться вдруг на музейный экспонат: в слепой глиняной стене — деревянные ворота, покрытые тончайшей, искуснейшей резьбой. Работа народных мастеров — ремесленников незапамятных времен.

Мы попадаем в окрестности Ханков.

По затопленному полю бродят голенастые кулички, поклевывают заплывших в борозды рыбешек.

От приглушенной стукотни тракторов, от увлажненной земли и свежей поросли полей, от темных куполов деревьев и плоских крыш, островками разбросанных по равнине, веет миром, благополучием, прочной налаженностью жизни.

На айване (веранде) домика, запрятавшегося в тени тополей, за нескончаемым чаем сидят с нами аккуратные, чистенькие старушки, похожие на белых, тихих совушек.

Мулла не позволяет нам записывать их имена в той же тетрадке, где мы записываем имена ханкинских святых и легенды об их деяниях. Мулла не пьет с нашими хозяевами чая, но как добрый сосед расспрашивает их о здоровье, о внуках. Наши собеседницы в том возрасте, когда люди уже не работают. В настоящем у них небольшие приусадебные хозяйства в колхозе; в городе дети и взрослые уже внуки работают — кто в больнице, кто на почте, кто в ковровой мастерской.

В прошлом у наших гостеприимных хозяев — страшная профессия. И еще более страшная судьба. В прошлом они, «омывальщики трупов», принадлежали к группе «неприкасаемых».

Еще при хивинских ханах мусорщики, цирюльники, банщики, палачи, омывальщики трупов составляли среди узбекской части населения особые группы отверженных, отщепенцев. Они селились по городам в отдельных кварталах. Их профессия передавалась из рода в род и отщепенство тоже.

Они не могли сменить свое ремесло на какое-нибудь другое, выйти за пределы таких групп, породниться с обыкновенными горожанами.

Их всячески избегали, потому что общение с ними оскверняло «чистого» мусульманина. Родившись на свет, они уже оказывались проклятыми и отрешенными. И ничто не могло изменить их судьбу. Из всех отверженных самыми презираемыми были омывальщики. Их презирали настолько, что даже не взимали с них податей, кроме десятинной. Постоянных доходов, заработков у них не было. Им выплачивали деньги за услуги и одаривали вещами покойного: одеждой, посудой. Но их не только презирали, их еще и боялись, как слугителей смерти. Зловещее их появление всегда предвещало скорбь, горе, слезы. Люди считали, что омывальщики наделены сверхъестественной силой. Боялись, что они могут взглянуть, проклясть.

Религиозный смысл этой обособленности восходит к глубокой древности, за пределы ислама, — к верованиям зороастризма, распространенного в Средней Азии и Иране в эпоху, предшествующую арабскому завоеванию.

Мусульманство насаждалось арабами огнем и мечом на огромных территориях. Но завоеванные народы имели свою многовековую, самобытную культуру.

Многие местные традиции — и религиозные в том числе — в перекрашенном виде ужились с верованием ислама. Пережитки зороастризма и еще более древних верований — шаманства, магии, тотемизма, — сильно видоизмененные, дожили и до начала XX века. Таким древнейшим пережитком сохранилась и отверженность омывальщиков.

Рассказы наших старушек более всего страшны своей простотой, деловитостью, профессиональной невозмутимостью.

Приниженность и бесправность воспринимались отщепенцами с фаталистической покорностью. Редко кто отваживался протестовать, возмущаться.

Но иногда все же случалось...

Как-то одна из старух омывальщиц зашла в дом, где справлялся поминальный той. Все присутствующие — охотно или неохотно — поприветствовали ее хоть издали.

А одна гостя — женщина в поре цветения и счастья,

любимая жена богатого бая, — отвернувшись и брезгливо сплюнула: «Не стану я на одном празднике с омывальщицей сидеть». И пошла прочь со двора.

Много перенесла старуха за свою жизнь обид и оскорблений молча. Но, видно, не всегда и не все можно стерпеть.

— Погоди ж! Скоро, скоро попадешься ты мне в руки... — пробормотала омывальщица вслед уходящей. И все это слышали.

Не прошло и года — молодая богатая женщина умерла. И позвали старуху обрядить покойницу. И омывальщица вспомнила все свои обиды. Оставшись одна у погребального ложа, она откинула саван и ударила мертвую по щеке, а потом уже принялась за свое дело...¹

Вспомнили наши хозяйки и совсем другое, необыкновенное происшествие. Это было уже в первые годы Советской власти.

Стали всех частных ремесленников облагать по новым законам налогами. Явились фининспекторы и к омывальщицам и никак не могли решить, по какому же принципу начислять сумму налога в такой профессии.

А в цехе омывальщиков разгорелся великий спор — одни горевали: «Ай, как плохо, что делать будем? Никогда раньше налога не платили». Другие радовались: «Это значит — впервые наше ремесло наравне с другими поставили».

А тут вовсе и «касты» отменили, и всякие запреты на «нечистое». Дети и внуки бывших отверженных уже не понимают: что это за «кастовая неприкасаемость»? Не верят: неужто и вправду все это было каких-нибудь полвека назад?

Очень интересовала этнографов мусульманская святыня Султан-баба. Она находится километрах в ста к юго-востоку от города Нукуса, в горах Султан-Уиздага. Место словно самой природой предназначено для выражения скорби и печали. Траурные серо-черные каменные глыбы с тусклым графитным блеском, бурая щебнистая земля, кое-где с прорыжью. Старики рассказывают, что здесь оплакивал смерть пророка святой Султан-баба. От его горестных вздохов и почернели горы.

Султан-баба считается мусульманским святым. Но, по легендам и обрядам, он не очень похож на мусульманского святого и, очевидно, связан с более древними домусульманскими верованиями.

Он — самый большой человек на земле, великан, сооб-

¹ Из других источников позже мне стало известно, что таков был обычай омывальщиц, — таким способом они убеждались, что человек действительно мертв.

шают наши информаторы, и весь черный. Он — покровитель верблюдов. Однажды сидел Султан-баба на верхушке горы и присматривал за стадами. Какой-то верблюд забрался на бахчу. Рассердился святой, обругал его, и верблюд окаменел. До сих пор стоит этот камень, он и сейчас похож на верблюда. Но никто его уже расколдовать не может. А вот эта метровая впадина образовалась в горе оттого, что Султан-баба пихнул ногой другого верблюда, помешавшего ему молиться. Рядом две большие круглые выемки — от колен святого — так усердно кланялся он во время молитвы. Султан-баба «очень сильный», чудотворец, исцеляет от болезней. Потому и приходят сюда молиться к мазару, на его могилу.

Но, оказывается, это не единственная его могила. Показывают семь мест, где захоронен Султан-Баба, спорят, которая настоящая?

Здесь мазар Султан-баба расположен в центре широкой каменной долины (древнего ложа реки), от которой в разные стороны расходятся ущелья. Все карнизы мазара увешаны парами рогов — атрибутами очень древнего, тоже доисламского божества, покровителя скотоводства. И по-видимому — рыболовства, потому что около мазара священный пруд с неприкосновенными сазанами. Кто их обидит — обязательно умрет или окаменеет. Сазан — главный герой многих сказаний приаральских каракалпаков-рыбаков. Он — доброе начало, в противоположность злему сому.

Мы не раз встречали подземные родниковые прудики в горах, в средневековых тальковых шахтах с изумительно чистой, холодной водой. Здешний пруд загрязнен — зеленый, замшелый. В бахrome тины — ленивые, разъевшиеся сазаны важно шевелят усами. Нам объяснили, что это они так молятся по-своему. Особенно хорошо их видно во время утреннего намаза — на восходе солнца. Тогда они все выплывают к поверхности воды, а потом делают круг почета по пруду, кушают и опускаются на дно.

Другой любимый герой местных легенд — Палван-Ата (он же Уппи Ходжа) — тоже связан с культом скотоводства, рыболовства и земледелия — с разливом Дарьи. Он спасает во время бури на Аральском море тонущие лодки. Он воскрешает скот, принесенный в дар и уже съеденный, собрав кости и кожу животных, и отпускает ожившие стада на пастбища. В отличие от Султан-бабы, Палван-Ата не умер, а ушел под воду в Аму-Дарью вместе с конем и арбой и сражается там с катанлярами — духами волн, бури. К нему зывали о помощи, когда разливалась Аму-Дарья.

До мавзолея Султан-бабы и не добратся! Весь он окру-

жен служебными пристройками, галереями странноприимного дома. Паломников пускали в эту гостиницу бесплатно. Но собирали добровольные пожертвования. А для учета этих даров в сторонке был выстроен специальный домик — бухгалтерия.

Все склоны долины, амфитеатром сходящие книзу, заняты могилами. Некуда ступить.

Среди погребений, таких разнообразных, но обязательно не традиционных, вдруг неожиданность! В могильный холм вместо обычного сосуда в головах вмурована автомобильная фара. Нам объясняют: захоронен очень хороший шофер. Передовой человек, новый человек, и похоронен по новому обычаю. Так сам он просил. А вот еще могила с огромным фарфоровым электророликом. Тоже новый человек захоронен на старом кладбище по новому обычаю.

Стеклянный голос муэдзина призывает к молитве. Мы уходим в соседнее ущелье.

Это ущелье специально отведено женским культам. Сюда совершали паломничества верующие женщины чаще всего для того, чтобы получить исцеление от бесплодия. Это горе, такое большое в жизни женщины, результат социальных болезней прошлых поколений, толкает пострадавших к мерам, выходящим за пределы медицины и культуры.

Слоистые, ноздреватые скалы все так же угрюмы, безжизненны. Но здесь, по преданию, святая Амбарона — мать Палван-Аты — доила свою козу и капнула на землю молоком. Поэтому место это обладает магической силой... Пестрые тряпочки всех оттенков, цветов и узоров, завязанные узелками, навешаны на сохлые кустики и травинки или просто набросаны на каменистый грунт.

Иногда молеельщикам казалось недостаточным оставить такой общий, неконкретный залог паломничества. И они втыкали в землю маленькие палочки, навешивали на них гамачок-люлечку. А в нее засовывали обернутый тряпицей камушек или просто тряпичный жгутик, изображающий младенца.

Зрелище это вызывает чувство острой жалости к тем, кого пригнала сюда неутоленная тоска по материнству. Кызыл-кумский ветер раскачивает колыбельки, обрывает эти странные игрушки, разносит их по диким ущельям Султан-Уиздага...

Глядя на наши расстроенные лица, паломницы решили, что и нас привела сюда та же беда. Из самых человеческих побуждений они посвящали нас во все подробности обряда вымаливания ребенка. Они хотели помочь нам при посред-

стве мусульманских святых, хотя и считали нас «христианами».

Перед отъездом мы беседовали и со стариками шейхами, живущими постоянно при мазаре. Они не столько рассказывали, сколько расспрашивали нас: кто мы такие? откуда? Наш неутомимый шофер Коля Горин лихо отпартовал:

— Этнографический отряд Хорезмской экспедиции Сергея Павловича Толстова Академии наук СССР Института этнографии имени Миклухо-Маклая.

Шейхи невозмутимы. Согласно и достойно закивали головами:

— Знаем, знаем... Толстова? Слышали. Здесь много разных экспедиций ездит. Знаем... Передавайте привет Толстову и Миклухе-Маклаю...

Новая жизнь, новое мировоззрение неизбежно оттесняют мрак прошлого.

Для того чтобы понять, какой гигантский исторический скачок совершила Средняя Азия, надо знать ее историю. От феодализма в его наиболее реакционных формах, иногда тесно сплетенного с патриархально-родовым укладом, — к социализму! Для того чтобы успешно бороться с пережитками, надо хорошо знать причины, условия, их породившие.

...Я перелистываю статьи, книги Глеба Павловича Снегарева. С каким глубоким знанием и тактом написаны они. Так просто — о таких сложных проблемах. Прозрачным естественным языком доверительной беседы, с мягким юмором, с неизменной доброжелательностью и уважением к человеку, с той скромной сдержанной поэтичностью, которая свойственна большим русским писателям.

ТОПОЛЯ В ПУСТЫНЕ

Ртуть в термометрах безжалостно ползет вверх. Тридцать пять, сорок, пятьдесят градусов. Все живое ищет тени. В песках тень ничтожна. Хватает разве что муравьям и змейкам. Зайцам уже маловато. Их очень легко поймать в такую пору. Песок обжигает зайчикам лапы, и они не могут убежать. Но ловить — некому.

Жизнь в пустыне замирает, цепенеет.

Облегчения ждать неоткуда. И земля и небо, обесцвеченные, обессиленные, словно всей своей тяжестью давят... Воздух приобретает какой-то неживой, металлический при-

вкус. Воздух дрожащий, мерцающий. В нем расплываются все очертания и грани предметов, словно истаявающих от зноя. Может, земля возвращается к своему первоначальному расплавленному состоянию?

Переход в культурную зону неправдоподобен.

Бахчи и поля с хлопком, кукурузой, джугарой изнемогают от изобилия. От одного только разноголосого звона арыков проходит жажда. А сколько здесь живых, уютных запахов — разогретой зелени, кизячного дыма, свежеспеченных лепешек! А какие роскошные, богатые тени! Синие, бархатистые, прозрачные, отливающие и теплыми и серебристыми тонами.

Они преображают весь мир. Делают его красочным, сияющим, наполненным разнообразным трепетанием жизни.

Непременно где-нибудь поблизости голые бронзовые ребяташки с восторженным визгом заталкивают друг друга в арык.

А над ними испуганно перепархивают изумрудные сизоворонки. Непременно откинувшись навзничь, в щедрой дорожной пыли катается лиловый ишак. Рядом, как раз на самой колее, с принципиально обиженным видом валяются огромные мордатые псы со стриженными ушами.

Женщины — тонкие, гибкие, в широких, свободных одеждах всех оттенков красного — хлопчут около своих домов. Мелькают быстрые руки, плавные, как в танце, унизанные сердоликовыми, в серебре запястьями. Колышутся серьги в ушах. Черные жгуты волос, спущенные полукружиями на уши, прикрыты длинным платком, спадающим на плечи и спину. Строгая, суровая красота туркмен, почти библейская.

Впрочем, в кишлаке сейчас никого и нет. Все в поле.

Только белые мудрые старушки (старые женщины все-гда носят белое) сидят возле ворот, баюкая внуков, а может, и правнуков...

А вот и колхозный парк, защищенный от песков и буров юными тополиными аллеями. Самый воздух бродит виноградным соком. Ищущие, жадные усики тянутся нам навстречу. Грузные кисти винограда, пружинясь, покачиваются на ветру среди густой зелени. Они пронизаны светом. Сквозь их шелковистую кожицу проглядывает зерно. Они такие упругие, живые: прикоснись к ним — и почувствуешь под пальцами биение их пульса. Виноградари предлагают нам отдохнуть, разумеется — выпить чаю. Мы отказываемся, потому что спешим все увидеть.

Но что это? Дорогу преграждает унылый и бесплод-

ный песчаный бархан, такой чужой и нелепый среди окружающего.

Колхозники понимающе посмеиваются.

— Это мы нарочно оставили. Чтобы люди помнили, как здесь было еще совсем недавно.

— А то ведь и не поверят, что сад наш расцвел на песке.

Поверить действительно нелегко.

— И еще, чтобы люди не забывали, что они своими руками сделали, что они могут сделать. Это ведь тоже нужно помнить, особенно когда трудно бывает.

— Только портится наш бархан, зарастает. Такой закон у жизни. Ты ей немножечко помоги — она и всю силу возьмет. Это ведь наш председатель придумал бархан оставить.

— Да ваш председатель поэт.

— Правда, — поддержали спокойно садоводы. — Значит, он вам признался? Он это не всем открывает... Он хорошо знает арабскую поэзию и сам стихи сочиняет.

— А стихи о чем?

— Обо всем, что вокруг делается. О том, как первый трактор к нам пришел. Как мы с пустыней воюем. Он у нас председателем уже двадцать лет.

— Совсем по Маяковскому: «землю попашет, напишет стихи».

— На стихи у нас немного времени остается, — объяснили мне со степенной серьезностью. — Пашем больше. У нас земля определяет, сколько нам работать. И вода, и солнце.

Председателя мы поймали в правлении колхоза, у телефона. Поймали, потому что на месте он не сидит.

Он и теперь собрался в поездку в средневековую крепость, вокруг которой сосредоточились в последние дни главные бои с пустыней. Председатель и на вид — деловой, напористый хозяин, очень загорелый человек лет сорока. Плотный, крепко скроенный, цветущего здоровья, с лицом, слегка заостренным, чуть вытянутым вперед. Щеки его, гладкие и матовые, оттенены узенькой полоской бороды по восточному. А крупные глаза, жгуче очерченные разлетом бровей и ресниц, — неожиданно светлые, серые.

По древним поверьям, такие светлые глаза доставались людям не без участия джиннов...

Как бы там ни было, наши этнографы, фотографы, художники с энтузиазмом «фиксировали» яркую мужественную красоту колхозников.

Председатель про стихи нам говорить ничего не стал, а про колхоз рассказал очень коротко.

«Лет сто тому назад из областей, пограничных с Ира»

пом, пришли сюда туркмены племени Ата. Из родных мест их отгнали иранцы, нападавшие на туркмен и отбивавшие у них стада. Кочевать пришлось долго и трудно. Через все Кара-кумы. Наконец дошли сюда и вынуждены были откаться под власть Хивы. В те времена здесь были сплошные пески.

Новоселы почти не занимались обработкой земли, а больше пастушествовали. Еще охотились, собирали в пустыне саксаул — продавали на топливо оседлым узбекам. Жили в юртах. Иногда в землянках. Редко у кого были маленькие постройочки из пахсы.

Так и существовали до установления Советской власти, до начала коллективизации. Дальше жизнь пошла иными путями, как и по всей стране. Пережили много трудного — тоже вместе со всеми. Но вот вышли победителями. Стали передовым колхозом. Участвуем в сельскохозяйственной выставке. Наступление на пустыню начали в сорок четвертом году. До пятидесятого года сражались врукопашную, «холодным оружием». С пятидесятого года пришла на помощь техника.

Как живем и работаем — смотрите сами. Ничего не прячем».

Что же тут было «прятать», когда на двести пятьдесят хозяйств оставалось всего лишь два старых дома, которым перевалило за сорок лет. Низкие, тесные, мрачные постройки с глухими стенами. Их стоило бы сохранить, как и бархан среди виноградников, чтобы люди могли воочию видеть всю разницу между бытом и жизнью дореволюционного крестьянина и современного колхозника.

Новые хоромы — просторные, удобные, светлые — вызывают ощущение праздничности и ярче всех слов свидетельствуют о достатке их обитателей.

В этих больших, многокомнатных домах все обдуманно и предусмотрено.

На редкость «хозяйский глаз» у архитекторов, великолепное понимание тонкостей туркменского колхозного быта. И никакой стандартности!

— Узнаёте? — дернул меня за рукав наш фотограф Аргиропуло и нацелил фотоаппарат на рельефный орнамент, оживляющий пахсовую гладь стены. — Это же с Каваткалы, двенадцатый век, расцвет архитектурного искусства хорезмшахов. А как здорово использовано. Экономно, уместно и совершенно по-своему!

Мы подивились красоте и рациональности построек и творческим, смелым решениям каждой из них. Нам рассказывали, что авторы проектов и исполнители — сами же кол-

хозники, народные зодчие, мастера-самоучки. Один из них, Аба Аманов, человек уже преклонного возраста, в молодые годы был пастухом и охотником. Считался лучшим стрелком, лучшим певцом и лучшим мастером музыкальных инструментов.

— Нет, я не самоучка, — возражает Аманов, — я много смотрел, как узбеки строят.

— А что с ногой у вас?

— Старые дела, — небрежно роняет Аманов. — Молодым был — полступни отморозил. Уполз от басмачей с гор. Они меня расстреляли и сапоги стащили. А я живой был... Старые дела неинтересные.

— Воображаю, во что обошлись потом басмачам эти сапожки! — многозначительно шепнул мне Аргиропуло.

Аба Аманов много бродил по пустыне, прекрасно знает архитектурные памятники Хорезма. Он по своему почину, не слыхавший ни от кого об использовании традиций, об искусстве, национальном по форме, социалистическом по содержанию, — как истинно народный талант творит это искусство в жизни.

Мы заходили в дома, заглядывали в учреждения, побывали и на хлопкоуборочных работах. Мы разговаривали с мужчинами и женщинами, с молодежью и стариками. И каждый раз узнавали столько нового, что этого хватило бы не на одну книгу.

Переводчик наш Атамурат — юноша с лицом немного усталым, но очень живым, с мягким, мечтательным взглядом из-под упрямых бровей — оказался колхозным шофером.

Он не меньше нашего интересовался и прошлым и настоящим своего родного кишлака. И было в этом интересе столько разумной любви и серьезного понимания жизни, что мы очень обрадовались такому помощнику.

С охотой отправились мы к нему в гости.

Уже заходя, на подходе к дому, наш Атамурат Агабердыев начал улыбаться — просветленно и, как нам показалось сначала, беспричинно.

Но когда из-за старого карагача навстречу нам выплыло бело-розовое ситцевое облачко и приветливо поздоровалось, встав рядом с Атамуратом, — мы все поняли.

Может, в этой хозяйшке и не было той царственной, разящей красоты, которая свойственна иным туркменкам, — личико круглое, нос курносоватый, но зато сколько в ней было мягкого, женского очарования, простоты и радушия!

Так светиться может только любящая и любимая женщина, и всем вокруг нее тоже становится светлее.

— Это Септы — моя жена, — не скрывая своей радости,

сообщил нам шофер. — Она у меня хорошая. Правда! Только по-русски не понимает. А эти, что играют, это наши де-тишки. У нас пять дочек.

— А где пятая?

— А пятая? .. Будет еще.

— Сколько же вам лет?

— Двадцать шесть. И жена моя уже старушка. Двадцать три года. Только слабенькая она у меня. ..

— Ничего себе слабенькая! — ахнул Аргиропуло. — Четверых нянчит, пятого ждет. На хлопок ходит. По дому столько работает, и, главное, не мегера!

— В колхозе ей приходится много работать. Правда. И за меня в прошлом году отработывала тоже. Я меньше работал, потому что десятилетку кончал. У нас десятого класса нет. Я у соседей доучивался. Дальше обязательно хочу учиться. ..

— Что же у вас все дочки? По мусульманскому обычаю, сыновья лучше.

— А мы наших девочек не по мусульманскому обычаю любим, а по человеческому, — засмеялся Атамурат. — Любим, и все!

— А подрастут, сколько калыма соберете? — пошутил фотограф.

Атамурат посмотрел на нас очень серьезно.

— За наших-то дочек никто брать калыма не будет. Мы женились не за калым. И хотим с женой, чтобы наши девочки людьми стали. Вы восхищаетесь, как мы с пустыней справляемся. Как виноград и разные овощи выращиваем. А людей растить — это мудренее. Но ведь можно? Я верю. Вот у меня книжка есть хорошая об этом. — Атамурат протянул нам... Макаренко. — Наш с женой помощник.

Он улыбнулся своей застенчивой улыбкой.

— А председатель у нас интересный человек. Вот вы наш карагач видели? Не старый карагач, а молодой. Это — председательский. У нас старинная примета есть. Обычай такой: кто карагач посадит, тот его тенью пользоваться не будет. Умрет раньше, а тень карагача потомкам достанется. А он и посадил, и вырастил — и еще нарочно под ним собрания проводит, в тени... Очень он требовательный человек, строгий. Колхозная работа — прежде всего. Раз надо — разбейся, а сделай. Днем ли, ночью — делай. Говорит: раз я могу так работать, значит, и все могут. И если что надо, то вы и меня тоже не жалейте. Но только это он говорит напрасно. Если, бывает, на собрании на каком-нибудь, усталый, задремлет — так народ старается его не будить. Жалеет. Пусть, говорят, отдохнет. Уважают его.

т. Между тем хозяйка наша откуда-то притаскивала и разворачивала перед нами цветные кошмы собственного производства.

Мы фотографировали и зарисовывали оранжево-красные орнаменты, в которых, несомненно, заключалась частичка кызыл-кумского солнца и все жизнелюбие мастерицы.

А сама мастерица что-то щебетала рядом, не переставая смеяться.

— Это она рассказывает, как у нее сначала ничего не получалось, — объяснил Атамурат. Он, видно, тоже вспомнил о чем-то: — Вот, научилась! А привел я ее — ничего не умела. Что только у нас тут было!.. Я ведь украл ее. Да.

Я ее увидел первый раз еще школьницей, лет четырнадцати. И сразу она мне очень понравилась. И я ей тоже... Только мы ничего друг другу не сказали и потом долго-долго не виделись. Но мы придумали: письма писать. Хотя и жили близко. Долго у нас так продолжалось. Пока случайно все же не открылось. — Атамурат покачал головой: — Рассказать, так уж все? Не поймете вы этого. Учитель школьный на нее метил. Сватать хотел. А он для нее и стар был, и уже два раза женат был. Только никто ее спрашивать не стал. Пришли к родителям сваты. Внесли калым большой. И порешили всю ее судьбу. С калымом дело сложное. Скажут: какой же это калым? Это — жених подарки родственникам невесты делает, из уважения. Что тут может быть плохого? А это и есть настоящий калым. Вот тогда-то я и украл Септы. Привел я ее домой. Жениться надо по закону. Не то — отобрать могут. В сельсовет — боимся. А к мулле?.. Да в наше дело мулла просто побоялся вмешаться... А она плачет, обижается. «Что мне сельсовет, мулла? Я свой закон знаю. Кого люблю, с тем и буду».

Это хорошо за чаем рассуждать. Вы-то с самого начала знаете, что все живы-невредимы остались. А мы не знали тогда, чем это еще кончится. На другой же день отвез я ее в соседний колхоз. Спрятал. А сам, будто ничего и не случилось, работаю себе, работать я всегда старался хорошо. И вот узнаю, что меня призывает Иломанов, председатель. Хочет со мной разговаривать. Я мальчишка! Что я? Заступится он за того человека, родственника своего, — думаю.

И встретил он меня очень даже сурово: «Что там у вас происходит? Почему ты просватанную невесту украл? Что за обычай такой? Или у вас было с ней что-нибудь?»

Я все рассказал. И письма принес, показал.

Долго их читал Иломанов. Все — строка за строкой! И в лице не менялся. Прочел, посмотрел на меня. Еще раз

посмотрел. И вздохнул. Может, свое что вспомнил... Со-
знаюсь, похолодело у меня на сердце. Жду. Что будет?
А Иломанов нахмурился.

«Одна женщина, — говорит, — уже такие письма писала.
Не знаешь? Надо знать, Лейли Маджнуну писала».

А я соображаю: к чему бы это он? Ведь у них, у Лейли
и Маджнуна, все плохо кончилось.

«Только это давно было, — говорит Иломанов. И опять
молчит. И опять на меня смотрит. — Вижу, что ты ее лю-
бишь. И она тебя любит. А раз так... правильно вы посту-
пили. Не знал я всего этого. Теперь нам одно только и
остается: той устроить. Угощение-то есть? И всем между
собой помириться. Чтобы обиды и злобы не держать друг
на друга».

Так и было, как он сказал. А калым, который за жену
мою внесли? — Атамурат рассмеялся. — Лежали мешки
с пшеницей, и никто эту калымную пшеницу есть не хотел,
Родители отказались. А «жених» назад брать не захотел.

Атамурат спохватился, стал извиняться:

— Вот задержал вас своими рассказами, а вам же надо
этнографией заниматься.

Но Атамурат не знал, может быть, что это тоже этно-
графия, все то, что он нам рассказал.

«ЧУЖАЯ»

Угол пахсового дома, кусок пестрой собаки и подсыхаю-
щая лужа исчезли, потому что Назар выключил фары и
зажег свет в кабине. Всю дорогу я удивлялась, откуда у На-
зара, коренного туркмена-атинца, запорожский профиль
с вислым пшеничным усом, а теперь, когда он повернулся
ко мне, еще раз удивилась: откуда у него такое круглое,
скорее — казахское лицо, узина голубых глаз и трогатель-
ный, бантиком, рот а выражение — всех перехитрит и ни-
кого не обманет.

— Как твою начальницу зовут, Исмаиловна?

— Татьяна.

— Очень хорошее имя.

Мне хотелось поскорее попасть в колхоз, где мы прово-
дили этнографическое обследование, а не вступать в обсу-
ждение начальства.

— Почему мы, собственно, стоим?

— Беда, — таинственно сообщил Назар.

Задевая меня оттопыренными карманами, он порылся
в углу кабины и достал небольшой пакетик:

— Тут вся моя беда. Можешь посмотреть.

Я развернула ломкую, хрустящую обертку и увидела шерстяной костюмчик с блестящими пуговицами — для мальчика лет восьми. Назар скрестил ручки на баранке и продолжал жалобно:

— Сыновей у нас двое. Понимаешь теперь? Одному реветь! Был еще костюмчик, хотел я взять, но без якорей пуговицы.

— Спрячь, пока второй не купишь. В сундук, где добро всякое.

— Назарово добро не в сундуках, а секретов у нас в доме не водится. Секреты хуже тараканов.

Я не спрашивала, почему секреты хуже тараканов. Я тоже не люблю ни секретов, ни тараканов.

— Ну, давай пока я заберу.

— Забирай пока ненадолго.

— Назар, а может, мы все-таки поедem?

— А мы уж приехали, — безобиднейшим голосом объявил он. — Ты почему не вылезáешь?

В коридоре, заменяющем здесь сени, пахло кошмами, земляным полом, кожей. У порога, как колхозное стадо перед кормушками, столпились ребячьи тапочки, галоши, сапожки.

— Наза-ар, привез, что ли, кого? — из темноты послышался обдающий сонным теплом голос. — Я сейчас, сейчас засвечу. Свет только выключили...

Худенькая рука с выпуклой косточкой на запястье выскользнула с фонарем из-за двери. Лиловый шелк туркменского платья, платок, наброшенный на косы. А из-под платка — Русь среднеполосная — русая, сероглазая.

— Землячку тебе привез, Татьяна Егоровна, принимай. Хоть и не Орловщина, а твоей земле — родня. Посидите, поговорите хорошенько. Я самовар поставлю.

...Мы сидим за выскобленным дощатым столом, пьем чай с блюдецек, а не из пиал, с сахаром вприкуску. Синяя стеклянная сахарница со щипцами... Самовар где-то там в темноте у Назара. Он уже несколько раз заглядывал, но не заходит, чтобы не мешать нашим разговорам.

Из темноты, шаркая руками о стены, появляется старуха.

Она входит, сгорбившись под притолокой двери, метя седыми косами землю, перешагивает порог, но так и не распрямляется. Голова ее в ситцевом тюрбане откинута назад, глаза отрешенно смотрят вдаль, хотя все лицо вопросительно улыбается. Она ступает несколько шагов и вдруг... обнимает меня, водя ищущими ладонями по моей спине. Я чувствую, как слабы эти ладони, и от растерянности це-

лую прижавшуюся ко мне морщинистую щеку. Старуха испуганно отдергивается. Таня успокаивающе ласковыми интонациями объясняет ей что-то по-туркменски, и обе смеются. Старуха выпускает меня, приговаривает «якши», «якши»; придерживаясь за стенку, исчезает в коридоре.

— Не видит мама-то у нас, — извиняющимся голосом говорит Таня. — Да ты сиди, сиди. — И подпирает щеку кулаком исконно русским жестом.

Она задумывается, забывая подливать чаю, но тесно обставляя меня баранками, конфетами, медом. И не красавица, и не ершистая с виду, и образование небольшое, — как она сумела войти в туркменскую семью, где старики еще держатся нетерпимых мусульманских обычаев?..

А Назар? Фронтоник, полземли обошедший, — единственный сын, и привез «чужую»? И ведь не отделились, как теперь поступают молодожены в «трудных» случаях. Уж не прославленной ли бабьей безответностью и долготерпением покорила Таня стариков? Или старики попались, на ее счастье, покладистые?

К интонациям Орловщины у Тани примешиваются тягучие восточные.

— Вот и вся моя родина — тут, — она переводит глаза на шесть белых голов, разметававшихся по паласам в полумраке комнаты. — В сорок шестом году он привез меня сюда. Русских — никого. Были триста человек эвакуированных, да разъехались. Одни туркмены. Ни говорить, ни делать по-ихнему не знаю. И пески здесь были, пески. Где теперь дома, усадьбы. Да, пески...

Она вся отдается словам и словно подталкивает их головой и руками:

— И знаешь, климат меня не принимал. Малярия пристала. Дом-то и вспоминался. Один Назар... Добрый он, Назар-то! Заскучаю — он по голове меня гладит. «Чем плакать — поедem к тебе на родину. Вот только мать поправится. Или не жди. Одна, хочешь, поезжай. Правда, очень беспокоиться буду. Обидит кто. Не поможет. Вот родишь — тогда соберемcя всей семьей, надежней будет. А хочешь — не жди...» Мама его, знаешь, заявила: «Зарой меня в могилу, Назар, потом куда хочешь уезжай. Я сына ждала всю войну. Глаза выплакала. Теперь бросишь, что со мной будет?» Мама его жизнь прожила не сладкую, второй женой в доме. И мучилась сердцем тяжело. Я за ней ходила, знаю. Тут у меня самой сын родился... А Назар свою маму жалел, и старшую маму, и брата от старшей мамы, который ему вместо отца был, уважал, считался. Так мы на родину мою и не собрались... Старики пишут: «Ты, Татьяна, не

обижайся на судьбу и на нас, что далеко отдали. Может, и не нашла бы здесь мужика такого, как Назар,—небалованного. Внуков посмотреть желательно. В гости не приглашайте. Старые мы».

Она несколько минут молчит, разглаживая морщины на лбу над погрустневшими глазами...

— Ведь еще одного жду, — вдруг вспыхивает застенчивой, виноватой улыбкой, одергивая на животе цепляющийся к пальцам шелк. И прислушивается к голосам за стеной.

Назар, бренча ведрами, с порога ворчливо жалуется:

— Жизнь пошла — вся семья против меня. Воды, видишь, не наносил.

— Ладно уж, — переходит на сдержанный тон строгой хозяйки дома Таня и с откровенной гордостью продолжает, когда затихают Назаровы шаги: — Знаешь, ведь и правда, не пьет. А пил. Как поженились и дети пошли, только все о детях. Денег не много у нас, все ж таки шестеро. А игрушки покупаем. Один сам и кушать не станет. С детьми сидит — поест. Уж они ждут его, на забор лезят. Я ругаюсь — убиться могут, а все высматривают его. И мне старается, чтобы тяжелого не работала. Это тут не во всех семьях. Брезгут женской работой.

— Ты лучше расскажи, как тебя в райком вызывали, — с озорничкой подсказывает Назар, усевшись наконец с нами пить чай.

— И вызывали. Спрашивают: «Тебя муж не угнетает?» Я застенялась и не знаю, что сказать. «А почему, — спрашивают, — в туркменском платье ходишь?» А мне стыдно сказать: в положении — широкое удобней. Наше дело женское. Да и жарко же в узком платье.

Назар хохочет, запускаясь и показывая мелкие вубы.

— Зря хохотать-то чего? За делом вызывали. Если организовать.

Сидят они за столом! богатырь Назар с тюркской продолговатой головой и плоским, как блюдечко, лицом и хрупкая сероглазая Татьяна, посматривают друг на друга. И еще больше вспоминают, чем рассказывают.

В темном квадрате окна курчавится виноградная лоза, цепляясь за серебряные гвоздики. Я знаю, что это звезды, а не гвоздики, знаю, что шумят за окном тополя и арыки и протянулись они полбсой оазиса далеко по каналу. Угодья колхоза-миллионера, знаменитого урожаями, добротностью дорог, мостов, благоустройством усадеб, школ, трудовой налаженностью сложного, огромного хозяйства. А вокруг с вечным шорохом пересыпаются барханы пустыни...

Это тоже все входит в рассказ Назара и Тани. И от этого им так хорошо, и мне с ними тоже становится хорошо.

— Теперь-то у нас так, — уверенный, что я должна его понять, говорит Назар, — а привез я жену, повертелась туда-сюда, глаза закрыла, кулачки к щекам прижала и локти вперед!

— А ты про локти ничего не говорил, — уличает мужа Татьяна и поворачивается ко мне: — Другое он сказал: «Ты мою землю не обижай, Таня» — вот как он сказал.

— Она тоже не призналась, хитрая! Сказала: «Ты мне родной, и земля твоя родная».

— Что же особенного, — поблескивая глазами, смущается Таня. — Он мою Орловщину на войне защищал. А землю, как ребенка, вынянчить надо. Председатель объяснял: там, где развалины эти старые, в песках, тысячу лет назад тоже земля живая была, а не пустыня. Еще рассказывали: все племя их туркменское — атинцы — раньше скот разводило, земли не знало. Где-то под Ашхабадом скитались...

— Кочевали, — поправляет Назар, смешливо вытягивая губы.

— И домов не строили...

— Зачем дома? Юрты легче.

— А когда сюда добрались...

— Ишь какая — от-ко-че-ва-ли!

Но Таня отмахивается:

— Где ж им было земли взять? Хивинский хан расселил их на самых хвостах арыков. Воды-то и не хватало. Теперь ее сколько хочешь, каждый год у пустыни по куску отнимаем. Машинами легко! А при мне еще канал копали вручную. Все: бабы, мужики с кетменями, лопатами — без отдыха... Дождутся ветра, станут на бархан — по ветру песок веют.

— Сейчас бульдозеры барханы ровняют, — небрежно вставляет Назар. — А сад-то как сажали?

Татьяна оживленно кивает.

— При прожекторах! Ночью. Очень люди уставали за день на хлопке. Некоторые обижались. На что нам сад? Жили без сада? Председатель сам не спал и людей поднимал на работу. «Мало ли как жили. Будет и сад и пасека». И что придумал он, знаешь: оставить один бархан среди виноградника.

— «Памятник человеческому труду», — пояснил Назар, изображая манеру председателя медленно, не подымая век, произносить слова. Да куда там, срывается на собственный,

со смешинкой голос:— Зарос бархан! Еще сад один посадили. Сами колхозники потребовали. Сад семилетки. Яблоньки там ростом с Назарчика нашего...

Танины брови пошевеливаются от раздумья.

— Ясли на нашем участке — до пианино дожили. Мебель расписная из Хохломы.

— Ты Расскажи, — угадывает Назар желание жены, — я что-то забывать стал...

Татьяна так и вспархивает.

— Вот уж я не забуду. Обрадовалась я тогда настоящему делу. Готовлюсь. Марли извела на пологи. Весы в магазине выпросила. Назар ходил к дереву прибил, умывальные. Доктор принес градусники.

Назар неуловимым движением шеи копирует торжественную осанку жены.

— Сама... сияет, как фара автомобильная. Вырядилась невестой. Не учитывает, что под белым халатом вся красота пропадает... Я сидел, игрушки мастерил, будто не замечаю, что с моей женой делается. Бродит туда-сюда, подошла ко мне. Я по земле шарю, будто ножичек уронил. Если погляжу — заплачет. Я, что ли, виноват, что глупые бабы побоялись. Хоть бы одна пришла. Не красть же пойду по дворам ребятишек. Что ей скажешь?

Таня пригибается к столу, заново переживая обиду.

— Побоялись... да... «Мы и без градусников вырастим детишек». В доме я заперлась с сыном и слышу: ребеночек всхлипывает. Женщина принесла к старухе: отворожить сглаз. При Назаре не принимала мама. Запретил. Без него потихоньку ворожила. А тут ей полное торжество. Открыто стоят во дворе, на мои пологи смеются, на градусники в стакане. К вечеру доктор заходит. Вышла я к нему во двор с сыном на руках. И все мне немило. Деревья жалконькие, листочки поежились, пылища эта — ни земли, ни неба не видать. Перед мужем крепилась. Доктор посторонний человек, я ему и высказала все, что наболело. «Куда деваться? Позорище одно. Назару — крест. Старики ему кушать ставят отдельно. Опоганился, на русской женился. Хоть бы поругали. Семейная жизнь называется. Молчат. Смотрят сквозь меня. С чего Назар во сне стал зубами скрипеть? Чужая я...» Доктор — молодой человек, вспыльчивый, очень махал руками, когда разговаривал: «Зачем чужая? Я туркмен, родился здесь. А мне легко? Я первую операцию в юрте делал на голой земле».

— Муж-то жалел, а этот ругался, — многозначительно подмигивает Назар, — я предупреждал его, не кричи. Не приучена моя жена к крику.

— Еще как ругался, — охотно подтверждает Таня, — женщины врачу совсем показываться не хотели. Прятались, стыдились. «Научно подходить надо. Исторические пережитки и предрассудки это». И рассказал, как с председателем придумали постановление. Кто из рожениц врачам не показывается, тому декретного отпуска не давать. Кто без медицинской помощи рождает — детям метрику не выписывать. Все равно принесут. Тут им как раз штраф. «Сколько времени проживает человек без документов?» — «Какой он человек?» — «Самый хороший человек. Доктора за палец хватает. Не боится». Очень правильное постановление. Приучили.

— Как приучили? — врывается Назар. — Чуть ногу наколел, давай сейчас же рентген! Увлекаются рентгеном. Любопытно человека насквозь поглядеть. — Назар придает лицу свирепость: — И долго разговаривала с дружкой-то?

— Тво-о-й дружок был, — спокойно отвечает Татьяна. — Нахваливал. «В Назаре не сомневайся — золотой человек! Был у вас председатель?» — «Заходил, — говорю, — а зачем. — не знаю». — «На стариков воздействовал. Назар твой всем заявил: «Не хотите жену принимать — уеду с ней». Председатель умный. Коран знает лучше всех служителей культа. Научно знает, исторически. За то его и старики слушают...» Одним словом, на следующее утро подкатывает председателява машина с ребятишками. Семь душ. Парторговы, учителявы и самого доктора. Назар-то тоже сына на руки и вежливо в очередь самый последний встает. «Принимайте, Татьяна Егоровна, да не забудьте имя-фамилию записать!»

— Так и сказал? — переспрашивает несколько раз Назар с видимым удовольствием. — Вот уж совсем забыл.

— Ничего ты не забыл, — уверенно возражает Таня. — С тех пор у нас дело и заладилось. Все потащили. А матери не ошибутся — по тому, как улыбнешься, как на руки возьмешь, — что от сердца принимаю детишек. Я и матерей поругивала. Не обижались... Ой, я строгая насчет чистоты или прививок. Стали женщины со мной делиться своим житьем. Наше дело женское — мало ли забот? Мне-то это доверие больше всех нужнее... Как оттаивала. Заладилось, да чуть и не разладилось. Всех выходила, своего проглядела.

— С градусниками получилась история, — вяло откликается Назар, и на его круглое лицо набегают тени, как при полном лунном затмении.

— Я градусника одного давно не досчитывалась. Знала, куда он девался, да не шумела, не ждала беды. Тохта,

мама-то наша, к чужим детям не приближалась. Послушает, как они лопочут, сплюнет и побредет в сторону. И смотрит слепыми глазами куда-то, будто ей дальше всех видно. Даже страшно делается... По двору она ходить привыкла, а дальше двора — никуда. Сидит целыми днями: косу перекинет и перебирает пальцами. Голова у ней от ушей к ключицам словно вожжами привязана — жилы такие. Видно, работала не по силам. Я уже по-туркменски научилась понимать. Кто из старух зайдет — разговаривает. Со мной — ни слова, а меня ругает: «Знал бог, что делал, — скажет, — из милости ослепил. Не приходится мне смотреть на эту женщину и бесстыдства ее». И все в таком подобном роде. «Обласкает», молиться начнет. А то колдует против меня. Платок черный подбросит — для сглазу. Или же ниточек из моего сарафана надергает. Я лепешки пеку, а она ниточки на тех же углях жжет... Вот у сына моего животик схватило. Я беспокоюсь, что с ним? Отделила от остальных, в доме положила. Во дворе учу соседскую молодую малышка кормить. Слышу, мой-то кричит нечеловечески. Я в дом! Что такое? Старая — развернула его, бормочет, трет ему пальцами живот. Его судороги сводят. Посинел парень. Не первый раз колдовала. Я закричала, толкаю старую. Она к себе ребенка, я к себе. Проклинает. «Иди лечи других. Какая ты мать? Ты чужих жалеешь. Своего извести хочешь. Совесть бы знала, не влезла бы насильно в чужую семью. Тебя из своих никто и брать не захотел. Такая ты...»

Таня опускает голову, платок съезжает на плечи, открывает ее гладкие волосы с несколькими седиными и розовые детские уши.

— Стыдно вспоминать... Не сдержалась. За сына испугалась. Толкнула — старую, слепую... Она головой об угол. Ну что, если б померла?..

— Убил бы, — просто произносит Назар.

— И убил бы, — распрямляется Татьяна, сурово, даже с торжественностью глядя мужу в глаза. — Легче было бы, чем жить на свете. А парень так мучается. Все! Концы отдаст. Молодая мамаша прибежала. Тоже плачет, но соображает. Старуху водой отлила — и за доктором! Выскочила на дорогу, как раз председатель в город едет. Остановил машину: «Что происходит?» — гневный он человек, но узнал, в чем дело, соседку в машину, а сам пешком пошел, хоть и в годах.

— Ты ладно — про председателя все знают, — перебивает Назар.

— Ну, привезли доктора. В самый раз. А то не было

бы нашего старшего, — и остерегающим шепотом продолжает: — Говорят, очень способный получился парень. А я не позволяю хвалить. Рано еще загадывать... Да-а, а мамато поворохнулась сразу тогда, отошла. Уж, наверное, смерти меньше боялась, чем медицинского вмешательства. Сидит, косу перебирает. С косы вода капает. Доктор злой был. И про «научный исторический подход» не вспоминал. «Наворожила! Ртуть из градусников они выковыривают, с маслом мешают. И втирают. Думают — на пользу. От этого отравление всему организму. Завтра я по радио разоблачу её проделки. Я врач, отвечаю!» Старая Тохта мокрым рукавом лицо закрывает — от мужчины. Но уши выпростала. Доктор ей и про суд, и про тюрьму. А по лицу ее вижу — не доктора слушает она, а внука: дышит ли? Я доктора провожаю. Ни жалостинки во мне не осталось. Одна только мысль: уйду. Сына возьму и уйду. Пешком через все пески. Про себя это решаю окончательно. И вдруг вслух-то и говорю: «Доктор, вы уж, пожалуйста, нашу маму перед всем колхозом на позорище не выставляйте». — «Как так? Она твоего ребенка загубить хотела». — «Не хотела она...» — «Таня-апа, твоего сына спасли. А других как? Я — врач, отвечаю! Какой такой позор? Тебе, что ли?» — «Не чужая она мне. Мать моему мужу...» Доктор перекосялся: «В тебе самой пережитки сидят. Или испугалась? Отступаешь? Значит, ты и правда — «чужая»... Назар вернулся, тучей в дом вошел: рыбы головы ему сварила — пересолены показались. Гороховый суп он очень любит — отодвинул. Не поел, с сыном не посмеялся и спать во двор ушел. Не оборотясь, сказал: «Разорвете вы меня на две половинки. Кто вас кормить будет?»

— Верно, сказал, — не отрекается Назар, — сердитый был. И скорей опять уехал, чтобы беды не наделать. Не ручался за себя!

— В ту осень очень разлилась Дарья. Боялись — плотину прорвет. И старый и малый бегут, как на пожар в России.

— По-нашему — хуже пожара, — объясняет Назар. — Огонь пройдет, все съест, земля останется. А Дарья может и землю утащить. Опять пески будут — пустыня.

— Я думала, наши-то дела забудутся... Нет! Отстрадали люди плотину, вернулись в кишлак веселые. Тем же вечером радио по всем закоулкам разносит беседу врача. У нас дальняя родственница из города гостила. «Да ну, выключи — надоело». А я, несмотря что гость в доме, заторопилась джугару в ступе толочь. Да разве заглушишь? В домах приемники, на улице трубы грохочут. Тохта к со-

седскому дувалу прикорнула, как птица дикая насторожилась... «Такие темные невежественные люди — позор для нашего передового колхоза. Хуже песков зыбучих. Тянут нас от светлого будущего к болоту прошлого. Имя этой вредной и опасной бабушки — вы, товарищи колхозники, все ее знаете...» «Что это ты, Татьяна, пустую ступу толчешь?» — заглядывает через плечо гостя. «...Мать пострадавшего ребенка очень просила не называть...» Я пот со лба рукавом вытерла, — и откуда взялось! — вдруг перекрестилась: слава богу — пронесло. Гостя не пропустила: «Ты что, Татьяна, в бога своего веруешь потихоньку?» — «Ни в бога, ни в черта, — в хороших людей верю». А старая всю лекцию отслушала. Не дрогнула... Он еще другое говорил: как имена дочкам выбирать. «...Есть устаревшие имена. Они не соответствуют нашей новой жизни. Так называли в старину, когда рождение девочки считалось в семье несчастьем: «Тохта» — «Погоди», нежеланная, не родись; «Кыз-болды» — «Девочка, довольно», — мальчик нужен, работник, кормилец. Передовая хлопкоробка третью норму в поле добывает, а мы ее окликаем: «Девочка, довольно!» Или врач — лечит наших детишек, а мы ей: «Погоди». Неудобно получается. А на хлопке наши девочки всегда больше мальчиков зарабатывают...»

Бывают на свете слепые глаза, а столько в них выражения, что и зрячие не выскажут.

В воскресенье с утра все на собрание ушли — подводить итоги. Итогов много — подводят их до ночи. Мне нездоровилось, не пошла. Опасаюсь, не малярия ли вернулась? Бок болит. Обтерплюсь, встану, мне еще хуже. Верчусь скорпионом на полу. Кто-то кричит от боли. Да ведь сама я и кричу. Помочь — никого нет. Старая пришаркала, наклонилась надо мной. И показалось мне, будто по каменному ее лицу вроде улыбка мелькнула. Дождалась. Радуетса, что нелюбимая невестка помирает. Не зря старалась, платки черные подбрасывала и ниточки жгла. Назару другую найдут... Сын! С сыном — как же? На том память я потеряла... Долго ли так лежала — не приняла меня могила. Глаза открываю — уже не старуха надо мной, а пчеловод откуда-то взялся, лысину красным платком вытирает. Доктор со шприцем в руках: «Приступ аппендицита у тебя. Если повторится — резать будем». Вести плохие у доктора, а глаза веселые. Пчеловод озадаченно улыбается. Словно праздник у них. «Что скрываете-то?» Переглядываются. И рассказали: пчеловод с помощником вынимали соты. Пчелы осwirепели, гудят. В сетках, с дымарем — и то не зевай. В такой военный момент лучше

пасеку подальше обходить. Как по радио узнают. Из самых песков летят — на защиту. Только пчеловод рамы с медом снял, помощник его за плечо: «Человек на пасеке! Какая-то бабушка сумасшедшая. Мечется, руками машет, улыи опрокидывает». Пчелы волос не любят. У нее платки съехали, косы растрепались. «Это же Тохта Назарова». Бросились навстречу. «Куда бежишь, Тохта?» — «Скорую помощь позвать». — «Позвоним в скорую помощь!» Увели ее, глиной сырой обложили...

А она заблудилась. В сад забрела. Столько лет из дому не выходила. Никто ей на пути не встретился. Пошла на людские голоса. «Что ж ты, пчел не слышала?» — «Слышала». Пчеловод платочком обмахивается. «Ну задала бабушка. Пока спасали, пчелы с рамок мед обратно потаскали. Как это она напролом! И не охнула. Не бабушка, а танк». Говорят они про нее, а она по-прежнему в своем углу съежилась, молчит, — от мужчин лицо закрывает. Когда все ушли, я к ней подседа. Над виском в седой пряди трепыхается пчелка обезжаленная. Я пчелу осторожно вынула. Старая руку мою нашла, подержала; пальцами по моему лицу водит, по губам, по глазам: «Дочка моя», — говорит. А сама смотрит куда-то далеко-далеко.

Назар беззвучно отодвигается от стола в темноту. Это чтобы я не видела его лица. Но я догадываюсь, какое оно сейчас, по его изменившемуся голосу:

— Смелая мама была. В девчонках — коней объезжала. Меня маленького из пожара вынесла. Обожглась. Потом всю жизнь плохо видела. Басмачи-казахи в плен ее уводили. Очень мучали. За красоту. Она убежала. Одного убила — и через пески домой. А дома не простили ей, что басмачи издевались. «Учить» стали. С этого сгорбатилась.

Он подымается с табуретки, вытягивается, чуть не задевая потолочные балки. И поворачивается ко мне:

— Секреты у нас в доме повывелись и тараканов нет. Можешь спокойно располагаться ночевать! Завтра пораньше доставлю тебя к председателю. У него остановились ваши этнографы. А так просто, без угощений и разговоров, у нас гостя не отпускают.

ЛИСКИ

На глиняном заборе старательной прописью выведено: «Во дворе злая собака». А в скобках добавлено печатными буквами, наступающими друг другу на пятки: «Бобик».

Маленький Назарчик прошмыгнул в калитку. Из его

разодранных штанишек торчал клочок белой рубахи, как заячий хвостик.

— Идите, не бойтесь. Это я написал. Это не наша потому что, нашу Лиски зовут, а не Бобик.

— Почему же Бобик не ваш, а живет у вас?

— Ой, да он не живет. Он в гости приходит. Вы же тоже не живете, а в гости приходите.

— Но ты уж про меня не пиши.

— Ладно, — согласился Назарчик, — у нас всегда гости. Мы привыкли.

И верно: в этом доме хозяева были как-то незаметны среди гостей. И еще полно всякой живности: собак, кошек, кроликов, ежей — мелкоты. Только Назар большой, отец маленького Назарчика, выделялся своей огромностью. Он сидел посреди двора, из-под мышки и у колен его торчали ребячьи головы.

— Назар, ты хоть отличаешь, которые свои, которые чужие?

— Чужих нет. Соседские тоже свои.

Маленький Назарчик потоптался на месте:

— Видите, опять опоздали. Нам уже не хватило. Одни картинки остались — и подобрал с чисто выметенной земли конфетную бумажку.

Белобрысая разбойница с серьгой в ухе, лицом очень похожая на Назарчика, с треском распахнула ставни:

— Подумаешь, им вон тоже не хватило, — и мотнула головой в угол двора.

Там, в тени карагача, огромный лохматый пес, положив морду на лапы, наблюдал за малышкой. На четвереньках, покачиваясь на кривоватых ножках, кулачками упираясь в землю, она преследовала черепаху — единственное живое существо, которое не успевало от нее убежать.

— Лиски? — спросила я, показывая на пса.

— Лиски, — подтвердил Назарчик.

На лице его выразилась тревога, причины которой я не понимала.

— Раньше была черненькая маленькая Лиски, потом была охотничья Лиски, бегала быстрее джейранов. У нас все собаки Лиски.

Он с растущим беспокойством поглядывал на отца.

— На забор опять лазал? — строго спросил Назар, оглядывая непорядок в костюме сына.

— Это меня Бобик. Нечестно напал сзади. Я его до самых песков прогнал...

«Ну, это не очень далеко», — подумала я, потому что колхоз со всех сторон обступали барханы пустыни.

— Я не шлепал его, — уверял Назарчик, — я про него надпись на заборе написал, чтобы ему стыдно было.

Ага, теперь я кое-что поняла, но не все и потому спросила:

— Собак у вас очень любят?

— А вы правда из Ленинграда? — вместо ответа поинтересовался маленький Назарчик и просительно потянулся к отцу: — Ты уж расскажи ей. А то она не знает... Я чайник принесу. Только без меня не начинай.

Ребятишки потеснились, уступая мне место около большого Назара.

— Из Ленинграда? — глаза Назара из узких стали широкими. — Ну да... Знал бы, в гости пришел. У меня в Ленинграде в сорок первом году ни одного знакомого дома не было. Там где-то за спиной город. Спиной чувствовал... А видеть не пришлось! Давай лучше чай пить.

Назар развернул достархан (платок с угощением) и придвинул чайник, притащенный маленьким Назарчиком. Солидно осведомился:

— Ночи-то у вас по-прежнему белые?

— Конечно.

— И до войны были белые?

— А как же!

— А я вот не запомнил, какие там были ночи, — признался он откровенно. — И с левого плеча и с правого — ленинградцы стояли. И ротный тоже был ленинградец. И — Лиски. Не этот Лиски, другой, — он отстранил подскочившего лохматого барбоса. — Вот какое было дело... С начала войны в сорок первом году самой первой партией отправили нас отсюда, однолесток, девятнадцать человек. Попали все девятнадцать под Ленинград. Две недели нас учили. Потом в бой пошли. Потом — кого ранило, кого убило, кого в другую часть перевели. Остался Назар один. Русского языка совсем не понимал. Одно только слово знал — «Ленинград». Ребята на пальцах объясняли. В столовую кушать — котелок, ложку показывают. Дают команду: «Быстро кончай обед — в бой идти». А Назар и не шевелится, каши еще накладывает. Смеялись надо мной много. Но решили не ругать. И решили всей ротой меня русскому языку учить. Сядут напротив, кулак покажут: «Это что?» — «Ымрсак» по-нашему». — «А по-нашему «кулак». Потом песни пели вместе. Конечно, ругаться научили в первую очередь! Командир роты растолковал: «Нехорошо, Назар, я тебя не ругаю, люблю тебя. Ты теперь ленинградец». Понял я: глупость это — руготня. Больше никогда не ругался. И все ходил за ротным команди-

ром. Куда он — я за ним. Он меня не обижал. Соберутся ребята вечерком, а я сижу в уголке на полу, по-своему, ноги скрестив. Я водку не пил. А ротный мне в стакан супу наливает, чтобы со всеми вместе веселее было. Говорит: «Вы, ребята, не смейтесь. Назар — хороший парень, наш, ленинградский, стреляет хорошо, в атаку идет во весь рост. Настоящий солдат». Верил мне ротный командир. И была у него собака. Песик — серый, большой. Очень способный. Этот сразу по-туркменски научился понимать. Я ему махну кулаком: «кетт» — «уходи» — понимает, уходит. Я кушать зову: «яджек» — сразу прибегает. А хвост и уши необрубленные. У нас собакам уши и хвост еще маленьким обрубают на пороге дома, чтобы в дом не бегали. И еще чтобы уши не висели, чтобы слушали лучше. У этого — уши сами стояли. И в дом он заходил. Такой друг мне был. Я его рядом усажу, руку на плечо положу и рассказываю про кишлак, про соседей, и как мальчишкой маленьким был. Разговариваю по-туркменски, никто не понимает, а он все понимает. Никогда не уходил раньше, чем рассказ кончу... Мы как раз из Гатчины наступали. Тяжело ранило моего ротного. Я к нему подошел. Стою. Он недолго поговорил. «Ты мне настоящий друг, Назар, и Лиски мне друг. Возьми ты его. Вместе воевать будете». А он когда еще первый раз меня с Лиски знакомил, сразу предупредил, чтобы тот слушал меня как родного... Принесли плащ-палатку, закрыли ротного моего, положили на носилки и отправили. Меня тоже отпустили — хоронить. И Лиски со мной пошел. Мы с Лиски гроб командиру сделали, головой к Ленинграду в землю зарыли. Попрощались. Потом одни в часть вернулись. И еще больше подружались. Тут случилась одна история нехорошая. Вернулись мы, и Лиски первый раз в дом не пускают... Был один человек — злой, ругатель. Выгнал Лиски. Он всегда не любил Лиски. Но командира боялся. Какой человек? Слушай. Я солдат. Он тоже солдат. Он с бородой, старше. Я ему два раза воды принес. Он старше. А он спасибо не говорил. Ругал меня. И опять: за водой гонял, за дровами гонял. И Лиски бил, когда никто не видит, а я все видел. Он меня ругает по-своему. Я его по-своему. Надоело мне ругаться. Я нож свой достал. Ничего не говорю, нож точу. Потом нож ему показал, по шее рукой провел: если ругаться не перестанешь, ночью голову резать буду. И Лиски не обижай. Остальные русские ребята его тоже ругали. Сижу в уголке, курю, думаю: много нас сидит — ни с кем не поговоришь. Ни казах, ни татар, ни одного нет. Хоть и пополнение приходило два раза. Сижу сам с собой. Дверь хлоп-

нула, кто-то вошел, я не смотрю. «Салам-алейкум. Есть курить что-нибудь?» Я услышал «салам-алейкум» и заплакал. Стоит командир, красивый, черный, глаза черные, брови черные, высокий. Подходит ко мне: «Почему плачешь? Обидел кто-нибудь?» А ребята все улыбаются. Понимают. Я потом узнал: они для меня по всей части земляка искали. А он не туркмен оказался — чуваш. Зубров фамилия. Но по-туркменски понимает. Я говорю: «Никто не обижает, все хорошо, очень хорошо, товарищ командир», а сам плачу. Хорошо мы с ним поговорили. Тому ругателю пятнадцать суток гауптвахты. Я прошу, чтобы меня все равно в другую часть перевели. Тут все ребята зашумели: «Не пустим Назара! Пускай того переводят, Назар наш — ленинградец. Мы Назара русскому языку учим». Меня оставили. Того человека перевели. Больше никогда не видел его... А мы дальше воюем. Армия воюет, рота воюет. И мы с Лиски воюем. Я русский язык учу. Выручал меня Лиски. Жизнь спасал. И не мне одному. Я за Лиски всех собак люблю. Больших, маленьких — никогда не обижу. Понимал Лиски, как надо дружить. О себе не думал, друга выручал... Сидим в землянке, земля дрожит от взрывов. Лиски от бомбежки убежал куда-то, спрятался. Я в уголке привалился. Другие посередке. Раз — попадание! Все, кто посередке сидели, кончились. Кто по углам — придавило, поранило. Живы, а ни шевельнуться, ни дышать не можем. Вдруг кто-то копает. Свои? Чужие? Толково копает. Дырочку, чтобы воздух проходил. С одной стороны прокопал, с другой — и все около раненых. Ну, свои, значит. Земля шуршит, скатывается, и кто-то будто чихает. А по чиху не узнаешь, немцы или русские? Дырка дыркой, в дырку — хоть воздух. А тут вместо воздуха черное что-то просовывается — дуло револьверное! Я последний раздохнул. Конец тебе, Назар... А дуло как чихнет. Помяло меня и придавило, а я смеюсь! Лискин это нос меня зачуял и фыркает. Пришлось ему тогда поработать, как настоящему саперу, пока всех откопали...

Потом как раз мы в бой пошли. С неравными силами. Дали мне пулемет, двух ребят, приказали немца задерживать. Пулеметы вышли из строя. Патроны кончились. Связь прервалась. Ребят моих убило, меня ранило. Немцы окружают. Мы с Лиски в окопчик прыгнули. А в окопе никого. Нет, есть кто-то. Мы с Лиски прилегли и по немцам стреляем. Вдруг человек весь в белом на нас идет. «Ты наш?» — спрашивает. А кто его знает: ваш или не ваш, сам-то ты чей? Я прицеливаюсь... «Наш? Советский?» — спрашивает в белом, «Ваш, наш, — кричу, — чуть не убил тебя. Совет-

ский, советский!» — «А раз советский, давай вместе к речке спускаться. За речкой наши стоят, это точно». — «Я плавать не умею». — «Вброд пойдешь». Лиски тоже уши навострил: «Как-нибудь». Побежали мы — где ползком, где бегом на берег. В воду вошли до пояса раздетые. Документы над головой держим и оружие. Тот солдат вверх головой, ногами перебирает, как по дну идет. А уже глубоко. И плывет он давно. Пуля на самой середине догнала его. А я как ступил поглубже, так с головой ушел, воды наглотался. Конец тебе, Назар, а жалко. РванулсЯ вверх, голова плохо соображает, а досочку все-таки присмотрел. Только бы дотянуться. Лиски ко мне подплывал, тукнется мордой и спиной отворачивается. Он как рыба — в воде и под водой плавает. Такой был Лиски! А тут отворачивается, Первый раз плохое про него подумал. Зачем отворачивается, видит, что-то другу конец приходит? Привалился я на досочку — пошла вместе со мной под воду. Лиски меня за что попало хватает зубами. Я раздетый, и уцепить не за что. Хуже прежнего реки наглотался. Лиски в плечо зубами хватъ — меня же ранит и... бросил, опять спиной ко мне, уплывает — тони как хочешь. Эх, голова глупая, мне бы сразу сообразить. Это он свой хвост протягивал. Ухватился я за Лискин хвост, досочку придерживаю. Он меня, как буксир, — раз! — на берег вытянул. Я у него прощенья прошу. «Ох, Лиски, прости ты меня бога ради, что плохое про тебя подумал, — целую его, обнимаю. — Прости, Лиски!» Он отряхнулся, лизнул меня в башку: «Ладно, что с дурака спрашивать? Не время сейчас нежничать, подерем-ка в лес»... Такой был друг у меня Лиски. Я его до сих пор во сне вижу. Нос длинный, аккуратный, уши большие, лапы тяжелые, а сам худенький. Расстались мы на границе с Польшей. Очень давали здорово: бомбежка за бомбежкой. Мы отсиживались, Лиски убежал, как всегда. Кончилась бомбежка, я его зову, кричу. Не приходит. Удрал куда-то. Придет еще твой Лиски — сам себя утешаю. Найдется. Спрятался где-нибудь. Или с кошкой поссорился. Была у него такая слабость в образовании. Загонит кошку на дерево, сам сидит караулит. Озоровал. Я вот ему еще поозорую на земле иностранной державы. А его миной убило. Я его похоронил, к западу головой положил, лицо на юг повернул, как у нас в Туркмении кладут. На могилу дощечку поставил. «За героическую службу солдату-ленинградцу Лиски». Фамилию ротный мою написал не спрашивая. У Лиски своей фамилии не было. А я-то ему пообещал, что в кишлак привезу, вместе в колхозе будем жить... Да вот — другой у нас Лиски.

Оставшись одна, с вечера я запираю свою дверь на ключ, но, еще не проснувшись, знаю, что в комнате, кроме меня, кто-то есть.

Можно не торопиться открывать глаза. «Кто-то» — очень дружелюбный, умиротворяющий, располагающий к доверию, более того — вносящий в мою жизнь ощущение счастья, высвобождения, и ошибки тут не может быть!

Можно не торопиться открывать глаза, потому что «кто-то» не исчезнет, не обманет, как сновидение, оставляющее лишь смутную причину для вздоха. Кто-то — свет. Волшебный, преображающий свет каракалпакской зимы. Я никогда еще не видела Каракалпакки зимой. И каждый день теперь присутствую при чуде. Чудеса обычно быстро проходят. Они устают быть чудесами. Или требуют особого охранения и напряжения сил. А это — длится бесконечно и ничего не требует, прерываясь лишь на пару дней снежными метелями, когда ничего не видно. Но метели виновато спешат растаять на дорогах и двориках, на крышах домов и ветках...

Я не влюблена, давно вышла из поры восторженной юности и никаких особенных удач не переживаю. Наоборот, масса забот и мелких неприятностей: слишком медленное высыхание стен лаборатории, перебои с топливом, обидчивость ковровых мастериц, неуловимость замминистра местной промышленности, радиояма каракалпакской дельты, заглушающая передачи из Москвы.

Будь это летом, в знойные, обесцвеченные пыльные месяцы, проблемы народного прикладного искусства и внедрения его в современный быт казались бы мне неразрешимыми.

Но в таком свете...

Как много таится в нем разгадок. Матовая нежность юга... Мягкий, рассеянный свет, раскрепощающий самоценность каждого цветного пятнышка — оранжевого, красного, голубого.

Такое освещение стараются искусственно создавать в мастерских живописцы. За моим окном — казалось бы, ничего особенного — дворик. Бирюзовые стволы деревьев, на веревке сохнет лоскутное одеяло. Потупленная, как монахиня в черной рясе, по тропочке прогуливается индюшка и украдкой кидает взоры на обольстительного петуха, от важности приседающего на каждом шагу. О, этот петух!.. Я сочувствую индюшке, петух — некая комбинация драгоценных самоцветов — костер, пожар, взрыв красок.

Шафранное пятнышко перелезает через дувал, навстречу семенит имбирное пятнышко в сопровождении коротконогой собачонки. Все трое усаживаются в кружок о чем-то секретничать.

Собачонка и пестрые ребятишки, индюшиха и петух, бирюзовые стволы, одеяло и дувал заняты собственной жизнью, равноправны. Им не тесно, они не мешают друг другу, у каждого своя доля, свой путь в этом маленьком мире.

Где это все я уже видела?

Дворы, как и неширокие асфальтированные улочки, спланированные с незначительной кривизной, похожи на уютные интерьеры. А просторные одноэтажные домики и заборы сложены из той же земли-глины, и нет обычной резкой границы между внутренностью дома и внешним миром. Очень уютен, очеловечен постепенный переход от улицы через дворики и айваны, через пахнущий землей коридор — к обеденному столу хозяев, к люльке с младенцем, к теплой печке.

Свет колдует, а ему помогает тишина, живая, с отдаленным гомоном ребячьей лапты, с перезвоном ведер и плесканием воды около уличного крана, с изумленными птичьими возгласами и неназойливым мяуканьем кошки, знакомящей своего малыша с законами жизни. И кошка — не какая-нибудь жеманная ханжа, изнеженная подлиза, не из толстых приживалок-домоседок. Кошка — женственная без кокетства, с маленькими прижатыми ушками, с повадкой умного зверя из камышей, дающая себя погладить только в исключительных случаях. Соседка разыскивает дочку, и прозрачный голос, чисто и легко забираясь на предельную высоту и ниспадая, тянет: «Фирюза-э-э, Фирюза». И хочется, чтобы Фирюза подольше не откликнулась матери.

Я уже заметила и нисколько не удивляюсь, что свет в моей комнате иногда сам начинает петь. Больше-то некому. Я ведь никогда даже не мурлычу себе под нос. Поют вроде хоры ангелов. Так и должно бы быть, но почему из-под земли? Есть, конечно, и другое объяснение. Когда я слишком жарко растапливаю печку, под полом оттаивают лягушки, и начинается их сонное нежное воркование. Совсем не то, что требовательное «ур-р-раканье», похожее на перестрелку и оглушающее весной всю Среднюю Азию не только в культурной полосе, но и в глубине пустыни — у колодцев. Хотя кто их знает, какими путями добирается туда лягушиное племя? По подземным ли рекам, текущим в вечном мраке, или заносят икринки кочующие стада и перелетные птицы?

Я бегу по аллее, скольжy по наледям, пока они еще не превратились в лужи. Голубизна, безветрие, всеобщая про-

зрачность. А в ветках какое-то шевеление, вздрагивание, шуршание, и на меня сыпятся брызги оттаивающих сосулек. Весь Нукус «плачет» по утрам, часов с восьми до десяти. Слезы эти не горестные — озорство, кокетство. Как и вся зима — не настоящая. Выражаясь по-нашему, по-северному: наступает поздняя ясная осень — ожидание. Но приходит сразу весна. Правда, акации и тополя из вежливости осыпаются, но тополям даже выгоднее красоваться с остатками листьев, сквозь которые сквозят небеса и дали, а акациям очень к лицу пышные уборы золотых полумесяцев — стручков. По крайней мере, видно, что это деревья, а летом это же какие-то зеленые хляби.

Правда, бывает, останавливается на неделю Дарья, замерзают арыки, каналы, поля вокруг Нукуса, по новым агроспособам с осени залитые водой.

И тогда Каракалпакия делается похожей на Голландию — в особом восточном варианте. Вот почему мне казалось, что все это я где-то видела! И понять не могла, куда относит мою память. «Маленькие голландцы!» Пожалуй, пока эти художники ближе всех передают очарование Каракалпакии.

А если заглянуть в Старый город, в самые глубины...

Кривые улочки, подталкиваемые домами, бредут, куда им вздумается, прихрамывая на взгорках, спотыкаясь на низи; то заворачивают, то упираются в стену или обрываются пустырем. Ни одной прямой линии, ни намека на симметрию. Часто у улицы только одна сторона, вторая уходит куда-то под овраг, скатывается в ямы и свалки. Небеленые саманные стены как будто отекающие. И не сразу поймешь, где кончается дом, где начинается забор, кто из них выше, кто ниже — разве что догадаешься по кошачьим лапам, которых, пожалуй, больше, чем маленьких подслеповатых окон. Иногда стены вовсе отсутствуют: обрушились или остались недостроенными — и вся жизнь снаружи.

Неогороженные дворы загромождены соломой, арбами, буграми пахсы, предназначенной для кирпичей, грудями навоза, употребляемого на топливо, перерыты ямами. Навесы, подпертые кривоватыми жердями; под навесами — кухонные очажки, ткацкий стан, навалы сухой колючки, из-за которой вдруг выглянет желтый глаз с таинственной глубиной зрачка. Или высунется шелковое сторожкое ухо в нежных завитках, или чей-то подвижной черный нос обфыркает плечо прохожего. А он жмет к краешку улицы, чтобы не потонуть в лужах и чтобы не задел его потный бок деловито спешащего ослика.

Разноцветные вельветовые кафтаны и ватники жителей;

мохнатые, нараспашку, овчинные тулупы, такие же мохнатые круглые шапки или казахские лисьи малахай. И снег — ложится как хочет и где хочет и тает, тает, увлажняя золотистую пахсу стен, смешиваясь с дорожной глиной, и потому все как будто подплывает золотом...

Если присмотреться к людям, шагающим по городу, к старикам и старухам, занятым хлопотами по хозяйству или просто беседующим между собой в окружении ребятишек, собачонок, пестрых куриц, козлят, — но неизменно приветствующих вас с радушием и достоинством взаимного уважения; если взглянуть в эти руки, работающие или отдыхающие, в округленные спины, неторопливую походку, повороты головы, движения губ и бровей; если заметить: кончик тощей косицы с вплетенными монетками и вялое ухо, отягченное серьгой, вон той старушки, раздувающей огонь в очажке, и ее лопатообразную ладонь с отставленным корневищем большого пальца, привычно ломающую пучки колючки, — то увидишь... Но что же это — опять свет колдует?

Свет обобщает, отбирает самое выразительное, сильное своей откровенностью — ненавязчивой и не утаивающей ничего. Свет не приукрашивает, — он открывает немудреную, но мудрую красоту бытия, когда схватываешь все, что было, и постигаешь то, что будет. О пережитых страстях узнаешь не по взмахам рук; о будничном мужестве — не по мускулистым шеям и выставленным подбородкам; о неисчислимом труде, долготерпении и жизнестойкости — не по ширине грудных клеток. Но по мимолетной улыбке женщины угадываешь про ее детей и внуков, по изгибу собачьей спины — про добродушие и сердечность ее хозяина, по гроздьям вен на руках, даже когда они спокойно лежат на коленях, — про вековую борьбу с пустыней.

Тут уж вспоминаешь не «маленьких голландцев», а самого великого голландца — Рембрандта.

Нет, я не идеализирую Старый город, не умиляюсь ни одной блохастой бесхозной собаке, ни одной мусорной свалке, ни ребячьему заду, заголенному над проезжей колеей, ни провалившемуся носу старой бабушки, баюкающей внука...

Я уважаю Старый город. Потому что старый Нукус — бывший кишлак племени нукус — отец нового Нукуса, потому что отсюда или из подобных мест вышли строители и создатели новых городов и кишлаков. Потому что здесь ощущаешь всю необходимость и неизбежность рождения нового и тот потенциал безграничных человеческих возможностей, который неотвратимо вырывается наружу.

... Я не заметила, как кончилась аллея, но кто-то положил мне голову на плечо и прижался к щеке — и это тоже свет.

Когда-то давно, изучая средневековую восточную живопись, я разгадала секрет волшебного колорита миниатюры Бехзада, величайшего художника средневекового Востока, хранящейся в Ленинградской публичной библиотеке. Пейзаж с человеческими фигурками: очень синее небо с условной рожицей солнца в левом уголке листа, сад, излюбленная пара деревьев — гранат и платан, потемневшее от времени серебро ручья. Но неуловимая золотистая трепетность пронизывала миниатюру, какой-то живой меняющийся блеск... Тончайшим беличьим волоском художник нанес золотые нити солнечных лучей, невидимые простым глазом.

Мой профессор пожал плечами: «Очередная ваша фантазия», но, вооружившись лупой, чуть не прослезился от умиления.

Конечно, я гордилась этим открытием, — а чем же еще гордиться студенту? Но, десять лет пространствував по пустыне, я открывала золотую трепетность солнечного сияния в живых зарослях тамариска, саксауловых рощах, в аральских камышовых джунглях, в хлопковых полях и тополиных аллеях, в обвитых виноградом террасах простого азиатского дворика. Эти открытия для меня дороже, хотя для научной статьи, может, и не годятся.

Причудливые коралловые завитки гор, знакомые мне по миниатюрам, колорит «перламутровой раковины», «фантастический» цвет земли и неба, «условные» пучки сухой растительности десять лет были нашей обычной рабочей обстановкой. А прославленная плавность, текучесть линий, свойственная живописи Востока, казавшаяся мне раньше выдумкой художников, чуть ли не стилизаторством, — ведь это самое основополагающее зрительное впечатление, ощущение, рождающееся в пустыне. Ни в какой другой живой или мертвой природе не бывает таких форм и линий.

«Но художники — жители оазисов», — возразят мне. «Оазисы — это островки в пустыне, это же куски побежденной пустыни. Нельзя по-настоящему почувствовать искусство Востока, не зная, что такое пустыня. Явная или тайная, преодоленная, но всегда угрожающая, по-разному преломленная в творчестве художника, но всегда присутствующая в искусстве». — «А не переоцениваете ли вы «географический фактор», товарищ искусствовед?» — звучит на уровне моего затылка абстрактный, но тем не менее ехидный голос. «Но этот географический фактор оценен еще Марксом, который объяснял социальные особенности общества Во-

стока и его исторических путей, консерватизм земельно-водной общины — необходимостью постоянной борьбы с пустыней. И не надо отвлекать меня в сторону, раз уж мы дошли до цели». Лаборатория — вот этот еще не просохший одноэтажный домик.

Лаборатория — кусок сердца Игоря Витальевича Савицкого. Остальные главные части его сердца еще в гараже, в сундуках, пакетах и узлах. Гараж — это временное хранилище коллекций каракалпакского прикладного искусства. Гараж и лаборатория, суетящиеся во дворе люди, цепной ласковый пес — это все владения и подданные Каракалпакского филиала Узбекской Академии наук. Академия Узбекистана молодая. А филиал родился в 1960 году. Многие ведущие работники этнографии, археологии, истории, фольклористики — с каракалпакскими или русскими фамилиями — бывшие «хорезмийцы».

На состоявшемся недавно Международном конгрессе археологов-востоковедов наши зарубежные гости не без зависти удивлялись количеству учеников Толстова, среди них, помимо ленинградцев и москвичей, было еще много делегатов среднеазиатских республик. Но мы-то к этому привыкли. Мы ко многому привыкли. Рождение республиканских академий и их филиалов нас тоже не удивляет. Обыкновенное дело. А как же иначе!

Вполне естественно, что и Савицкий, начавший работать в Хорезмской экспедиции много лет назад художником, увлекшись археологией и особенно этнографией, оказался сотрудником филиала не по назначению министерства, а по любви. И променял Москву на Каракалпаксию совсем не потому, что ему в Москве не хватало места.

Раздавались голоса его друзей и родственников, пытавшихся отговорить его от этого «безумства». Выдвигались соблазны: тишь, уют, благоустройство московской квартиры-мастерской, произносились туманные пророчества о надвигающейся старости и болезнях, — но тщетно!

Поэты Востока рассказывают, что родители и друзья Меджнуна, чтобы излечить от губительной любви к Лейли, привозили его в Мекку к священному камню каабы. Он должен был подержаться за кольцо каабы. Ибо желание, высказанное человеком в такой миг, непременно исполняется. Меджнун послушался, но молиться стал не об исцелении и забвении, а о том, чтобы любовь его разгорелась еще ярче.

Чтобы исцелить от страсти к Каракалпакки, друзья и родственники Савицкого приводили его к величайшим ше-

деврам Третьяковской галереи, музея Западных искусств. Савицкий бормотал:

— Да, да, Матисс... это уже у меня есть в вышивках кзыл кимешек. Врубель — узнаю! Это же колорит караджарского акбаскура. О! Только бы найти мне его вторую половину...

Подобно Меджуну, Игорь Витальевич вырывался из рук спасителей и исчезал в пустыню.

Не было тогда еще ни лаборатории, ни гаража. А была в филиале небольшая комнатка, общая для музыковедов, искусствоведов, театроведов, но забитая тюками с рванной, горами серебра и бог весть еще чего.

Музыковеды чаще совещались перед дверью в коридорчике, театроведы — в здании театра. Иногда в этой комнате пристраивалась работать машинистка на маленьком столике. А когда она уходила, Савицкий пристраивался на том же столике поспать пару часов. Днем невозможно было развернуть сокровища Савицкого. Зато по ночам, когда здание филиала пустело, становилось просторнее, гулче, прохладнее; когда уборщицы с ведрами и швабрами удалялись, а сторож запирали увесистым ключом двери и мирно задремывал на диване, — начиналась «оргия».

Все ступеньки и перила двухмаршевой лестницы покрывались маленькими каракалпакскими ковриками. В вестибюле и прилегающих коридорчиках разворачивались драгоценные свитки тканых дорожек-акбаскуров, истинное назначение которых — опоясывать остоу юрты, крепить войлочные покрытия купола.

На сероватом гладком фоне акбаскуров мерцали волшебные краски ворсовых узоров — то яркие, пламенеющие, то приглушенно нежные, то эпически сдержанные. Плоскотканые полосы с шелковым и шерстяным орнаментом, отливающие серебром и золотом, строгие кзылбаскуры с бесконечно бегущим рисунком по красноватому или коричневому полю... Сутуловатый узкоплечий Савицкий то и дело выскакивал из комнатки, торопливо семеня по коридорам, поддерживал руками, животом и подбородком сверток и жалобно вздыхал: места не хватало. Он ползал на четвереньках, по-птичь наклоняя голову то влево, то вправо, вскакивал, метался из стороны в сторону; припадая на колени, нежно касался кончиками пальцев разноцветных ворсинок. Он что-то бормотал, захлебываясь от восторга, не то молился, не то смеялся, не то плакал и вдруг замирал, беспомощно опуская руки, — растерянный и потрясенный — перед чудом открывшейся красоты.

Бедняга Меджун, как мало знал он о радостях свида-

нья, о восторгах страсти, о самозабвенной самоотдаче и экстазе. Ибо что такое эгоцентрическая любовь к женщине в сравнении со страстью художника-коллекционера?

— Вот эту лохматину... я готов был ее украсть, — шептал Савицкий, прижимая к своим ключицам кусок ковра. — Смотрите, как она отмылась и засияла. А на что была похожа? Комок грязи! Это чудо коричневых и золотистых красок! Ею затыкали шлюз в арыке... А этот кусок акбаскура — помпеянские фрески! И эти розоватые, зеленоватые завитки. Интересно, какая у него была кайма?.. Обождите-ка, а видели вы когда-нибудь такое? Видели. На русских иконах пятнадцатого века. А этот — откуда? Из Венеции? Зрелый ренессанс! У меня не было уже денег, истратил и казенные и свои, пришлось продать сапоги, чтобы он от меня не уплыл... Пожалуйста вам Эль Греко — тревожный, трагический, острый. Разворачивайте дальше, дальше. Смотрите, как меняются краски. Какого достигают напряжения. А что на это скажете? — вопрошал Игорь Витальевич, покачивая коврик на вытянутых руках, как младенца. — Если бы в таком колорите написать осеннее хлопковое поле?..

На стульях, собранных из всех аудиторий, мы прикрепляли головные уборы — «кзыл кимешеки», вышитые яркими шелками по алому сукну, и «ак кимешеки» — скромные, белые, для пожилых женщин; развешивали нарядные нарукавники, темно-синие длинные платья, белые покрывала-халаты, расцвеченные тончайшим орнаментом вышивок — красных, бордовых, зеленых, желтых. На подоконниках и столах раскладывали массивные нагрудные украшения — амулеты, серебряные с сердоликами. Мелодичный звон, серебристый шелест их подвесок и разноголосых колокольчиков будил эхо в пустом здании...

На диване зашевелился сторож, поднял голову, сладко зевнул, заулыбался:

— Игорь Витальевич, петухи поют.

— Поют уже? — поблуднел Савицкий.

— Первые, первые, — успокоительно заверил сторож и поуютнее свернулся калачиком, — первые петухи полночь опевают...

— Вторые чертей разгоняют, — подхватил задумчиво Савицкий, — а третьи — истопников в филиал зовут.

— Солнышко на небо, — поправил сторож.

— Нам до вторых можно! Надо еще красавиц моих проветрить. Полюбуйтесь, — он обвел взглядом в полукруг составленные стулья с кзыл кимешеками, — Глаза разбегаются. Целый гарем. Или нет... Смотрины невест, — очень хорошо здесь невесту выбирать, не ошибешься. Тут уж все:

и характер, и темперамент, и склонности, и все тайные мечты. Я не сошел с ума. Верно: ведь каждая девушка вышивала свой кимешек к свадьбе. Моя избранница — в середине, — Игорь Витальевич слегка выдвинул один стул. — Истинная девичья скромность. Нежные какие краски. . . мягкие, мечтательные. «Очи потупленные». Зато подружка слева, не дай бог, сорвиголова, смелая, с неожиданностями. Боюсь таких женщин! И ее соседка — с причудами, кокетка первостатейная. А какая решительная, вся контрастная, яркая, энергичная вот эта девица — во втором ряду. Рядом с ней очень спокойная, выдержанная, ровного нрава. Да. . . Но кто знает, — вздохнул Савицкий, — была ли их жизнь такой радужной? . .

Игорь Витальевич поманил меня к лестничной площадке, где были разостланы еще не обработанные кальки-эстампажи резного дерева: дверные филенки юрт, детали сундуков-шкафчиков, столики для раскатывания теста, хомуты, седла.

— Тоже чудеса, — восхищался он, — столько изобретательности, разнообразия, творческой свободы, поиска! Маленький народ, живший на задворках России в пасынках хивинских ханов. А талантище! . . Смотрите: завитки бараньих рогов, листья, побеги, просто геометрический узор. Но как они используют светотень, игру фонов, контур, разные способы резьбы. А как меняют пропорции, komponуют. Но все это, хоть относительно, традиционно. Есть еще и другие филенки — в сущности, декоративные панно. Пожалуйста, как это понимать? Беспредметная узорность. Никакого «периодического» закона повторения. Что изображено — не скажешь. Чисто декоративный эффект — очень эмоционально выполненная композиция. Такой метод декорирования, украшения вполне народен. Но это *прикладное* искусство, *украшение* двери. И здесь беспредметный узор — уместен. «Образ» есть. Это образ чувств, психологического состояния, настроения. . . Очень здорово выраженный. Но ведь эта декорация не существует самостоятельно, не уравнивает себя в правах и по значению с самостоятельным произведением станковой живописи или скульптуры. Она декоративна, «картинна», но она не картина. Почему нельзя поднять себя самого за волосы? Потому что рука и волосы — принадлежность сложнейшего единства, организма, человека, подчиняющегося единым закономерностям. Не бывает рук, действующих без участия человека. Не бывает качеств и свойств вне объекта, вне источника этих качеств. Как бы ни мудрить: пускай эти качества — биотоки, какие-то таинственные сигналы, еще неведомые формы энергии, но все

они существуют не безотносительно к носителю этих качеств или к источнику этих качеств, объединяющих их неким единством. И вот он-то как раз — носитель этих качеств — предмет нашего искусства *не* прикладного. Но качеств «ничего» не бывает. Я часто думаю, почему в восточном средневековье с его идеалистическим мышлением такого необычайного расцвета, как нигде и никогда, достигло именно прикладное искусство? . . . А что искусству оставалось делать? Грубо говоря: все, что окружало человека, объявлялось недействительным, лишь отражением никому не ведомой «сущности» идеи, духа, бога — бесплотных, незримых. Задача — сделать зримым нечто, не имеющее ни форм, ни красок, ни конкретности? Вроде рецепта — изготовить жареный лед. Что поделаешь: все изображенное художником наглядно, конкретно, хоть бы и имело миллион символических и условных смыслов. Конечно, художники хитрили по-разному. Их искусство по природе своей более чем всякое другое оппозиционно идеалистической философии. Ну, да это общеизвестные факты. . . Что вы так на меня смотрите?

— Соглашаюсь, — но я смотрела не на Савицкого, я вспоминала свои студенческие годы, изученные томы средневековой схоластики. — Вы даже не знаете, какие дискуссии разводили ученые-богословы средневековья об изображениях с тенями и без теней. . .

— Вот я и говорю, — переступил с ноги на ногу Игорь Витальевич, — средневековый художник изображал мир не «как видел», а «как слышал». Ведь и художники — сыны своего времени. Если предметом искусства не мог быть реальный, понятный им мир, носитель или источник различных качеств, если качества были оторваны от него, то все-таки эти-то «оторванные» качества оставались в распоряжении художника. И тут произошла забавная вещь. Оказалось, что эти качества — *приложились* к конкретным предметам, «прижились» к потолкам, куполам, карнизам, коврам, кувшинам, мискам, поварешкам — и пришлось в самую пору. Естественно! Потому что как самоцель существовать они не могли. Пожалуйста, ищите здесь, на этой филенке, биотоки, представляйте любые свои ассоциации, переживайте. . .

— Игорь Витальевич, — вежливо окликнул из-под лестницы сторож. — Вторые петухи поют. Чертей разгоняют.

— Вот именно, — засуетился Савицкий, — надо скорей сворачиваться. Я собрал толпу всяких обозначений — смысловых — орнамента. Занятно! Конечно, и тут действовал догмат ислама, запрещавший изображать одушевленное существо. Встречаются, правда, верблюдики, ишачки, даже всадник с собакой в узорном ткачестве. Но как редчайшее

исключение. Обычно же это символические обозначения. Иногда с близким сходством, иногда с отдаленным. И чаще по известному средневековому способу: «часть вместо целого». «Шея гуся», но не гусь, «коготь ворона», но не ворон, «лапа тигра», «талия муравья». Конечно, на страшном суде, согласно представлениям ислама, тигр, гусь, ворон могут потребовать с художника свои бессмертные души и задать ему как следует. . . А лапа, коготь, шея — и неподсудны!

— Я не думаю, что все ткачихи-каракалпачки так особенно тонко разбирались в богословии, — попыталась я вставить словцо, — периферийные полукочевые народы не отличались особой приверженностью к исламу.

— Но таков был обычай, — возразил Савицкий, — и некое представление о недозволенном, о грехе тоже было.

— Было. Коллекция охватывает пятьдесят — восемьдесят предреволюционных лет? Что же, это время религиозной активизации. Ишаны процветали. Турция заботилась об этом. А за ее спиной — Британия. Способ борьбы против влияния русских — «христиан». Знаменитый в Каракалпакнии, самый влиятельный и самый богатый, Каракум-ишан ведь был из Турции, заметьте — суннитской. Как раз мусульмане суннитского толка и отличались особой нетерпимостью к одушевленным изображениям.

— Ну, как там они ни изощрялись, — сказал Игорь Витальевич, — а вообще-то в обозначениях орнамента — самый реальный, привычный мир: хозяйство, быт, животные, растения. Река, канал, рыбный глаз, острога, след верблюда, копыто жеребенка, ворота, колесо арбы, гребень, серьга. . . И не без юмора иногда, не без острого словца — «Двойной хорасанский зад». Так мне и представляется какой-нибудь хорасанец-мираб, который изрядно досадил крестьянам: воду запирали или подати требовал. Наименования орнаментов сами за себя говорят. Реалистическая основа искусства. Вот в чем секрет его неувядаемой молодости, жизнестойкости, самобытности. . . Давайте-ка мы сложим все коврики на стол и, как на носилках, понесем. . . И никогда каракалпакки не чурались соседей, перенимали что могли и учились у всех, не боясь потерять «свое лицо». И потому избежали застойности и узконациональной ограниченности. Не надо только наваливать столько зараз, а то надорвемся. . . И «обереги» в орнаментах есть. Но магия — очень прикладная, хозяйственная. Все это добрый, подвластный человеку мир. И орнамент символизирует изобилие, благоденствие, процветание. Никаких абстрактных мистических понятий. Вот вам оппозиционная сущность искусства — насквозь реалистического и по смыслу и по устремленности. . . Может, мне под-

лезть под стол, приподнять спиной и так нести? Вы только поддерживайте его. Нет, не наваливайтесь, а поддерживайте... И такие древние традиции и культурные связи, — продолжал Игорь Витальевич из-под стола. — Алтай, Поволжье, Закавказье, Балканы, не говоря уже о нашем Хорезме. Но для меня остается все-таки тайной, магией... Да и какое искусство без тайн! Магия каракалпакского колорита... Вам не кажется, что уже грачи орут всюду? Отдерните-ка шторы!

Я отдернула шторы. За окном продолжалась магия каракалпакского колорита.

И своих и чужих посетителей лаборатории Савицкий встречает одинаковым окриком:

— Обувь, обувь, снимайте обувь!

Он ревнив и переживает «медовый месяц» лаборатории. Он ругает ее на все корки, вызывая и гневно поглядывая на собеседников, — и горе тому, кто за нее не заступится, не найдет теплого словца: «Ну что вы, Игорь Витальевич, превосходнейший дом! Как вам удалось добиться такого?» Гнева как не бывало. Савицкий любезно усаживает гостя, проникновенно, с лирикой, с юмором рассказывает, сколько ему пришлось ходить, куда и к кому, какие писать заявления, докладные, сметы, расчеты.

— Представляете? С сыростью мы справимся. Я топлю печки и мою полы сам. Пока уборщиц научишь... Но теперь нам угрожают беспозвоночные. Им, видите ли, тесно в филиале. Но это уж — через мой труп.

Наругавшись всласть, Игорь Витальевич вслух предается мечтаниям — маленьким и большим. Маленькие сводятся к тому, что «закуток двора мы тоже заберем». Большие мечтания неизменно влекут его к городскому крытому рынку. Он часто бродит там по рядам мясников, торговцев медом, луком и квашеной капустой, прикидывая, куда поставить витрины с серебром, куда повесить коврики.

...Лаборатория потихоньку превращается в маленький музейчик. Временный, с нарушениями заповедей хранения, предусмотренных в инструкциях. И в музее — целый день гости. Самые разнообразные. Иногда мы им рассказываем про предметы прикладного искусства, иногда они — нам. Число посетителей регламентируется количеством «спектапочек».

...Я и раньше замечала, что с наступлением темноты люди впадают в задумчивость, испытывают склонность к решениям философских проблем.

Савицкий молча творит новый макет ковра по старым образцам. Наша молодая художница Шпаде, недавно приехавшая из Туркмении, раскрашивает макет первого в истории каракалпакского сюзана по мотивам народных вышивок. Я описываю орнаменты своими словами, зато подробно.

— Почему-то коврик мой больше смахивает на французский гобелен, — ворчит Савицкий.

— От избытка чувств. Не старайтесь сразу запихнуть в него все, простоту потеряете, — Шпаде подымает бровь, но не отрывает глаз от планшета. Она «ведет каплю» — живую, цветную, чудотворную каплю самым кончиком кисти. Я всегда слежу за этой каплей, затаив дыхание.

— Не то, — вздыхает Савицкий, отступая от ковра, и принимается ходить по комнатам, лавируя между планшетами, баночками с гуашью. — Сейчас еще этот бес длинный лукавый явится смущать меня.

В одних носках, но в шарфе и легкой орлоновой шапочке, которая очень хороша при его черных волосах и юношеской матовой смуглости, входит Кадырбай Саипов. Он необычайно высок, тонок и слегка изгибается, словно ему неудобно постоянно возвышаться надо всеми. Кадырбай — каракалпак, художник, приятель Савицкого и единомышленник, потому они всегда и спорят. Кадырбай взглядывает на планшет Игоря, но не высказывает ни хвалы, ни хулы, и Савицкий постепенно впадает в уныние.

Временами это с ним бывает. По разным поводам. Хотя никто не отказал ему в поддержке, не отмахнулся, не обошел нашу лабораторию.

При Совете Министров Каракалпакии назначили специальную комиссию «по внедрению прикладного искусства в быт» с экономистом, главным архитектором, руководителями местной промышленности. Поддержали эту идею и в горкоме. Из Ходжейлинского коврового цеха приезжали мастерицы — знакомиться со старыми образцами.

— Кажется, мастериц-то я и не убедил, — перехватывает мои мысли Савицкий.

— К чему было напускаться на них? Они-де ничего не понимают ни в Каракалпакии, ни в искусстве, один вы...

— Неужели так получилось? Я только сказал, что у них не ковры, а яичница. Непрожаренная. Желтый «вырви глаз» — и на ядовито-малиновом фоне. Ничего каракалпакского, и туркменского — тоже. И работают столько лет — в убыток...

— Вы думаете, этой ругней помогли им?

— Но это правда! — Савицкий раздраженно достает еще один свой макет ковра. — А что вы об этом думаете?

— Обивка для гробов, — откликаюсь я. — Чужие, друг другу не обязательные краски. Где же великое единство и самоценность каждого цветного пятнышка, солнечная золотистость, простота, сдержанный ритм каракалпакских орнаментов?

— Куда ты намерен это вешать или класть? — прищуривается Кадырбай.

Я говорю обидное для Савицкого со зла и от зависти. Мне не хочется описывать орнаменты словами. И я сочиняю орнаменты во сне и наяву. Я вижу тот ковер, который я сделала бы... Пусть кто-нибудь его сделает — а я его «узнаю»...

Два макета Савицкого уже пошли в производство. Но крашенная шерсть получилась мутно-голубых и грязно-коричневых тонов и спародировала идею макета. Савицкий укоризненно смотрит на Кадырбая:

— Я же не виноват, что у них красители плохи и химика нет. Не знают, что из котла вылезет.

— А ты бы съездил и сам проверил крашение, — настаивает Кадырбай.

— Мне не разорваться. Я не администратор, а художник.

Савицкий опять жалуется. Художника у местной промышленности нет, кадров не хватает. Все приходится начинать сначала. Старые мастера не работают, спроса нет. Некому передавать навыки.

Конечно, старых мастеров не перестроишь на новый лад — вдруг да сразу! Но на последнем совещании республиканского актива — среди разговоров о рыбных запасах, о механизации животноводства, посевах люцерны и риса — обсуждался и каракалпакский колорит, и проблемы красителей шерсти, и способы завязывания узлов... Красители на Устьурте и на окраине города растут.

— Каракалпаки — бывший полукочевой-полуоседлый народ. У нас разрыв между тем, что было, и тем, что есть, — несонзимеримый. Жили в юртах. А сейчас города выросли, — продолжает спор Кадырбай.

— Юрта и сейчас бытует, — пожимает плечами Савицкий, — особенно у чабанов.

— Но зачем отмахиваться от новой юрты? Из синтетических материалов. Почему чабаны по старинке должны жить? Дай им юрту новую, да хорошую и недорогую — с окнами, с газовыми плитами, на колесах. Не откажутся. Об этом уж писали... А ведь три четверти твоей коллекции со старой юртой связано.

— Старая юрта — синтез искусств.

— Да что ты меня в юрту тащишь? Жил я в этом «синтезе». Ты в гости приходил. А я родился там. Может, мне и теперь с собой под одеяло ягнят и верблюжат укладывать? Чтобы блюсти национальную самобытность? Или снять орлоновую шапочку и тюльпек натянуть? — усмехается Кадырбай.

— Значит, похоронить все это раз и навсегда? — хмурится Савицкий.

— Кое-что неизбежно отомрет. Осваивай наследство так, чтобы все, что ты делаешь, было необходимостью. Не вчерашней, а сегодняшней. Оформляй каракалпакский интерьер, дом, улицу, парк, стадион, площади, общественные здания.

— Я и делаю ковер на стену, но в каракалпакском духе. Без влияния Украины, как в хивинской мастерской, и не по туркменским образцам, как норовит Шпаде.

— А я от Туркмении не отрекаюсь, — решительно заявляет Шпаде.

Кадырбай задумывается. И говорит снова:

— Сколько ты кричал, что наши народные мастера не чурались соседей, перенимали все хорошее и потому не впадали в национализм, избежали застоя. А сейчас и кругозор другой, и соседей прибавилось. Мне вся Третьяковка — родня. И Украина, и Прибалтика — не чужие. Почему мне у них не учиться? Я от этого Каракалпакию не разлюбил. Я возвращаюсь домой после Третьяковки и Эрмитажа и лучше вижу и понимаю Каракалпакию. И любовь моя делается умнее.

Кадырбай окидывает нас взглядом с насмешливым вызовом.

— Есть и такой способ воспеть ваш Север, например: Италия — «слишком сладкая», Швейцария — «слишком крутая». . . Но ваш Пушкин (он особенно напирал на местоимение — ваш) не брезговал ни Испанией, ни Украиной, ни Грузией, ни калмыцкими степями, а Петербург или русская зима у него — ничего, получились? Ваш гениальный художник Врубель, кстати неплохой прикладник, ваш Врубель вот уж русский — от былин и сказок, от пути из варяг в греки — не гнушался Испанией, Венецией, Гамлетом, Офелией, Фаустом?

— Еще бы Врубель! — грозно произносит Шпаде.

— Оставим их, — соглашается Кадырбай, — а современный художник Чуйков, — какая русская фамилия! — передал Восток?

И, примирительно подмигивая, говорит, обращаясь к Савицкому:

— Ладно. Ты так здорово объяснил мне все про орнамент, про символику, про часть вместо целого. А как мне теперь, возрождая прикладное искусство, быть со средневековым религиозным запретом — не изображать одушевленное?

— Но условность в прикладном искусстве очень уместна. И плоскостность в ковре куда лучше, чем объемные портреты и «реалистические» пейзажи, — возражает Шпаде. — А чисто декоративный эффект воспринимает и современный зритель, ничего не зная о запретах и символах.

— Еще бы! — соглашается Кадырбай. — Но старую «сыргу» школьники принимают за новогоднюю елку?! На этом и помиримся, надо осваивать колорит, архитектуру каракалпакских вещей. Только шире. И в живописи, и в архитектуре, и в монументально-декоративном искусстве. И в новом материале — тоже.

Настроение у Савицкого стремительно поднимается. Новый макет ковра, который они делают теперь вдвоем со Шпаде, не в пример лучше прежних. Что-то уловили они и от каракалпакской золотистости. От ритма и уютиности моих любимых дворишков, улочек, ребятишек, индюшек.

Чтобы поменьше пререкаться, они работают по очереди. Игорь Витальевич только что выстоял у макета свою смену.

— Хорошо бы мне закатиться на Новый год в кишлак. Пособирал бы... — мечтательно говорит Савицкий, шагая через городскую площадь.

Я ничего не отвечаю, потому что холодно и потому что прохожие несут маленькие елочки, а если вдохнуть как следует запах хвои — будто дома побываешь...

— Откуда их берут?

— Елочки-то? — оглядывается Савицкий. — Привозят из России. Через Дарью сейчас ни пешком, ни паромом до станции не доберешься. На самолетах, что ли? Потому они и маленькие такие. Красивый все-таки праздник! Э! — вдруг останавливается он. — Что они там безобразят?

Перед зданием Совета Министров, в центре площади, в окружении толпы два парня копают яму.

— Телеграфную линию проводят? Или электричество? Ну как у людей ни вкуса, ни соображения... Самая красивая наша площадь!

Гневные морщины на лице Савицкого вдруг разглаживаются, брови поползли вверх, а рот приоткрылся...

— Что это, а?

Повернувшись соответственно указательному пальцу

Игоря Витальевича, я увидела, что столб уже установлен, а у самой верхушки его, под одобрительные возгласы нукусов, верхолаз закреплял зеленую еловую лапищу!

— Давай, давай! — вопил он кому-то вниз и подтягивал на веревочной петле вторую такую же лапищу.

Внизу стояла разномастная, разноликая, разноголосая толпа. Были в ней и бородатые деды в тулупах и тюльпках, оживленные, как малые ребята, и старушки, и молодые женщины, и солидные граждане в серых каракулевых воротниках, и модные дамы в синтетических шубках, и ребята — видимо-невидимо!

Какой-то парень, отбиваясь от добровольцев-помощников, проверял электропроводку с цветными лампочками. На грузовой машине две женщины распаковывали тюки. Каждая вскрытая коробка встречалась гулом восторга. Вороха канители, бусы, хлопушки, флажки, маски, звери, птицы, рыбы, спутники, — их оказалось две дюжины!

А сколько аханья, смеха, шуток выпало на долю важно-го аксакала — дедушки-мороза верхом на верблюде — и ко-соглазеньких снегурочек!

...У нас давно промокли, а потом и промерзли ноги, посинели лица, но мы не могли уйти с площади. За каких-нибудь два часа, разом отвечая на наши вопросы о новых обычаях и праздниках, о традициях и современности, о судьбах искусства и о многом-многом еще, на наших глазах све-жеобструганный телеграфный столб превратился в праздничную новогоднюю елку! Она сверкала убором, сияла разноцветными огнями, манила добрыми сюрпризами, неожиданными дарами, исполнением желаний — таинственная волшебная красавица, очень уместная на фоне каракалпакской зимы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Славная рожица солнца подмигивает мне с торца соседнего дома: «Держись!» Вечером, когда вспыхнет электричество, дом станет кружевным, просвечивая сквозь узорные решетки лоджий всем теплом, многообразием человеческого бытия.

Мне хотелось спать в лоджии, чтобы над головой светились звезды, а под боком — панорама далеко раскинувшегося города. Но лоджия занята другими гостями. Как всегда, в квартире Савицкого — «терем-теремок». «Кто в тереме живет?» — он и сам не знает, возвращаясь из поездок. Так было в Москве, на Гоголевском бульваре, в скромном домике на окраине Нукуса. Таков обычай и в новой квартире нового высотного дома. В том же Нукусе. Нет, не в том же. Нукус теперь совсем другой. Многоэтажный, разросшийся, с громадами общественных зданий, нарядный, элегантный — Нукус Мраморный. Когда-то, путешествуя с археологами в горах, мы любовались выходами мраморных пород. Среди монотонных скал сверкающие цветные мраморы — голубые, охристые, розовые, всех оттенков серого — казались какой-то фантастической живописью. Попадались нам и граниты, и черный, очень редкий. Мы толковали о том, что даже природа соблюдает гармоничный, приветливый, мягкий колорит, свойственный местному прикладному искусству, естественно отражающему дух самого народа. И мечтали как о чем-то очень далеком: вот если бы пустить этот камень на отделку зданий, интерьеров! Глаз не успевал привыкать — с такой быстротой преображался облик города. Совершенно изменились его масштабы. Возникали новые жилые кварталы, районы. Выросла громада театра. В его оформление строители вложили все, что могли дать родные горы. Появился просторный, обильно застекленный аэропорт. Поднялись гостиницы, универмаг, кинотеатры, вокзал (к Нукусу подошла железная дорога) и примыкающий к нему квартал крупных жилых домов, новые постройки больниц, института, университета, многочисленных учреждений, тех, что раньше ютились в маленьких домиках, и тех, что родились-то совсем недавно. Переоформили центральную

городскую площадь, на которую выходят здания Совета Министров и обкома.

Традиционное для Востока вертикальное членение глухих стен пилястрами, в современной постройке повторенное светозащитными полосами вдоль окон во всю многоэтажную высоту, как и узорные решетки, придают простейшим геометрическим объемам благородную легкость, живописность. Ведь самая современная архитектура! А где-то в памяти откликаются ей пахсовые дворцы древности.

Даже давно знакомые дома, улицы — переделались, штукатурку стен сменив на серебристую мраморную крошку на цементе. Светло-серая, шероховатая — нескучная по самой фактуре поверхность, да еще оживленная прошивками орнамента, выполненного цветной плиткой, правнучкой знаменитых восточных поливных изразцов, — эта одежда не только нарядна, но и практична: легко моется, не требует ежегодной побелки и покраски. Мрамором облицованы входы, колонны, карнизы. И — вестибулы, лестницы.

Город получился не таким, каким мы его воображали. Но в чем-то интереснее, неожиданнее. Можно, конечно, найти, к чему придраться. Мраморная облицовка неизмеримо выразительнее там, где она тщательно подобрана по узору. Тогда уж мрамор выдает всю колдовскую силу.

Одна наша общая мечта осталась невоплощенной. С IX—X веков использовали строители Средней Азии цветное стекло в ганчевых решетках. Сейчас наши советские художники Востока, побывав в европейских странах, признаются, что прославленные витражи Реймского, Шартрского, Святого Марка соборов напоминают им... родное сюзане, ковер.

Есть опора, есть традиции, материалы, целесообразность, но нет, пока еще нет витражей. Но, может, мы еще увидим их — все впереди. Сегодняшний Нукус — такой же приветливый, скромный, гармоничный. Веселое у него лицо. Он как подросший птенец, сменивший нежную опушку на упругие перья крыльев, готовых к полету. А небо над Нукусом осталось тем же волшебным, с реянием серебряных стрел в воздухе.

Вот уже сколько дней преследуют меня строчки Блока:

И звенели, спадая, запястья
Громче, чем в моей нищей мечте...

Не крытый рынок, по которому, вождедея, бродил когда-то Игорь Витальевич, а весь верхний этаж бывшего здания Филнала (он переехал в новое) занимает Каракалпакский

государственный Музей искусств. Сейчас никто не представляет, что этого музея могло не быть, что недавно его не было в помине. Нечему удивляться — таковы законы жизни. Дело, которому необходимо свершиться, находит своего исполнителя. В заботах о будущем необходимой стала народам Средней Азии память о прошлом, история своей земли, и поднялась когорта замечательных советских ученых-археологов, этнографов. Для Хорезма, Каракалпакии таким был Сергей Павлович Толстов и созданная им экспедиция.

Для рождения нового искусства необходим был Каракалпакии Музей искусств, и появился в Нукусе «странный человек», как тогда называли Савицкого. Сейчас рождается еще одна легенда. Мне рассказывали ее в Нукусе: «Однажды приехал Толстов к нам в Каракалпакию и привез из Москвы подарок — художника. Худенький, в чем душа держится. Толстов сказал: «Я его оставляю вам, он сделает для вас Музей искусств. Не смотрите, что он тощий, это — лев».

И не так все это было и так — на самом деле. Толстов помог многим найти свое место в жизни. Он открыл Савицкому гигантские три пустыни: Кара-кум, Кызыл-кум, Усть-урт, трагизм и поэзию ушедших цивилизаций — во плоти, зримо, осязаемо — величавые останки дворцов и замков, шедевры живописи, скульптуры, керамики — искусства, созданного многими народами за три тысячелетия. И не просто открыл, он еще дал вкусить Савицкому ни с чем не сравнимую радость первооткрывательства и воссоздания жизни.

Поездки с этнографами ввели его в мир ценностей народного творчества, в котором сплелась память о великих культурах прошлого с простой мудростью сегодняшнего бытия. Но история каракалпаков — до революции бесписьменного народа — на глазах у всех рванулась вперед таким могучим скачком, что и быт, и его художественные ценности, сложившиеся вкусы, критерии, потребности таяли, чтобы превратиться в нечто новое, еще неведомое. В мощном потоке новой жизни могли безвозвратно утонуть все эти казавшиеся нерукотворными вышивки, коврики, чудеса пластики — серебро с сердоликами, тяжеловесное, обильное, ненужное современным каракалпакским женщинам — врачам, учительницам, комбайнершам, трактористкам, так же как интерьеру городской квартиры со всеми удобствами не нужны были неповоротливые сандыки с самобытной резьбой... Надо было срочно хватать еще сущее, предметное, чтобы было потом из чего возрождать великие ценности — в иных масштабах — искусству современному и будущему.

Игорь Витальевич и взял на себя роль «неотложки»,

«скорой помощи». Он весь состоял из преданности искусству. Эту преданность укрепляли и развивали его учителя, выдающиеся художники, такие, как Ульянов, Фальк...

А собственное, личное прозрение — любовь к Средней Азии, Востоку — заложена была самой судьбой, эпохой, грандиозной битвой народов за гуманизм, Великой Отечественной войной, дыхание которой так же остро, как и во всех уголках нашей Земли, ощущалось в каменных худжрах Регистана, в Самарканде, где отогревала, кормила, выхаживала Средняя Азия эвакуированных студентов Московского художественного института имени Сурикова.

Еот и потянуло Савицкого на Восток, как только кончил он институт, уже в Москве, в пятидесятом году.

Мощное магнитное поле, создававшееся вокруг Толстова, обаяние его личности, пример его действенной жизни заземлили мечту Савицкого, научили бороться за нее до последнего вздоха. Хватит сил, не хватит — это выяснится потом, важно идти к цели, если в нее веришь. Он и шел, и его не могли остановить ни землетрясение (в Ташкенте, когда он спасал работы из мастерской Уфимцева), ни бешеные собаки (от которых попрятались жители поселка, где он собирал резные филенки дверей), ни разливы Аму-Дарьи и, уж конечно, ни трудности быта, ни травмы позвоночника (когда он надорвался под тяжестью керамического очажка XII века). Он набирал и терял кадры, расходился и сходился с единомышленниками, ссорился с людьми и мирился...

Но во всем главном, во всем благородном его поддерживали неизменно в Москве, Ленинграде, Ташкенте. И, конечно, прежде всего в самом Нукусе. Обком, министерства, филкал, местные ученые и художники, просто жители Каракалпакии — от директоров трестов, председателей колхозов до пожарных, почтальонов, ночного сторожа.

Местные художники были все «новорожденные», и многие родились благодаря Савицкому — народные мастера деревянной скульптуры, самобытные живописцы-любители. Вокруг Савицкого создавалась особая атмосфера, в которой творческие возможности, талант находили опору и разворачивались полным ходом.

Не обошлось без тяжких потерь. До сих пор оплакивает Каракалпакия своего чудесного сына — молодого художника Кадырбая Саипова. Умница, талантливый, удивительно благородства, тонкости душевной, скромный, красивый, необыкновенно красивый во всех отношениях человек — будущее Каракалпакии. Заслуженный деятель искусств республики, лауреат премий, главный художник театра, ор-

ганизатор местного союза художников. Он погиб в случайной катастрофе.

Не обошлось без срывов со здоровьем самого Савицкого, что неизбежно должно было случиться при таком перенапряжении всех душевных и физических сил. Но одержимого человека нельзя ни ограничить, ни вразумить.

Музей давно стал гордостью Нукуса. Его фонды и экспозиции расширились, пополнились живописью, скульптурой крупнейших советских мастеров. Возникли новые разделы: археологии, где представлено искусство древнего и средневекового Хорезма; европейского искусства — из экспонатов, подаренных Надей Леже, — превосходных копий шедевров мирового искусства, хранящихся во Франции. Ведь все его залы живописью, скульптурой, пластикой, всеми доступными искусству средствами выражают прекрасную сущность дружбы народов. Нукусский музей знают в Москве, в Ленинграде, во многих городах земли нашей и знают за рубежом. Современные художники добиваются чести быть выставленными в его залах. На его сокровищах воспитываются новые поколения. Он продолжает расти.

Ему стало тесно в стенах бывшего филиала. Уже заложен фундамент нового помещения, прекрасного Дворца искусств из розового мрамора. И опять будет ругаться, возмущаться, радоваться, суетиться, перекладывать мраморные плиты своими руками Савицкий, требовать, настаивать и — побеждать. В Совете Министров в этом году мне твердо сказали, что через два года новое здание музея будет построено.

А хорошо, что жизнь такая трудная.

...В этой комнате, где я пишу, есть книжный шкаф, и я пишу на его полках элегантные темно-синие большеформатные, с тисненым хорезмийским всадником на переплете, «Труды» и «Материалы» Хорезмской экспедиции. Книги — это тоже города, с закоулками, перекрестками, ристалищами, районами новостроек и широкими проспектами. Тут не только темно-синие тома, но и разнокалиберные сборники статей, периодические издания, монографии, научно-популярные книги археологов и этнографов. Ставшие классическими: «Древний Хорезм», «По следам древнехорезмийской цивилизации», «По древним руслам Окса и Яксарта». Книги, выпущенные при жизни Сергея Павловича, и написанные и изданные уже без него. За прошедшие годы столько раскопано памятников, столько поставлено и решено и еще более — выдвинуто новых проблем и Хорезмской и другими экспедициями Ленинграда, Москвы, Среднеазиатских республик. Один перечень проблем не уместился бы на этих

страницах. И как ни соблазнительно углубиться в изложение любой из них, рассказать о столкновении мнений, приводящих к научным выводам, — это для других книг. И может быть — для других авторов, самих археологов. А я лишь вспоминаю свою многолетнюю встречу с замечательным человеком, Сергеем Павловичем Толстовым, побудившую меня многое в мире увидеть новыми глазами.

Что-то неизбежно уточнилось под наплывом новых фактов, нового материала, что-то стало вновь или продолжает быть дискуссионным из того, что Толстов считал решенным. Но это и есть жизнь науки. Удивительнее, что в книге Толстова «Древний Хорезм», изданной в 1948 году — после четырех первых лет работы экспедиции, «...на скудном по нынешним меркам археологическом материале, но с использованием всех остальных исторических источников была дана периодизация истории Хорезма от эпохи неолита до средневековья, с некоторыми коррективами действующая и поныне, — пишет доктор исторических наук Марьяна Александровна Итина, ставшая после Толстова начальником Хорезмской экспедиции. — ...В этой книге оказались фактически заложенными основные направления, по которым развивается археология Хорезма в наши дни».

Весь мир волнуют сейчас проблемы экологии. Человек и Земля! Человек, живущий не «на планете», но «вместе с планетой». Пересматриваются, изучаются многие проблемы в истории Земли в свете антропогенного фактора. Изучение истории Земли необходимо для решения насущных проблем современности и прогнозирования будущего. Остро волнуют судьбы аридной зоны, как самой производительной, плодородной. Вопросы изменения течения рек; увлажнения климата; появления и исчезновения водоемов, колебания их уровня; запустынивания земель. На их решение направлены совместные усилия географов, климатологов, гидрологов, геологов, ботаников, почвоведов. Значительная роль принадлежит археологии. В особенности там, где нет данных для радиоуглеродного анализа, не хватает для спорово-пыльцевого, — датирующий материал археологов выручает.

Всю жизнь Сергей Павлович Толстов спорил с учеными, выдвигавшими теорию «прогрессивного усыхания Средней Азии» — фатального, как не забывал он добавлять. Потому он и сосредоточил столько сил, своих и всей Хорезмской экспедиции в союзе с учеными смежных специальностей — географами, на изучении ирригации в ее динамике, на истории течения двух крупнейших рек — Аму- и Сыр-Дарьи. «Было бы, конечно, ошибкой или упрощением вопроса игно-

рировать естественно-исторические факторы в процессе за-
пустения этих земель. Процесс засоления, процесс раз-
мыва периферических частей культурных земель — наступ-
ление песков — усиливает действие социально-исторических
факторов... но первопричиной этих процессов являются не-
сомненно социально-исторические факторы». Такие выводы
«вооружают нас в борьбе за новое освоение этих земель», —
писал он в сорок восьмом году¹. Самым грозным, разру-
шительным фактором, превратившим плодородные земли
в пустыни, как доказал Толстов, были войны.

Многие археологи сейчас — после многолетних исследо-
ваний разных районов Средней Азии — пришли к выводу,
что существенных изменений климатических за историче-
ский период здесь не происходило. Хотя и не все соглаша-
ются с этим, и споры, и исследования продолжаются. Нап-
более удаленные во времени ранние этапы истории чело-
века — каменный и бронзовый века — особенно важны для
решения экологических проблем. «Лявляканский плюви-
ал» — открытие Хорезмской экспедиции (А. Виноградов),
совместное с геологами, почвоведом Ташкента, — сдвиг-
ает последний период значительного увлажнения к треть-
ему тысячелетию до нашей эры — к каменному веку. К та-
кому выводу пришли ученые после исследований внутрен-
них Кызыл-кумов, районов бывших пресных, бессточных
Лявляканских озер. История Арала с его трансгрессиями
и регрессиями восстанавливалась также при активном уча-
стии археологов. С этим связана вся разносторонняя работа
археологов по изучению течения рек, ирригации, пита-
вшейся от этих рек, памятников, сохранившихся в их зоне
(А. С. Кесь — Институт географии АН СССР; Виногра-
дов Б. В., Итина М. А. и другие сотрудники Хорезмской
экспедиции). Выводы, к которым они пришли, уточняют и
развивают идеи, высказанные Толстовым. За исторический
период колебания уровня Арала определялись главным
образом изменением течением рек, а не глобальными изме-
нениями климата.

Хорезмская экспедиция помогала Союзводпроекту раз-
рабатывать планы переброски части стока сибирских рек
в засушливые районы Средней Азии. Сергей Павлович
был болен. Эту работу с 1971 по 1975 год проводили его
соратники и ученики — Кесь, Итина, Андрианов — вместе
с другими учеными. Всей своей деятельностью, накоп-
ленным опытом, выработанной методикой, широтой охвата
комплексных исследований экспедиция была подготовлена,

¹ «Древний Хорезм».

нацелена на решение таких ответственных деловых, народнохозяйственных задач, устремленных в будущее, в новое тысячелетие. Конечно, итог проведенных Хорезмской экспедицией исследований — не только новые страницы истории степных племен, полукучевых и кочевых народов периферии Хорезма, но и точная характеристика земельных и водных ресурсов в исторической динамике, детальное картографирование почв, рельефа и практическая рекомендация оптимального использования района как для водных трасс, так и для земледелия и скотоводства.

Ведь уже в последней своей книге «По древним руслу Окса и Яксарта» Толстов не только подытожил археологические и этнографические исследования, захватившие как раз и этот район, но и доказывал необходимость возродить в районах низовьев Сыр-Дарьи орошаемое земледелие.

А рекомендации Толстова уже были испытаны, проведены в трудные военные годы, когда вручную шла народная стройка, копались каналы Кырк-кыз и Раушан.

С некоторым изумлением я вдруг поняла, чем стала для меня эта Страна. Мне правильнее было бы называть ее Дорогой. Может быть, и каждая страна — Дорога? Дорога к счастью или к беде. К потерям и находкам.

Я ехала в колхоз, где не была двадцать лет. С нечаянной грустью, которая охватывает, если оглядываешься назад, вспоминая тех, кого не стало, кто был тебе дорог и понятен совместно пережитыми днями, заботами, отметинами времени. Ведь эти края были и мне родными, и многому я там научилась. Они еще полны для меня тех человеческих судеб, проблем, тех голосов — со всеми интонациями, с которыми произносилось мое имя, вернее, отчество, — оно понятней было моим тюркским друзьям: «Исмаиловна». И они слиты со всеми особенностями природы: светом и тенями; громадностью пространств и раскаленностью пустыни вокруг оазиса; неистовостью оранжевых закатов, когда остывающие махры следов на морщинистых песках затягиваются синевой; с одушевленной теплотой пахсовых стен кишлака; массивной зеленью карагачей и — латаной тополиной; лёссовой пылью дорог, которая так тонка, что сочится словно вода между пальцев в тапочки, — как кипятки — днем, с колодезным холодком — после заката, когда умолкают горlinks. И с тем молодым отсутствием усталости и жажды нового.

Я беспокоилась: узнаю ли я своих друзей, кто жив и здравствует, но постарел на двадцать лет? Узнают ли, вспомнят ли они меня?

Большая многолетняя дружба связывала Толстова с председателем Якубом Иломановым, Хорезмскую экспедицию с туркменским колхозом «Ленинизм». Сколько они нас выручали. Бывали у нас в гостях, и мы у них. Не ящик винограда, но озеро привел к нам в пустыню на Кой-крылган Иломанов. И как мы счастливы были: мелководное озеро на обширных пространствах задуманных хлопковых полей — сразу обжитое чайками, чибисами, цаплями, перелетными журавлиными стаями. Оно ограждало нас от изнурительных многодневных песчаных буранов, давало полный отдых в часы сиесты, — а ведь мы не прекращали работ в самые убийственные по зною дни. Пресная вода, которую можно было использовать на все хозяйственные нужды. И пить, не считая, сколько хочешь.

Колхоз и тогда был передовым, сильнейшим в Каракалпакии, постоянным участником ВСВХ (ВДНХ). Первым или одним из первых справлялся с посевной и уборочной никогда не требовал помощи горожан, люди на полях работали с предельной нагрузкой, каждая пара рук — на счету, и все же когда у нас была очень трудная пора — присылали к нам старших школьников на раскопы. О, у этих ребят была сноровка, выдержка, выносливость настоящих тружеников. А их серьезность, смывленность и заинтересованность радовали сотрудников, и Сергея Павловича — особенно! Весь колхоз помогал нам в поисках нашего доктора, заблудившегося в песках. Вызванные из города летчики проутожили пустыню безрезультатно. Но нашел его все-таки местный охотник с собачкой. Выручили Сергея Павловича колхозники, когда в одном из авиамаршрутов самолет неудачно приземлился, задев бархан и поломав шасси. Они первыми узнали об этом и помчались на помощь. Мы-то в отряде ничего и не подозревали. Волновался, не спал в ту ночь Иломанов, сидел у телефона, пока не доставили Толстова и всех маршрутников и летчика живыми и невредимыми в дом к Иломановым. Об этом колхозе, о Герое Труда Иломанове печатались статьи в газетах, выпускались брошюры. Но Сергей Павлович очень хотел собрать и издать обстоятельную книгу по истории колхоза. И маленький отряд этнографов Хорезмской экспедиции жил в колхозе месяцами в течение нескольких лет, собирая материалы. В те годы проводилось укрупнение колхозов. С колхозом «Ленинизм» слился такой же мощный передовой туркменский колхоз имени Горького. Его председатель Герой Труда Дурдыев стал руководителем объединенного огромного хозяйства. Их земли соединили впритык, их объединяли об-

щие дороги, сторонний человек и не различил бы между ними границы.

Стояла необычно холодная промозглая весна. Пересевали хлопок. Шелковичных червей роздали по домам, чтобы обеспечить необходимые им двадцать пять — двадцать семь градусов тепла. И мне казалось, что повсюду в домах тикают какие-то странные часы, а это работали неутомимые челюсти шелкопряда. И тутовины вдоль дорог, обрезанные во второй, в третий раз, превращались в маленьких уродцев и напоминали буквы древнехорезмийского алфавита. Но каким бы напряженным ни был рабочий ритм в эту трудную весну, как ни уставали люди, а все же любые двери были открыты нам, и сколько душевных бесед, с юмором, с шуткой, выпало на нашу долю. Прямота, откровенность — удел характеров сильных и гордых. Никто не считал, что жизнь легкая, безоблачная, да никто и не требовал этого от жизни. С нами обсуждались все самые острые, злободневные вопросы: закупочные цены на хлопок, льготы для новоселов, осваивающих пустыню. Люди делились своими заботами, бедами, радостями, надеждами. Очень разные характеры, не без драматических поворотов и столкновений в жизни каждого и в общей судьбе. Но они никогда не сдавались — умные, талантливые, яркие люди. Иногда мне казалось, что я перелистываю страницы исторической эпопеи, многоплановой, сложной, с отдельными главами — семейными хрониками, с острыми конфликтами, со страстями и ошибками, — но все это сливалось в единый мощный поток истории народа, его борьбы за новую жизнь.

Интереснейшие беседы протекали у нас с Иломановым по вечерам на айване его дома. Он напоминал мне какими-то чертами нашего шефа. Иломанов мог быть и жестким, требовательным, резким, но, когда он вспоминал, размышлял, а не командовал, в его рассказах было столько сострадания, боли и нежности, гордости, порожденных глубоким пониманием судеб и нужд своего народа. «Здесь бархан был, где наш дом стоит». Девочка принесла нам чайник, бочком прибилась к отцовскому плечу, исподлобья поглядывая на меня. «Она у меня сиротой осталась, совсем маленькая была, когда ее мама умерла... Теперь у нас молодежь крепкая, здоровая подрастает. Среди старшего поколения много было туберкулезных». Он вспоминал, как тяжко было людям во время войны, как необходимо было увеличивать поставки, канал копать руками, стронть железную дорогу. Насыпь сооружали сорокапятиметровой высоты — «самый трудный участок нам дали — потому что мы сильный колхоз». «Жили в землянках, мы с женой тоже там жили. Ма-

шин не было, машины на фронт ушли. И мужчины на фронт ушли. Из наших мест девяносто три человека. Девятнадцать человек на Ленинградский фронт отправили. Сражались на Волховском направлении. А мы триста эвакуированных с Украины приняли. Жили они все вместе, работали своей бригадой, все больше женщины с детьми. Хорошо работали, хотя раньше хлопка не знали. Не жаловались. Не плакали. Бахчи разводили. Когда в сорок третьем году, осенью, радио сообщило, что мы Киев взяли, тогда все заплакали. В голос. И наши вместе с ними.

... А в тридцатые годы к нам в район рабочих-двадцатипяти тысячников из Ленинграда присылали — помогать в организации колхозов».

Мы жили в здании школы — и всегда у нас бывал народ, приглашенные посетители и «внеплановые».

Приходил старик с серпом, невысокий, хрупкого, изящного сложения, и останавливался у порога. Его тонкое интеллигентное лицо в непрерывной смене оттенков какого-то душевного смутения: деликатности, необходимости высказаться, боязни быть непонятым, — поразило нас. Он знал несколько восточных языков. Но по-русски произносил только одну длинную фразу, неузнаваемо на тюркский лад. Не расставаясь с серпом, он взял карандаш и не справа налево, как привык, а по-нашему, слева направо, стал выводить печатными буквами: «В семь часов вечера на станции К., на границе, погиб...» — тут он остановился, показал на себя, и такая мука отражалась в его глазах, что мы поняли: погиб его сын. Остальное мы узнали через переводчика: что колхоз собрал деньги, послал его в ту часть, где служил пограничником сын. Лететь надо было очень далеко. Но он человек старый и хотел соблюсти обычай предков — похоронить сына в той земле, где родился, — значит, надо было перевезти гроб с телом в аул. Он увидел, какая большая земля, сколько в ней лесов и воды. Он думал, никогда не долетит. Его встретили так тепло, столько уважения проявили к нему и к его погибшему сыну, что он понял: сын его жил по другим законам, и они ему были дороже обычаев старины, раз он отдал за них жизнь. И потому старик разрешил похоронить сына в военной части со всеми неизвестными ему раньше военными почестями, которых в ауле никто воздать не сумел бы, «ни один мулла». Он был очень стеснителен — этот старик, и все же, возвращаясь с работы, обязательно заходил к нам, как к ближайшим друзьям сына, почти своим родичам. Он сидел немо, вопрошающе приглядываясь к нам: не оттолкнем ли мы его? Не обманем ли? Стоим ли мы такой жертвы? Он хотел, чтобы стояли.

Мы были у него в гостях. Иломанов уговорил его взять сироту-девочку на воспитание. Сын был поздним, единственным, внуков ждать не от кого. Старик остался бы совсем одиноким, если бы не маленькая веселая девчушка.

Поначалу казался нам легким, беззаботным человеком наш сосед и частый гость А—в, любивший посмеяться, повеселиться в застолье и почему-то носивший иную фамилию, чем его младшие единокровные братья. Не так все просто: он был старшим сыном, он был гордым человеком, имеющим и свою волю и свое мнение, и в трагическое для семьи время отказался менять фамилию, не захотел отречься от отца.

Нам пришлось выслушать исповедь очень милого, умного человека, который с таким искренним уважением отзывался о Назаре, сумевшем защитить свою жену, семью от раздоров, от власти старых обычаев. «Хоть и шофер. А я, образованный, передовой, можно сказать, человек, не отстоял девушку, которую любил, женился по сватовству, а не по любви. И расплачивался за это. Хорошо бы один, а то ведь двое страдают, и еще детям расти в семье без любви, без лада». Нам приходилось слушать истории бытовые, но поучительные одного нашего друга: «Во всем себе отказывал отец ради меня, выучил, в Ашхабад посылал на пять лет. А вот стал я приходить домой выпивший... Так отец... ну, молчал отец. Но как молчал? Не видел меня, отворачивался. А потом — тоже молчал, но во дворе яму выкопал. Соломы нарезал, глины намесил, стал стену закладывать — наглухо отгораживать меня. Чтобы и духу моего не чуют. Мы же в одном доме жили. Если б ругался, гнал, проклял — меня этим не возьмешь, у нас характеры крепкие у обоих. А тут проняло. Сломал я стену-то. И помирились, бросил я выпивать. Только по большим праздникам. Это разрешается. У нас Иломанов и не пил и нам не велел, а один раз и он нарушил свой запрет — сам рассказывал — на приеме в Кремле, когда орден ему давали.

Самым близким другом нашим был Назар Джуманиязов, шофер колхоза. Он заботился о нас, будто мы к нему лично в гости приехали. Большой доброты человек. И ум у него особенный — сердечный, и широта понимания жизни, и естественное поэтическое восприятие мира. Прошел солдатом не только Россию, но и часть Европы, всего натерпелся, всего насмотрелся, а уж порассказать умел так, что и мурашки страхолютые пробирали, и смех. Мы записывали его рассказы о войне, о семье, об обычаях местных, старых и новых. Записывали с его слов легенды, притчи, поговорки, сказки, приговоры, привороты, истории про парханов. И про

пари¹ — вот уж о ком он знал всю подноготную. И как вызывать, и как от них оберечься, чтобы зла не сотворили, и как их заставить служить себе, и какие они проделки устраивают. Назаровские пари были все с поровом, озорные, и напоминали мне знакомцев моего детства — деревенских шишков (чертей), леших, домовых Псковщины, которых сочиняли люди, дружившие с лесом, полем, любившие свою избу, уважавшие свою скотину.

— ...А что, Исмаиловна, а не проходила ты сегодня мимо аулни (могилы) с белым флагом? А ничего такого не заметила? — Более опытные слушатели Назара с преувеличенной тревогой покачивают головами. — А козел там тебе пестрый не повстречался? Неладно твое дело. Непростой это козел, и не козел он вовсе, меня один раз так путал, что я и ворот своих не нашел, хоть и рядом, вот он, дом-то... А пари ты не бойся, они тебя не тронут, они запаха табака не любят, а ты куришь...

Иногда, чтобы «расстрашить», он начинал тоненьким бабьим голосом петь тягучие украинские песни.

— Эх, как Татьяна моя пела под гитару, и плясала здорово. Меня бойцы в лесу на поляне три дня обучали, чтобы с нею сплясать мог.

— А ты сам-то когда-нибудь ворожил у пархана?

— Обязательно ворожил. У вас на Украине тоже парханы сильные есть. Я одному такому старику рубашку вышитую подарил. «Приворожи мне вот ту татарку-офицантку, очень она мне понравилась». — «Жилетку еще купи. Ее трудно ворожить. Конкуренция большая». Купил. Очень помогло. Все было, как я хотел. Немного времени прошло — разоправилась она мне. А она привыкла, не отпускает.

— Небось бросил и не оглянулся.

— Не-ет, я две рубашки вышитые купил, опять к тому старику пошел. «Отворожи! Чтобы не страдала». Мне женщину нельзя обидеть, я сильный, большой, она маленькая, слабая. Он шумел, недовольный был, ну согласился: «Попробую». Вроде и во второй раз получилось. Расстались по-доброму.

— Слушай-ка, Назар, а Таню ты как же, привораживал? Он молчит. Обиженно дышит.

— Таню мою не приворожишь, не отворожишь... А знаешь, что самое трудное было для меня с Таней? Свадьбу играть. У нас на невесту глаз поднять нельзя, за занавеской сидит. Я сказал всем: свадьбу играть буду, угощение будет,

¹ Пари — джинны.

гостей — всю роту, всю родню ее позову, но чтобы «горько» не кричали. Пообещали: «Не будем». Как за стол сели, самые мои дружки верные, и ротный командир, и вся ее родня: «Горько! Горько!» Веришь, рубашка на мне новая взмокла, хоть отжимай. Я их упрекаю: обещали, присягу давали. А они: «Горько!» Одна Таня меня только и пожалела, сама поцеловала. Я бы ни за что не решился... Открою тебе, Исмаиловна, я давно, еще когда воевал, понял: женщина сильнее мужчины.

— Ну уж, мужчины-то на фронте как раз всю тяжесть... И в атаку, и на КП.

— Женщины тоже в атаку ходили как раз. И командовать умели. Да я не про то. Женщина без мужчины прожить может. Сколько вот женщин живет одиноких, и работают, и детишек растят, а кто и совсем без детишек. А мужчина без женщины не проживет. Кто б я был без Татьяны?..

Я знала, что Таню я не увижу. И не увижу Иломанова и того старика, похоронившего сына на Дальнем Востоке...

В нашем веке нет дальних стран. Самая дальняя — Страна Воспоминаний. Но и она достижима, если заполнена людьми, событиями, дорогими тебе и другим — тоже молодым, с которыми можно посидеть, поговорить... И они вернутся, прожитые дни и люди, которые оставили по себе добрый след, кого чтут и уважают сегодняшние молодые. Не самые молодые, а как раз такие, какими мы себя вспоминать предпочитаем. Но у жизни всегда в запасе неожиданности. Еще из машины я увидела возле конторы всех тех, кого вспоминала в дороге: и Назара, и Якуба Иломанова. И почему-то они стали моложе, чем были двадцать лет назад: морщин поубавилось, плечи поправились. Вот так да! Это же их сыновья. Такой же светлоголовый с усмешливой коротковатой верхней губой над мелкими, как у мыша, зубами старший сын Назара — Назар-маленький, и даже головой так же мотает, будто от мух отмахивается — от непонятных моих вопросов. Большеглазый, с тяжелыми веками сын Иломанова. Ну если уж очень приглядеться — можно и отличия обнаружить. Резвее они как-то, свободнее держатся. Как молодые кони, которым возы полегче достались и можно их возить играючи.

А контора... Ну, контора-то новая достраивается, это дворец, облицованный мрамором. Полы с инкрустацией из ценных пород дерева. Большие окна. Я понимала, что приезжаю в самую горячую пору уборочной, когда грех у людей время отнимать. Но именно там, где люди работают с полной нагрузкой, в боевом темпе, тебя встретят без про-

волочек, найдут и транспорт, и время, и возможность побеседовать, хотя бы коротко, между делами другими. Этот стиль я хорошо знаю, он свойствен людям, для которых естественное состояние — работа, труд огромный и огромная ответственность.

С шестьдесят девятого года во главе объединенного колхоза имени Горького встал человек большого организационного опыта, не только с высшим образованием, но с ученой степенью кандидата исторических наук, Орынбай Матнепесов. Он кончал Ашхабадский университет, Высшую партийную школу в Москве, работал секретарем райкома, председателем райсовета. Четырнадцать тысяч человек жили и трудились под его руководством, оттесняя пустыню. Территория заново орошаемых земель перекрывает уже все земли древнего орошения в этих районах. Сейчас, в связи с продолжающимся ростом населения и освоения пустыни, эти земли расчленили на три совхоза. Ядро, составлявшее колхоз «Ленинизм», восстановило свое прежнее наименование. Но и теперь это большое хозяйство — пять тысяч человек, пятьсот десять семейств, а в годы наших первых встреч их было двести пятьдесят.

Это уже совсем новые страницы истории колхоза. Мы проехали по асфальтовой дороге до Джанбас-калы, античной крепости, которая была окружена труднопроходимыми песками еще недавно. Античная крепость Эрес-кала в те годы, когда мы жили в колхозе, была «пограничным пунктом». Здесь стоял последний дом колхоза, здесь, на окраине, закладывались «сады будущего», сады семилетки, и яблоньки только-только подымались. А за Эрес-калой простиралась пустыня. Теперь это как раз середина совхоза «Ленинизм» и середина канала, подающего воду на новые поля.

На все теперь надо было смотреть «наоборот» — не так, как это записано в моей памяти: «Среди барханов на горизонте возвышается афригидская крепость с поздним названием «Обкаканная воронами». Около Карга-тышкан расположена четвертая бригада. Переселились целым аулом с территории, затопленной Тюя-муюнским водохранилищем, около трехсот человек — сорок хозяйств. Есть там у них и школа-восьмилетка, и детсадик, электричество, телефон, дома газифицированы. Кирпичный цех, очень нужный безергенцам...»

— Безергенский аул? Мы в нем голосовали. Выборы в Верховный Совет застали археологические отряды Хорезмской экспедиции в пустыне. Мы копали памятники античности и средневековья — в зоне будущего затопления. Очень

красивое старинное кладбище было на городище. С синими поющими саксаулами. Они никогда не молчали. Пели громко или тихо или перешептывались между собой.

— Кладбище Мешекли. Там Аму-Дарья была близко, каким-нибудь ветерком всегда тянуло. Его частично перенесли под Ташкент. Конечно, из уважения к предкам, но не только. А что осталось — дезинфицировали. Вода вездесуща. Так всегда делают, если в зону затопления кладбище попадает.

— Наши этнографы в колхозе обследовали атинцев. А мы просто дружили с ними. Я запаздывала в отряд, приезжала неожиданно, одна, и добиралась со станции на попутных мотоциклетах. Один раз парень молодой предложил подбросить меня. По дороге чай у него пили, мама у него такая симпатичная, и малыш, а жена, совсем юная, умерла.

— Знаем. Хороший парень.

— Другой раз подвез мужчина постарше, с очень зелеными глазами.

— Он на латышке женат.

— Откуда вы знаете, о ком я говорю?

— Такие зеленые глаза у одного на всех атинцев. Серые, голубые чаще встречаются, а вообще-то мы кареглазый народ.

— Вот, значит, куда они попали. Это хорошо. Тогда все это еще обсуждалось, решалось.

Весь день я провела в колхозе — мне показывали каналы, поля, сады, школы, магазины, гостиницу, полевые станы, лагерь труда и отдыха для школьников, дома, усадьбы, сбор хлопка отрядом комбайнов — это всегда динамичное, красивое зрелище. Называли цифры урожаев, посевных площадей. Знакомили с хлопкоробами, механизаторами, врачами, учителями.

Назара мы не застали, он был в отъезде, где-то за Джанбас-калой. В его доме было столько молодых веселых лиц. Во дворике вился виноград, гудели ульи. Собаки я не видела. А вот ласточкино гнездо — запомнилось. Это он хорошо придумал. И весь дом его похож на гнездо подросших ласточек. Сопровождавший меня зампарторга Баймуратов еще в самом начале сказал мне:

— Хорошие дети у Назара, все хорошие. Очень хороших людей вырастил Назар.

Камиль Якубович Иломанов работает в совхозе. Юрист, занимается вопросами сельского законодательства Каракалпакии — теми самыми, которые ставил когда-то его отец, о которых столько было горячих споров на его айване. Рас-

сказал мне Баймуратов и про Агабердыева. «Таких людей не часто встретишь. Он давно не шофер. Он журналист, работает в турткульской газете. Вот и с семьей большой, а сумел заочно кончить Ташкентский институт журналистики. Сейчас в отпуске — в Москву уехал.

По дороге Баймуратов вдруг остановил лихо мчавшегося мотоциклиста.

— Знакомьтесь. Средний зять Агабердыева. Руководитель нашей художественной самодеятельности. У нас клуб — на шестьсот человек.

Уже затемно мы подъехали к тому зданию школы, где жил когда-то наш этнографический отряд. Матнепесов проводил собрание учителей. В совхозе четыре школы, три из них — десятилетки. На площадке перед школой было светло от включенных фар легковых машин. Матнепесов говорил коротко:

— Я сам был школьным учителем. И всегда был вместе со своими учениками. Нельзя так: развезти школьников по бригадам и оставить. А самим домой уехать. Может быть, кто-нибудь считает, что он в отпуску? Может быть, нам закрыть школы?

Я поняла, что завтра все учителя будут вместе с учениками на полях. Перед тем как выехать в объезд заготпунктов и проверить сегодняшнюю сдачу хлопка, Матнепесов успел еще побеседовать со мной.

Разговаривает он очень сжато и четко, тезисно.

— Создалось такое положение, что рост населения опережает рост доходов. Выход из этого — расширение посевных площадей, освоение пустыни. Оттока рабочей силы у нас нет. Подрастают ребята, отправляем учиться в Ашхабад, Турткуль, Нукус, Чарджоу, возвращаются и работают. Кадры у нас все из своих же колхозников. Специалисты по всем областям знания. С высшим, средним, средним техническим образованием. Агрономы, животноводы, врачи, ветеринары, юристы, бухгалтеры, экономисты, механизаторы, учителя. Их не надо специально обеспечивать жильем, участком, продуктами — все это у них есть, они дома. Им не надо привыкать — они хорошо знают свою землю, людей — это тоже важно. В ближайшие годы у нас устранился разрыв между городом и сельской местностью. Резервов по строительству для этого достаточно. Вопрос технической оснащенности тоже решен. Теперь важно, чтобы техникой командовали хорошо. А что теперь от кадров требуется? Я всегда говорю: умение рук, добросовестное отношение и золотой ум. Нам еще многое надо построить: нужны еще детсады, ясли, Дворец бракосочетания нужен, комбинат быто-

вого обслуживания — он будет в самом центре совхоза. Теперь техники у нас столько, что как на войне, как в атаку — на пустыню идем. И резервы земель очень большие. Вот я не успел, к сожалению, вырваться, — он протянул мне повестку, — приглашение на конференцию в Бухару по теме: «Изучение земель древнего орошения и их использование в народном хозяйстве». Наши дорогие археологи нам очень помогли. И хотел я об этом рассказать всем. Карты древней ирригации помогли нам без дополнительных затрат, без специального инженерного обследования использовать подсказанные вами трассы для современных каналов. Это получилось безошибочно, экономно и очень эффективно. Спасибо Толстову, который начинал это, и всей школе Толстова, Хорезмской экспедиции, ученикам его, продолжателям, — мы их очень уважаем и любим.

Мне надо было поговорить еще на одну тему.

Я мечтаю о создании «Золотого кольца Каракалпакки», подобного нашему подмосковному, или маршруту по Ладожскому озеру на остров Кижи, маршруту Бухара — Самарканд — Хива. И, собирая материалы, с пристрастием допрашиваю, кто что об этом думает?

Иногда на местах ссылаются на «план» освоения земель, трудности соблюдения инструкций, на «противоречия» требований охраны памятников современным хозяйственным интересам.

Матнепесов высказался совсем по-другому.

— Я, конечно, эту идею всячески поддерживаю, мы все поддерживаем. Охранную зону — кольцо в триста — пятьсот метров вокруг памятников — это мы можем сделать и не обеднеем от этого. Можем сделать сточный дренажный ров. Дорогу можем подвести. И гостиницу можем для туристов построить. И экскурсоводов подготовить, кадры у нас для этого найдутся. У нас отличные свои кадры учителей по языку: хочешь, заговорят по-английски, по-немецки, по-французски. Мы за то, чтобы к нам приезжали, пусть смотрят попутно, как мы живем и работаем. А то ведь и сейчас есть такая точка зрения у некоторых зарубежных ученых: что кочевые народы никогда земледельцами стать не смогут, обращаться с землей не научатся и не полюбят это дело и землю. Вот мы все тут бывший кочевой народ.

Но помощь в реставрации памятников, в консультациях, в подробно разработанных методах, в руководстве и — для начала — в наблюдении со стороны ученых нам очень нужна. Потому что для нас это дело — новое. Они нашли, они раскопали, исследовали. Спасибо им за это. А теперь мы ждем от них помощи в консервации памятников.

— И так можно написать от вашего имени?

— Обязательно можно. Нужно.

Прощаясь, я сказала Баймуратову:

— Спасибо за все. Вы очень хороший гид.

Мой спутник внимательно посмотрел на меня:

— Это я рад, конечно, что я хороший гид. Но мы не знаем этого слова. Гид — что значит?

— Джигит, наверное, — сказал фотограф.

— Джигит! Конечно! Такой джигит, который гостей сопровождает, все показывает и на все вопросы ответить может.

Когда я вернулась в Турткуль, мои друзья спросили меня:

— Ну, как вы отдохнули?

Я же целый день работала, ездила, записывала, расспрашивала, разговаривала — а ведь и правда отдохнула. Включившись в этот жизнерадостный, боевой темп труда стольких энергичных, молодых, целеустремленных людей, как в силовое магнитное поле, отдохнула и помолодела.

Жаль только, что это был один день.

Ни говорить, ни здороваться не хотелось, ни встречаться глазами. Затянутые морозом стекла, окоченелые, съезженные человеческие фигуры. Как будто битком набитый автобус пуст.

А мне все казалось, что сейчас мы завернем за угол и маленькая машина ГАИ с сумасшедше вертящимся синим светом, прокладывая путь траурному кортежу, — сгинет. Настолько все мышцы, клеточки мои усвоили: когда мы в тесноте плечом к плечу покачиваемся в машине, а впереди машина с Сергеем Павловичем — это-то и есть торжество жизни. С азартом, с жадностью поглощаются все новые дали, километры бездорожья каменистых равнин, солончаков, такыров. В счастливой усталости засыпаешь, пробуждаешься в радостном ожидании новизны.

Средневековые города с куполами, порталами, поблескивая поливой, меланхолично впускают нас на пустые улочки; античная крепость — глиняная корона! — поджидает на террасе Устьурта; загадывают загадки наскальные рисунки в разломе голубоватого обрыва; вдруг вздымается гигантский удав-красавец — не желает уступать дорогу машине; табуны мифических коней одичало обгоняют нас; библейского обличья пастухи-туркмены рассказывают свои легенды; русский редут возвышается над маревом бурого с сединой сора — гибельного соленого болота, столетие

назад оно было озером; останки корабля, погребенные барханами, приоткрывают судьбу неведомого русского морехода, к святым причисленного у мусульман; завораживает Узбой, как будто лишь миг назад, по волшебству иссякшая река... Свистят все надсадней саксаулы, сечет песок, удары ветра обрушиваются на кузов — «По ма-ши-нам, то-ва-рищи», — зовет Сергей Павлович.

... Или мы заблудились в этот ясный морозный день? Снежные тени кладбища — как на бездарной лакированной открытке. Венки с поникшими лентами, печальные прощальные слова благодарности. Что-то мешает поверить смерти. Потому что в тысячу раз реальнее, убедительнее, громаднее — замечательно прожитая, страстная, кипучая жизнь! Мы все очевидцы, участники этой жизни. Это наша судьба, самое драгоценное в ней... Некому объяснить. Каждый чувствует по-своему.

— Не скоро мы дождемся такого орла, — сказал над гробом известный ученый, кто жарче других «схватывался» с Толстовым. Нелегкое было дело — схватываться с ним...

... Непривычно приглашенный, Сергей Павлович на ходу рассеянно пожимает руки прибывшим на конференцию. Он вовсе не рассеян, он предельно сосредоточен, весь намагничен. Он не показывает, что волнуется, он всегда волнуется перед выступлениями. Сейчас он будет выступать. Сотрудники, конечно, знают, что он будет говорить. Доклад обсуждался, шлифовался, перепечатывался. Но они тоже волнуются в разных концах зала, собравшего отнюдь не только единомышленников Хорезмской экспедиции. Выступление Толстова — всегда событие. Всегда — со «сквозным действием», «сверхзадачей». Он будет подводить итоги исследованиям северо-восточной периферии Хорезма, низовьев Сыр-Дарьи. Он изложит новые данные по проблеме среднеазиатских скифов.

В чем секрет лично его ораторского дара? Он начинает замедленно, с паузами, тихо — он задается вопросом, задумывается вслух. И заставляет задумываться весь зал и ощущать все импульсы рождения и развития мысли, ее беспокойный нарастающий ритм. Она уже обрела плоть, хлынули обоснования, возможные контрверсии возникают, взвешиваются и отбрасываются — зримо! И как будто уже сама идея ведет за собой Сергея Павловича. Как помеху, он отталкивает усилители, приближается к залу. Он загорелся, «руками ловит молнии», он сражается, голос гремит. Редкостный дар — так полнокровно, заземленно, голосом и словом дать почувствовать содрогания истории, мощные передвижения народов. Характерное, от уральских казаков «р»

Сергея Павловича прокатывается по рядам: «Инкар-Дарья»¹... — и она врывается в зал... И теснятся племена сакараваков, аугасиев, саков, апасиаков со всеми их царями и рабами, оружием и конями, нравами и обычаями, городами и распаханными полями, судьбами, войнами, пламенем погребальных пожаров. Приглашенная шевелюра Сергея Павловича давно взвихрилась, пиджак съехал с одного плеча, как после драки. Он ведет слушателей к итогу со все накаляющейся страстностью. И вдруг — замер. Руки сомкнулись. Пауза. И только большой палец отсчитывает ритм победившей мысли, — и все: речь полилась спокойно, торжествующе, плавно — задача решена.

После выступления он и выглядит, как боец, сошедший с ринга. В чем секрет ораторского дара? В глубине и истинности переживания. В предельной самоотдаче — как и во всем, что он делает. В предельной откровенности, с которой он делится всем, во что верит. Ну, например, в то, что необходим Международный конгресс по скифской проблеме. Через два года и был этот конгресс в Москве. На котором ему уже не пришлось выступать.

...Присутствие Сергея Павловича в институте ощущалось по вибрации: всеобщему оживлению, ускорению темпа жизни. Стремительный, озабоченный, появлялся он там раньше всех. Если его с утра не вызвали уже в какое-нибудь другое учреждение.

Успевавший проворачивать глыбы дел — одну за другой, — неточности, опозданий, отступлений он не терпел «к чертовой матери для ясности». Да никому из сотрудников в голову не приходило — опоздать, подвести.

...Три очереди и волнение страстей перед дверью кабинета. Такого кабинета, где три директора за тремя столиками разом принимали посетителей и решали их судьбы (еще в старом здании института)...

«Как это секретарь не допустил? Как это — не пробились? За шкурку, за грудки, он же хлипкий. Видел я, как вы такое проделывали, кха-кха-кха-кха...» — я слышу этот единственный в своем роде — непрофессорский, Запорожской сечи хохот, — я не верю в траурные ленты.

Был Сергей Павлович — бури и натиска. Был — резкий, суровый. Но суровость доброго человека — особая: это обостренное чувство ответственности, у Толстова за судьбы людей, науки, за ее истинное назначение — служить народу.

¹ Одно из мертвых русел Сыр-Дарьи, наряду с Жаны-Дарьей, Куван-Дарьей.

Был еще Сергей Павлович мечтательный. Таким он бывал по вечерам в фалангарии на Кой-крылгане — весь серебристый и таинственный. По чистой случайности родные купили ему голубоватый пыльник под цвет звездности южной ночи и лунного света над пустыней.

Большая палатка его стояла на краю лагеря. Он не хотел стеснять любителей аккордеона и прочих шумовых затей. Он не боялся фаланг, мы-то их гнали, и они удирали по электропроводу к шефу. Потому его палатку прозвали — фалангарий. Иногда по вечерам открывались научные дискуссии. Случалось, Сергей Павлович читал стихи. Он помнил их прорву.

Мне везло в жизни. Я много слышала превосходных чтцов, актеров, и я ручаюсь: никто не мог прочесть лучше пушкинского «Гусара». Есенина он читал совсем в другом ключе, — на кладбище в Куня-Ургенче. А когда мы однажды в маршруте попали в зону серьезной эпидемии, он читал монологи Шекспира по-английски. А потом пушкинского «Пророка» — гениально переложенную суру Корана. И по-арабски подлинник для сравнения. Мы сравнивали — и про эпидемию никто не вспомнил.

Конечно, Толстов в молодые годы писал стихи. И печатал — в студенческом сборнике. Это были стихи о Хартуме, о героической и трагической его судьбе. И были они похожи на ранние стихи Тихонова.

Тихонов, расспрашивая меня о Хорезмской экспедиции, сказал: «Будто только тот поэт, кто пишет стихи? Поэзия Толстова — поэзия науки, дела. Еще бы! Такой поэзии позавидуешь!»

А Сергей Павлович еще раньше у одного пустынного костра признался с усмешкой: «Вот я и увидел, что «Орда» и «Брага» уже написаны, и занялся другим делом». Было еще такое: в пятьдесят втором году в маршруте, пробившись сквозь тяжелые пески и солончаки, уже затемно мы вышли наконец к живому, действующему колодцу. Но проходившие незадолго до нас стада выпили из него всю воду. Свой личный «НЗ» мы давно отдали шоферу Коле Горину, потому что машина в пути то и дело закипала...

...Наскоро расставили раскладушки. Костра не зажигали. Пытались неуклюже инсценировать, будто есть у нас вода в кружках, чтобы собрать остатки и напоить Сергея Павловича. Но он такого не терпел и рассердился. Мело, звезды заволакивало мглой, в мире делалось как-то погано: от утомления, жажды, а более оттого, что Шефа обидели.

Ему надоело всеобщее кислое молчание. «Эх, слабосильная команда. Давайте лучше почитаем стихи».

И он читал всю ночь «Орду», и «Брагу», и «Гулливера», и «Лавочник проклятый тот живет напротив меня», и «Облака как легкие фелуки», и «Чудесную тревогу». И ветер стих в саксаулах, и небо прояснилось. А на рассвете черный от усталости Коля Горин появился с ведром воды — «с соседней звездочки», как он объяснил. Он сходил на дальний ночной огонек — там оказались сейсмологи. Я рассказывала об этом Тихонову: «Сергей Павлович читал так, будто... он сам все это написал». — «Да, бывает такое соавторство у стихов», — сказал Тихонов.

В фалангарии мы слушали замечательные рассказы Сергея Павловича — живые, задиристые. С неизменным юмором. И тогда даже, когда речь шла о событиях трагических и печальных.

Он рассказывал, как в сорок первом вступил в ополчение — «...университетские — все пошли. Но вот Арцыховский не смог маршировать, оказался иноходец. Его забраковали, меня — нет».

Под Москвой Толстов попал в окружение, выводил людей.

Трое суток не спал ни минуты, под руки вели бойцы, командовал, боясь заснуть на ходу. Решил выходить по дорогам, а не лесами. На дорогах никто их не ждал, а леса прочесывались, дороги были забиты передвиженным немцев — кто там в темноте разберет. И этот маневр удался.

Вспоминал, как пришлось командовать батареей, а потом отступать. На соседней батарее — тоже все перебиты, из чьей-то полевой сумки вывалилась книга. Ветер трепал ее, разносил листочки по полю. Подобрал один листок — это оказался «Зурбаганский стрелок» Александра Грина, забрал Грина с собой.

Ранен был Толстов в бою за станцию Шалимово под Можайском.

...Вспоминал, что ему было семь лет, когда мать в первую мировую войну осталась вдовой с четырьмя сыновьями. После революции, когда жизнь стала налаживаться, старших устроили в школу-колонию. Там ученики все делали своими руками — время голодное, разруха. Зато учителя были первоклассные. Было это в подмосковной усадьбе с врубелевскими каминами, с барской мебелью. В одном таком резном гардеробе они с братом соорудили себе лежанку. Завалили его на пол, набили соломой. На ночь прикрывались сверху дверцами — так теплее. Народ в этот интернат приходил — кто с шашкой, кто с седлом, кто с тру-

бой — с фронтов гражданской войны. И приносили они с собой песни гражданской войны и ее романтику. Тогда жили идеями мировой революции, как о завтрашнем дне мечта-лось о великом братстве народов, и была уверенность, что сбросят колониальное иго народы Африки, Индии, Океа-нии...

Он рассказывал, что его всегда увлекали страны Востока, далекие путешествия, судьбы малых народов. И наверное, как этнограф, историк он стал бы изучать эти «даль-ние страны», с их удивительной древней культурой, — но в годы, когда он кончал университет, они оставались недо-стижими, не было с ними таких необходимых живых кон-тактов, как теперь. И тогда он решил отдать свои силы тем народам, которые недавно еще были «малыми» и такими же неведомыми, — бывшим колониальным народам задвор-ков царской России. Они нуждались в помощи.

Он рассказывал, что еще с двадцатых годов запомнилось ему такое название «Хорезмская Республика» — прекрасное и по поэтичности звучания и по гуманистическому смыслу.

Первые этнографические поездки Толстова были в об-ласть Центрального Поволжья, с его пестрым национальным составом. Уже с двадцать восьмого — двадцать девятого го-дов он проводил исследования в Каракалпакии и Северной Туркмении. В тридцать втором — тридцать четвертом годах экспедиции московского Музея народов СССР под его ру-ководством собирали этнографические коллекции в Кара-калпакии. С 1937 года начала работать организованная им Хорезмская экспедиция.

Он вернулся к этим воспоминаниям в 1957 году, когда выступал на юбилее — пятидесятилетия своего и двадцати-летия Хорезмской экспедиции. Он был взволнован, и под бурей поздравлений, добрых пожеланий, поступавших ото всех республик Средней Азии, особенно обильно из Кара-калпакии, из Хорезма, оглядывая зал, где было столько со-ратников старшего поколения и столько учеников — рус-ских, узбеков, каракалпаков, туркмен, казахов — молодых ученых, выращенных его школой, школой Толстова, мог удовлетворенно и растроганно сказать: «Ну, что ж, значит, не зря старался».

Проходят годы, много лет. Не превращается этот чело-век в памятник, не получается водораздела между прошлым и настоящим. И не только потому, что есть в науке направ-ление, заданное Толстовым, есть школа Толстова, что те студенты младших курсов, с которыми начинал работать

в Хорезме Толстов, — уважаемые доктора наук, кое-кто и академики.

А вот просто живешь-живешь, да и задумываешься вдруг, особенно сталкиваясь с очень сложными, очень острыми вопросами, — интересно все-таки, а что бы предпринял Сергей Павлович для охраны памятников? Раскопанных, изученных, изданных и — нуждающихся в самой срочной помощи! Иначе будет поздно.

И нечаянно видишь его, в белом кителе, расхаживающим под сводами Кой-крылгана, и как он всматривается и хлопает по плечу стену IV—III века до н. э., одобрительно, с гордостью, по-хозяйски, будто не только он ее раскопал, но и сложил своими руками, — «молодцы», и мужественное лицо его озаряется мечтательным воодушевлением. Так естественно и просто чувствовал он себя членом единой семьи, имя которой — человечество, на какие бы тысячелетия ни растягивались родственные связи.

Или вспомнишь стремительную его поездку сквозь буран к соседям в туркменский совхоз, откуда он привез народных зодчих, мастеров пахсы, — когда во время раскопок грозила обвалиться часть стены. И мастера настолько хорошо справились с задачей, что эта импровизированная реставрация и посейчас не отлетела, хотя памятник отсырел и разрушается.

Конечно, Толстов был бы счастлив увидеть, что там, где сквозь тяжелые барханы с трудом пробивались машины, а то и не машины, а лишь верблюды, пешеходы, — там раскинулись хлопковые поля. Об этом он мечтал. Этого добивался, выступая в печати, в президиуме Академии наук. Тогда это были планы, предложения и решения правительства. Сейчас это — рис, который мы едим, ткань, которую мы носим. Может, Сергей Павлович и думал именно об этом, когда выходил поприветствовать малышей — школьников, приезжавших к нам на экскурсии из соседних колхозов: узбеков, каракалпаков, туркмен. Они всегда очень хотели посмотреть на самого Толстова. Те самые, давно уже не малыши и не школьники, чьими руками сегодня возрождаются к жизни огромные территории пустынь.

Только с правом строить будущее пришло к народам право — вспоминать. И драгоценность памятников — их пощадили тысячелетия, обошли фаланги Александра Македонского — сомнений не вызывает ни у кого. Вопрос об их охране ставится Хорезмской экспедицией, археологами Каракалпакского филиала Узбекской Академии наук — бывшими воспитанниками той же экспедиции, Государственным музеем искусств Каракалпакии и другими организациями.

Но он не решен. Он не прост. Современная строительная наука обладает большим арсеналом новых средств. Пленочные покрытия, пропитывание скрепляющим составом стен, конструкций, различные способы закрепления фундаментов и грунта под ними. Но наши памятники — особенные. Веками вырабатывались целесообразные конструкции, планировка, методы защиты от соли и влаги — в условиях особого режима: земли, воды, солнца, ветров, колебаний температуры, возможных подземных толчков. И материал наших памятников — по-особому обработанная необожженная глина. Укрепить древний памятник снаружи, сверху, можно по-разному и — традиционным способом народных мастеров пахсы. Ташкентские ученые сейчас работают над проектом консервации Топрак-калы. Окольцованный каналом на предусмотренном инструкциями расстоянии уникальный город и даже поднятый на цоколь дворец Топрак-кала вспухает, раскисает, разрушение идет снизу, от избытка влаги и соли. И наиболее сложен в консервации — вопрос дренажа. Ведь надо, чтобы памятник не превращался в своего рода «фитиль» для прилегающего переувлажненного района. От решения проблемы дренажа зависит в первую очередь и сохранность других замечательных памятников Древнего Хорезма.

Ну а все-таки, что бы предпринял сам Сергей Павлович Толстов, умевший находить выход из любых сложнейших положений и добиваться не только благих решений, но и самых решительных быстрых действий? А какую позицию занял бы Сергей Павлович в связи с проблемой Арала, которая также не может ждать? Не может ждать поворота сибирских рек. В печати сообщалось, что он вряд ли осуществится ранее конца века. Этой проблемой занимаются десятки учреждений, сотни ученых, соратников и сверстников Сергея Павловича, и специалистов нового поколения, и молодых ученых из национальных кадров, ростом которых так гордился Толстов и воспитанию которых отдал столько сил. Что бы сказал о ней Сергей Павлович, доказывавший возможность и необходимость создания в дельтах Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи огромного рисоводческого хозяйства, комплексного, с сочетанием стойлового животноводства, организацией кормовой базы и с сохранением рыболовства и рыбоводства? Он предлагал объединить обе реки единой ирригационной системой.

Ведь за этими предложениями стояло не только изучение прошлого опыта земледельцев, но и современные расчеты: дренажа, отвода сбросных вод, колебаний уровня грунтовых вод.

Да, конечно, он бы гордился превращением Каракалпакии в мощную рисоводческую державу. Объездил бы с удовлетворением поля вокруг Кунграда, вникал бы во все заботы о неполеглых сортах риса, о разведении карпов на рисовых полях, по опыту дальневосточных стран. Беспокоился бы о том, чтобы в каналы не попадала рыба молодь, чтобы в исправности были решетки насосов, иначе, когда спустят воду, рыба погибнет. Но что бы он все-таки сказал о проблеме Арала в целом?

В юбилейном сборнике памяти Сергея Павловича Толстова и сорокалетия Хорезмской экспедиции, изданном в 1981 году, доктор географических наук, постоянная союзница Хорезмской экспедиции, неутомимая исследовательница пустынь, автор трудов об Узбое, Арале, Сарыкамыше, низовьях Аму- и Сыр-Дарьи Александра Семеновна Кесь рассматривает этот вопрос во всей сложности. Могучая разнообразная техника помогает прокапывать каналы, промывать солончаки, выравнивать массивы песков, сдвигать подвижные барханы и закреплять растительностью, протягивать дороги, сооружать благоустроенные поселки. Значительная часть дельты освоена, а в ближайшие годы будут орошены и остальные ее пространства. «Одновременно создающиеся дренажные системы в большинстве случаев заканчиваются в низинах или староречьях по окраине земель совхозов. Там образуются небольшие озера, из которых вода, к сожалению, безвозвратно уходит на испарение. Сбросные и дренажные воды сосредотачиваются в пустынных котловинах и небольших низинах по окраинам оазисов и в крупных впадинах вдали от них. Так были созданы многочисленные озера, и в том числе такие крупные, как Сарыкамыш. К 1977 году это озеро достигло площади 2000 кв. км, и уровень его продолжает подниматься. Аналогично вблизи Сыр-Дарьи образовалось Арнасайское озеро.

Ограниченность водных ресурсов Средней Азии и Казахстана и расходование основной их части на орошение в верхнем и среднем течениях Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи привело к тому, что низовья этих рек начали страдать от безводья. Сток Сыр-Дарьи в Аральское море прекратился, а Аму-Дарьи сократился в четыре раза и периодически тоже прерывается. Следствием этого явилось резкое снижение уровня Арала... берега его отступили, особенно в восточной части, где местами дно моря оголилось на расстояние до 30—50 км. Развиваются эоловые процессы, образуются солончаки. Сдувание ветром с них солей, засоленного мелкозема и перенос его на поля может снижать, а возможно, и

уничтожать урожай. Экономически все эти потери с лихвой восполняются урожаями с орошаемых полей. Но возникающие неблагоприятные экологические изменения в денежном выражении неопределимы. Поэтому сейчас необходимо принять меры по увеличению стока в дельты Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи и добиваться поступления большего количества воды в Арал. Для этого потребуются серьезная перестройка ирригационной и особенно дренажной сети.

Радикальной мерой в этом отношении может быть лишь переброска части стока сибирских рек. А до этого необходимо добиться более экономного расходования воды на орошение, поступления всех дренажных и сбросных вод в Аральское море и, следовательно, ликвидации всех вновь возникших сбросных озер, из которых на испарение теряются огромные массы воды. Кроме того, необходим проект управляемого Арала. Возможно, одним из путей этого явится отчленение от него заливов и создание бассейна таких размеров, чтобы испарение с его площади компенсировалось сокращенным поступлением в него воды.

Я только что вернулась с Арала, из Муйнака. Случайно моими попутчиками в этом маршруте оказались молодые московские писатели. Они не увидели в Муйнаке моря, им трудно было представить, как заливало дамбу. От моря остался ветер... Но нес он не влажное дыхание волн, запахи камышей, водорослей, рыбы, а мелкую въедливую солоноватую пыль. Обнаженное серебристо-серое дно поросло низкими багровыми галофитами¹. Длинный канал, прорытый по бывшему дну моря, обвалованный по краям, выводил нас на мелководье, и еще долго по мелководью тянулись мы к пункту рыбприема. Капитан, рыбаки — все люди немолодые. А мне вспоминался мой маршрут шестьдесят восьмого года по периметру Арала на катере «Берг», названном так в честь известного ученого-географа, исследователя Арала. Маршрут начинался в Аральске (тогда это был действующий порт), его проводила Казахская научная станция. В команде было много молодых ребят, а на рефрижераторном судне, которое мы повстречали, — и девчат, русских, казашек. Его обслуживала известная комсомольская бригада. Тонкое девичье лицо, как у сказочной царевны в тереме, появилось в иллюминаторе, потом на палубу выскочил матросик с косами в брезентовом комбинезоне, поприветствовать нас, обменяться новостями. Тогда все разговоры велись о судьбах Арала, о необходимости расширять посевные площади, о кубометрах стока. Я слышала их во

¹ Солеустойчивая флора.

многих учреждений, на метеостанции, в райкоме, в гостинице, набитой командировочными всех специальностей, в магазинах, в домах, в столовой, на базаре, в бане...

Живые сети поднимали на палубу «Берга» «жизнь моря». Целый мир — еще трепещущий, скользящий, с ключьями морской травы. Золотые с розовой подцветкой сазанихи, напоминающие кустодиевских купчих; серебристые барственные усахи; нежные, как снегурочки, подлещики; угрюмый сом; толстый белый амур, туповатый на вид толстолобик, устрашающий змееголов — новоселы с Дальнего Востока. Мир, существующий по своим законам, со своими привычками, связями, характерами. Всю самобытность его только и можно ощутить на палубе в первые минуты, когда вытряхивают трал.

Мои полевые дневники шестидесятых годов, испещренные цифрами, диаграммами, выписками, биографиями, конфликтами, сутью дискуссий, вспухали от вопросительных знаков. По ночам в трюме «Берга» я слушала, как вгрызается в борта море. Голос его, диковатый, со всхлипами, вздохами, угрозой и болью, из одних гласных, повторял один и тот же вопрос — нечленораздельный, но безотказно понятный и обращенный лично ко мне. А я на него ответить не умела.

Подавленная необъятностью и сложностью проблем, отсутствием специальных знаний для решительного самостоятельного суждения, я подымалась на палубу и ненаучно, но всем существом — кожей, легкими — ощущала единство и неповторимость этого мира, этого моря с его синевой, малой соленостью, прозрачностью, перепадами температур, с его дельтой, почти пресными мелководными озерами, нерестилищами. С его непостоянностью уровня, все же достаточного для процветания жизни сложных сообществ рыб, фитопланктона, камышей, ондатры, кабанов, в недавнем прошлом — тигров, многоречивого сонмища птиц: жирных бакланов, словно приплясывающих по воде и долго размахивающих крыльями, таких неуклюжих, когда им надо взлететь, и ловких, как торпеды, когда надо нырять; осторожных пеликанов, цапель, уток с красным веером на голове или с белой полоской по клюву, лебедей, розовеющих на заре...

— Хочешь лебедей увидеть? И сегодня можно, поезжай на Судочье озеро, — прерывает мои воспоминания капитан. — Там хорошо, заповедник, и камыши снова выросли, туда воду сбрасывают из Кунградского района — коллекторную, — на это восстановление потребовалось десять лет.

Теперь нас принимали в отлично построенном, облицо-

ванном мрамором райкоме Муйнака, разместили в уютной гостинице рыбзавода с никогда не убывающим гостеприимством и радушием Каракалпакки. И опять были разговоры... о том, что в этом году послали в первый раз на Сарыкамыш бригаду на промысловый лов. И о том, как необходимо сохранить дельту. Дельта — шит всего хорезмского оазиса. Можно и необходимо решать эту проблему сейчас, хотя бы частично. О том, какими путями возвращать сбросные воды самотечными коллекторами и насосными станциями, как укрепить, мелиорировать обнажившееся дно, чтобы использовать под пастбища, мелкооазисное земледелие. И что надо Арал заселять солеустойчивой рыбой, сделать часть его проточной, часть — солеприемником. Зону отдыха перенести на глубоководный берег...

Это лишь частица разговоров — забот сегодняшнего и завтрашнего дня. Я вслушиваюсь, всматриваюсь в лица людей — каракалпаков, рыбаков Арала и земледельцев. Иногда это ученые со степенями и званиями, иногда руководители совхозов, районов, министерств, иногда так называемые «рядовые труженики». А рядовых-то людей не бывает. Они давным-давно не рядовые, и масштаб их мышления, и осведомленность — уже залог того, что, как ни трудны проблемы, они могут быть решены и они будут решены. Я вспоминаю, как мы собирали когда-то среди местных старых рыбаков фольклор, связанный с их профессией. В нем было столько поэзии и мудрой бережности к природе. Рыба для каракалпаков вся была «чистая», незапретная для употребления. За исключением карася. И сом был несколько мрачноват, с ним обращались с предосторожностями. Тут было многое от доисламских, очень древних, первобытных и зороастрийских верований. Рыбу надо уважать. Не полагалось бросать кости и объедки рыбы и потроха на дорогу, кидать в огонь. Рыба кормила, она источник жизни, ей приписывалось магическое могущество. Рыба исцеляла от многих болезней, по ней гадали. Рыбы глаза, нарисованные красной краской или вырезанные с двух сторон у носа лодки, предохраняли рыбака от беды. Рыбак дружил с духом ветра Айдаром и с Хозяином рыбы, хранил его тайны. Существовал красивый серьезный ритуал — посвящение в рыбаки молодого каракалпака, начинающего самостоятельный лов. Рыбак не мог присвоить весь улов, по обычаю встречные люди и соседи получали часть его. И легенды — времен ислама: «Рыба раньше жила на небе, но некто выстрелил в небо, чтобы убить бога. Однако стрела попала в рыбу. Потом бог сбросил ее на землю. От этой раны у рыбы жабры». И, быть может, самое интересное

поверье — в свете проблем сегодняшнего дня: «Убивать рыбу, как всякое живое существо, — грех. Чтобы искупить его, надо посеять столько пшеничных зерен, сколько выловлено рыбин». Такими экологическими категориями мыслили каракалпаки 70—60 лет назад, — не было письменности, была традиция.

Каждый раз, когда я встречаюсь с потоком экологической литературы, с оценкой антропогенного фактора на протяжении всей истории мыслящего человека — иногда весьма пессимистической, распластывающей человека на скамье подсудимых, — мне всегда хочется внести поправку. Да, отвоевывая «дары» у природы, нарушал, разрушал, ошибался, — но ведь и осмыслял свои поступки. Никогда не был человек свободен от ответственности за свою деятельность. И это находило свое выражение в запретах, «магии» первобытного охотника, рыболова, в сводах законов и в календарях древнего земледельца. В Двуречье, в природных условиях аридной зоны, сходных с нашими, в XVIII веке до нашей эры знаменитые законы царя Вавилона Хаммурапи, вырезанные клинописью на диоритовом столбе, детально разрабатывали правила земле- и водопользования и предусматривали кару за их нарушение, вплоть до смертной. Историки не обнаружили пока подобных законов античного Хорезма не потому, что их не было. Скорей всего они погибли среди памятников письменности, которые «всеми способами рассеял и уничтожил Кутейба» — предводитель арабов, завоевавших Хорезм в начале VIII века (так о нем сообщает Бируни). Но в самой религии зороастризма с необычайной строгостью — как ни в какой другой — проводилась «охрана внешней среды» — всех четырех стихий: воды, земли, воздуха, огня. Несомненно, к столь грозной экологической догматике привел тяжелый, горький опыт, с кризисами, катастрофами. Но это моя любимая тема для размышлений, и она уведет далеко в сторону.

И это все о прошлом.

В наши дни приняты специальные государственные Законы о Земле и Воде. Столько внимания, сил партии, правительства, ученых, хозяйственников и всех тружеников советской земли сосредоточено на проблемах мелиорации, интенсификации плодородия почв, — ведь это очень ответственный пункт в принятой «Продовольственной программе», — потому самые сложные проблемы — разрешимы. Мне вспоминаются нестареющие слова Сергея Павловича, которыми он заключает свою последнюю книгу:

«Когда, вернувшись с фронта Великой Отечественной войны, я посмотрел новыми глазами на хорошо мне знако-

мые памятники, я остро почувствовал, как близко эти древние развалины напоминают о руинах наших городов, разрушенных фашистами. И если войны рабовладельческой и феодальной эпох создавали такое страшное, хотя и величественное кладбище, то что же может принести человечеству война, ужасными репетициями которой были Хиросима и Нагасаки? Потому так дороги строителям новых социалистических республик Средней Азии, как и всему советскому народу, всем простым людям мира, принципы мирного сосуществования государств с различным социально-экономическим строем... Мирное сосуществование и разоружение являются для всех народов мира, их детей и внуков залогом мирного труда, призванного обеспечить создание таких великих культурных ценностей, которые оставляют далеко позади то, что создали наши предки и чем обладаем мы сейчас».

Недавно в одном туркменском колхозе председатель меня все расспрашивал: «Вы присутствовали на том ученом совете Академии наук, когда выходили ученики, сотрудники, кандидаты, доктора, академики и рассказывали, кто что помнит о Толстове? Вот человек был!...»

Нет, я не присутствовала, к сожалению. Но я знаю: у каждого «свой» Сергей Павлович, и каждый вспоминает его с гордостью, восхищением и благодарностью. Толстов обладал способностью притягивать сердца людей и объединять многих, очень разных, непохожих, не во всем понимающих и принимающих друг друга.

Зато я слышала, как вспоминают и говорят о Толстове в народе — здесь, на корню, на азиатской почве. Не в юбилейные даты, в обычном течении жизни это передается от отцов — детям.

— Толстов видел сквозь землю.

— Он нашу землю лучше нас понимал.

— Все знал, где пахать, что сеять...

— Каким путем воду вести — предсказывал.

— Если какая беда, народ к нему ходоков посылал. Такой человек всегда поможет. Куда надо пойдет — добьется. Ничего не боялся. Меня не послушают, тебя не послушают — его все слушали. Так умел говорить, что никто ему отказать не мог.

— Толстов свою кровь нам отдал и поручил продолжение рода.

Конечно, Толстов ничего такого не поручал. Но так сложилось, что Лада Сергеевна, дочь Толстова, вышла замуж за каракалпака Досщана Насырова. Оба они ученые, она — этнограф, он — филолог. Много лет вместе с детьми они

жили в Нукусе. Работали, помогали создавать Каракалпакский филиал Академии наук. Досжан Насыров руководил им первые годы.

Да и вся семья Толстовых состояла из ученых. Жена Сергея Павловича, Татьяна Алексеевна Трофимова, — доктор антропологических наук, многие годы — ведущий сотрудник Института этнографии АН СССР. Арцыховский, славившийся не только археологическими раскопками Новгорода, открытием берестяных грамот, но и остроумием, соратник, друг Сергея Павловича, когда-то давно сказал мне, собиравшей «биографические сведения»:

— Толстов был женат с детства, это вы знаете.

Я знала, что вместе с Татьяной Алексеевной они учились еще в школе-колонии в двадцатые годы.

Кому, как не историку, понятна драгоценность легенды — народной памяти. Труды Толстова — блестящий пример использования этого источника. А сколько собрано, записано легенд — им самим и работавшими под его началом этнографами. И как увлекательны их осмысление и «расшифровка».

Легенду надо не прочесть, а услышать от ее носителя, творца, — в ее родной обстановке, на рыбацьем баркасе, у костра на полевом стане, в пастушьей юрте, у тандыра, где лепешки пекутся, на айване за трапезой, среди людей, для которых она жива. Чтобы понять ее суть, извлечь из нее реальные события, факты.

Жизнь, однако, умеет удивлять, озадачивать и радовать! В этом году в своих странствиях по Средней Азии я услышала рассказ о том, как Толстов сражался с коброй, ножом, одной рукой, и, разумеется, победил ее. Хорошо, ярко рассказывали. Случайные мои попутчики вспоминали, как в далекие годы, когда еще подростками были, видели самого Толстова. «Прискакал на коне, напиток попросил. Но сначала коня напоил».

Сергей Павлович в машине, на самолете вспоминается привычнее. Но случалось путешествовать и на верблюдах, и на лошадях. Я вслушивалась с интересом во все детали — «реалии», выражаясь научным языком. Голубой плащ? Был. Обыкновенный пыльник. Кобура, разумеется, с пояса не свисала. Полевая сумка и бинокль через плечо? Обычное вооружение археолога в маршруте. Кинжал в ножнах — тоже был! — служивший ему раскопчным инструментом.

Я не стала вносить прозаические коррективы.

Поединок с коброй изумил меня больше. Толстов не признавал подобных развлечений. Неоправданный риск презирал — в экспедиции не допускал никогда ни в чем. Хотя

охотником был азартным, стрелком метким. В маршрутах часто ходил, повесив двустолку на плечо дулом вниз, как это и принято у охотников. И зайчиков добывал нам на обед. Особо прочувствованно добычу съедали в долгом осеннем маршруте, истомившись на консервах.

Известная фотография, где Толстов в папаше, торжествующий, сделана как раз после удачной охоты. Из руки его свисает вниз головой трофей. Но зайчика фотограф отрезал — за несолидность.

Азиатская кобра без капюшона, зовут ее гюрза. Как все кобры, смертельно ядовита. Как все кобры — «благородна». Иными словами, настолько уверена в себе, что сначала предупреждает, пугает — «рычит» и поднимается минаретиком, только у нее достаточно крепкий для этого позвоночник. Если она сторожит кладку — не отступит. Но даже тогда она не ищет конфликта с человеком и дает ему время смыться без паники. Кобра плохо видит, неважно слышит, тепловое «зрение» у нее тоже слабое. Наступать на нее не стоит, как и вообще мешать ей жить и работать. Идти на кобру с ножом — дохлое дело.

В ячеистых песках близ Арала, во время поиска, в котловине выдува некая неизвестная средней величины змея весьма заинтересованно гонялась за мной. Я подозревала, что это полоз. Сергей Павлович не поверил моему рассказу, но вскоре испытал такую же заинтересованность на себе. Эту змею он расстрелял, и то сомневался: а может, не надо было? Кто ее знает? Дурные ли у нее намерения?

Он сочувствовал живым тварям, относился к ним с большим интересом и уважением. Навозников, падавших — на погибель! — в ямы на раскопах, заставлял вылавливать и выпускать — «священное же животное Египта!» С кошками, собаками — дружил. Прибылых щенят к концу экспедиции старался «пристроить», что при его нагрузке, при количестве и масштабах проблем, которые ему приходилось решать, удивления достойно. В одном северном, зверски холодном маршруте, заскочив в палатку объявлять побудку, я с испугом увидела, что Сергей Павлович не спит, судя по всему — давно, в полусидячей, неестественной позе, приподнявшись на локтях.

— Вам плохо?

— Не очень хорошо, — признался он вполголоса.

Тазы, борзой щенок, одушевленная идея скорости на четырех лапах, по крайней целесообразности природы не имеющий ни жиринки, ни стоящего шерстного покрова, ухитрился запрыгнуть Сергею Павловичу за спину в спальный мешок.

— И вы его не выбросили?

— Ему же холодно. И я не могу его выловить, боюсь шевельнуться, он пищит.

— И не разбудили никого?

— Люди так устали. Неудобно. Впереди тяжелый день.

Была в ходу у Сергея Павловича такая песенка: «Малюсеньки котяточки царапали за пяточки» — верный признак, что доволен, дела идут хорошо, что в голове зарождаются новые планы, неслыханные маршруты, симпозиумы. Один из героев песенки, не очень малюсенький, в столовой, во время вулканического разговора о кандагарских традициях в искусстве, разведав, что суп в миске шефа остыл, принялся его лакать, приведя в шоковое состояние сидевшего напротив сотрудника. Сергей Павлович пододвинул миску поудобнее сотрапезнику и напористо смел все возможные протесты:

— Да будет вам известно. Кошку в алтарь впускают в православной церкви! Женщину не пускают, а кошку пускают.

И все-таки я думаю, что если уж необходимость заставила убить кобру, то ее убили вульгарно — лопатами и ломами.

Но в этих рассказах о Толстове — Змееборце и Всаднике — все так переплелось — трогательно и фантастично: слышанное, виденное, может быть — прочитанное. О Коне и Змее Толстов много писал, анализируя, как у разных народов переплетались эти сложные образы, какой исторический, философский и социальный смысл за этими образами кроется. К мифическому Всаднику Сиавушу возводили свою родословную хорезмшахи, изображение его чеканили на монетах. Звездный Всадник Сиавуш был неофициальным личным гербом археологов, семь лет работавших на Кой-крылгане.

Для многих народов мира всадник, да еще борющийся со змеей, драконом, — олицетворение героя, активного, бесстрашного, борющегося со злом.

Слушая своих собеседников — туркменских колхозников, я тихо улыбалась своим мыслям. В свое время Сергей Павлович с довольной усмешкой говорил, что этот народ лихих джигитов так органично пересел на машины и преуспел в освоении техники потому, что за этим — вековые традиции наездничества, кочевничества, понимание красоты движения, координации, управления, скорости. А также контакт с конем, уважение к нему и умение заботиться о нем. И что все это пришлось очень кстати для ныне земледельческих

передовых колхозов-миллионеров, оснащенных мощнейшей техникой.

Да, все это так. Но еще не наступило время для мифотворческого использования техники. И хотя на территории колхозов лошадей мало, и пасутся они на арендованных пастбищах вдали, а появляются только по большим праздникам, когда устраиваются конные состязания, вот как в праздник Пахтабайрам, — все-таки легенда творит героя-всадника. Можно подвести экологическую базу, ультрасовременную, и приписать экологический инстинкт народу и народному творчеству. Но... главное-то в другом. Очень хорошо это получилось — легенда про Толстова. Потому что и Всадником, Скачущим Вперед, и Змееборцем он был, был!

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТОЧКА НА МЕРИДИАНЕ

Инвентаризация	4
Мадьяна	6
Ковер	9
Сандык	12
День рождения	17
Старая крепость	29
У блокаменных стен	34
Буран	54
Камыши черные	59
Жена хивинского хана	65
На берегу	79
Ночь в музее	86
Дахма (<i>Башия Молчания</i>)	98
Наш повар Сапырбай	105
Сын димуллы	108
Тишина	110
Рыболов	113
Светлана	122
Визиты	126
Балбес	130
Новатор	134
Болезнь	142
Стихи	153
Поиски	168
Тюя-кала (<i>В верблюжьем царстве</i>)	187
Илан-кала (<i>В змеином царстве</i>)	212
Камыши осенние	221

ВРЕМЯ В ПЕСКАХ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Начинающий поэт»	234
Семь лет спустя	245
Звездный всадник	251
Путь воды	255
Волшебный горшок	259
Машина времени	262
Дважды покинутый дворец	264
Страна тысячи замков	271
Золотые зори Ургенча	275
Тюрабек-ханым	281
Машины идут без дорог	286
Подводная археология	289
Потерявшаяся река	291
Костры и колодцы	297

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Полевой дневник	302
Урга	306
Камышовая Венеция	313
Остров Караджар	316
Муйнак	320
Лепрозорий	327
Ключки мрака	333
Тополя в пустыне	340
«Чужая»	347
Лиски	357
Свет	363
Послесловие	380

Милица Измайловна Земская

ВРЕМЯ В ПЕСКАХ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1983, 416 стр. План выпуска 1982 г. № 109. Редактор Ф. Г. Какас. Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редактор Е. Ф. Шареева. Корректор И. Г. Клейнер. ИБ № 3097. Сдано в набор 19.02.82. Подписано к печати 27.10.82. М 33776. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 3. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 24,72. Тираж 100 000 экз. Заказ № 151. Цена 1 р. 60 к. Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.